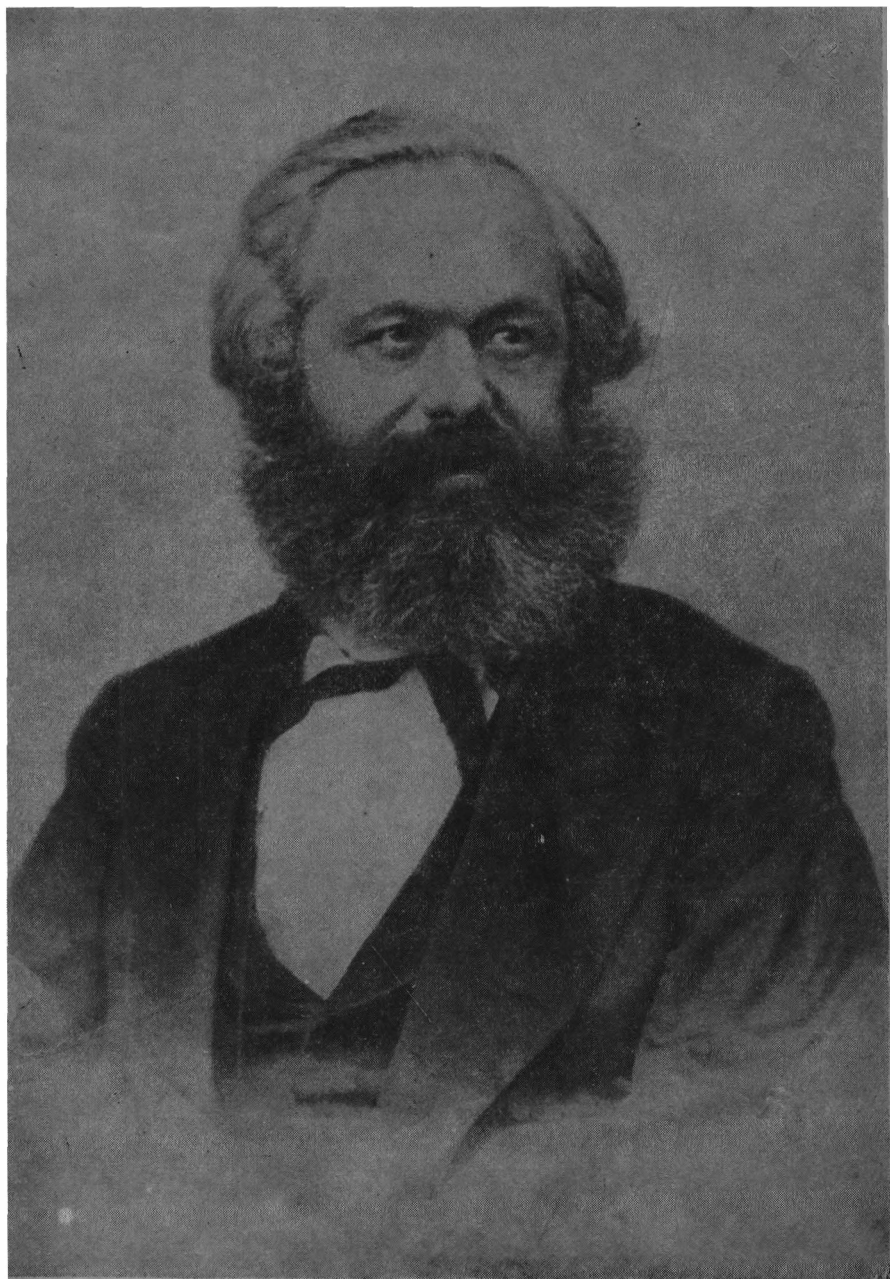


НОВЫЙ
МИР

3

1933



КАРЛ МАРКС

К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ (1883—1933).

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А
Т Р Е Т Ь Я
М А Р Т

М О С К В А
4 . 9 . 3 . 3

СТАТ — формат Б/5 176 × 250.

Уполн. Главл. В-49094. Объем 18 печ. лист. по 64.000 зн. Техн. ред. В. Белокопъ. Зак. 1720.

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. К. РАДЕК.—Карл Маркс	5
2. А. С. НОВИКОВ-ПРИБОЙ.—«Орел» в бою, из второй книги «Цусима»	13
3. Г. СЕРЕБРЯКОВА.—Юность Маркса, роман	48
4. Ал. ТОЛСТОЙ.—Петр Первый, роман, продолжение	76
5. М. ЧУМАНДРИН.—Германия, продолжение	90
6. П. СУХОТИН.—Человеческая комедия, пьеса	115
7. Иван ЕВДОКИМОВ.—Архангельск, продолжение	148
8. Петр ОРЕШИН.—В мир, стихи	175
9. Георгий НИКИФОРОВ.—Единство, роман, продолжение	176
10. А. ВОРОНСКИЙ.—Бурса, продолжение	204

ЗА РУБЕЖОМ:

11. Л. ВАРШАВСКИЙ.—Смертность, рождаемость, браки, статья вторая	234
---	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ:

12. Н. ПИКСАНОВ.—Глеб Успенский о Карле Марксе	245
--	-----

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

13. А. БЕЛЫЙ.—Культура краеведческого очерка	257
14. ПИСЬМА БАЛЬЗАКА, с примечаниями П. Сухотина, продол- жение	273

КНИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ:

А. СЕЛИВАНОВСКИЙ.—Б. Лапин и Э. Хацревин «Сталина- бадский архив»	286
Н. МАТВЕЕВ.—Алексей Платонов «Сплав»	286
Сергей РОМОВ.—«Архитектура современного Запада», сборник статей	287

Карл Маркс

К. РАДЕК

50 лет, миновавших со смерти Маркса, и 115 лет, прошедших со дня его рождения, — это история всего современного человечества.

Когда Маркс делал первые свои политические шаги, когда он начал выработать свое мировоззрение, паровая машина только-что начинала свой победоносный поход. Только в одной Англии машина завоевала текстильную и металлургическую промышленность, внедряясь во все другие смежные отрасли. На европейском континенте машина только-что начала побеждать мануфактурный и ремесленный способ производства.

В области политической Франция переживала период реставрации, период первичной новой борьбы за демократию. В Англии феодальная капиталистическая олигархия только-что сделала первые уступки мелкой буржуазии, дабы оттеснить ее от совместной борьбы с пролетариатом. В Германии революционного движения налицо не было. Только в области философии буржуазия делала вызов феодальному миру и, отрицая божественный характер священного писания, борясь с теологией, утверждала свое право на жизнь. Австрия была скована полицейской системой Меттерниха. Италия, в которой только еще начинало развиваться маццинистское движение, носила наручники австрийской полиции.

Рабочий класс боролся лишь ощупью: в Англии — за право коалиции, за избирательные права, а во Фран-

ции — под лозунгом: «Жить работая или погибать борясь!» Рабочее движение не слилось еще с социализмом, который существовал только как критика буржуазного строя, как мечта одиночек о лучшей организации общества. Германия политически была расчленена на десятки мелких княжеств, Италия — разбита, Россия жила под свинцовым покровом царизма. Мир только-что потрясло известие о восстании декабристов, не решившихся пойти на решительный штурм царской власти, чтобы не разбудить мужика.

С тех пор мир непрерывно менял свой облик: над миром прошумела буря 48-го года, в которой, среди грома и молний демократической революции, уже слышны были глубокие подземные толчки революции социалистической. Мир непрерывно потрясали войны, которые объединили Италию и Германию, создали Германскую империю, надломил русский царизм в Крымской войне и завершили период буржуазных революций. Как метеор, пронеслось пламя Парижской коммуны, озарив будущие формы пролетарской власти. Капитализм, меняя лицо Европы и Америки, поднимал и затверделые глыбы общественного уклада Азии.

И после сорока лет сравнительно мирного капиталистического развития — периода «органической» работы капитализма — мир вошел в период бурного развития, в период монополистического капитализма. На знамени капитализма в индустриальный его период написана была ликвидация феодализма,

замена средневековых суеверий гуманитарным позитивизмом буржуазии, а военных лозунгов лозунгами мира и свободной торговли. В период империализма капитализм, закованный в железо, вызывал одну войну за другой на колониальных перифериях, пока империалистские страны не ринулись друг на друга в великом вооруженном состязании с 14-го по 18-й год.

Мир, который в пору юности Маркса был разделен на ряд национально-хозяйственных организмов, связанных друг с другом тонкой цепью международной торговли, стал за это время одним целостным хозяйством. На ливерпульской бирже решались судьбы хлопководов Америки, Индии, Египта, Лондон мог своими ценами разорять китайских или индийских крестьян, производящих чай, а манчестерские цены ввергали в нищету миллионы китайских кули, вырабатывающих домашним трудом ткань для прикрытия своего тела. Русский мужик пух от голодухи, дабы царь мог платить проценты парижской бирже за заем, при помощи которого строил сибирскую магистраль и воздвигал крепости на немецкой границе. Миром двигала не конкуренция миллионов частных предпринимателей, — за господство над ним боролись громадные тресты, объединявшие в своих руках большинство производительных сил своих стран. Дело шло о переделе всего мира, о завоевании мира самими крупными капиталистическими монополиями. Парламенты, в которых когда-то, на глазах народа шумели словесные поединки о свободе, о демократии, о праве человеческой мысли, стали кулисами, где заправили трестов и биржи сговаривались о политике, какую должно вести их правительство.

За это время рабочий класс стал громадной общественной силой: в наиболее развитых капиталистических странах он создал миллионные профессиональные организации, политические партии, свою прессу и научную литературу. Он стал единой прогрессивной силой в мире. За это время колониальное движение перестало быть бунтом средневековых людей против современ-

ной цивилизации. В Индии, как в Китае и в Индонезии, начинаются движения под лозунгами национального объединения и политической свободы.

Век пара сменился веком электричества. Мир был объединен сетью телеграфной проволоки и волнами, перерезывающими эфир. Оно начало неуклонно завоевывать промышленность, создавая для нее новые основы. Вслед за электричеством возникла современная химия — чародейка, оставившая в тени мечтания средневековых алхимиков. Наконец землетрясение мировой войны подняло из глубин социального океана первую республику рабочих и крестьян не как мелкий коралловый остров, а как громадное государство, являющееся угрозой всему капиталистическому миру.

Если охватить, таким образом, в самых основных абрисах, содержание истории за 115 лет, прошедших со дня рождения Маркса и 50 лет со дня его смерти, то кажется непонятным, как могло учение этого мыслителя, каким бы великим он ни был, остаться живым и нетронутым, остаться не омертвелой догмой, а средством научного понимания современности и указанием для нашего действия? Когда мы, марксисты, заявляем, что система Маркса оказалась непоколебимой, несмотря на все бури столетия, что без нее нельзя понять того, что происходит теперь в мире, что жизнь наша и действия наши в этой шестой части мира развиваются по науке Маркса, — то для человека, не знающего марксизма, это кажется юбилейным преувеличением, а интеллигентный обыватель готов а priori считать, что не могут не быть правы те, которые говорят об устарелом Марксе.

Но присмотримся к основным положениям Маркса, присмотримся к тому, что в продолжение десятков лет противопоставлялось марксизму. Марксизм есть не только экономическое уче-

ние, марксизм есть не только общественное учение, — марксизм есть мировоззрение, охватывающее законы развития мира. Что сумел противопоставить капиталистический мир «устарелому» диалектическому материализму Маркса, этому учению о законах развития природы, общества и мысли? Или он ссылаясь на более старые философские системы, на агностицизм Юма и критический идеализм Канта, или он жил никчемными похлебками современных Марксу крохоборов буржуазной мысли (Огюстов Контов и Спенсеров), не называя модных философов, имена которых появляются на горизонте для того, чтобы, прокоптив воздух, после нескольких лет остаться в неизвестности. Пусть попытается кто-нибудь с философией Канта в руках объяснить судьбы человечества, пусть попытается на основе Канта и Спенсера найти законы развития современной науки, современного естествознания и современного человечества! Все предшествующие Марксу мировоззрения являются лишь постольку значительными, поскольку они были ступенями борьбы человеческой мысли, из которой родился марксизм. Когда современные гегельянцы попытались воскресить самого крупного гения буржуазной философии Гегеля, на спине которого поднялся марксизм, то у них вышло Или тупое обожествление фашистской дубинки (Джентиле), или же учение о трагической диалектике (Либерт) — диалектике не развития, а диалектике тупиков или взрывов. Только диалектический материализм, учение о развитии в противоречиях, учение о единстве противоположностей, является ключом для понимания всех тех громадных противоречий, которые потрясают современный мир, — не для того, чтобы вовлечь его в бесконечный хаос, а для того, чтобы из хаоса создать новый мир. Только диалектический материализм даст возможность современному естествознанию, современным общественным наукам выйти из того кризиса, который они переживают. И если немецкий буржуазный философ Шпенглер в своей попытке охарактеризовать

идейную ситуацию мира говорит, что специфической чертой современного человека является чувство бессилия, подавляющее его, то диалектический материализм, противники которого охарактеризовали это учение как учение фаталистическое, стал источником величайшей силы современного революционного пролетариата, нитью Ариадны, позволяющей найти выход из лабиринта современных противоречий.

Гениальной экономической системе Маркса капиталистический мир не сумел противопоставить никакой цельной научной системы. Он барахтался или в плоском учении буржуазных экономистов о гармонии интересов в капиталистическом обществе, или в бесплоднейшем психологизме австрийской школы. А кто сможет сегодня перед лицом взрывов, потрясающих капиталистический мир, перед лицом империалистических войн и социалистических и колониальных революций говорить о гармонии капиталистического общества, когда о сумерках капиталистических богов заговорили даже жрецы капиталистической экономии. Учение же например Бембаверка, апологета буржуазной антимарксовской экономики, так же пригодно для анализа послевоенного кризиса капитализма, как пригодны учения средневековых китайских врачей для лечения болезней.

Опираясь на свое учение о законах развития мира, о законах развития капитализма, опираясь на опыт всех буржуазных революций, на опыт первых шагов пролетарской революции, Маркс начертал путь развития того общественного кризиса, который был заложен в капиталистических противоречиях.

Когда мы сегодня, на 16-м году пролетарской революции в СССР, осуществив первую пятилетку, построив фундамент социализма, перечитываем сочинения Маркса под углом зрения его анализа законов социалистической революции, под углом зрения его политических указаний, то нас невольно охватывает глубочайшее изумление. Перед нами встает вопрос:

как это было возможно десятилетия тому назад предугадать, что между периодом капитализма и периодом социализма будет существовать переходный период, в котором государственная власть будет представлять собой диктатуру пролетариата, как это можно было угадать, что пролетариату для победы нужен союз с крестьянством, как это можно было угадать роль колониальных революций? Но все это не было колдовством, не было предвидением чародея. Все марковские предвидения — вывод из глубочайшего анализа существа капиталистического общества, его анатомии и биологии, вывод из глубочайшего знания социальной природы буржуазии, пролетариата и крестьянства, вывод из глубочайшего анализа своеобразия буржуазной и социалистической революций, их сходства и их различия. При помощи своего диалектического метода, умеющего связать все явления общественной жизни и понять переход одного явления в другое, Маркс выработал такую теорию развития капитализма, что она не могла стать устарелой, пока существует капитализм. Капитализм не стоял на месте. Он развивался при жизни Маркса, затем вылился в монополистические формы. Именно потому, что Маркс не был колдуном, а только великим ученым, он, понятно, не мог дать анализа конкретных форм развития, совершившегося только после его смерти. Эту задачу анализа особенностей монополистического капитализма мог дать пролетариату только Ленин, величайший ученик и преемник Маркса. Но так как монополистический капитализм не устранил товарного хозяйства, не устранил конкуренции, не устранил закона ценности как основы хозяйства, то нельзя понять монополистического капитализма, не зная марковского учения о капитализме. Монополистический капитализм не изменил существа основных классов капиталистического общества, не устранил

остатков феодализма, остатков докапиталистических классов и слоев, а потому весь конкретный анализ классовых отношений, данный Марксом, остался нерушимым и живым, остался глубоким источником для понимания того, что происходит в недрах гниущего капитализма. Понятно, классовые отношения в современном Китае не те же самые, что существовали во Франции времен Великой революции или 48-го года. Ликвидация остатков феодализма в Китае происходит не в период господства ремесленных и мануфактурных способов производства. Несмотря на наличие в Китае домашнего труда и торгового капитала, сплетающегося с феодальной эксплуатацией, на развитие этой страны глубочайшее влияние оказывает монополистический капитализм — и через Хань-Юпинский комбинат, и через шанхайские верфи и текстильные фабрики, и через японо-англо-американскую конкуренцию. Марксизм не является отмычкой, он требует — для объяснения конкретного исторического явления — самостоятельного исследования соотношений разных хозяйственных и политических элементов, требует установления ведущих начал данной формации в период ее возникновения, расцвета и упадка. Но учение Маркса содержит все элементы, позволяющие разгадать социально-политический облик даже таких явлений, как колониальная революция, происходящая в условиях, отличных от европейских.

Один французский писатель-шутник только на-днях хоронил еще раз Маркса за то, что Маркс не предвидел фашизма. Современные буржуазные мыслители имеют большую склонность к мистике и к чудесам. Для них наука, позволяющая овладеть воздухом, является только никчемной попыткой человеческого духа одеваться в мантию величия. Они требуют, чтобы наука нашла способ разговора с духом покойного фараона Тутанхамона. Но так же, как нелепо требовать от науки изобретения телефона для разговора с несуществующей душой покойного фараона, ислев-

шего три тысячи лет назад, такой же глупостью является и критика Маркса за то, что он не предвидел фашизма, т.е. совсем конкретных форм гибели капитализма. Но пусть кто-нибудь попытается, не владея марксо-ленинским методом, объяснить возникновение в Германии — стране электричества и азотных заводов — власти, представители которой называют мировое хозяйство ассирийской выдумкой, проповедают изгнание евреев как людей нечистых и устами своих «философов» обосновывают самые дикие суеверия. Без учения Маркса нельзя понять ни прошлой истории человечества, ни кризиса, переживаемого капиталистическим миром, ни путей возникновения социалистического общества. Если до пролетарской революции в России в 1917 г. надо было отстаивать правильность учения Маркса в борьбе с буржуазной философией, с буржуазными экономистами и социологами, то историческая проверка этого учения в грознейших событиях современности дала такие результаты, что теперь даже слепо может нащупать буквально материально все узлы великих линий учения Маркса.

Учение его о бунте производительных сил против производственных отношений находит свое величайшее подтверждение во всемирном кризисе капитализма. Капитализм разбудил громадные производительные силы, но, будучи не в состоянии овладеть этими силами, их развитием, он вызвал кризис, потрясший основы всего мира, кризис, из которого не может указать выхода ни один буржуазный экономист. Классовые противоречия, раздирающие капиталистический мир, приняла такие размеры, что буржуазии повсюду приходится, год за годом, ликвидировать остатки буржуазной демократии и провозглашать господство дикого насилия капиталистических классов над десятками миллионов пролетариев, трудом ко-

торых этот капитализм создан и живет. Обнаженная диктатура фашизма, срывающая с себя все покровы демократии, сбрасывающая с себя все маски свободы, поворачиваясь к народным массам лицом дикого зверя, по необходимости ускóрит мобилизацию рабочих масс в армию, борющуюся за диктатуру пролетариата. Диктатура пролетариата в СССР толковалась трусами, не решавшимися открыто порвать с марксизмом, но на деле ежедневно предающими учение Маркса, как результат того факта, что русский пролетариат являлся незначительным меньшинством в море мелкобуржуазного населения. Разве теперь, когда буржуазия создает фашистскую диктатуру в Германии, кто-нибудь может мечтать о том, что можно вырвать из рук королей угля и железа их меч, направленный против пролетариата, каким-либо иным способом, кроме насилия, и кто может, не вставая открыто на сторону классового врага, проповедывать, что после того, как революция сломит фашизм, она должна предоставить буржуазии свободу еще раз выковать этот меч? Маркс считал основным в своем учении учение о диктатуре пролетариата. И в этом основном вопросе история проверила его учение блестяще — и позитивным, и негативным путем. В СССР при помощи диктатуры пролетариата разбито господство помещиков и капиталистов и построен фундамент социализма: страна находится в процессе стройки социалистического здания. В СССР политика верных учеников Маркса, политика коммунистической партии, проводящая под руководством Ленина и Сталина в жизнь учение Маркса, доказала, что путь Маркса ведет через диктатуру пролетариата к социализму. В Германии отказ от учения Маркса самой крупной партией Второго интернационала привел к фашизму, уничтожившему те демократические свободы, которые якобы позволяли пролетариату достигнуть социализма без диктатуры.



Незыблемость учения Маркса не означает, что развитие эпохи империализма не требовало ответа на новые вопросы, не требовало применения марксова учения к новым явлениям, не требовало дальнейшего развития марксизма. Само собой понятно, что эпоха империализма, эпоха социалистической революции, эпоха колониальных революций, эпоха строительства социализма поставили перед марксизмом новые вопросы, требуя от марксистов дальнейшего развития учения Маркса. Именно те, которых оппортунисты представляли в виде окаменелых догматиков, русские большевики с Лениным во главе, воспользовавшись мощным оружием марксизма для революционной мобилизации рабочего класса, для победы над капитализмом, всей работой своей жизни служили делу живого марксизма, говоря словами Сталина, т. е. делу поднятия марксизма на новую ступень, обогащая его новым историческим опытом.

Тот факт, что именно Ленин, поднимая марксизм на новую ступень, навсегда соединил свое имя с именем Маркса и Энгельса, явился не случайным. Он явился не только результатом того факта, что Ленин лучше, чем кто бы то ни было другой из учеников Маркса, понял революционную сущность этого учения и потому мог развивать это учение дальше на основе опыта пролетарской революции. Ленин потому мог лучше других понять революционное существо учения Маркса, что подошел к марксизму с первых своих шагов как к оружию пролетарской революции, что искал в марксизме стратегии для освобождения пролетариата. Россия, страдающая под гнетом остатков феодализма и под новым гнетом капитализма, была беременна революцией. В письме к Николаю—оному от 22 сентября 1892 г. Энгельс писал, что «почтенные консерваторы, насаждавшие в России капитализм, будут в один прекрасный день страшно изу-

млены неожиданными последствиями их собственных дел». А 17 октября 1893 г., отклоняя толкование Струве, который сравнивал Россию с Соединенными Штатами, предсказывая, что «бедственные последствия новейшего капитализма в России будут побеждены с такой же легкостью, как в Соединенных Штатах», — Энгельс писал, что «всякому должно быть ясно, что в России занимающая нас перемена должна иметь гораздо более сильный и резкий характер и сопровождаться несомненно большими страданиями, чем в Америке». На словах это понимали и основоположники группы «Освобождение труда», позднейшие меньшевики. Но только Ленин, вышедший из недр молодого пролетарского движения России, ощущающий приближение революционных потрясений всеми фибрами своей души, не на словах, а на деле отыскал в учении Маркса рычаг для подготовки революции. И потому с первых своих работ он изучает Маркса не как социологическую схему, а как стратегию революции, выстраивая во всех малейших оттенках революционное учение Маркса, которое для эпигонов Второго интернационала стало учением об эволюции. Только Ленин, ведущий с самого начала своей политической деятельности бешеную борьбу против всех искажений, марксовой теории, против всех отступлений от марксизма, мог не только применять на практике марксизм к пониманию задач русского пролетариата, но и мог — там, где марксистские тексты не давали ответа на особенные переплеты явлений, — решать вопросы по-марксистски — на основе его учения, на основе его метода. И только выросши в таком революционном применении, марксизм Ленина должен был дать ответы на все новые вопросы, поставленные перед марксизмом историей, — были ли это вопросы марксистской философии, выдвинутые кризисом современного естествознания, или это были вопросы, возникшие перед мар-

ксизмом в эпоху империализма, мировой войны, демократической Февральской революции, перерастающей очень своеобразным образом в революцию социалистическую. Разработка Лениным теории империализма является применением марксова экономического учения к эпохе монополистического капитализма. Разработка Лениным марксовой теории революции в период 1905 года, в период империалистской войны, в период Февральской революции и после Октября; разработка Лениным учения Маркса о диктатуре пролетариата, об отношении к крестьянству, об отношении к колониальным революциям; разработка Лениным учения Маркса о роли партии, — все это является обогащением марксистской теории живым опытом новой исторической эпохи — гибели капитализма и рождения социалистической революции. Не понимая того нового, что внес Ленин в марксизм, не понимая, как и почему он поднял марксизм на новую историческую ступень, нельзя теперь быть марксистом, ибо марксизм требует конкретного ответа на новые исторические вопросы. Величие марксизма состоит в том, что Ленину для поднятия его на более высокую историческую ступень не приходилось ничего отбрасывать из марксизма, не приходилось ревизовать марксизм, что ему приходилось только развивать то, что было заложено в марксизме, развивать мысли Маркса в применении к новой обстановке, к новым явлениям.

Переход марксизма на новую ступень — марксизма - ленинизма — стал возможным при помощи применения восстановленного, обогащенного, заново разработанного Лениным учения Маркса о диалектике.

Ни материально, ни по методу не устарела ни одна из частей учения

Маркса. Рожденный в эпоху последних буржуазных революций и первых шагов пролетарских революционных движений, марксизм в эпоху империализма и пролетарских революций набухает новой жизнью, впитывает соки из новой действительности и развивается уже не только как теория разрушения капитализма, а как теория строительства социализма. Если Ленину пришлось уже в тех работах, где разбирались вопросы разрушения капитализма (например «Государство и революция»), восстанавливать гениальные мысли, которые Маркс и Энгельс высказывали насчет характера переходного хозяйства, насчет метода строительства социализма; если позже, в работах, посвященных задачам советской власти в период военного коммунизма и в период нэпа, Ленин, опираясь на Маркса, создает основы учения о строительстве социализма, — то после смерти Ленина перед его наследником Сталиным встает не только задача дальнейшей разработки учения Ленина о диктатуре пролетариата, о законах развития международной социалистической революции, о партии, но в первую очередь разработка теории строительства социализма. И, как Ленину приходилось, опираясь на все учение Маркса, развивать его на основе требований революции, так же приходится Сталину, опираясь на учение Маркса и Ленина, развивать это учение дальше, конкретизировать его как теорию строительства социалистического общества.

Сейчас, в пятидесятую годовщину смерти Маркса, его учение более живо, чем оно было после его смерти, чем оно было перед великой исторической проверкой эпохи империализма и социалистической революции, ибо многие части этого учения, мертвые для периода сравнительно спокойного развития, не обращающие тогда на себя внимания многих революционеров как «не злободневные», теперь насыщены жизнью,

проблемами наших дней; они встают перед нами в свете великих запросов революционной эпохи. Маркс сегодня для нас — источник науки о том, что приходится делать не только партии передовиков пролетариата, но и науки о том, что должны делать и что делают десятки миллионов рабочих и крестьян. Маркс жив для нас как учитель пролетарской революции, как учитель сотен миллионов колониальных рабов, поднимающихся на восстание против империализма, как учитель десятков миллионов, которые под игом фашизма борются за диктатуру пролетариата. Маркс жив для нас как учитель, помогающий нам переделать естествознание в мощное орудие борьбы с природой. Маркс наконец учит созданию новой культуры человечества, которая вбирает в себя — и прорабатывает — все культурное наследство

прошлого человеческой мысли. Лозунг Маркса, с которым Коммунистический интернационал и ВКП обратились в 50-ю годовщину Маркса к миллионам рабочих и крестьян, к сотням тысяч революционной интеллигенции, — это лозунг: «Вперед к овладению марксизмом — величайшим орудием освобождения человечества!»

Человечество пройдет через огонь испытаний, и во всех этих боях, и во всех этих испытаниях оно победит. Пролетариат — могильщик капитализма и строитель социализма не только потому, что он является самым мощным классом современного общества, а и потому, что в марксизме и ленинизме он имеет учение, позволяющее ему сэкономить человечеству многие страдания и сократить путь, который надо пройти от капитализма к социализму.

„Орел“ в бою

Из 2-й книги „ДУСИМА“.

А. С. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

I

На «Орле» отбили две склянки. Гул судового колокола не успел еще замереть, как раздалась знакомая, тысячу раз мною слышанная мелодия утренней побудки. Это на верхней палубе играл горнист, прикладывая к губам трубу, сверкающую начищенной медью. Щеки горниста вздувались, глаза неестественно пучились, когда он выводил длинные минорные звуки сигнала. Сейчас же на палубах залились дудки капралов и старшин, послышались окрики:

- Вставай! Койки вязать!
- Живо вставай!
- Протирай очи!
- Шевелись всеми суставами!

Те матросы, которые спали, на этот раз торопливее вскакивали со своих мест. В эту тревожную ночь немногие пользовались подвесными койками; большинство провели ее, прикурнув где попало. Никто не раздевался. Быстро бежали к умывальникам, чтобы наскоро сполоснуть лицо холодной забортной водой. Утро проходило, как и в обыкновенные дни: завтракали, убирали палубы и другие помещения.

Дул зюйд-вест на четыре балла. Над волнующимся морем, скрывая в себе что-то подстерегающее, висела серая мгла. Медленно поднималось солнце, кумачево-красное, огромное, словно распухшее от напряжения.

Эскадра, разделенная на две колонны, шла девятиузловым ходом по курсу норд-ост 50°, направляясь в

Цусимский пролив. Строй ее был тот же, что и накануне. Правую колонну возглавлял броненосец «Суворов», под флагом вице-адмирала Рожественского, левую — броненосец «Николай I» под флагом контр-адмирала Небогатова. Впереди строем клина двигались разведочные крейсера: «Светлана», «Алмаз» и «Урал».

В начале шестого наши сигнальщики и мичман Щербачев, вооруженные биноклями и подзорными трубами, заметили справа пароход, быстро сближавшийся с нами. Подойдя кабельтовых на 40, он лег на параллельный нам курс. Но так шел он лишь несколько минут и, повернув вправо, скрылся в утренней мгле. Ход он имел не менее 16 узлов. Флага его не могли разобрать, но своим поведением он сразу навел на подозрение, — вероятно это был японский разведчик. Надо было бы немедленно послать вдогонку за ним два быстроходных крейсера. Потопили бы они его или нет, это неважно, но по крайней мере выяснили бы чрезвычайно важный вопрос: открыты мы противником или все еще находимся в неизвестности? А согласно с этим должна была бы определиться и линия поведения эскадры. Но адмирал Рожественский не предпринял никаких мер против загадочного судна¹⁾.

¹⁾ Это был, как выяснилось после боя, японский вспомогательный крейсер «Синано-Мару», находившийся в ночной разведке. Перед рассветом он натолкнулся на одно наше госпитальное судно, привлеченный его яркими огнями. Спустя некоторое время была откры-

Около семи часов с правой стороны, дымя двумя трубами, показался еще один корабль, шедший сближающимся курсом. Когда расстояние до него уменьшилось до 50 кабельтовых, то в нем опознали легкий неприятельский крейсер «Идзуми». Целый час он шел с нами одним курсом, как бы дразня нас. Конечно не напрасно он оставался у нас на виду. Это сказывалось на нашей радиостанции, нервно воспринимающей непонятный для нас шифр. То были донесения адмиралу Того, извещавшие его, где мы находимся, с какой скоростью и каким курсом идем, как построена наша эскадра. Адмирал Рождественский сигналом приказа судам правой колонны навести орудия правого борта и кормовых башен на «Идзуми». Но тем только и ограничились, что взяли его на прицел. А наши быстроходные крейсера и на этот раз ничего не предприняли.

На баке слышался разговор:

— Что же это герой гульского инцидента смотрит там и не приказывает открыть огонь по японцу.

— Да, хоть небольшой крейсер, а все же лучше, чем рыбацкие лайбы.

— Ничего вы не понимаете. Начни стрелять — японцы на других судах перепугаются и разбегутся. С кем тогда сражаться? И ордена не за что будет получить.

Эскадра продолжала идти вперед тем же строем.

На верхней палубе я встретил инженера Васильева, шагающего при помощи костылей. Мы остановились около борта, против офицерского люка. Вокруг нас никого не было. Он заговорил со мною:

— Как и надо было ожидать, нам не удалось проскочить мимо японцев незамеченными. Значит, скоро предстоит сражение. А раз так, то зачем же мы продолжаем вести с собою транспорты? Пока не поздно, их можно отослать в какой-нибудь нейтральный порт. Сде-

та японцами и вся наша эскадра. Командир названного разведочного крейсера, капитан 2-го ранга Нарикава, сейчас же телеграфировал адмиралу Того: «Враг в квадрате № 203 и, повидимому, идет в Восточный пролив».

лать это легко. Прежде всего нужно отогнать японский крейсер. А тем временем транспорты воспользуются мглстой погодой и скроются в морской дали, ничем не рискуя. От такого маневра будет тройная польза: во-первых, уцелеют транспорты, во-вторых, наши крейсера, освобожденные от несения охраны ненужного в бою обоза, могут принять более активное участие в предстоящем сражении, в-третьих, эскадренный ход наших боевых судов увеличится с девяти на двенадцать узлов.

— Очевидно Рождественский верит в свою победу, — сказал я.

— Такая глупая вера, не основанная на здоровой логике и цифрах, нужна только полам, а не командующему эскадрой.

— Вы негодуете против адмирала за его промахи. Но ведь вы сами не раз внушали мне мысль: чем хуже будут наши дела на войне, тем больше выигрывает от этого революция. Не так ли.

Васильев сурово надвинул черные брови на карие глаза.

— Совершенно верно. И я не думаю отказываться от своих слов. Если японцы разгромят вторую эскадру, последнюю надежду нашей империи, то это будет поважнее, чем разорвать бомбой какого-нибудь министра или даже великого князя. Поражение войск — это крах всей государственной системы. Уже теперь сами защитники власти перестают верить в эту власть. А с другой стороны надвигается страшная сила разгневанных народных масс. Конечно, несмотря ни на что, правители никогда сами не уходят от власти. Они всегда ждут, пока их не порежут их же верноподанные, — ждут революции. Все это для меня ясно. Но в то же время я не могу без боли в сердце думать о гибели наших кораблей, населенных живыми людьми. Такая двойственность...

Из офицерского люка показалось юное лицо мичмана Воробейчика.

— Да, японцы усиленно следят за нами, — сказал Васильев и пошagal к кормовому мостику, сердито стуча костылями о деревянный настил палубы.

По распоряжению адмирала разведочный отряд переместился в тыл эскад-

ры, — «Светлана» вступила в кильватер транспортам, а «Урал» и «Алмаз» расположились по сторонам ее. Крейсера «Жемчуг» и «Изумруд», державшиеся справа и слева, снаружи колонн, теперь выдвинулись немного вперед. Плоучие госпитали шли позади хвостовых судов.

В 8 часов, по случаю праздника коронования царя и царицы, были подняты андреевские флаги на гафеле и на стенах обеих мачт. Эти же флаги имели значение и боевых.

Настроение экипажа сверх обыкновения было приподнятое. Слышался оживленный говор. Некоторые, забравшись в укромный уголок, играли в шашки, другие читали книги. В одной кучке спорили, может ли человек за один присест съесть пятнадцать фунтов черного хлеба. Страшно было думать о том, что этим людям сегодня предстоит участвовать в сражении, в котором, быть может, многие найдут себе смерть. Как будто нарочно они рисовались друг перед другом своим равнодушием к опасности.

Объясняется это только тем, что уж слишком надоела такая жизнь. Около восьми месяцев мы протрепались в чужих морях, редко съезжая на берег, выполняя непосильные работы, перенося голод, испытывая изнуряющую тропическую жару, валяясь в грязи.

Кроме того, со дня отплытия из Либавы нас не переставали пугать нападениями со стороны японцев. Слухи указывали, что они подстерегают нас всюду. В особенности усилилась тревога после Мадагаскара, а еще больше — после Аннамских вод. Каждую ночь мы проводим в ожидании минных атак. Теперь все это кончалось, и приближалась развязка: одним — холодная могила в этих водах, другим — избавление и отдых на родной земле: разве не прорвется во Владивосток хоть часть эскадры?

В десятом часу слева, впереди траверза, в расстоянии около 60 кабельтовых, показались уже четыре неприятельских корабля. Один из них был двухтрубный, а остальные — однотрубные. С нашего переднего мостика долго

всматривались в них, прежде чем определили их названия: «Хашидате», «Матсushima», «Итсужушима» и «Чин-Иен» (двухтрубный). Это были броненосцы второго класса, старые, с малым ходом, с водоизмещением от четырех до семи тысяч тонн. На судах эскадры пробили боевую тревогу. Орудия левого борта и 12-дюймовых носовых башен были направлены на отряд противника. Многие из нас предполагали, что наши быстроходные броненосцы первого отряда и «Ослябя» из второго отряда, а также наиболее сильные крейсера «Олег» и «Аврора» немедленно бросятся на японцев. Пока подоспели бы их главные силы, эти четыре корабля были бы разбиты. Но адмирал Рожественский почему-то воздерживался от решительных действий. И неприятельские броненосцы удалились от нас настолько, что едва стали видны.

Сейчас же на смену им появились с той же левой стороны еще четыре легких и быстроходных крейсера. В них опознали: «Читозе», «Касаги», «Нийтака» и «Тсусима». Теперь не было никакого сомнения, что роковой час приближается. К нам подтягивались неприятельские силы. Поименованные четыре крейсера, как и предыдущие суда, пошли с нами одним курсом, понемногу сближаясь с эскадрой. На них также лежала обязанность извещать своего командующего о движении нашего флота. А наш штаб, как раньше, так и теперь, и не думал помешать этому.

На вспомогательном крейсере «Урал» был усовершенствованный аппарат беспроволочного телеграфа, способный принимать и отправлять телеграммы на расстояние до семисот миль. С помощью такого аппарата можно было бы перебить донесения японских крейсеров. Почему бы нам не воспользоваться этим? С «Урала» по семафору спросили на это разрешения у Рожественского. Но он ответил:

— Не мешайте японцам телеграфировать.

На «Урале» вынуждены были отказаться от своего весьма разумного намерения.

Чтобы так пренебрегать противником, нужно было иметь очень большую уверенность в превосходстве своих сил. А этой уверенности ни у кого из нас не было. Чем же объяснить целый ряд нелепых поступков Рождественского? Изменой? Нет. С точки зрения шовинистического патриотизма он был неподкупным начальником. Но чрезвычайная заносчивость, доводящая его до умственного ослепления, мешала ему мыслить и правильно руководить подчиненными. Так было и в данном случае. Как мог например осмелиться командир только вспомогательного крейсера, какой-то капитан 2-го ранга, напоминать ему, командиру эскадры, вице-адмиралу Рождественскому, что нужно в том или другом случае делать? Для него это было равносильно оскорблению¹⁾.

В одном нельзя было ему отказать, — это в лакейской преданности царедворца. На горизонте уже собирались грозные тучи неприятельских сил, а он хорошо помнил, что сегодня — величайший праздник, день коронавания их императорских величеств. Об этом он заботливо оповестил эскадру сигналом со своего корабля.

На нашем «Орле» засвистали дудки, раздались, как всегда, зычные голоса вахтенных унтер-офицеров:

— На молебен!

— Бегай на молебен!

¹⁾ Адмирал Рождественский потом, в следственной комиссии, показывал, что «Урал» просил у него разрешения помешать японцам телеграфировать не 13-го, а 14 мая. «Я, — говорит он дальше, — не разрешил «Уралу» этой попытки потому, что имел основание сомневаться, что эскадра открыта».

(«Русско-японская война», книга третья, выпуск 4-й, стр. 21.)

Если бы это было действительно 13 мая, то распоряжение адмирала имело бы смысл. Но в том-то и беда, что такой случай произошел 14 мая, когда нас уже сопровождали японские разведчики. Так значится в моих личных записях. То же самое подтверждают офицеры с «Орла». Вот что лейтенант Славинский написал в своем донесении: «Около половины девятого утра (14 мая) «Урал» сигналом просил разрешения адмирала помешать телеграфировать японским разведчикам, но на «Суворова» было поднято в ответ: «Не мешать». («Русско-японская война», кни-

Матросов согнали в жилую палубу. Там, перед иконами сборной церкви, уже стоял в полном облачении судовой священник о. Паисий. Рыжая нерасчесанная борода его смялась, как трава, по которой прошло стадо, на рыхлом лице с потускневшими серыми глазами отражалась растерянность. Торопливо, без всякой торжественности произносил он слова молитв, думая очевидно совершенно о другом. С кислыми лицами, словно выполняя нудную обязанность, молились матросы. Одни стояли столбняком, другие, крестясь, помахивали рукою так, как будто отбивались от надоедливых комаров. В заключение разбродными голосами пропели многолетие царю и разошлись с матерной руганью.

К этому времени эскадра перестроилась по-новому. Первый и второй броненосные отряды, увеличив ход, обогнали левую колонну и приняли ее себе в кильватер. Транспорты держались справа у хвоста эскадры, вне боевой линии, под прикрытием крейсеров. Там же находились и пять миноносцев второго отделения. «Владимиру Мономаху» было приказано перейти на правую сторону транспортов для защиты их от «Идзуми». Легкие крейсера «Жемчуг» и

га трегья, выпуск 1-й, стр. 55.) То же самое написал и мичман Щербачев (в той же книге, стр. 64). Даже такой преданный адмиралу человек, как капитан 2-го ранга Семенов, вынужден был в следственной комиссии показать, что это было именно 14 мая утром. («Русско-японская война», книга третья, выпуск 4-й, стр. 97.) Но в своей книге «Расплата», где автор постоянно заявляет о точности своих записей, он об этом умалчивает.

Благодаря тому, что мы не мешали японским разведчикам телеграфировать, адмирал Того знал о нашей эскадре все, что нужно было знать командиру морскими силами. В рапорте о бое 14 мая вот как он отзывался о своей разведке:

«Несмотря на густую дымку, ограничивающую видимость горизонта всего пятью милями, полученные донесения позволяли мне, находясь в нескольких десятках миль, иметь ясное представление о положении неприятеля. Таким образом, еще не видя его, я уже знал, что неприятельский флот состоит из всех судов 2-й и 3-й эскадр; что их сопровождают семь транспортов; что суда неприятеля идут в строе двух кильватерных колонн...»

(«Описание военных действий на море в 37—38 гг. Мейдзи», стр. 178.)

«Изумруд», исполняющие роль репетиционных судов, тоже перешли направо и вместе с четырьмя миноносцами первого отделения держались недалеко от кильватерной колонны новейших броненосцев. Таким образом наш походный строй изменился в боевой.

До этого мы целых два часа шли походным строем на виду неприятельских разведочных судов. И никто из нас не знал, где находится противник со своими главными силами. Он мог быть далеко, мог быть и близко. Предположим, что он внезапно вынырнул бы из мглы, ограничивающей видимость горизонта на пять-шесть миль. А такое расстояние, судя по артиллерийским сражениям, было почти доступно для японской артиллерии. Что нам оставалось бы делать? Начать перестраиваться под огнем противника из походного порядка в боевой. Но только-что проделанный опыт нам показал, что на такое перестроение потребовалось потратить час времени. Японцы же с момента появления на горизонте, за каких-нибудь двадцать минут, сблизилась бы с нами настолько, что могли бы стрелять без промаха. При таком положении наша эскадра сразу же подверглась бы разгрому.

Четыре неприятельских крейсера продолжали идти слева на виду у нас. Расстояние до них уменьшилось до 40 кабельтовых. Их все время держали под прицелом наших орудий. Многие волновались, почему командующий не отдает приказа открыть огонь. Вдруг с броненосца «Орел» из левой средней б-дюймовой башни раздался выстрел, сделанный нечаянно наводчиком. Все вздрогнули. Снаряд с гулом полетел по назначению и упал недалеко от носа второго японского корабля. На других судах, поняв наш выстрел за начало сражения, открыли огонь. Противник стал отстреливаться. Его снаряды ложились отлично. К нашему удивлению, они разрывались от падения в море и вместе с фонтаном воды поднимали клубы черного дыма. Очевидно такие снаряды предназначались специально для пристрелки.

Однако, не имея пока достаточной

силы, японцы вынуждены были отступить и круто повернули влево. Бой длился около десяти минут без единого попадания с той и другой стороны. На «Суворове» подняли сигнал:

— «Не бросать даром снаряды».

На броненосце «Орел» многие торжествовали, видя в этом чуть ли не полную победу.

Старший боцман Саем, только-что вышедший на верхнюю палубу, смеялся над противником:

— Нет, япошки, это, видно, не с артиллерийской эскадрой сражаться.

Мичман Воробейчик одобрительно кивал головой и в свою очередь вставил:

— Только бы вот не напороться на подводные мины, а в артиллерийском сражении мы им устроим горячую баню.

Младший боцман Воеводин осторожно возразил:

— На такой большой глубине и ширине едва ли можно расставить мины. А что касается артиллерии, они, ваше благородие, тоже ловко стреляют.

Мичман Воробейчик рассердился:

— Боцман, укороти свой язык на полдюйма!

Воеводин, сдерживая себя, задвигал скудами.

На «Суворове» подняли сигнал:

— «Команда имеет время обедать повахтенно».

Мы хватили по получарке рому и приступили к обеду. Ели на своих постах, согласно боевому расписанию. Команде был разрешен отдых.

Некоторые матросы относились к предстоящему бою с таким равнодушием, как будто это их совсем не касалось.

— А теперь можно и всхрапнуть, — сказал фельдфебель Мурзин и отправился отдыхать на рундуки жилой палубы.

— А-я пойду дочитывать «Мещан» Горького, — промолвил гальванер Козырев и полез на марс фок-мачты.

Туда же забралось трое комендоров: Кильянов, Храмченко и Коткин. Первый слушал чтение, а остальные двое занялись игрою в шашки.

Я поднялся на поперечный мостик и стал наблюдать за неприятельскими крейсерами. «Идзуми» справа и четыре судна слева держались теперь на таком почтительном расстоянии, что силуэты их едва были заметны. Мы шли курсом норд-ост 50°, приближаясь к проливу, с левой стороны которого скрывается остров Цусима, а с правой — Япония. Скоро вероятно появится на горизонте со своей эскадрой адмирал Того, вызванный по радио разведкой. Несомненно, что согласно полученным о нас сведениям он сосредоточивает морские силы в Цусимском проливе. А раз так, то почему бы например не выдвинуть несколько быстроходных кораблей и не бросить их против неприятельских разведчиков? Пусть они вступят с ними в бой. Японцы еще не достаточно сильны, чтобы не отступить перед русскими. А тем временем эскадра наша, освободившись от транспортов, повернет влево, в Корейский пролив. Мглистая погода, ограничивая видимость до шести миль, благоприятствовала бы такому маневру. Конечно, противник все равно разыщет и догонит нас, но, пока он это сделает, мы, развив ход до двенадцати узлов, успеем пройти узкий пролив и будем далеко в Японском море. А что должны бы делать дальние оставшиеся наши быстроходные корабли? С боем отступать, когда к японским разведчикам подойдет помощь, отступать или в том направлении, куда ушла эскадра, или в Тихий океан и потом каким-нибудь другим проливом самостоятельно пробиваться во Владивосток. Может быть, из такого маневра ничего не вышло бы, но одно для меня было ясно, что эскадра не должна двигаться вперед с такой пассивностью.

Ко мне подошел Вася Дрозд и заговорил:

— Я эту ночь совсем не спал.

За время похода он очень осунулся. Тонкие и длинные ноги его, казалось, еще более вытянулись. Получалось впечатление, что он возвышается передо мною на ходулях. С бледного лица смотрели на меня беспокойные глаза с кровавыми жилками на белках.

— Боялся минных атак? — спросил я.

— Да нет. Другое было в голове. Попался мне в руки журнал без начала и конца. А в нем напечатана большая статья насчет самообразования. Замечательная статья! Оказывается, нужно знать, что читать и как читать. Достаточно на это дело тратить каких-нибудь три часа в сутки, но только умеючи. И знаешь, какая может быть польза? Когда через три станешь таким образованным, в роде как кончишь высшее учебное заведение. Правда это или нет?

— Приблизительно так, — подбодрил я его.

— Из целых суток я всегда сумею урвать для себя три часа.

Вася Дрозд улыбнулся и мечтательно добавил:

— Эх, кабы в тюрьму понасть, в одиночное заключение! Там, говорят, политическим можно ничего не делать, а только читай себе книжки, какие нравятся. Я бы в один год поумнел пуда на два. После службы обязательно что-нибудь сотворю. Будущей осенью в запас иду.

— До осени прожить надо. Посмотри, вон они идут, — показал я на японские крейсера.

— Я уж думал об этом и даже песенку сочинил. Ее можно петь на мотив «Гусары». Но я придумаю для нее свой мотив. Вот какие слова:

Над башнями небо синее...
Что ждет нас в далеком краю?
И сердце в груди цепенеет
За жизнь молодую мою.

Быть может, погибнуть придется
В далеких восточных водах.
Чье сердце на смерть отзовется
И месть в чьих проснется сердцах?

За наши бесплодные муки
За жертвы судьбы роковой...

Дальше надо бы что-нибудь насчет революции, а вот не выходит. Потом я эту песню все-таки закончу. Заново всю переделаю.

Вася Дрозд, увидав проходившего по палубе гальванера Голубева, крикнул ему:

— Погоди, друг! Я сообщу тебе интересную новость.

И спустился с мостика вниз.

В судовой колокол пробили восемь склянок — полдень. С новой сменой вахты на «Орле» управление кораблем перешло в боевую рубку. Мы в это время находились против южной оконечности острова Цусима. По сигналу командующего эскадры легла на новый курс: норд-ост 23° , взяв направление прямо на Владивосток.

Инженер Васильев стоял на кормовом мостике, куда забрался при помощи матросов, и в последний раз сумрачно созерцал эскадру. Действительно, было на что посмотреть. Наша армада так растянулась, что концевые корабли терялись в серой мгле. Даже представить было трудно, что такую силу могут уничтожить.

II

Туман, надвинувшись над морем, скрыл от нас на время японские разведочные суда. Командующий, желая очевидно воспользоваться этим, начал перестраивать свои линейные корабли в какой-то новый порядок. Какова была в этом цель? Никто не знал. Придется подробнее остановиться на этом маневре, чтобы яснее потом представить, какие губительные последствия он повлек за собою при встрече с главными неприятельскими силами.

По сигналу командующего первый и второй броненосные отряды должны были, увеличив ход до одиннадцати узлов, повернуть последовательно вправо на восемь румбов. Приказ этот выполнялся так: сначала повернул вправо под прямым углом флагманский корабль, а затем, дойдя каждый до места его поворота, то же самое проделали «Александр», «Бородино» и «Орел». Иначе говоря, все эти корабли, выполняя поворот последовательно, шли по струе головного. В это время снова показались из мглы японские разведчики. Чтобы не обнаружить перед ними своего замысла, Рождественский первый своей приказ в отношении второго отряда отменил, оставив его следовать преж-

ней кильватерной колонной. Многие из офицеров полагали, что четыре лучших броненосца, перечисленных выше, будут посредством поворота «все вдруг» влево развернуты в строй фронта. Но этого не случилось. Когда эти корабли в отношении остальной части эскадры образовали прямой угол, командующий отдал приказ:

— Первому броненосному отряду повернуть последовательно на восемь румбов влево.

Здесь произошла путаница. «Александр» пошел в кильватер «Суворову», а «Бородино», не поняв сигнала, сделал поворот влево одновременно с флагманским кораблем. Заколебался на некоторое время и «Орел», сбитый с толку предыдущим броненосцем. В нашей боевой рубке началась горячка. Командир судна, капитан 1-го ранга Юнг, крикнул старшему штурману, лейтенанту Саткевичу:

— Вы ошиблись. Сигнал вероятно был — повернуть вдруг!

Точный и аккуратный по службе, лейтенант Саткевич ответил уверенно:

— Этого не может быть. Сигнал разбирал я лично и сигнальный старшина Зефиров.

Командир, не удовлетворившись таким объяснением, распорядился:

— Лейтенант Славинский, проверьте. Вахтенный начальник Славинский, всегда уравновешенный и неторопливый, на этот раз быстро посмотрел в сигнальную книгу и доложил:

— Ошибки нет. Сигнал был — повернуть последовательно. «Бородино» путает.

Прочитал то же самое и вахтенный офицер, мичман Щербачев.

Командир успокоился, тем более, что и «Бородино», перележив руля, вожигался за «Александром».

В конце концов первый отряд выстроился в кильватерную колонну. Эта колонна, выдвинувшись вперед и образовав уступ, шла отдельно от остальной части эскадры параллельно с нею курсом. Опять эскадра оказалась в двух колоннах, из которых правую вел «Суворов», левую — «Ослябя». Расстояние

между этими двумя параллельными курсами было в 13 кабельтовых¹⁾.

В 1 ч. 20 м. пополудни на «Орле», где с разрешения начальства многие матросы спали, прогремела команда:

— Вставай! Чай пить!

Для команды заваривался чай прямо в самоварах. Их было на броненосце несколько штук, огромных, блестящих красной медью. К ним с чайниками в руках подбегали матросы. Однако на этот раз не всем пришлось попить чаю.

Через пять минут справа по носу

¹⁾ Для чего все-таки был проделан этот нелепый маневр? Чины штаба Рожественского лишь задним числом придумали объяснение. Вот что говорит приверженец адмирала, капитан 2-го ранга В. Семенов, в своей книге «Бой при Цусиме» (изд. Вольф, 1911 г., стр. 25—26):

«Подозревая план японцев — пройти у нас под носом и набросать плавающих мин (как они это сделали 28 июля), адмирал решил развернуть первый отряд фронтом вправо, чтобы угрозой огня пяти лучших своих броненосцев отогнать неприятеля.

С этой целью первый броненосный отряд сначала повернул «последовательно» вправо на 8 румбов (90°), а затем должен был повернуть на 8 румбов влево «все вдруг». Первая половина маневра удалась прекрасно, но на второй вышла недоразумение с сигналом: «Александр» пошел в кильватер «Суворову», а «Бородино» и «Орел», уже начавшие воротачь «вдруг», вообразили, что ошиблись, отвернули и пошли за «Александром». В результате вместо фронта первый отряд оказался в кильватерной колонне, параллельной колонне из второго и третьего отрядов и несколько выдвинутой вперед».

Абсурдность версии, выдвинутой Семеновым, ясна сама по себе и прятана лишь для оправдания действий Рожественского. У нас на броненосце точно разобрали сигнал командующего. Это официально доказано свидетельскими показаниями лейтенанта Славинского и мичмана Щербачева. Кроме того, трудно допустить, чтобы «Александр» ошибся. Не говоря уже о том, что на нем были исправные сигнальщики, он находился ближе всех к флагманскому кораблю и, следовательно, лучше других видел поднятый на нем сигнал. Но допустим, что Семенов прав: «Александр» ошибся и вместо того, чтобы повернуть «вдруг», пошел за «Суворовым». Что из этого следует? Маневр был затеян не для забавы, а изменял всю боевую ситуацию. Значит, к этому нужно было бы отнестись с сугубой серьезностью и, пользуясь отсутствием главных сил противника, немедленно исправить допущенную ошибку. Что же однако помешало Рожественскому перестроить первый отряд в строй фронта?

смутно начали вырисовываться на горизонте главные силы неприятельского флота. Число их кораблей все увеличивалось. И все они шли кильватерным строем наперерез нашему курсу.

Кончено. Теперь, не имея преимущества в скорости хода, мы никуда не можем от них скрыться. Этим-то и отличается морское сражение от сухопутного. На суше можно затеряться в долинах, за горами, в лесах. Здесь все открыто и, насколько хватает глаз, все видно на водной равнине, колеблемой четырехбалльными волнами. И вообще война на море имеет свои особенности. На суше командующий не видит самого боя, а имеет о нем представление лишь по донесениям младших начальников. Здесь у командующего эскадрой все происходит на виду, он непосредственно наблюдает за оперативными действиями. Там начальник, чем выше занимает положение, тем меньше подвергается опасности, скрываясь в глубоком тылу. Здесь во время сражения, находясь на ограниченной пловучей платформе, все без различия звания и занимаемого положения уравниваются перед неприятельскими снарядами. А флагманский корабль еще больше рискует быть разбитым, потому что на его мачтах развевается адмиральский флаг, как будто нарочно для того, чтобы привлечь огонь противника. При гибели корабля, когда нельзя будет спустить шлюпок и когда каждый человек, спасаясь, должен будет рассчитывать исключительно на свою ловкость, физическую силу и на умение плавать, — молодой матрос имеет больше шансов остаться живым, чем престарелый командир судна или адмирал.

Из-за облаков на несколько минут выглянуло солнце, осветив морской простор. Неприятельские корабли приближались. Наши офицеры старались определить их типы. Кто-то, указывая на головного, удивленно воскликнул:

— Смотрите: броненосец «Миказа»!

— Не может быть. «Миказа» давно считается погибшим.

— Значит, воскрес, если он здесь. Головным, действительно, оказался «Миказа» под флагом адмирала Того.

За ним следовали броненосцы: «Шикишима», «Фуджи», «Асахи», и броненосные крейсера — «Касура» и «Нисси». Вслед за этими кораблями выступили еще шесть броненосных крейсеров: «Идзумо» под флагом адмирала Камимура, «Якумо», «Асама», «Адзума», «Токива» и «Ивате».

На баке, сумрачно всматриваясь в неприятельские корабли, скопились кучки матросов. Некоторые из них, соблюдая старые морские традиции, вымылись перед смертью в бане и переоделись в чистое белье. Таких было немного, убежденных, что на том свете они должны предстать перед богом, как и на адмиральском смотру, в должном порядке, — за это будет облегчение за земные грехи. Здесь же находился и кочегар Бакланов в грязном рабочем платье. Он тоже устремил взгляд на приближающиеся корабли противника.

Священник Паисий, облаченный в ризу, с крестом в одной руке, с волосной кистью в другой, торопливо обходил верхнюю палубу. Его сопровождал, неся чашу со святой водой, рябой матрос, исполняющий на судне обязанности дьячка. Около каждой башни они оба останавливались, и священник наскоро кропил башню святой водой, а потом бормоча слова молитвы, благословлял крестом дула орудий.

Кочегар Бакланов, оглянувшись и увидав Паисия, заговорил:

— Смотрите-ка, ребята, — наш рыжий вонючий клоп колдовством занялся. Но только, по-моему, он зря старается. Сейчас начнется кормежка рыб человеческим мясом. А милостивый бог будет смотреть и радоваться, как христороливые воины захлебываются в море

Послышались раздраженные голоса:

— Замолчи ты, требуха проклятая!

— Законопатить бы ему рот паклей, он не будет зубоскалить.

Бакланов потер рукою свой тупой, как колено, подбородок, обернулся к товарищам и с усмешкой в заплывших глазах спросил:

— А что, ребята, никто из вас не знает, почему это у католической бо-

жьей матери груди полные, а у православной — тощие?

Некоторые матросы расмеялись.

Проиграли еще раз боевую тревогу. Все заняли свои места. Наступила полнейшая тишина. Жизнь на корабле как будто замерла. Чтобы предохранить судно от пожаров, работали помпы, из шлангов с треском били сверкающие струи, обильно поливая палубу. А шлюпки еще с утра были наполнены водою.

Согласно боевому расписанию я должен находиться в операционно-перевязочном пункте, расположенном с правого борта, на нижней палубе у главного сходного трапа со спардека. Когда я спустился туда, там уже находились оба врача, два фельдшера, санитары, а также прикомандированные: обер-аудитор и инженер Васильев, считавшийся инвалидом. Тут же прибыл еще один человек — священник Паисий, успевший уже снять с себя ризу. Я был назначен в распоряжение врачей.

Это помещение, выкрашенное в белую эмалевую краску, было довольно просторное. Каждый раз, когда били боевую тревогу, я спускался сюда. Во время нашего пребывания в тропиках здесь невозможно было работать, так как находившееся под нижней палубой отделение машинных цилиндров поднимало температуру в операционном пункте до шестидесяти градусов по Реомюру. Теперь же в более холодной климатической полосе жара здесь значительно понизилась. Были и еще неудобства: в операционный пункт нужно было спуститься с батарейной палубы по узкому и очень неудобному для переноски раненых трапу. Но зато сам коридор был широк и далеко вытянулся вдоль судна, кончаясь к носу тупиком, а к корме — машинной мастерской. Этот железный переулочек, расположенный в недрах броненосца, в случае надобности мог служить добавочным помещением для людей, выбывших из строя. Операционный пункт, устроенный в таком месте, имел то преимущество, что был изолирован от других отделений и хорошо защищен от неприятельских снарядов: сверху — двухдюймовой броне-

вой батарейной палубой, с бортов — тяжелой броней.

За время пути медицинский персонал, руководимый старшим врачом Макаровым, не переставал готовить перевязочный материал. Одних только индивидуальных пакетов имелось в запасе долторы тысячи. Каждый такой пакет, состоявший из бинта в саженей длиною и куска марли, завертывался в парафиновую бумагу и укладывался в особый ящик. Эти ящики, заклеенные, со знаком Красного креста, были распределены по всем мостикам, в боевой рубке, в башнях, в казематах и в других помещениях. Команда была заранее обучена, как нужно пользоваться индивидуальным пакетом. Для транспортирования раненых приготовили пятьдесят пар носилок, сделанных из парусины и бамбуковых палок. На каждой паре носилок был приспособлен для ног парусиновый карман, чтобы при спуске по трапу раненый не сползал вниз. Носильщики распределились по разным местам корабля, находясь под броневой защитой, а несколько человек из них остались при операционном пункте. Здесь же были запасены чаны и анкерки с пресною водой.

На этой же нижней палубе, поблизости, за переборкой, в районе машинной мастерской, расположился трюмно-пожарный дивизион. Его возглавляли двое: мичман Карпов и трюмный инженер-механик Румс. Последний за несколько минут до этого перешел в центральный пост, откуда ему будет удобнее получать распоряжения командира. Этим людям предстояло выполнять самую ответственную работу: тушить пожары, исправлять повреждения, заделывать пробоины и выпрямлять крен.

III

Наверху грохотали тяжелые башенные орудия, резко и обрывисто рвали воздух 75-миллиметровые пушки. От выстрелов содрогался весь корпус броненосца, выбрасывавший лезым бортом снаряды в неприятеля. Повидимому, бой разгорелся во всю силу, решая участь одной из воюющих сторон.

А внизу, в операционном пункте, не

было никакого движения. Ярко горели электрические лампочки. Нарядившись в белые халаты, торжественно, словно на смотре, стояли врачи, фельдшера, санитары, ожидая жертв войны. Около выходной двери, в сторонке от нее, сидел на табуретке инженер Васильев, вытянув недолеченную ногу с прибинтованным к ней лубком и держа в руках костыли. Он поглядывал на стоявшего поодаль священника Паисия, словно залобовался его эпитрахилью, переливающейся золотом и малиновыми цветами, его дарохранительницей, повешенной на груди, его огненно-рыжей бородой, окаймлявшей рыхлое и бледное лицо. В беспечной позе, заложив руки назад, привалился к переборке обер-аудитор Добровольский, не выражая на своем пухлом лице ни страха, ни удивления. Младший врач Авроров с русской овальной бородкой, небольшого роста, полнеющий блондин, скрестив руки на груди, согнул голову и о чем-то задумался. Быть может, мыслями он далеко унесся из этого помещения и беседует с дорогими лицами. Рядом с ним, пощипывая рукой каштановую бородку, стоял старший врач Макаров, высокий, худой, с удлинненным матовым лицом. И хотя давно все было приготовлено для приема раненых, он привычным взором окидывал свое владение: шкафы со стеклянными полками, большие и малые банки, бутылки и пузырьчики с разными лекарствами и растворами, раскрытые никелированные коробки со стерилизованным перевязочным материалом, набор хирургических инструментов. Все было на месте: морфий, камфара, эфир, валериана, нашатырный спирт, мазь, употребляемая при ожогах, раствор соды, иодоформ, хлороформ, иглы с шелком, положенные в раствор карболовой кислоты, волосяные кисточки, горячая вода, тазы с мылом и щеткой для мытья рук, эмалированные сточные ведра, — как будто все эти предметы выставлены для продажи, и вот-вот нахлынут цекупатели. Все молчали, но у всех, несмотря на разницу в выражении лиц, в глубине души было одно и то же напряженное ожидание чего-то страшного. Однако ничего страшного не

было. Отсвечивая электричеством, блестя эмаливой белизной стены и потолок помещения. Слева, если взглянуть от двери, стоял операционный стол, накрытый чистой простыней. Я смотрел на него и думал, чья жизнь будет корчиться на нем в болезненных судорогах? В чье тело будут войзаться эти сверкающие хирургические инструменты?

Освежая воздух, гудели около борта вдвунные и вытяжные вентиляторы, гудели настойчиво и монотонно, словно огромнейшие шмели.

Мы почувствовали, что в броненосец попали снаряды — один, другой. Все переглянулись. Но раненые не появлялись. Что же это значило? И у себя, и у других я заметил отсутствие страха. Люди начали обмениваться незначительными фразами и улыбаться друг другу. Не верилось, что это было настоящее сражение. Казалось, что мы участвуем лишь в маневрах со стрельбой, которые через час благополучно закончатся, — так неоднократно бывало раньше. И все почему-то обрадовались, когда первым пришел на перевязку кок Воронин. По расписанию, он находился у трапа запасного адмиральского помещения и должен был помогать раненым спускаться вниз.

— Ну, что с тобой голубчик? — ласково обратился к нему старший врач.

Кок по движению губ врача догадался, что его о чем-то спрашивают, и заорал в ответ:

— Я ничего не слышу, ваше высокоблагородие. Оглушило меня. Разорвался снаряд, и я полетел от одного борта к другому. Думал, аминь мне, а вот живой оказался.

Все с любопытством потянулись к нему, а он, подняв руку, показывал лишь один палец с небольшой царапиной Воронин, получив медицинскую помощь, ушел на свое место. Такое ничтожное поранение как-то не вязалось с громовыми выстрелами тяжелой артиллерии. В операционном пункте, не зная о ходе сражения, люди повеселели еще больше. Японцы уже не казались такими грозными, как мы о них думали, а наш корабль достаточно был защищен броней, чтобы сохранить свою живу-

честь и сберечь от гибели девятьсот человек.

Но скоро начали появляться раненые, сразу по нескольку человек. Одних доставляли на носилках, другие приходили или приползали сами. В большинстве своем это были строевые офицеры, квартирмейстеры, комендоры, оружейная прислуга, дальномерщики, сигнальщики, барабанщики — все те, кто находился на верхних частях корабля. Передо мною прошел ряд знакомых лиц. Вот прибежал матрос Суворов с мелкими осколками в спине и правой ноге, с кровавой раной в предплечье и ступне. Из офицеров первым прицесли на носилках мичман Туманов, который командовал левой 75-миллиметровой батареей. Его ранило осколком в спину. Он торопливо сообщил:

— Орудие номер 6 вышло из строя. Двое при нем убиты. Командование батареей я передал мичману Сакеллари. Он тоже ранен, но остался в строю.

— А как вообще наши дела? — спросил старший врач.

Мичман Туманов махнул рукой и застонал.

Сигнальщик Куценко, явившись, сморщил лицо, как будто собирался чихнуть, — у него была прошиблена переносица. Матрос Карнизов, показывая врачу разорванный пах, оскалил зубы и странно задергал головой, на которой виднелась борозда, словно проведенная медвежьим когтем. У барабанщика, квартирмейстера Волкова, одно плечо с раздробленной ключицей опустилось ниже другого и беспомощно повисла рука. Дальномерщик Захваткин, согнувшись, закрыл руками лицо — у него один глаз был поврежден, а другой вытек. Нетерпеливо шаркал ногой комендор Толбешников, испытывая боль от ожогов головы, плеч и рук. Список пострадавших все удлинялся. Носильщики доставляли раненых с распоротыми животами, с переломами костей, с пробитыми черепами. Некоторые настолько обгорели, что нельзя было их узнать, и все они, облизанные огненными языками, теперь жаловались, дрожа, как лихорадочные:

— Холодно...звякко...

Раненых, получивших временную медицинскую помощь, укладывали тут же, на палубу, на разложенные матрасы.

Как всегда бывает в массе людей, среди нее находились и храбрые, и трусы. Одни, несмотря на тяжелые ранения, после оказанной им помощи порывались снова уйти наверх, занять место по боевому расписанию. Врачи удерживали их насильно. Другие с маленькими царапинами старались застрять в операционном пункте или скрыться в глубине судна.

Как морская война отличается от сухопутной, так равно и медицинская помощь раненым на корабле имеет свои особенности. Прежде всего об эвакуации пострадавших не может быть и речи. Им придется оставаться здесь до прибытия судна в свой или чужой порт. Броненосец, пока не потерял способности управляться, не может выйти из боевой колонны для передачи раненых. Этим самым он только нарушил бы обший строй эскадры и ослабил бы на некоторое время ее силу. Не может и к нему во время боя приблизиться госпитальное судно для снятия людей вышедших из строя, потому что оно рискует от одного снаряда пойти ко дну со всем своим населением. Значит, здесь, в этом помещении, и раненые, и медицинский персонал, и все остальные люди одинаково разделяют судьбу своего корабля. Разница была и в самом характере нанесения ран. У нас не дырявили людей винтовочными пулями, не рубили шашками, не прокалывали штыками, не мяли лошадиными копытами. Если на суше страдали лишь частично от артиллерийского огня, то на корабле подвергались увечью исключительно от разрывающихся снарядов. Поэтому к нам обращались люди за медицинской помощью с ожогами или с такими ранами, которые причинялись осколками с острыми, режущими краями, нарушающими целостность тканей на большом пространстве. Затем, в сухопутном сражении, даже на передовых перевязочных пунктах, медицинский персонал, занимаясь своим делом, не испытывает тех

неудобств, какие достаются на долю судовых врачей. Там — твердая и надежная земля, здесь — качаются стены, уходит из-под ног палуба, а при крутом повороте судна появляется такой угрожающий крен, что холодеет на душе, и все это происходит с такой неожиданностью, какую нельзя предусмотреть.

Не обращая внимания на тяжелые условия, оба врача с исключительной энергией выполняли свои обязанности. Легко раненых перевязывали фельдшера, а в иных случаях и санитары. Сильно изувеченные обязательно проходили через руки Макарова. Он распоряжался:

— На операционный стол!

Морское сражение не тянется долго, а беспорядок, сопровождающий бой, может скверно повлиять на успех операции. Поэтому серьезные операции, как и настоящее лечение, откладывались до более благоприятного времени, когда перестанут грохотать пушки и противники разойдутся в разные стороны. Кроме того, пострадавшие прибывали в таком количестве, что врачам некогда было заниматься точной анатомической ориентировкой. Они ограничивались лишь поверхностным осмотром ран, оценкой кровотечения и определением того, насколько нарушена костно-суставная система. И сейчас же применяли неотложные лечебные меры. То и дело слышался повелительный голос Макарова:

— Тампонировать рану!

— Руку в лубок!

— Этому впрыснуть два шприца морфия!

Фельдшера и санитары метались от одного раненого к другому, накладывая им повязки или жгуты. На моей обязанности лежало сменить загрязненную простыню, подать что-нибудь врачам или принять от них, раздеть кого-нибудь или снять с него сапоги, напоить жаждущих. Оба врача возились с теми, у которых повреждения угрожали жизни. Корабль, помимо качки, часто держался от залповых выстрелов своей тяжелой артиллерии и от разрывов неприятельских снарядов. В такие момен-

ты хирургический нож врача, освежая рану, проникал в человеческое мясо дальше, чем следует, а ножницы вместо того, чтобы только обрезать ткани, потерявшие жизнеспособность, вошли в живой организм.

Священник Паисий тут же исповедывал и причащал тяжело раненых, получивших уже медицинскую помощь и уложенных на разостланные по палубе матрацы. Перед изувеченным человеком он становился на колени и, сгорбившись, ласково приказывал:

— Кайся в своих грехах.

Если матрос находился в бессознательном состоянии и не мог отвечать на вопросы, священник все равно накрывал его епитрахилью и отпускал ему грехи. А потом дрожащей рукой, расплескивая причастие, совал умирающему ложечку в рот.

Человек с раздробленным затылком бился в агонии.

— Причащается раб божий..

Отец Паисий, схватившись, спросил:

— Как звать-то его?

Кто-то ответил:

— Фамилия—Костылев, а имя—неизвестно.

Один из санитаров посоветовал:

— Гальванер, батюшка, он. Так прямо и скажите: гальванер Костылев. На том свете разберутся.

Священник, не понимая, долго тарачил глаза на того, кто подал такой совет, а потом машинально произнес:

— Причащается раб божий гальванер Костылев.

В операционный пункт прибывали люди с разных боевых участков броненосца, и мы узнавали от них и от носильщиков, что творится наверху и в каком положении находится наша эскадра. Сведения были неутешительные. На «Суворове», «Александре III» и «Осляби» возникли пожары. Начались разрушения и на нашем корабле.

На операционный стол был положен матрос Котлиб Там. У него левая нога в колене была раздроблена и держалась только на сухожилиях. Оказалось, прежде чем его подобрали носильщики, он долго полз из носового каземата до середины судна, оставляя за собою кро-

вавый след. Теперь он лежал неподвижно, бледный и посеревший, как труп, с полным безразличием к тому, что над ним продельвали. Ему распорзли штанину, оголили ногу до паха и положили на нее резиновый жгут. Когда отхватили сухожилия, старший врач Макаров приказал мне:

— Новиков, убери.

Я взял с операционного стола сапог с торчащей из него кровавой костью и, не зная, что мне с ним делать, оставил его у себя в руках. Мое внимание было поглощено дальнейшей операцией над Котлибом. Вокруг оставшейся части ноги обтерли эфиром и смазали иодистой настойкой. Рукава у старшего врача были засучены по самые локти. Засверкал хирургический нож в его правой руке. Словно в бреду, я видел, как отделяли кожу с жировым слоем и как резали мясо наискосок, обнажая обломанную кость. Потом по ней заскрежетала специальная пила. На культю загнули оставленный запас свежего мяса, натянули на нее кожу и начали штопать иглой с шелковой ниткой. Я продолжал держать сапог с торчащей из него костью. Меня прошибло холодной испариной и сильно тошнило. Чувство омерзения, поднимаясь с низу живота, сжимало желудок и темной волной захлестывало сознание. Старший врач, работая, не замечал, что висок у него испачкан кровью и что в его каштановой бороде застряли крупные капли пота. Он увидел меня и рассердился:

— Что же ты держишь в руках сапог?

— А куда же мне его, сунуть? — в свою очередь спросил я, едва соображая.

— Брось под стол.

Я исполнил его приказание и не слышал звука упавшего сапога, еловно он был пуховый.

Через комингс перешагнул в операционный пункт дальномержик Селинов и часто заморгал, ослепленный ярким светом электричества.

— Броненосец «Ослябя» перевернулся! — прокричал он с каким-то режущим визгом.

Громыхала наша артиллерия, извергая огонь и металл. Вздрагивал, дергаясь, броненосец. В операционном пункте оборвался говор, прекратились стоны, и все уставились на дальномерщика, принесшего страшную весть, словно залюбовались им. У него прыгали окровавленные губы, и дико блуждал взгляд, кого-то разыскивая.

— Ты что болтаешь! Как перевернулся?—подавленно спросил старший врач.

— Вверх килем, ваше высокоблагородие!

— Вздор! Этого не может быть!

— Я сам видел. Сначала горел, потом накренился, потом сразу повалился.

Вслед за дальномерщиком пришли носильщики и подтвердили его сообщение.

— Броненосец уже затонул,—добавили они.

Застонали раненые. Кто-то в углу громко зарыдал. Священник Паисий, подняв глаза к потолку, часто закрестился. Старший врач пощипал окровавленной рукой бородку и снова занялся ранеными.

Я почувствовал, что сейчас свалюсь, и, не отдавая себе отчета, торопливо полез наверх.

IV

Бой шел на параллельных курсах. Силы противника состояли из четырех броненосцев и восьми броненосных крейсеров. С ними шли еще два быстроходных авизо — «Тацута» и «Чихая». Но они не имели боевого значения и лишь исполняли роль посыльных судов, держась за левой стороной колонны, вне досягаемости наших снарядов, — первый на траверзе «Миказа», второй на траверзе «Идзумо». В противовес японцам мы выставили двенадцать броненосцев. Расстояние между враждебными эскадрами было около 30 кабельтовых.

Над морем, приликая к встрепанным волнам, расстигались призрачные полосы дыма и мглы. Под напором ветра эти полосы разрывались в клочья, и тогда на сером фоне неба смутно обозначались неприятельские корабли. Держась кильватерного строя, они шли друг за другом и, как разъяренные фантастиче-

ские чудовища, выдыхали в нашу сторону молнии. Тем же отвечали им и наши броненосцы. Это сражались главные силы, решая тяжбу двух столкнувшихся империй. А позади, справа от курса, шел бой между крейсерами. От орудийных выстрелов, то далеких, то совсем близких, стоял такой грохот, как будто небо превратилось в железный свод, по которому били стопудовые молоты. Сотни снарядов, которых не видишь, но полеты которых ощущаешь всем своим существом, с вибрирующим гулом пронизывали воздух, описывая траектории встречными курсами. Вокруг наших судов, в особенности передних, падал тяжеловесный град металла. Японские снаряды разрывались даже от удара о воду. Металось, вскипая, море, и над его поверхностью, издавая рев, на мгновение вырастали грандиозные фонтаны, смешанные с черно-бурым дымом и красным пламенем. Неприятельские корабли представляли собою однородный состав эскадры. У них не было большой разницы в скорости, в артиллерийском вооружении. У нас же только четыре новейших броненосца были одинаковые, но и они, поставленные в общую колонну с разнотипными и устаревшими судами, как бы сравнивались с худшими из них. Во время сражения этот недочет сказался в полной мере. Мы имели ход девять узлов, японцы—пятнадцать и больше. А согласно с этими данными определилась и тактика противника. Неприятельская боевая колонна все время выдвигалась вперед нашей настолько, что ее шестой или седьмой корабль находился на траверзе «Суворова». Это давало ей возможность обрушивать сосредоточенный огонь на наши передние броненосцы. Очевидно адмирал Того хотел сначала уничтожить ядро русской эскадры, а потом уже начать расправу с остальными судами. Мы не могли так поступать. Малый ход нашей армады ставил нас в подчиненное положение. Расстояние до японского головного корабля было настолько велико, что даже «Суворов» имел мало шансов в него попадать. Для

каждого же последующего нашего мателота это расстояние все возрастало. Кроме того, неприятельская боевая колонна стремилась резать курс нашей эскадры, отжимая ее голову вправо. Благодаря такому маневру адмирал Тогэ ставил свой флагманский корабль в положение наименьшей опасности, прикрываясь от снарядов нашими же передними броненосцами. «Орел» шел четвертым номером, но и для его кормовой артиллерии «Миказа» находился вне угла обстрела. Что же говорить о наших концевых судах? Для них он был совсем недостижим.

А между тем был приказ адмирала Рожественского—бить по неприятельскому головному кораблю. И многие наши командиры, не решаясь на самостоятельные действия, старались не нарушать боевого приказа своего командующего. Но в этом заключалась величайшая их ошибка. Снаряды с задних наших судов падали, не долетая до намеченной цели. Лучше было бы стрелять в те корабли, которые находились на наших траверзах.

В боевой рубке «Орла» об этом догадались спустя полчаса после начала боя. Старший артиллерист, лейтенант Шамшев, обращаясь к командиру судна, заявил:

— Для «Миказа» наши снаряды мало действительны.

— Да, мы стреляем впустую,—согласился капитан 1-го ранга Юнг, всматриваясь через прорезь рубки в неприятельские корабли.

— Разрешите перенести огонь на крейсер «Ивате».

— Другого нам ничего не остается.

Крейсер «Ивате», своим внешним видом напоминавший нашу «Аврору», находился к нам ближе всех.

Загремела команда в центральный пост, а оттуда по тем башням, какие могли стрелять на левый борт:

— Бить по неприятельскому судну типа «Аврора»!

Скоро в крейсер «Ивате» начались попадания.

В одной из башен произошло недоразумение. Человек, стоявший на переда-

че, долго не мог уяснить распоряжение начальства и все переспрашивал:

— Зачем же стрелять в «Аврору», ежели это—наше судно?

Ему несколько раз повторяли одну и ту же фразу и наконец крикнули с матерной руганью.

— Остолоп! Слушай ухом, а не брюхом!

Пока эта башня была занята подобным разговором, крейсер «Ивате» переместился. Он вышел из кильватерного строя и, описав координат, увеличил расстояние. К таким же приемам прибегали и другие японские корабли, когда в них начинали попадать наши снаряды.

Японцы применяли к нам фугасные снаряды, начиненные чрезвычайно сильным взрывчатым веществом. Это были как бы летающие мины. Для них увеличение расстояния имело лишь то значение, что терялась меткость стрельбы. Но от этого несколько не уменьшалось их разрушительное действие. Правда, попадая в корабль, они не пробивали броневую пояс, но зато уничтожали все верхние надстройки, ломали приборы, производили пожары, выводили из строя орудия и личный состав.

А мы стреляли по неприятелю броневыми снарядами с затяжными воспламеняющимися трубками. Такие снаряды были приспособлены специально для разрушения брони. Но, прежде чем разорваться, они должны были впитаться в броню и пробить ее на какую-то глубину. Значит, мы могли бы поражать противника только с более близких дистанций. Чем больше возрастало расстояние до него, тем меньше производили действия наши снаряды,—либо отскакивали от брони, как орехи от стены, либо раскалывались на несколько частей. Судя по «Авроре», в которую во время гультского инцидента мы сами закатали несколько снарядов, большинство из них совсем не разрывалось даже и в тех случаях, когда они пробивали борт неприятельского корабля. Мало того, сравнивая орудийные вспышки той и другой стороны, можно было сразу заметить, что японцы стреляли интенсивнее нас по крайней мере раза в два. Од-

но было несомненно, что наша эскадра, страдая от ударов противника, сама не причиняла ему почти никакого вреда.

Понимал ли это Рождественский? И если понимал, то почему он не мешал действиям противника? Почему он не маневрировал? Вся наша забота свелась к тому, чтобы, не нападая на противника, всячески уклоняться от боя. Поэтому наши передние суда постепенно сворачивали вправо. Это был наихудший способ самозащиты. Около трех часов эскадра, оставив прежний курс норд-ост 23° , склонилась совсем на ост, как бы направляясь к берегам Японии.

Броненосец «Суворов», обвятый пламенем, вышел из строя вправо. «Александр» бросился было за ним, но тут же сообразил, что флагманский корабль не может больше руководить эскадрой, и сам повел ее дальше. Второй флагманский корабль «Ослябя» исчез с поверхности моря. Положение наше все ухудшалось. Контр-адмирал Небогатов со своим третьим отрядом шел позади. За ним, еще дальше, командуя крейсерами, находился контр-адмирал Энkvист. Значит, шесть передних наших броненосцев, входивших в состав первого и второго отрядов, остались без руководителя. Командование эскадрой было нарушено.

При встрече с главными неприятельскими силами мы упустили инициативу в бою. Ни один из оставшихся флагманов уже не пытался сделать смелый маневр и напасть на японцев. Да и трудно было это осуществить, имея эскадренный ход не больше, девяти узлов. Сказано было — пробиваться во Владивосток. Эта общая директива, повидимому, крепко засела в головах командиров и младших флагманов, и они добросовестно старались выполнить ее. Для чего? Какой смысл был в том, когда мы уже наглядно убедились, что во Владивосток не можем прорваться? А если бы часть эскадры и достигла своей цели, то могла ли она изменить ход военных событий в нашу пользу? Не лучше ли было бы для нас уходить на юг, на простор Тихого океана? Само собой разумеется, что японцы не оставили бы нас без преследования. Но самое элементарное соображение говорило за то, что нам ни-

чего не оставалось другого, как пробиваться в обратную сторону. Это необходимо было сделать хотя бы для того, чтобы оторваться от противника, безнаказанно уничтожающего нашу эскадру. Трудно сказать, какое решение вынесло бы наше командование в дальнейшем, если бы удалось нам затеряться в пространстве: снова ли идти во Владивосток, разоружиться ли в нейтральных портах, или же удирать во-свояси. Одно было ясно, что избранный нами путь мимо Цусимы оказался настолько же безнадежным, как безнадежно пробивать головой каменную стену.

Невзирая на угрозу явной гибели, передние суда все-таки делали судорожные попытки осуществить приказ адмирала Рождественского. Это было геройство, граничащее с безумием. Неприятельская линия кораблей слишком выдвинулась вперед. Наша эскадра, возглавляемая «Александром», хотела, воспользовавшись этим, проскочить под кормой противника и направиться на север. Но адмирал Того, повидимому, догадался о нашем намерении и сейчас же предпринял против нас контр-маневр. Шесть кораблей первого его отряда сделали поворот «все вдруг» на восемь румбов влево и начали было уходить от нас строем фронта. Однако через несколько минут таким же поворотом еще раз влево он снова поставил свои суда в кильватерную колонну и лег на обратный курс. «Ниссин» оказался головным, а «Миказа» шел в хвосте. Адмирал Камимура со своим отрядом не последовал примеру командующего и, оставляя его по левому борту, разошелся с ним контр-галсами. Почему? Потому что он заметил, что русская эскадра спясть склонилась на ост. И его второй отряд не переставал держать наши передние суда под жарким огнем артиллерии.

В это время много было попаданий в броненосец «Орел». А еще больше разрывалось снарядов вокруг судна. Рябило в глазах от поднимающихся столбов воды. Казалось, море стало стеной, чтобы преградить нам дальнейший путь. Черно-бурые тучи дыма, багровые вспышки огня, густой дождь осколков

и брызг—все смешалось и закрутилось в каком-то стихийном вихре.

Маневр у японцев вышел исключительно удачным. Уже по одному этому примеру можно было видеть, какую длительную тренировку они прошли в военно-морском искусстве. Они проделывали все повороты, как на парадном смотре. Их флот, повидимому, находился под руководством такого разумного начальника, который не препятствовал проявлению инициативы своих помощников. Только этим и можно было объяснить, что адмирал Камимура не повернул свой отряд за командующим Того.

Но дальнейшее поведение адмирала Того вызвало сомнение в правильности его маневра. Когда он убедился, что русские суда не пошли на север, ему следовало бы немедленно повернуть обратно. Он этого не сделал. Он, прекратив стрельбу, скрылся во мгле, и на время потерял русскую эскадру. Адмирал Камимура, из отряда которого еще раньше выбыл крейсер «Асама», остался перед нашими силами с пятью кораблями. К его счастью, мы не имели более быстрого эскадренного хода и надлежащей боевой подготовки. Будь у нас поставлено дело иначе, эта часть японского флота немедленно подверглась бы разгрому.

Адмирал Камимура преследовал нас каких-нибудь пятнадцать минут. Очевидно он понял рискованность своего положения и, сделав последовательный поворот на шестнадцать румбов влево, направился в ту сторону, куда ушли японские суда первого отряда. Второй отряд тоже потерял нашу эскадру, склонившуюся почти совсем на зюйд.

Бой оборвался.

Надолго ли наступила для нас передышка?

А что за это время делали наши крейсера? Они ни разу не подошли на помощь к главным своим силам, а занимались лишь тем, что защищали ненужный нам обоз—транспорты. Инженер Васильев оказался прав. Этим самым крейсера были лишены возможности усилить артиллерию броненосцев на шестьдесят с лишком орудий среднего калибра.

Не принимали участия в бою и все девять наших миноносцев. Они держались на отлете, вне сферы действия неприятельского огня. Им было поручено следить за флагманскими кораблями и, в случае надобности, спасать адмиралов. Таким образом наши миноносцы по распоряжению Рождественского были превращены из боевых единиц в спасательные суда.

Бой еще не кончился, но ни у кого уже не было сомнения, что участь эскадры была решена. Флагманский броненосец «Ослябя» утонул, другой флагманский корабль «Суворов» вышел из строя и где-то пугался в стороне. Выходили на короткое время из строя «Александр» и «Бородино», и на них возникали пожары. Большие повреждения получил броненосец «Орел». Выяснилось теперь, что японцы во всем имели перед нами превосходство: в скорости хода, в умении маневрировать, в качестве снарядов, в быстроте и меткости стрельбы. Они захватили инициативу в бою. Они диктовали нам дистанцию огня, время и место столкновения. Они выбирали параллельные и встречные курсы. Они нажимали на нашу голову и направляли курс нашей эскадры в желательную им сторону. Правда, и у них главные силы убавились на один броненосный крейсер, но все равно мы были разбиты и физически, и еще больше морально. Это произошло за какой-нибудь час от начала сражения. Наша эскадра превратилась в пловучий караван смерти.

V

За один час сражения броненосец «Орел» потерпел значительные повреждения.

Два крупных снаряда, пролетев через орудийные полупортики, разорвались один за другим в носовом каземате. Командир батареи, мичман Шупинский, у которого осколком пробило лоб, взмахнул руками и свалился мертвым. Рядом с ним были убиты три матроса. Остальная же прислуга, будучи ранена, вышла из строя. Оба 75-миллиметровые орудия левого борта были исковерканы. Осколки от снарядов, проникнув через дверь продольной переборки, вывели

еще такое же орудие правого борта. Вслед за тем 12-дюймовый снаряд окончательно разгромил носовой каземат и взорвал патроны в беседах. Начался пожар. Угольная пыль, взвихренная с бимсов порывами воздуха, вместе с дымом и паром носилась внутри судна, раз'едавая людям глаза.

Взрывом двадцатилудового снаряда было разрушено шпилевое отделение со всеми его приспособлениями.

Носовой 12-дюймовой башней командовал лейтенант Павлинов. Возвышаясь над орудиями, он сидел на посту управления, просунув голову в круглое отверстие, сделанное в башенной крыше. Это отверстие было защищено стальным колпаком, похожим на шляпу. Три прорезы в колпаке — одна впереди, а две по сторонам — давали возможность командиру видеть поле сражения. Башня работала исправно, мягко и бесшумно поворачиваясь вправо или влево. Под железным настилом платформы, скрываясь в глубине бронированного колодезя, заглушенно гудели моторы. Из погребов и крыйт-камер, расположенных на самом дне судна, поднимались по элеваторам снаряды и заряды, поглощаемые зарядными камерами двух орудий. Лязгали, открываясь и закрываясь, тяжелые затворы. Через каждые две минуты, рванув воздух, раздавался заап, сопровождаемый багровой вспышкой. После выстрела орудия откатывались назад, словно сами пугались того, что сделали, а потом под действием приборов компрессора медленно возвращались на свои первоначальные места.

Неожиданно перед амбразурами ярко вспыхнуло пламя и раздался страшный грохот. Несколько человек в башне упали. Лейтенант Павлинов согнулся и долго поддерживал руками контуженную голову, словно боялся, что она у него отвалится. А когда осторожно повернулся назад, чтобы взглянуть на людей и окружающие предметы, то на его чернобровом лице изобразилось радостное удивление, — он был жив.

— Кроют нас, окажные, почему зря, ваше благородие, — крикнул кто-то из орудийной прислуги.

Но лейтенант Павлинов ничего не

слышал. Из ушей у него показалась кровь — лопнули обе барабанные перепонки. И все же, оставаясь в строю, он громко спросил:

— В порядке ли механизмы?

Правый зарядник оказался испорченным, пустили в действие левый. Электрическая подача была повреждена, и снаряды начали поступать вручную по желобам. Когда снова хотели приступить к стрельбе, раздался тревожный голос комендора Волкова:

— Смотрите, что случилось!

Дульная часть левого орудия была оторвана на порядочную длину. Но в башне не знали, что оторванный кусок стали, в полтонны весом, был заброшен на верхний носовой мостик. При этом трое матросов на мостике были убиты.

И в других частях корабля раздавались грохоты, разрушалось железо, ломались поручни; разбивались шлюпки, на желтом фоне дымовых труб, как оспа, чернели мелкие дыры. Внезапно на юте, позади кормовой 12-дюймовой башни, словно бумага под ударом кулака, разорвалась палуба. Из пробоины выбросилось пламя — загорелись каюты батарейной палубы. На восемьдесят первом шпангоуте, пронизав легкий борт, разорвался снаряд в каюте № 20, где жил инженер Васильев. Двери слетели с петель, железные переборки лопнули по швам. Кровать, шкаф, умывальник, книги, письменный стол с чертежами, белье, одежда — все было уничтожено.

Об этом, прибежав в операционный пункт, доложил инженеру Васильеву трюмный старшина Осип Федоров. Говорил он торопливо, приблизив свое усатое и остроглазое лицо к уху начальника, и с таким загадочным видом, как будто речь шла о каких-то подпольных делах.

— Да, чертежи я напрасно не спрятал в более-безопасное место, — как бы рассуждая с самим собою, сказал Васильев.

И сейчас же строго спросил:

— Большая пробоина?

— Площадью будет около тридцати квадратных футов. Был пожар, но его потушило само море — захлестывает в пробоину. Теперь вода разливается по батарейной палубе.

— Надо немедленно заделать пробойничу — распорядился Васильев.

— Пробовали, да ничего не выходит. Ставили щиты и койки, а их сразу же выбивает волнами. Может, утихнет бой. Тогда что-нибудь сообразим.

Федоров, словно вспомнив что-то, вдруг метнулся по коридору в судовую мастерскую.

Левой носовой 6-дюймовой башней командовал лейтенант Славинский. Подбадривая своих подчиненных, он баском покрикивал:

— Не робей, ребята! Наши дела идут хорошо...

Вдруг где-то рядом раздался взрыв. Перед амбразурами широким парусом взвилось на мгновение пламя, озарив внутри башни все предметы. Что-то мощно треснуло, словно корабль развалился надвое. Люди, замкнутые тяжелой броней, задыхались тошнотворными газами и в течение нескольких секунд ничего не соображали. Оказалось, что взрывом снаряда пробило нижний носовой мостик и две палубы — верхнюю и спардечную. Лейтенант Славинский, нагнувшись, вопросительно окинул взглядом внутренность башни. Все было в порядке. Но спустя несколько минут разорвался снаряд против башни, вероятно ниже ватерлинии. Судно не пострадало, но поднятая взрывом волна вздыбилась на высоту до пятидесяти футов и ружнула на корабль. Через орудийные амбразур, через прорези колпаков, через горловину в крыше для выбрасывания гильз ворвалась в башню соленая вода. Она обдала людей с головы до ног и шумными потоками хлынула по нориям в подбашенное отделение, в бомбовый погреб, наводя панику на тех, кто находился несколькими этажами ниже. Чье сердце не дрогнуло в этот момент там, на дне судна, от леденящей мысли, что корабль тонет?

Стрельба, на минуту прерванная, снова возобновилась.

Когда перенесли огонь на неприятельский крейсер «Ивате», лейтенант Славинский определил расстояние в 30 кабельтовых, но получился недолет. Тогда увеличили угол возвышения.

— Перелет! — крикнул башенный командир.

Немного уменьшили расстояние, и спустя несколько секунд после выстрела раздался радостно-повышенный голос:

— Поражение! Так его! Наводи в боевую рубку! Ох!..

Лейтенант Славинский вскрикнул и слетел с командной площадки. На лбу у него багровела круглая, как печать, ссадина, один глаз запорошило, другой выбило, полное веснушчатое лицо, обливаясь кровью, болезненно передергивалось. Когда пришли носильщики, он, отправляясь с их помощью в операционный пункт, обратился к артиллерийскому квартирмейстеру Цареву:

— Командуй здесь за меня, а я отвоевал...

Позднее в эту же башню попало еще несколько снарядов. Один удар был настолько силен, что никто не мог устоять на ногах. Орудийная прислуга, разметанная силой газа, оцепенела от ужаса. На какой-то короткий промежуток времени выключилось из сознания правильное представление о событии, и показало, что башня куда-то с грохотом проваливается. Опомнившись, люди увидели разбитые циферблаты, разбросанные по железной платформе ящики с прицелами, изломанные сообщители, выскокившие из кранцов снаряды, оборванные болты и звездообразные трещины в вертикальной броне вращающейся части. Комендор Воляняков лежал на платформе без движения, широко открыв глаза. Легко раненые бросились к нему.

— Что с тобою, дружище? Ну, довольно валяться! Вставай!..

Он был мертв, хотя на нем не нашли ни одной раны.

— Башня вправо! Башня влево — громко начал командовать квартирмейстер Царев. Но она, перекошенная на катках, с разбитой станиной левого орудия, оказалась непоправимо испорченной. Здесь больше нечего было делать, и люди, перевязав раны, спустились вниз.

Левая средняя 6-дюймовая башня также потерпела повреждение. Один из снарядов попал в вертикальную броню,

другой разорвался на крыше, уничтожив комендорский колпак. Человек, стоявший на подаче, свалился и закружился на четвереньках, спрашивая:

— Братцы, куда это мне попало?

На спине у него, между плеч, в локотях разорванного платья, расплылась мокрое пятно, лицо, добродушное и жалкое, быстро синело. Он опрокинулся навзничь и скончался. Вместе с ним были ранены башенный старшина и один из комендоров. Дверь в башне заклинилась. Осталось из нее два выхода: либо вверх, через горловину в крыше, либо вниз, в погреба. Обвалом соседнего легкого борта была ограничена горизонтальная наводка башни.

В одной из 6-дюймовых башен правого борта застрял осколок между неподвижной частью и мамеринцем. Башня перестала вращаться. Чтобы исправить ее, комендорам во главе с мичманом Воробейчиком пришлось выйти наружу через броневую дверь. Горизонтальную наводку башни восстановили. Но в это время был убит один из комендоров, а мичман Воробейчик получил рану в мякоть ноги. Он сел на палубу и, перекосив молодое и нежное, как у девушки, лицо, завопил:

— Носильщики!..

Прибежали двое матросов и уложили его на носилки. Он все время стонал и говорил, что сейчас умрет. Его торопливо понесли в операционный пункт. Но, когда приблизились к люку и начали спускаться с верхней палубы по трапу, разорвался снаряд. Один из носильщиков был убит, другой—тяжело ранен. Мичман Воробейчик вскочил и теперь уже без посторонней помощи, дико взвизгивая, помчался в низ судна. На пути он столкнулся с писарем Егоровым, чуть не сшиб его с ног и полетел дальше. Метался он и в операционном пункте, топчя тяжело раненых, пока его не схватили санитары. Спускаясь на палубу, он заскулил:

— Ой, умираю...

В башню, которой командовал мичман Воробейчик, в скором времени попал еще один снаряд крупного калибра и окончательно вывел ее из строя. Несколько человек из прислуги были ране-

ны. Их доставили в операционный пункт, а здоровых перевели к другим орудиям.

Много раз возникали пожары, но с ними самоотверженно боролся пожарный дивизион под начальством мичмана Карпова.

Были попадания и в боевую рубку. Находившиеся там люди оставались в целости, пока не разорвался снаряд крупного калибра с левого края броневой крыши. Через прорези проникли в боевую рубку осколки, разбив дальномер Барра и Струда, уничтожив боевые указатели и смяв переговорные трубы. Центральное управление артиллерией было нарушено, и старший артиллерист, лейтенант Шамшев, распорядился, чтобы орудия переходили на групповой огонь. В боевой рубке пострадали почти все. Лейтенант Вредный с небольшой поверхностной раной на левом плече ушел в перевязочный пункт. Туда же отправился и младший штурман, лейтенант Ларионов, будучи ранен в лоб и шею. Остальные офицеры, а также сигнальщики, рулевые, ординарцы, телефонисты, задетые в той или иной степени осколками, остались в строю. Во время похода командир судна, капитан 1-го ранга Юнг, часто получавший выговоры от командующего эскадрой, проявлял большую нервность и горячность. Многие думали, что при встрече с японцами он растеряется. Но теперь, вопреки ожиданиям, он держался спокойно и не покидал своего поста, несмотря на то, что имел уже повязку на рассеченной голове. Он хорошо понимал, что наше дело безнадежно проиграно и что каждая секунда может стать роковой для всего экипажа. Недаром на лице командира потух обычный румянец, синие глаза налились тоской, словно он прощался с жизнью. И все же этот пожилой и опрятно одетый холостяк, не бывший побриться даже в такое утро, когда мы были открыты японцами, держал голову прямо, как бы бросая вызов смерти. Рядом с ним стоял старший офицер, капитан 2-го ранга Сидоров, озабоченно хмурил густые брови и часто вытирал носовым платком седоусое лицо, размазывая кровь. Был ранен и лейтенант Шамшев. К трем часам в

боевой рубке остался невредимым лишь старший штурман, лейтенант Саткевич.

В это время, в грохоте взрывов, в кровавых вспышках пламени, в огромных обрушивающихся на корабль столбах воды, никто не знал, что будет с ним через мгновение.

Боцман Воеводин, тушивший пожар в малярном помещении, направлялся к корме. Навстречу ему, пригибаясь, словно стараясь быть ниже ростом, быстро шагал по верхней палубе минер Вася Дрозд. Одной рукой он прикрывал голову, словно защищая ее от пролетающих в воздухе снарядов, а другой энергично размахивал. Куда и зачем торопился этот худой длинноногий мечтатель? Взглянув в ту сторону, откуда сверкали молнии неприятельских кораблей, он вдруг остановился как бы в нерешительности. В этот момент упругим толчком опрокинуло боцмана. Вскочив, Воеводин увидел, как на шканцах в клубах буро-го дыма кто-то кувыркается, словно игривый медвежонок. А когда ветер развеял дым, боцману показалось, что он сошел с ума. Вася Дрозд, в одно мгновение уменьшившийся ростом в два раза, отчаянно боролся со смертью. С помутившимися глазами на искривленном лице он вскакивал на свои короткие, оставшиеся от ног красные обрубки и, судорожно хватаясь за воздух, пытался куда-то бежать, но тут же падал в лужу собственной крови.

— Братцы мои!.. Броненосец в облака летит... Броненосец летит... — неистово кричал он.

Потом начал кататься по расщепленной палубе, разражаясь нето диким хохотом, нето истерическими рыданиями. Неожиданно Вася замолчал и перестал кататься. Короткое туловище его задержалось в предсмертной агонии.

Только теперь Воеводин опомнился и, сорвавшись с места, бросился к ближайшему люку, унося в памяти кошмарное видение.

VI

Великий пост стонал протяжным и унылым звоном колоколов, призывая жителей села к покаянию. И они, покорные и смиренные, шли в деревянную

церковь, чтобы в стенах ее за свои трудовые копейки свалить с души тяжесть грехов. Боязнь перед страшным судом накладывала на лица людей отпечаток скорби. Но в воздухе уже чувствовалась предвесенняя радость. Март сломал зиму. С каждым днем теплее светило солнце, разливаясь по близне снегов таким ярким светом, что больно было глазам. Соломенные крыши домов обрастали длинными сосульками и роняли сверкающие капли.

В один из таких ясных и тихих дней, звеня бубенцами и колокольчиками, ворвались в наше село две тройки ямских коней. Это приехал на охоту со своими егерями граф, старик Воронцов-Дашков. Для него в наших лесах был обложен медведь. На второй день в помощь графу отправилось человек сто загонщиков, в числе которых находился и я, восемнадцатилетний парень. Погода испортилась: падал снег, и дул, заметая следы, поземок. Мы прошли три версты по полю, столько же — лесом, и наконец нас, увязавших по пояс в снегу, тихо расставили по кругу недалеко от берлоги. Под грохот холостых выстрелов егерей мы заорали на все голоса, заулююкали, как пьяные. Никто не жалел своей глотки — за это должны были получить по тридцати копеек на человека. Несмотря на такое количество людей, граф не убил медведя, хотя и попал в него двумя выстрелами. Раненый зверь скрылся в лесных трупобоках. Воронцов-Дашков вернулся в село, усталый и расстроенный. В горнице одного богатого лесопромышленника, насупив седые брови, он молча ел ветчину, сыр, сливочное масло и пил дорогие вина. Я тогда впервые узнал, что великий пост существует только для крестьян. Не успел граф покойничь с едой, как на огородах у нас появился медведь. Ему легко можно было бы затеряться в пространные, пользуясь тем, что поземок моментально заметал его следы. Но, обезумев от ран и пережитого ужаса, он сам пришел за смертью. За ним погнались графские егеря, и спустя некоторое время огромная туша великана, весом пудов в 20, уже лежала на крестьянских розвальнях.

Наша эскадра улодилась этому медведю.

Повторяю, японцы, проделав знаменитый маневр, потеряли нас за дымом и мглой. Мы в это время уходили на юг. Нам нужно было бы продолжать свой путь в том же направлении, раз выяснилось, что не можем прорваться во Владивосток. Но директива адмирала Рожественского, как незримая узда, тянула нас обратно. И наша эскадра, израненная и ошеломленная, снова повернула на север, словно нам надоела жизнь, и мы нарочно лезли в смертную западню. Кильватерный строй наших судов во главе с броненосцем «Бородино» выпрямился: Теперь он вел эскадру, за ним шли: «Орел», «Сисой Великий», «Александр III», «Наварин», «Адмирал Нахимов» и третий отряд контр-адмирала Небогатова: «Николай I», «Апраксин», «Сенявин» и «Ушаков». Позади, едва видимые, следовали крейсера с миноносцами и транспортами. На «Орле», как и на других наших судах, потушили пожары, успели справиться с некоторыми повреждениями, погавить к орудиям новых людей вместо выбывших из строя и перевязать раненых.

А через полчаса слева на горизонте показались серые силуэты японских кораблей. Они расстреливали флагманский броненосец «Суворов», а он, без рудя, маневрируя только машинами и делая зигзаги, весь в огне и в клубах черного дыма, все еще пытался итти на север. Наша эскадра начала обгонять его. Противник, заметив наши главные силы, пошел к нам на сближение. У него, кроме двух авизо, опять насчитывалось двенадцать броненосных кораблей, так как крейсер «Асама», справившись с повреждениями, успел уже снова пристроиться к своей эскадре. Через несколько минут бой возобновился с прежней силой. Японцы применили к нам прежнюю тактику, опережая нас и нажимая на нашу голову.

В четыре часа запыхал «Сисой Великий». Этот броненосец вышел из строя и, повернув назад, вскоре присоединился к крейсерскому отряду. «Александр» теперь оказался третьим в строю. Броненосец «Наварин», у которого одна из

четырёх труб была уничтожена, сильно оттянул. В образовавшийся промежуток, заходя с левой стороны, обращенной к неприятелю, вступил отряд контр-адмирала Небогатова.

Небогатов должен был бы стать со своим флагманским кораблем во главе эскадры и управлять ею, но он не имел на это права. За четыре дня до сражения Рожественский отдал приказ (№ 243), в котором говорилось, что если головное судно выходит из строя, то эскадру ведет следующий мателот по порядку номеров. Но этот приказ во время сражения превратился в кандалы для младших флагманов: он сковал их волю, он мешал им принять то или иное решение. Все происходило так, как было предписано командующим: за выходом из строя «Суворова» эскадру повел «Александр», потом его место занял «Бородино». Получилось что-то несуразное. Каждый из ведущих броненосцев больше всего осыпался неприятельскими снарядами, и никто не мог бы сказать, уцелел ли на нем командир или хотя бы старший офицер. Таким образом оставшиеся в живых адмиралы оказались в подчиненном положении неизвестно у кого.

При этой встрече с японцами «Орел», занимая второе место в строю, подвергся еще более ожесточенному обстрелу, чем в первый раз. Начались попадания в него одно за другим. Случалось, что от взрыва крупного снаряда огромный кузов корабля, содрогнувшись, на мгновение останавливался, словно осажденный удилами, и снова шел вперед, окруженный облаками дыма и колоссальными всплесками моря.

В кормовой каземат, где помещались четыре 75-миллиметровые орудия, попало несколько снарядов. Один из них — вероятно 12-дюймовый — разорвался с такой силой, что броненосец рыскнул с курса в сторону. Минному квартирмейстеру Хританюку и минеру Привалихину, находившимся в этот момент этажом ниже, под броневой палубой, у рулевого мотора, показалось, что отвалилась вся корма. Они потом рассказывали:

— Мы так и решили — должно быть,

мина угодила. Ждали, вот-вот начнется крен и судно пойдет ко дну. Но крена не было. Услышали только треск. Это взрывались патроны.

Эти два человека поднялись в каземат и, не видя никого из живых людей, начали тушить пожар. Они сапогами черпали воду, проникавшую через пробоины. С огнем кое-как справились. Христанюк спустился к рулевому мотору, а минер Привалихин остался в кормовом каземате, разглядывая, что здесь произошло. Два орудия вышли из строя. Один полупортик был сорван с задраек и петель, другой — пробит. Иллюминаторы оказались без стекол. В кают-компани с левого борта зияла большая брешь вровень с батареей палубой. Раненые очевидно расползлись отсюда, остались только мертвые. Приткнувшись головой в борт, застыл матрос Вацук. Недалеко от него лежали два изувеченных трупа — подшхипер Еремин и какой-то комендор, при чем рука одного, словно в порыве дружбы, крепко обняла за шею другого. Но минер Привалихин не знал, что эти два человека перед смертью из-за чего-то поспорили между собою и чуть не подрались. Японский снаряд примирил их обоих. Свидетелем тому был другой матрос. Он находился в кают-компани на подаче патронов к пушкам и оказался запыленным по пояс углем, служившим защитой бортов. Вылезая из вороха угля, он оставил в нем сапоги, но сам не имел никаких повреждений. На его глазах произошло чудо: командир кормового каземата, прапорщик Калмыков, произнес «прицел тридцать» и куда-то исчез с такой быстротой, как исчезает молния в небе, и впоследствии нигде не могли его найти. Один из артиллерийской прислуги вылетел в полупортик, мелькнув в воздухе черной расплавленной птицей, и сразу исчез в волнах.

Почти одновременно пострадала немного и 12-дюймовая кормовая башня. Снаряд ударил в броневую крышу около амбразур. Броня крыши треснула и опустилась вниз, ограничив угол возвышения левого орудия до 27 кабельтовых. При этом были ранены мичман Щербачев, кондуктор Расторгуев и квар-

тирмейстер Кислов. Все они, пользуясь индивидуальными пакетами, оказали сами себе первую помощь и остались на своих местах. Навсегда кончил здесь службу лишь один комендор Биттэ, у которого было сорвано полчерепа. Разбрызганный по платформе мозг теперь пирился ногами.

Мичман Щербачев недолго командовал этой башней, а потом, как и лейтенант Славинский, слетел со своей площадки управления. Руки и ноги его разметались по железной платформе, словно ему было жарко. Матросы бросились к командиру башни и начали поднимать его. Около переносицы у него кровавилась дыра, словно проколота штыком, за ухом перебит сосуд, вместо правого глаза осталось пустое красное углубление. Раздались восклицания:

— Конечно убит!

— Даже не пикнул!

— Наповал убит!

Мичман Щербачев как-раз в этот момент очнулся и спросил:

— Кто убит?

— Вы, ваше благородие, — ответил один из матросов.

Щербачев испуганно откинул назад голову и метнул левым уцелевшим глазом по лицам матросов.

— Как, я убит? Братцы, скажите, я уже мертвый?

— Да нет, ваше благородие, не убиты. Мы только думали, что конец вам. А теперь выходит — вы живы.

Щербачев, ощупав пальцами пустое углубление правой глазницы, горестно вскрикнул:

— Пропал мой глаз!..

Через несколько минут снова загрохотали орудия. Башней теперь командовал кондуктор Расторгуев. А мичман Щербачев, привалившись к приборнику, сидел и тяжело стонал, опуская все ниже и ниже обмотанную битом голову. В операционный пункт он был доставлен в бессознательном состоянии.

В бортах «Орла», не защищенных броней, число пробоин все увеличивалось. Хотя все они были надводные, в них захлестывали волны. Вода разливалась по батареейной палубе, поадавая иногда через разбитые комингсы в ниж-

ние помещения. Пробоины с разорванными и кудрявыми железными краями, загнутыми внутрь и наружу судна, неизмыслимо было заделать на скорую руку. А японские снаряды не переставали разрушать корабль. При каждом ударе разлетались по судну, как брызги, тысячи раскаленных осколков, пронзая людей и предметы.

На нижнем носовом мостике с грохотом вспыхнуло такое ослепительное пламя, как будто разразилась вблизи грозовая туча. В боевой рубке никто не мог устоять на ногах. Полетел кувыркром и старший сигнальщик Зефиоров. После он и сам не мог определить, сколько времени ему пришлось пробыть без памяти. Очнувшись, он поднял крутोलобую голову, и в онемевшем мозгу первым проблеском мысли был вопрос: жив он или нет? Со лба и подбородка у него стекала кровь, чувствовалась боль в ноге. Зефиоров осмотрелся и, увидев, что лежит на двух матросах, быстро вскочил. Поднимались на ноги и другие, наполняя боевую рубку стонами, жалобами, бестолковыми выкриками. У некоторых было такое изумление на лицах, как будто они сами не верили в свое спасение. Стали на свои места писарь Солнышков, раненный в губы, и сигнальщик Сайков с ободранной кожей на лбу. Дальномерщик Воловский медленно покачивал расшибленной головой, глядя себе под ноги. Строевой квартирмейстер Колесов с раздувшейся скулой оперся одной рукой на машинный телеграф и тяжело вздыхал. Старший офицер Сидоров получивший удар по лбу, почему-то отступил в проход рубки и, ссылаясь что-то сообразить, упорно смотрел внутрь ее. Лейтенант Шамшев, изгибаясь, хватался за живот, где у него затрел кусок металла. Боцманмат Копылов и рулевой Кудряшев заняли место у штурвала и, хотя лица обоих были в крови, старались удержать судно на курсе.

Не все поднялись на ноги. Лейтенант Саткевич был в бессознательном состоянии. Посреди рубки лежал командир Юнг с раздробленной плечевой костью и, не открывая глаз, командовал в бреду:

— Минная атака... Стрелять сегментными снарядами... Куда исчезли люди?..

Рядом с ним ворочался его вестовой Назаров, у которого из раздробленного затылка вываливались кусочки мозга, он что-то мычал и, сжимая и разжимая пальцы, вытягивал то одну руку, то другую, словно лез по вантам. Железный карниз, обведенный ниже прорези вокруг рубки для задержания осколков, завернуло внутрь ее. Этим карнизом перебило до позвоночника шею одному матросу. Он судорожно обхватил ноги Назарова и, хрипя, держался за них, как за спасательный круг.

Старший офицер Сидоров наконец оправился и, вступая в права командира, распорядился:

— Немедленно вызвать носильщиков!

В боевой рубке, помогая друг другу, занялись предварительной перевязкой ран.

Трапы на передний мостик были сбиты. По приказанию старшего офицера укрепили шторм-трапы. Это очень затрудняло спуск раненых на палубу.

Первым был доставлен в операционный пункт капитан 1-го ранга Юнг. Когда его несли, он был ранен в третий раз. Осколок величиною с грецкий орех пробил ему, как определил старший врач, печень, легкие, желудок и застрял в спине под кожей. Быстро извлеченный осколок оказался настолько горячим, что его нельзя было удержать в руках. Командир, пока ему перевязывали раны, продолжал выкрикивать в бреду:

— Право руля... Почему ход убавили?.. Передайте в машины — девяносто оборотов...

Вслед за командиром в операционный пункт были доставлены лейтенант Саткевич и матросы. Потом без посторонней помощи явился лейтенант Шамшев.

Находясь в операционном пункте, я взглянул через дверь в коридор и увидел там кочегара Бакланова. Он сделал мне знак рукою, подзывая к себе. Я вышел к нему, ожидая от него важных новостей. Меня крайне удивило, что толстые губы его на грязном, с тупым подбородком, лице растянулись в самодовольную улыбку. Он обдал меня запахом водки и заговорил на ухо:

— Ну, брат, и подвезло мне. Господские закуски такие вкусные, что сами в рот просятся. А от разных вин душа соловьем поет. Первый раз в жизни я так сладко поел и выпил.

— Где? — спросил я.

— В офицерском буфете.

Кочегар показал на свои раздувшиеся карманы и добавил:

— Я, друг, и про тебя не забыл. Пойдем в машинную мастерскую. Будешь доволен угощением.

— И тебе не стыдно заниматься обжорством в такое время, когда кругом люди умирают?

— А что такое стыд? Это не кусок от снаряда — желудок не беспокоит. У тебя вон губы дрожат, а все равно не спасешься. Так лучше навеселе опуститься на морское дно. Идем.

Я рассердился и крикнул:

— Убирайся ко всем чертям от меня!

А он, обедя взглядом изувеченных и стонущих людей, которые лежали не только в операционном пункте, но и в коридоре, подмигнул одним глазом и спросил:

— Это все будущие акробаты?

Мне был противен его цинизм, и я раздраженно ответил:

— Мой и твой друг, Вася Дрозд, тоже записался в партию акробатов. Боцман Воеводин видел его: валяется на шканцах без ног.

Кочегар Бакланов сразу отрезвел.

— Врешь?

— Сходи и посмотри.

Он повернулся и побежал по ступеням трапа вверх. Но не прошло и десяти минут, как я снова встретился с ним в коридоре. Это был теперь другой человек, подавленный потерей друга.

— Ну, что? — спросил я.

— Он уже мертвый. Я выбросил его за борт.

Бакланов положил свою тяжелую руку на мое плечо и, волнуясь, заговорил глухо, сквозь зубы:

— Эх, какой человек погиб, друг-то наш Вася! Хотел все науки превзойти. И вот что вышло. За что отняли у него жизнь? Разве она была у него краденая?

Бакланов размазал по лицу слезы и, ссутулившись, медленно полез по трапу.

После ухода кочегара долетела до операционного пункта страшная весть о средней 6-дюймовой башне. Как потом выяснилось, внутрь ее проник раскаленный осколок и ударил в запасный патрон. Произошел взрыв. Воспламенились еще три таких же патрона. Один из них в этот момент находился в руках комендора второго номера Власова, заряжавшего орудие. Башня, выбросив из всех своих отверстий вместе с дымом и газами красные языки пламени, гулко ухнула, как будто издала последний утробный вздох отчаяния. Одновременно внутри круглого помещения, закрытого тяжелой броневой дверью, несколько человеческих грудей исторгнули крики ужаса. Загорелась масляная краска на стенах, изоляция на проводах, чехлы от пушек. Люди, задыхаясь газами и поджариваясь на огне, искали выхода и не находили его. Ослепленные дымом, обезумевшие, они металась в разные стороны, но расшибались о свои же орудия или о вертикальную броню, падали и катались по железной платформе. Башня бездействовала, однако в сталь-ных ее стенах еще долго раздавались вопли, визг, рев. Эти нечеловеческие голоса были услышаны в подбашенном отделении, откуда о случившемся событии было сейчас же сообщено в центральный пост.

Огонь, проникая по нориям вниз, за-палил провода и дерево. Пороховой погреб оказался под угрозой воспламениться. И лишь благодаря решительности находившихся там матросов удалось спасти броненосец от взрыва.

К башне пришли носильщики и открыли дверь. Один из них громко крикнул:

— Ну, что тут у вас случилось?

В ответ послышались стоны и хрипы умирающих. Трое из артиллерийской прислуги — Власов, Финогенов и Марьин, — обуглившиеся, лежали мертвыми. Квартирмейстер Волжанин и комендор Зуев были еле живы. Вместо платья на них виднелись обгорелые и почерневшие лохмотья их собственного тела.

Те патроны 6-дюймовых орудий, которые взорвались и причинили столько бед, были запасными. В каждой башне их находилось по четыре штуки. Во все время пути, начиная с Ревеля, они держались наготове в кранцах, чтобы в случае внезапного появления неприятеля можно было скорее зарядить орудия. Зная, что амбразуры в наших башнях слишком велики, эти патроны при начале боя следовало бы пустить в дело первыми, но об этом никто не подумал.

Один из артиллерийских квартирмейстеров, возмущаясь, рассказывал мне:

— Счастье наше, что взрыв произошел не в 12-дюймовой башне. В каждой из них держали в запасе около двадцати пудов пороха. Для чего? Ведь заряжать орудия вручную гораздо дольше, чем автоматической подачей. А у нас внизу, в подбашенном отделении, некоторые кокоры раскупорились. Порох из них рассыпался. Достаточно было попасть туда малейшей искре, чтобы он сразу же воспламенился. Где были глаза у нашего начальства? Ведь весь корабль мог бы взлететь на воздух...

Бой продолжался. Наша эскадра успела проделать столько разных поворотов и эволюций, что трудно было в них разобраться. В конце концов она опять склонилась на юг.

Броненосец «Орел» получил уже до сотни снарядов разных калибров. Весь левый борт, выше батарейной палубы, был у него в дырах. Их на скорую руку забивали койками. У многих орудийных полупортиков были разбиты цепочки. Чтобы закрыть эти полупортики, нужно было завести к ним тросовые концы. Под огнем противника, рискуя сорваться в воду, матросы вынуждены были спускаться за борт.

Японские снаряды, разрываясь, разбивали такую высокую температуру, что выплавляли на толстых броневых плитах лунки, а в некоторых местах железо расплавлялось и свисало сосульками. На судне то и дело возникали пожары. Трюмно-пожарный дивизион не успевал с ними справляться. Тушили их и те, кому только можно было. Даже сам старший офицер, капитан 2-го ранга Сидоров, исполнявший теперь роль

командира, несколько раз выбегал из боевой рубки и вместе с сигнальщиком Зефировым и горнистом Балестом вел борьбу с огнем на мостике. С невыносимым смрадом горели свернутые в плотные коконы парусиновые койки, которые были подвязаны под свес крыши боевой рубки для защиты от осколков. Койки поливали водой, но через две-три минуты они опять начинали тлеть. Сидоров распорядился:

— Выбрасывайте койки за борт!

Позади рубки у фок-мачты загорелись бухты резиновых переговорных шлангов. Тут же находились ящики с 47-миллиметровыми патронами, давшие уже несколько взрывов. Все это также полетело в море. Люди, поиграв со смертью, однако свое дело выполнили и скрылись в боевой рубке. Матросы не пострадали, а старший офицер отделался только контузией спины.

Боцман Воеводин, проходя мимо помещения церкви, увидел пятерых матросов, стоявших перед иконами на коленях. Они молились не под звон колоколов, а под грохот орудий. Но боцман, нуждаясь в людях, крикнул на них:

— Какого чорта вы собрались здесь?

Раздался взрыв, и никто из искавших у бога защиты не поднялся на ноги. Казалось, вскрикнули от боли сами разбитые иконы. Вместе с людьми поплатился здесь своей жизнью и козел, купленный у туземцев. До этого взрыва он носился по всем палубам, не понимая, что творится вокруг. Снарядом у него оторвало заднюю часть спины. Он вскочил на передние ноги, замотал рогатой головой и, глядя на боцмана влажными черными глазами, жалко заблеял.

Вблизи появился лейтенант Славинский. Выбитый глаз и рана на голове у него были забинтованы. Он шагал как-то боком, неуверенно. Заметив, что из крана пожарной трубы хлещет вода, он остановился, подумал и крикнул боцману, только-что кончившему тушить пожар в церкви:

— Воеводин, закрой кран!

Воеводин бросился выполнить приказание, а Славинский через носовой

люк отправился на верхнюю палубу. Но там он пробыл недолго. Во время тушения пожара на шканцах ему чем-то ударило по голове и сорвало с нее повязку. В операционный пункт он был доставлен без памяти.

Сверху донеслись в операционный пункт голоса, кричавшие «ура». Мы недоумевали: в чем дело? Старший боцман Саем, спустившись вниз для перевязки легкой раны на руке, торжественно сообщил:

— Неприятель отступает. А его один подбитый броненосец отстал, еле движется и горит. Наша эскадра доканчивает его. Сейчас он пойдет ко дну.

Священник Паисий, широко перекрестившись, воскликнул:

— Господи, помоги нам поразить нашего лютого врага!

Я подумал: из всех организаций, существующих на свете, самая усовершенствованная — это военная; усовершенствованная она потому, что ее в продолжение тысячелетия создавали гениальные люди. У меня, как и у многих моих товарищей, не было никакого желания воевать с японцами, одетыми почти в такую же матросскую форму, какую носили и мы, и одинаково с нами несчастными. Однако я выполнял возложенные на меня обязанности более или менее добросовестно. Мало того, если бы меня поставили к пушкам, я старался бы стрелять в противника с наибольшей продуктивностью, хотя мои убеждения были совершенно иными.

Раненые, услышав весть о погибающем японском корабле, оживились. Радостное возбуждение, какое бывает на охоте при удачном выстреле в дичь, охватило и меня. Я взглянул на своего учителя, инженера Васильева, — в карих глазах его блеснул хищный огонек. А с посивших губ одного уже умирающего матроса сорвалось:

— Братцы, значит, им тоже досталось, японцам-то? Так им и надо, проклятым.

Но вскоре выяснилось, что Саем ошибся: справа от нашей колонны, в мгλισстой дали, едва двигаясь, горел не японский броненосец, а наш флагманский корабль «Суворов». По нем с «Ор-

ла» сделали несколько выстрелов. В операционном пункте наступило тягостное разочарование. По адресу боцмана послышалась ругань.

В ту же минуту заметили, что броненосец «Орел» начинает крениться на правый борт. Раненые и здоровые впросительно переглядывались между собой, но никто ничего не понимал, что случилось с кораблем. Может быть, он уже получил подводную пробоину? Может быть, через несколько минут он, как и броненосец «Ослябя», перевернется вверх килем? Среди людей росло беспокойство. Каждая пара глаз с тревогой посматривала на выход, и каждый человек думал лишь о том, как выскочить ему первым в случае гибели судна, ибо когда бросятся все, то двери и люки будут забиты человеческими телами. Кто-то уже начал подниматься по трапу. Некоторые что-то выкрикивали в бреду, а остальные молчали, как будто прислушивались к выстрелам своих орудий и к взрывам неприятельских снарядов. Вздрагивал измученный корабль, словно пугался черной бездны моря, вздрагивали и мы все, как бы представляя со всеми частями судна одно целое.

Броненосец накренился градусов до шести и, не сбавляя хода, надолго остался в таком положении. На один момент крен его еще увеличился. Очевидно это произошло на циркуляции. Казалось, перед нами опускается железная стена, чтобы навсегда отрезать нас от жизни.

Мне вспомнилась мать, и я, приблизившись к инженеру Васильеву, для чего-то сообщил ему:

— Моя мать умеет по-польски читать. У нее книг на польском языке томов двадцать: и молитвенники, и романы. Она знает их все почти наизусть.

Васильев удивленно поднял черные брови, стараясь понять смысл моих слов, и заговорил:

— Да? Это хорошо. А по-французски она не может читать?

— Никак нет, ваше благородие. Во Франции она совсем не была.

Почувствовав крен, забеспокоился в боевой рубке и капитан 2-го ранга Сидоров. По переговорной трубе он сей-

час же передал в центральный пост, где находились судовой ревизор, лейтенант Бурнашев, и трюмный инженер-механик Румс:

— Немедленно принять меры к выпрямлению корабля.

Румс поднялся наверх выяснить причины крена. Виновниками оказались коминдоры. В средней батарейной палубе скопилось много воды. Чтобы избавиться от нее, они, не спросив разрешения трюмных, самовольно открыли с правого борта непроницаемые горловины. Вода полилась в бортовой коридор и наполнила собою верхний отсек от 33-го до 44-го шпангоута.

К нашему счастью, крен был не на левый борт, где имелось много пробоин и где некоторые поврежденные орудийные полупортики еще не успели задрать. Броненосец мог бы, в особенности на циркуляции, зачерпнуть воду всей батарейной палубой. А это угрожало бы катастрофой.

По распоряжению Румса, трюмные старшины Федоров и Зайцев затопили отсеки левого борта. Корабль выпрямился. После этого пущенные в действие помпы выкачали воду за борт.

На броненосце «Орел» было три артиллерийских офицера. Двое из них — лейтенант Шамшев и лейтенант Рюмен — выбыли из строя. Капитан 2-го ранга Сидоров приказал писарю Солнышкову:

— Вызвать в боевую рубку лейтенанта Гирса.

Этот офицер занимал на корабле должность второго артиллериста. Во время боя он командовал правой носовой 6-дюймовой башней. Свою специальность он знал отлично, однако и ему не пришлось в голову сначала израсходовать запасные патроны. Когда им был получен приказ явиться в боевую рубку, неприятельские корабли резали курс нашей эскадры и били по ней продолжным огнем. Правая носовая башня отвечала неприятелю с наибольшей напряженностью. Но лейтенант Гирс вынужден был передать командование унтер-офицеру, а сам, соскочив на платформу, быстро приблизился к двери, высокий, статный, с русыми бачками на

энергичном лице. В тот момент, когда он начал открывать тяжелую броневую дверь, раздался взрыв запасных патронов. Здесь повторилось то же самое, что немного раньше произошло в соседней башне. Лейтенант Гирс, опаленный, без фуражки, с трудом открыл дверь и выскочил из башни, оставив в ней ползающих и стонущих людей. Случайно встретились ему носильщики. Он послал их на помощь к пострадавшему, а сам вместо того, чтобы спуститься в операционный пункт, решил выполнить боевой приказ. Но, когда он начал подниматься по шторм-трапу на мостик, под ногами от разрыва снаряда загорелся пластырь, и вторично лейтенант Гирс был весь охвачен пламенем. Добравшись до боевой рубки, он остановился в ее проходе, вытянулся и, держа обгорелые руки по швам, четко, как на параде, произнес:

— Есть!

Заметив, что его очевидно не узнают и молча таращат на него глаза, он добавил:

— Лейтенант Гирс!

Все находившиеся в боевой рубке действительно не узнали его. На нем еще тлело изорванное платье. Череп его совершенно оголился, были опалены усы, бачки, брови и даже ресницы. Губы вздулись двумя безобразными волдырями, кожа на голове и лице полопалась и свисала клочьями, обнажив красное мясо. Грохотало выстрелами пространство, выло снарядами небо, позади, на рострах своего судна, от взрыва с треском разлетелся паровой катер, а ему до этого как будто не было никакого дела. Дымящийся, с широко открытыми безумными глазами, он стоял, как страшный призрак, и настойчиво смотрел от капитана 2-го ранга Сидорова, ожидая от него распоряжения.

Так продолжалось несколько секунд. Лейтенант Гирс зашатался. К нему на помощь бросились матросы и, подхватив под руки, ввели его в рубку. Опустившись на палубу, он тяжело прохрипел:

— Пить...

VII

В конце пятого часа артиллерийская канонада между главными силами пре-

кратилась. За дымом и мглой противник вторично потерял нас. Наша эскадра, как и в первый период боя, постепенно сворачивая вправо, сначала склонилась на восток, а потом — на юг. В том же направлении японцы бросились разыскивать нас. А мы тем временем повернули еще вправо и пошли на запад. Вскоре контр-адмирал Небогатов, не видя никаких распоряжений командующего эскадрой и полагая, что контр-адмирал Фелькерзам погиб вместе с «Ослябей», поднял сигнал:

— Курс норд-ост 23°.

Таким образом, за второй период боя эскадра описала полный круг.

Броненосец «Орел» во многих местах горел. По его палубам стлался дым, сваливался за борт и, гонимый ветром, несся над морем зыбучими облаками в неизвестность. Изю всех люков поднимались матросы, из башен тоже выходили люди. После того, что пришлось всем пережить, у всех был вид полной растерянности. Каждый торопливо бросал по сторонам испуганно-пытливые взгляды, как бы спрашивая самого себя: «Что же будет дальше?» Появился наверху и кочегар Бакланов, медленно раскачивавший свое широкое туловище на коротких ногах. Встретившись со мною, он сумрачно промолвил:

— Да, натворили нам японцы бед.

Первым делом нужно было покончить пожарами. Свободные матросы бросались на помощь пожарному дивизиону. Вместо перебитых шлангов, появились новые, запасные. В это время распространился слух, что горит погреб правой средней 6-дюймовой башни. Из этого погреба, наполненного дымом, убежали все люди, работавшие там на подаче. Они же первые, заметавшись по судну, и сообщили страшную весть. И нельзя было им не поверить: снизу поднимался дым по нориям, наполняя собою башню; вываливал он также из открытой горловины, служившей сообщением с погребом, и серыми клубами распространялся по батарейной палубе, как грозный предвестник приближающейся катастрофы. У многих из команды побледнели лица, округлились гла-

за. Начиналась паника. Послышались бестолковые выкрики:

— Надо старшему офицеру доложить!

— Трюмных вызвать! Скорее затопить водой погреб!

— За борт! Спасаться!

Одни начали хватать спасательные пояса, другие — свернутые парусиновые койки с пробочными матрацами. Действительно было, от чего притти в отчаяние: каждая секунда угрожала взрывом всего корабля. Не все ли равно, как умирать, но почему-то казалось, что легче погибнуть от снаряда, чем взлететь вместе с внутренностями судна на воздух. Те из команды, которые успели вооружиться спасательными средствами, устремлялись к бортам и робко останавливались, не решаясь броситься в море. Глаза жадно всматривались в затуманенную даль, разыскивая признаки берегов, и ничего не видели, кроме сурово поднимающихся свинцовых волн. Для спасения оставалась лишь одна надежда — это свои идущие позади корабли, но и то не было уверенности, что они остановятся и будут подбирать людей из воды. И все же, стоило бы только одному броситься за борт, как в ту же минуту посыпались бы в море и другие. И никакими силами нельзя уже было бы остановить команду, тем более, что у нас из строевых офицеров могли еще распоряжаться только трое, а остальные все находились в операционном пункте. В девять-пятнадцать минут опустел бы весь броненосец. Но тут выступил кочегар Бакланов, громко прокричав:

— Черти смолены! Что вы волнуетесь? Я сейчас узнаю, в чем дело...

И, не медля ни секунды, он полез в горящий погреб. Многие из команды проводили Бакланова испуганными взглядами, разинув рты. Что побудило его на такой поступок? Он не был предан военной службе, он не нуждался ни в похвалах начальства, ни в будущих наградах. На корабле все считали его самым отъявленным бездельником. И вместе с тем в нем было что-то твердое и властное, что возвышало его над остальными матросами. Так или ина-

че, но своим порывом избавить всех от бедствия он привлек к себе внимание людей, потерявших способность разбираться в окружающей обстановке. Развивающаяся на корабле паника, не менее опасная, чем пожар, на некоторое время затормозилась. Прошло несколько напряженных и кошмарных минут, прежде чем снова увидел его наверху. Всех удивило, что он несколько не пострадал от огня и не пытается куда-либо бежать. Отравленный дымом, он остановился, расставил толстые ноги, согнулся и, протирая корявыми руками слезящиеся глаза, тяжело закашлялся. Матросы ринулись к нему, желая скорее узнать, что творится внизу, в патронном погребе. Но на их вопросы Бакланов разразился бранью:

— Идиоты вы все! Пустые головы ваши только зря занимают место на плечах. Хотел бы я знать, откуда столько дураков на судне развелось? Трусы несчастные! Вам не с японцами воевать, а с тараканами на печке...

Чем больше он ругался, тем легче у нас становилось на душе. Его речь, пересыпанную скверными словами, мы слушали с умилением, как слушают религиозные люди своего любимого проповедника. Мы были готовы стать перед этим грязным человеком на колени. Судя по его поведению, для нас стало ясно, что он принес нам избавление от смерти.

Наконец узнали, что случилось: вытяжная вентиляция испортилась и остановилась, а вдвунная продолжала работать и всосала в погреб массу дыма. А оттуда наверх он уже поднимался самотеком. Начальство только-что распорядилось затопить погреб водою, но теперь в этом не было надобности. Больше всех обрадовались артиллеристы. Они знали, насколько неудовлетворительно у нас была устроена система затопления погребов, соединенных трубами групповой вентиляции. При такой системе, затопляя один погреб, мы наполнили бы водою группу погребов, и все они таким образом вышли бы из строя.

Кочегар Бакланов, уходя с палубы, заявил:

— Что-то опять захотелось поесть.

Пользуясь затишьем, люди потушили все пожары и принялись наводить порядок на судне. Верхняя палуба и мостики были завалены обломками железа, поручней мелких пушек. Валялись куски, оторванные от шлюпок, блоки, обрывки такелажа. Все это полетело за борт. Вместо уничтоженных трапов ставили заранее приготовленные времянки. Пробоины через которые захлестывали волны, заделывали деревянными щитами, затыкали койками, затягивали парусиновыми пластырями. Артиллеристы возились с теми орудиями, которые можно было на скорую руку исправить.

Броненосец «Орел» теперь превратился в истерзанное чудовище. Все верхние надстройки на нем были разрушены, средний переходный мостик сорван и скручен в кольцо. Оба якорных каната оказались перебитыми, а вырванный правый клюз унесло за борт. Грот-мачта, пронизанная снарядами на нижнем мостике, еле держалась, угрожая обрушиться на головы людей. С нее, как и с фок-мачты, раскачиваясь под ветром, жалко свисали обрывки снастей. Были также перебиты кормовые стрельы, разрушены электрические лебедки, служившие для подема паровых катеров. Деревянный палубный настил, изборожденный и расщепленный снарядами, был в дырах, а правый срез имел такую большую пробоину, что стал недоступен для прохода. Цистерна, расположенная на носовом мостике, оказалась изрешеченной осколками, трубы, проводящие от нее пресную воду в нижние помещения, были перебиты. Люди, находившиеся в этих помещениях, при жаре в сорок с лишком градусов остались без подачи пресной воды. Пришлось ее брать в носовом трюме и разносить анкерками и ведрами в погреба, в машины, в кочегарки.

На броненосце имелось десять шлюпок, два паровых и два минных катера. Я посмотрел на них и вспомнил слова инженера Васильева. Больше, чем за месяц до боя, вернувшись с совещания корабельных инженеров, которое происходило на «Суворове», он с гневом рассказывал мне:

— Я внес предложение — удалить с боевых судов на транспорты все гребные суда и паровые катера. Я доказывал, что в бою они будут служить только пищей для огня. Кроме того, это уменьшило бы осадку броненосца и улучшило бы его начальную остойчивость. Но командующий и его штаб отвергли мое предложение.

И теперь я убедился, что Васильев был более предусмотрителен, чем адмирал Рождественский. Ни одной шлюпки, ни одного катера не осталось у нас в целости: все превратилось в разбитый и обгорелый хлам. В случае гибели броненосца нам будет не на чем спастись и останется лишь одно — прыгать за борт.

По некоторым элеваторам, разрушенным снарядами, не могли уже подавать патроны из погребов к 75-миллиметровым пушкам. Кроме того, рельсовая подача батарейной палубы во многих местах была перебита. В довершение всего у орудий крупного и среднего калибра от сильного сотрясения произошло смещение прицельных линий. Последнее обстоятельство особенно смутило артиллеристов: если и раньше нельзя было похвастаться меткостью нашей стрельбы, то теперь на больших дистанциях мы будем выбрасывать снаряды в воздух.

Короче говоря, броненосец «Орел» больше чем наполовину потерял свою боевую мощь.

Передышка, случайно выпавшая на нашу долю, приближалась к концу. Справа, позади, заметили первый отряд адмирала Того. Все его шесть кораблей, не имевших никаких признаков повреждения, шли параллельным с нами курсом, постепенно догоняя нас. На «Орле» пробили боевую тревогу. Но она прозвучала для нас, как погребальный звон колоколов. Люди неохотно, с тоскою в глазах начали занимать места по боевому расписанию, чтобы испытать последний час своей судьбы. А ровно в шесть часов с той и другой стороны загрохотали орудия. Сражались правым бортом, этим же бортом и принимали удары противника. Служа полчасу, догнал нас и адмирал Ка-

мимура со своими шестью броненосными крейсерами.

Опять на нашей эскадре началось избивание людей, которые в громадном большинстве своем виноваты были только тем, что родились на свет.

«Бородино», будучи головным, больше всех страдал от сосредоточенного огня противника. Но немало было попаданий и в наш корабль. Разрушался главным образом его правый легкий борт. Иногда казалось, что в него с грохотом вонзаются чудовищные зубы, вырывая куски железа. Наше спасение было лишь в том, что продолжали оставаться в целости бронированные борта и перекрывающая их броневая батарейная палуба. Но батарейная палуба возвышалась над поверхностью моря не больше пяти футов, тогда как волны хватали до семи-восьми футов. Таким образом, высокбортный корабль превратился в низкбортный монитор. По батарейной палубе свободно гуляла вода, увеличивая при циркуляции крен судна до опасных пределов.

В правой главной машине находился старший инженер-механик, полковник Парфенов, в левой — его помощник, штабс-капитан Скляревский. За время длинного пути броненосца, от Кронштадта до Цусимы, оба они, недосыпая по ночам, много потрудились над тем, чтобы наладить механическую часть. Под их руководством, в противоположность артиллеристам и матросам других специальностей, машинная команда хорошо освоилась со своими обязанностями.

Старший инженер-механик, управляя вместе с машинистами правой машиной, стоял на своем посту, где были сосредоточены манометры, телефоны и переговорные трубы. Его засаленный китель, надетый на голое тело, распахнулся, фуражка сехала на затылок, обнажив большой лоснящийся лоб, по лицу катились крупные капли пота, оседая на бороде густой росой. Он часто вытирался чистой ветошью и озабоченно вскидывал глаза на манометры, показывающие давление пара в котлах и число оборотов гребного вала. Время от времени раздавались звонки, переда-

бая распоряжения из боевой рубки увеличивать или уменьшить ход судна. Но это особенно никого не волновало. В бою ожидали более ответственного сигнала — застопорить совсем машину или дать ход назад. Подобные распоряжения отдаются в исключительных случаях и должны выполняться четко и быстро, если хочешь еще пожить на свете. Парфенов, следя за работой механизмов, с беспокойством поглядывал на своих подчиненных. Как они будут вести себя в момент опасности? Вдруг они растеряются, поддадутся панике и бросятся бежать наверх? Можно ли их тогда остановить одним лишь грозным окриком или же придется прибегнуть к помощи револьвера?

В машинах, как и в котелгарках, шла работа корабельного тыла, но она была не менее напряженной, чем наверху. Давление пара в котлах не спускалось ниже 230 фунтов. Два стальных сердца, сверкая при электрическом свете смазанными частями и давая броненосцу движение, работали исправно, без стука и нагревания. За ними усердно ухаживали машинисты при температуре в сорок с лишком градусов по Реомюру, наполовину голые, в одних лишь рабочих брюках. Отрезанные от внешнего мира, они не знали, что творится наверху. Можно было лишь на слух определять выстрелы своих орудий и попадания неприятельских снарядов. Здесь, на глубине, ниже ватерлинии, под броневой палубой, люки которой на время боя задраивались тяжелыми стальными плитами, за броневым поясом бортов, в этом мире механизмов и пара не было ни взрывов, ни раненых, ни убитых. Но от этого не уменьшалось ощущение опасности: если броненосец начнет тонуть, то из машинных отделений едва ли кто успеет выскочить.

Вдруг правая машина наполнилась дымом и газом. Люди начали задыхаться и слепнуть. К старшему инженер-механику подлетел машинист и каким-то лающим голосом спросил:

— Погибаем, ваше высокоблагородие?

Вместо ответа Парфенов громко командовал:

— Выключить вдувную вентиляцию!
Воздух быстро очистился, но зато начала подниматься температура, переваливая за пятьдесят градусов. Выдерживать такую жару при напряженной работе было очень трудно. Казалось, можно было свариться в собственном соку.

Такой же случай повторился и в левой машине.

Иногда в машины, проникая по шахтам горячего воздуха, залетали осколки. К счастью, ни один из них не попал в трущиеся части. Это заставило бы судно выйти из строя.

В носовой котелгарке лопнула труба, идущая от котла к магистрали. Пар, с ревом вырываясь на свободу, наполнил котелгарное отделение горячим облаком. Инженер-механик Русанов и старшина Мазаев успели своевременно выключить котел. При этом никто не был ошпарен. Оставшиеся девятнадцать котлов достаточно давали энергии, чтобы обслуживать главные машины и вспомогательные механизмы.

Приближаясь к Цусимскому проливу, мы выкинули много дерева за борт. И все же во время боя не могли избавиться от пожаров. А теперь они возникали еще чаще, чем раньше. Пожарный дивизион не успевал с ними справляться. Горели чехлы, спасательные круги, переговорные резиновые шланги, изоляции паровых труб, пожарные шланги, матрацы, парусиновые обвесы коечных сеток и деревянные решетки в них, угольные мешки, черления, швартовы, вьюшки с пеньковым тросом, блоки, пластыри. Горели офицерские каюты с их занавесками, коврами, мебелью, шкафами. Горела верхняя палуба, в особенности в тех местах, где деревянный настил был разворочен и расщеплен снарядами. Но больше всего служили пищей для огня гребные суда с веслами, сложенными внутри их, а также паровые и минные катера с их деревянной отделкой. Пожары причиняли очень много бедствий, разобщая части судна, мешая комендорам стрелять, постоянно угрожая пробраться в бомбовые погреба. Иногда дым, заволакивая башни, выкуривал из них прислугу, как выкурив-

вают пчел из улья. Оптические прицелы орудий настолько закоптились, что стали бесполезны, — в стекла их ничего нельзя было видеть.

А главное — пожары действовали удручающе на психику всего экипажа. Огонь на корабле — это совсем не то что на суше. Если запылает какое-нибудь здание, то обитатели его прежде всего вытаскивают свое добро, а потом, когда этого уже нельзя делать, выбегают сами на улицу. Они стоят на твердой земле и с воплями или с мрачным безмолвием смотрят, как огонь пожирает все, что было накоплено за долгое время. В дальнейшем им предстоит, может быть, нищета и голод, но нет непосредственной угрозы смерти. Другое дело — пожар на море.

Наш броненосец находился среди водной стихии, враждебной огню, и все-таки горел. Уже это одно обстоятельство в какой-то степени противоречило логике. На этот раз пламя бушевало на корабле с наибольшей силой, а внутри его, в железных лабиринтах, в многочисленных закрытых отделениях, находились сотни людей. Им некуда было выскочить: кругом — волнующееся море, осыпаемое снарядами. Мало того, каждый человек вынужден был находиться на своем месте по боевому расписанию: в башнях, в погребах, в трюмах, в минных отделениях, в машинах, в коцегарках, в операционном пункте, в судовой мастерской, при орудиях, при вспомогательных механизмах, при переговорных трубах. Нельзя было прекратить работу, иначе — смерть всем, если корабль выйдет из строя. Корабль и люди теперь представляли собою одно целое. Пока он не потерял свою жизнеспособность, у каждого из экипажа есть надежда спасти собственную жизнь.

Против пожаров у нас имелось единственное средство — вода. Но она выполняла двойственную роль: защищала нас от огня и в то же время была главным нашим врагом. Растекаясь по верхней палубе, она через многочисленные дыры сбегала на нижние палубы, она, как разбойник, врвалась через пробоины бортов внутрь судна, она через разбитые комингсы и элеваторы

спускалась еще ниже. Трюмные машинисты во главе с инженер-механиком Румсом не успевали ее откачивать. Корабль уже принял ее в свою утробу не менее пятисот тонн. Словом, вода, которой спасались мы от пожаров, угрожала нам холодной и мрачной могилой моря.

В операционном пункте на столе лежал тяжело раненый и слабо стонал. Старший врач Макаров, штопая ему иглой пробитый сальник, выпрямился и повернул голову к фельдшеру, желая очевидно что-то сказать ему. В этот момент крупный снаряд ударил в правый броневой пояс, против операционного пункта. Корабль рванулся и звучно задрожал, словно огромнейший барабан. Казалось, что сейчас развалится все его сто шпангоутов, эти стальные ребра, скрепляющие корпус судна. В операционном пункте немногие устояли на ногах. Старший врач Макаров качнулся и свалился на своего оперируемого пациента. Тот визгливо завопил. В тревоге подняли головы и другие раненые. Не прошло и полминуты, как раздался второй такой же удар в правый борт. Электрическое освещение погасло. Началось общее смятение. В темноте, заглушая стоны завозившихся раненых, прокричал старший врач:

— Успокойтесь, ребята! Ничего особенного не случилось. Успокойтесь!

Санитары уже зажигали заранее приготовленные свечи. В полумраке я увидел бледные лица и налившиеся ужасом глаза. У матроса с тяжелой раной в груди началась рвота; он стал на четвереньки и, хрипя, начал поливать содержимым желудка неподвижно лежащего своего соседа. Другой, мотая забинтованной головой, лез на переборку и дарапал ногтями железо. Бредил, держась на матраце, командир судна.

— Ваше превосходительство, где ваш план боя?.. Увольте со службы.. Подлости я не потерплю... Ваше превосходительство.. Ваш мозг дрожит, как желе..

И громко скомандовал:

— Вызвать наверх всех кондукторов!.. Бредили и другие раненые.

Все это было настолько непривычно для меня, что кружилась голова.

Минеры исправили электрическое освещение.

Чувствуя сухость во рту, я бросился к воде и с жадностью начал пить. Неожиданно кружка вылетела у меня из рук. В операционное помещение с шумом ворвался воздух, и в тот же миг загрохотали обломки над самым люком коридора, словно обрушилось над нами каменное здание. Сейчас же начался крен на правый борт. Одновременно с этим наше помещение наполнилось газами и дымом. Трудно стало дышать — чад проникал в легкие царапающей горечью и мучил сознание. Крики и вопли усиливали безумие. И никакими уговорами, никакими угрозами уже нельзя было остановить тех, которые двинулись к выходу. Паника продолжалась минуты две, пока инженер Васильев не выключил вдувную вентиляцию, труба которой выходила на шканцы. Воздух быстро очистился.

Крен на правый борт градус в шесть продолжал оставаться. Очевидно броневые плиты, расшатанные в стыках ударами снарядов, дали течь. Кроме того, вода, гулявшая по батарейной палубе, слилась к одному борту. В это время у каждого было лишь одно желание, чтобы трюмная часть скорее выпрямилась корабль.

Медицинский персонал опять начал заниматься своим делом. Но мне эта работа уже казалась бессмысленной. Броненосец, до сих пор охранявший нас, скоро превратится для всего экипажа в железный балласт. А не все ли равно, как опускаться в морскую пучину — с перевязанными или с перевязанными ранами.

Меня тошнило от запаха крови и лекарств. Мой мозг перестал воспринимать новые впечатления. Я не мог больше оставаться в операционном пункте и, ничего не представляя, полез на верхнюю палубу, усталый и безразличный к опасности. Раздался сигнал: «Отражение минной атаки». Но на самом деле вокруг никаких миноносцев не было видно. Как после выяснилось, этим сигналом старший офицер Сидоров

вызывал прислугу мелкой артиллерии для тушения пожаров. Выскочило наверх человек десять. В этот момент недалеко от судна упал снаряд в море, скользнул по его поверхности, разбросал брызги и, рекошетировав, снова поднялся на воздух, длинный и черный, как дельфин. Двадцатипудовой тяжестью он рухнул на палубу. На месте взрыва взметнулось и разлилось жидкое пламя, замкнутое расплывающимся кольцом бурого дыма. Меня обдало горячей струей воздуха и опрокинуло на спину. Казалось, что я весь разлетелся на мельчайшие частицы, как пыль от порыва ветра. Это отсутствие ощущения тела почему-то удивило меня больше всего. Вскочив, я не поверил, что остался невредим, и начал ощупывать голову, грудь, ноги. Мимо меня с криком пробежали раненые. Два человека были убиты, а третий, отброшенный в мою сторону, пролежал несколько секунд неподвижно, а потом быстро, словно по команде, вскочил на одно колено и стал дико озираться. Этот матрос как будто намеревался куда-то бежать и не замечал, что из его распоротого живота, как тряпки из раскрытого чемодана, вываливались внутренности. А когда взгляд его остановился на обрывках кишек, он судорожно-дрожащими руками начал хватать их и засовывать обратно в живот. Это проделывалось молча и с такой торопливостью, словно еще можно было спасти жизнь. Но смерть уже душила его. Он упал и протяжно, по-звериному заревел.

Я хотел бежать вниз, но откуда-то услышал голоса:

— «Бородино!» «Бородино!».

Одной минутой раньше, появившись на верхней палубе, я первым делом обратил внимание на этот броненосец. Ведя за собою эскадру, он имел уже крен на правый борт и обрастал огненными цветами. На нем горели мостики, адмиральский салон, вырывалось пламя из орудийных полупортов, окрашивая вблизи темнеющее море бордовым заревом. А теперь то, что я увидел, отзывалось в груди раздирающей болью. «Бородино», не выходя из строя, быстро повалился на правый борт и, сде-

лав последний залп из кормовой 12-дюймовой башни, перевернулся вверх килем. С броненосца успело выскочить десятка два людей, а остальные, около 900 человек, остались внутри огромнейшего железного кузова.

Это случилось в 7 ч. 10 минут.

Мы пропустили «Бородино» по своему правому борту и пошли дальше.

Моя душа за время боя наполнилась до отказа потрясающими впечатлениями. Но на этот раз в ней образовалась пустота, словно для того, чтобы воспринять и закрепить в памяти новую страшную картину.

Не считая погибшего броненосца «Ослябя», мы еще потеряли три лучших и новейших корабля. От первого отряда остался лишь один «Орел», да и тот был настолько разбит, что имел очень небольшое боевое значение. Настала пора, когда ему пришлось, находясь головным в строю, вести за собою остальные суда. Неприятель весь свой огонь перенес на наш броненосец.

Угасал день. На западе, приплюснутый облаками, длинной кровавой раной догорал закат, Ветер попрежнему будоражил море, гоня зардевшиеся волны. До полных сумерек осталось несколько минут, но их было вполне достаточно, чтобы почувствовать себя вне жизни. Я прилип к вышедшей из строя левой носовой 6-дюймовой башне, как мотылек к дереву во время грозы, и не в силах был стряхнуть с себя оцепенения. Словно кто другой решил за меня вопрос о выборе смерти: лучше погибнуть от снаряда на открытом месте, чем провалиться на морское дно, находясь внутри броненосца, заживо погребенным, как это случилось с людьми «Бородина».

Казалось, не со стороны неприятеля, а с развзшегося неба падали на судно и вокруг него снаряды. «Орел» представлял собою пловучий костер. На кормовом мостике рыжие языки пламени, трепетно извиваясь, поднимались до марса грот-мачты. Дым, подхваченный ветром разлетался клочьями, как серый пух. Непонятно было, как выдерживают мои нервы и как броненосец

продолжает еще плыть. В этом грохоте взрывов и в смерчах моря.

Я вытащил из кармана брюк носовой платок и развернул его. На нем были две голубые буквы: А. Н., вышитые рукой матери, когда я ездил на родину в отпуск. Я ни разу не употреблял этот платок и лишь в день сражения почему-то взял его из своих вещей. Теперь, стоя у левой башни, я впервые начал вытираться им и, хотя я не был ранен, увидел на нем кровь. Это меня очень огорчило: отмоется кровь или нет?

Через зрачки моих глаз, маленькие, как булавочные головки, входили в сознание грандиозные картины боя. Не было сомнения, что корабль напрягает последние свои силы в этом стихийном иступлении артиллерийского огня. Близился страшный конец. В то же время в голове у меня кружилась пустяковая мыслишка: «Если выстирать платок с содой, то, пожалуй, он отмоется, но на нем может полинять голубая вышивка...» Передо мной, совсем близко, обдавая жаром лицо, мелькнула сияющая звезда, величиною с детскую голову. Это пролетел осколок с горящим на нем взрывчатым веществом и в двух саженях от меня впился в палубу. От него, извиваясь, поползли золотые змеи. Вдруг что-то смяло меня, скомкало, ослепило. Казалось, что я попал в лохматые объятия морского чудовища и, задыхаясь, полетел вместе с ним за борт. Не сразу можно было догадаться, что на меня обрушился столб воды. Под его тяжестью я покотился по палубе. А когда поднялся на ноги, то увидел, что неприятельские суда повернули от нас вправо «все вдруг» и направились в норд-остовую четверть. В последний раз, вероятно из кормовых орудий, был сделан залп уже по зареву пожара, охватившему наш корабль. За ютом у нас одновременно упало до сорока снарядов, столько же взметнулось фонтанов, вспыхнувших огненным блеском, и на этом дневной бой закончился.

ПРИМЕЧАНИЕ О дальнейшей участи «Орла» и других судов будет рассказано особо.

Юность Маркса

Роман

Г. СЕРЕБРЯКОВА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Жить трудясь или умереть в бою

1

Прошло несколько дней после решающего четверга, 27 июля. Телеги, запряженные флегматичными першеронами, увозили с улиц Парижа окровавленные исторические останки, изрешеченные пулями мешки с сыплющейся землей, разбитые станки, мебель и вспоротые матрацы, служившие импровизированными баррикадами..

На искалеченных мостовых еще валялось разнообразное оружие восставших: ножи, пистолеты, пики, шашки, палки, инструменты, железные прутья, бревна.

Кое-где на пораненных домах висели, морщась от ветерка, полотнища: «Да здравствует республика!» Их—под крики: «Да здравствует король!»—срывали нарядные дамы и кавалеры, бегущие к Тюильри — дворцу нового монарха

9 августа, на следующий день после вошествия короля на французский престол, Дюмолар получил приглашение к Луи-Филиппу Первому.

Правительство считало полезным обласкать и перетянуть на свою сторону кое-кого из чиновников Наполеона, попавших в немилость после реставрации.

Возвращение Бурбонов лишило Бувье-Дюмолара почестей и остановило его восхождение по служебной лестнице. Пят-

надцать лет прошло для опального са-новника вдали от Парижа и двора — пятнадцать лет принудительной отставки. Богато женившись, он проводил годы в путешествиях, брюзжа и оглакивая прошлое, заигрывая с оппозиционерами, но не решаясь действовать. Июльскую революцию Дюмолар воспринял как час долгожданного возмездия Карлу.

«Лучше служить реальному королю, чем предаваться нереальным надеждам на победу потомков Наполеона» — подумал он, облачаясь в парадный фрак.

В полдень опальный чиновник поехал к Луи-Филиппу в ослепительной карете с заново позолоченным гербом.

Покуда Дюмолар был на высокой аудиенции, его слуга Жером бродил по французской столице. Он угрюмо смотрел на увядающие гирлянды и украшения, вывешенные на домах в честь коронации. На восьмиугольной Вандомской площади Жерома оттеснила в подворотню толпа зевак. С вершины гранитной колонны стаскивали огромную лилию под белым знаменем — герб низверженных, теперь Бурбонов, герб, сменивший некогда статую Наполеона.

Из близлежащего Тюильрийского сада неслись звуки вальса, наигрываемого духовым оркестром

Прошло несколько месяцев, и Дюмолар приказом короля был назначен префектом влиятельного и богатого департамента Роны. В мае 1831 года он в сопровождении семьи и слуг выехал в Лион.

2

— Ты — корсиканец, Жером, и всего на какой-нибудь дюйм выше Наполеона. Кто знает, на каком острове быть тебе погребенным, — Бувье-Дюмоляр гулко засмеялся: — Не отрицай, старина, что и июльские дни демагоги выучили тебя требовать республики. Знаю, ты думаешь, что тебе и твоим друзьям я обязан своей должностью префекта Пусгь так! Еще год-два, и мы наконец в Париже.

— Не думаю, чтоб королевские министры подпустили вас к себе близко, — хмуро отозвался Жером.

Префект Дюмоляр, гостивший в именинне негодянта Броше, спешил на охоту, и потому обычный утренний обмен мнений между ним и слугой значительно сократился. Примерив цилиндр и согнув в руке хрустящий английский хлыст с золотой рукояткой, он направился к выходу, но на пороге задержался, отдавая последние приказания.

— Свези письмо меру и побывай в штабе Рогэ Повыспроси у денщиков, каково здоровье генерала. Впрямь болел или притворяется, чтоб избежать встреч со мной на заседаниях.

Бувье-Дюмолара и его слугу связывали двадцать семь прожитых бок о бок лет

В 1804 году молодой наполеоновский чиновник Бувье, приехавший на Корсику с ответственным поручением от императора, встретил в трактире близ Аяччио дикого черноволосого пастуха, едва объявившегося по-французски. Земляк Бонапарта упросил приезжего начальника взять его с собой и с тех пор служил ему безукоризненно. Очень скоро Жером стал живой летописью деяний Бувье-Дюмолара, его довереннейшим наперсником. Ему были известны привычки и вкусы господских любовниц, причины его дуэлей, имена секундантов, города и страны, куда заносила служба наполеоновского администратора.

Во времена империи, как и в годы революции, чиновники неоднократно меняли местожительство и характер работы.

Послужной список Бувье-Дюмолара

был длинен. Император ценил расторопность, такт и знание чужеземных языков в обедневшем дворянине и посылал его на ответственные посты в завоеванные земли. Бувье-Дюмоляр умел, как никто, сглаживать шероховатости имперского режима, и аристократия Венеции, Пагузы, Кобурга охотно подпускала его к себе как равного.

Род Бувье, разоренный 1789 годом, принадлежал к старой дореволюционной французской знати.

Жером помнил нынешнего лионского префекта наполеоновским офицером, бывшим администратором. Именно он передал префекту Гар-и-Гаронны скрепленный императорской сургучной печатью конверт, в котором дворянину Бувье жаловался титул барона.

3

Едва охотники покинули обширный двор «Виллы изобилия» негодянта Броше, Жером на пегой лошаденке отправился в Лион, расположенный в двадцати трех милях от поместья.

Октябрьский воздух был возбуждающе ясен. Дорога в город шла вдоль Роны, вода которой в это утро была, как и небо, светлосерой. Придорожные клены и каштаны грустно роняли на землю большие разноцветные листья, которыми Жером украсил сбрую лошади.

Как всегда в одиноком пути, старый корсиканец возвращался памятью к родному острову, не виденному почти три десятилетия. Глаза его тоскливо искали скал и нетронутых лесов, но находили обжитые холмы и тщательно возделанную равнину.

В деревне, возле колодца, стоял запряженный дилижанс, направляющийся в Дижон.

В ожидании смены лошадей пассажиры завтракали в трактире «Маленький савояр».

Жером не нашел знакомых среди степенных комиссионеров и, залпом выпив кружку бордоского вина, поехал дальше. Близость города подчеркивалась все увеличивающимся движением на дороге

Неуклюжие огромные пикардийские кони волокли крытые брезентом фургоны, до отказа заставленные ящиками с грузом шелка и бархата. Они направлялись на Лейпцигскую ярмарку.

Жером обогнал караван телег, везущих в текстильную столицу итальянский сырец.

Внезапно настойчивый окрик привлек внимание ездока. На пригорке, под вянущим, осыпающимся кленом, сидел, вытянув длинные ноги, рыжий парень в полотняных измазанных штанах и блузе навыпуск.

— Эй, приятель! — кричал он, размахивая палкой. — Далеко ли до Лиона, приятель?

Жером, никогда не лишавший себя возможности побраниться, остановил коня.

— Бездельник, — заорал он, приподнимаясь на стременах, — город касается твоего носа, слепой лодырь. Встань, душень, вместо того, чтобы останавливать занятых людей пустой болтовней.

— Я не здешний, — сказал бродяга с заметным иностранным акцентом и медленно встал на ноги. Он был чрезвычайно худ и казался изнемогающим от усталости.

— Немец? — спросил Жером на языке, которому выучился в Кобурге.

Прохожий утвердительно кивнул лохматой головой.

— Откуда? — добавил Жером небрежно, снова обрадовав рыжего парня звуком родного языка.

— Иду из Женевы, обошел Швейцарию, а сам я из Дармштадта: говорили, в Лионе хватает работы и для иностранцев.

— Работа будет, да не прокормит, — отчеканил Жером, натянул поводья и вскоре скрылся за поворотом.

Иоганн Сток, девятнадцатилетний портняжий подмастерье и искусный ткач, второй год странствовал вдоль Рейна и теперь через Савойские горы пробирался на Рону

4

После обильного ужина господин Броше повел гостей осматривать обширное поместье «Вилла изобилья» была купас-

на негоциантом всего год назад на правительственных торгах. Это был квадратный дом с полукруглыми выступами, витыми террасами, выстроенный мужем фаворитки Людовика XV в стиле того времени. В годы Великой революции в «Замке королевы», как называлось тогда поместье, была казарма. Мраморные колонны и стенные фрески замазаны лозунгами:

«Раздавим гидру тирании!»

«Свобода, равенство и братство!»

Наполеон подарил прекрасный запущенный парк с безносими нимфами и изуродованными вакханками одному из своих маршалов. Но маршал привел в порядок только пять из шести подаренных ему поместий. Он успел переименовать «Замок королевы» в «Замок императрицы». Поместье медленно разрушалось: лионских буржуа не соблазняла дворянская обитель, построенная для празднеств и удовольствий. Вскоре после июльской революции господин Броше приобрел это одичавшее поместье за бесценок.

Лионские буржуа, в противоположность своим столичным собратьям, недолюбливали чрезмерной роскоши. Жены многих шелкоткацких магнатов были взяты из ближайшей Швейцарии, где их воспитывали в строгости и ханжеской простоте. Тем не менее Броше решил, как он сам говорил, «доставить себе удовольствие, равное капиталам»

Броше, родом из Парижа, считался пришлым человеком в Лионе, куда переехал, женившись на дочери крупного торговца бархатом. Своим богатством он был обязан главным образом реставрации, в годы которой получил огромную прибыль на займах по уплате контрибуции союзникам.

После смерти тестя Броше вложил деньги в Лионскую мануфактуру и продолжал богатеть.

Он назвал «Замок императрицы» «Виллой изобилья», затратив на отделку свыше сотни тысяч франков — к удивлению и злословию лионского буржуазного общества. Глухой сад был вырублен и превращен в цветник, в отреставрированном доме появились сомнительного качества картины, скупленные

агентами в провинции и столице. Бронзовый тур с протянутой лапой-блюдом для визитных карточек стоял у входа, разбитые нимфы уступили место каменным статуям, символизирующим веру, надежду и добродетель. Выписанный из Италии скульптор оформлял и воплощал замыслы негоцианта. Вместо обветшалых беседок «Храмов любви и восторга» Броше выстроил два круглых, похожих на цистерны, глухих сооружения, внутри которых устроил панорамы. Одна изображала библейскую притчу о самаритянине и нищем, другая—обращение негров в католичество. Оба эти сюжета до слез трогали господина Броше.

В хозяйском кабинете стены были увешаны всевозможным оружием. На самом почетном месте висел кухонный нож с деревянной рукояткой, которым, по заверениям Броше, был убит Марат.

Только на половине дочери сохранился сгиль старого барского дома. «Амур и Психея» продолжали целоваться в будуаре Генриетты Броше. Балдахин над кроватью был того же цвета и так же украшен птицами, как в те дни, когда под ним спала расточительная королевская фаворитка. Единственный божок, украшавший бассейн перед террасой дома, был Меркурий.

Генриетта Броше, пухлая, краснощекая девятнадцатилетняя девица, вот уже два года как покинула школу при монастыре урсулинок, где воспитывались nasledницы титулов и миллионеров. Барышня Броше читала целыми днями романы, а перед сном— молитвы. Жизнь в Лионе казалась ей унизительно-прозаической: она мечтала о замужестве—главным образом как о перемене места.

«Париж,—писала она подруге,—единственный уголок на земле, где ничто грубо не коснется моего мечтательного печального сердца».

Жорж Дюваль, адъютант генерала графа Рогэ, командира войск, расположенных в Лионе,—человек с безукоризненно тонкой талией,—казался Генриетте Броше приятным спутником в столицу— «в сей оазис в черством мире». Под черствым миром дочка негоцианта подразумевала Лион.

— Могли бы вы из любви к жен-

щине подать в отставку и поехать ради нее на край света, Жорж?—спрашивала Генриетта, покуда отец выхвалял гостям свои конюшни.

— Но, сударыня, как истинный сын Франции, я готов положить жизнь на поле брани, однако честь я не огдам никому. Отставка в двадцать четыре года была бы позором и лишила бы меня наследства.

— Барон,—позвала Генриетта Джомлара, тоскливо разбрасывавшего каблук с гравий дорожки.—Любите ли вы луну?—Она жеманно протянула руку по направлению к выползающему из-за холма полумесяцу.

— Признаю ее полезным светилом, значительно однако уступающим газовому фонарю, последнему изобретению нашего века,—ответил тот.

Господин Броше, только-что назвавший сумму, затраченную на молочную ферму, к которой направлялась компания, обернулся на слова префекта, аплодируя

— Bravo, ответ, достойный эпохи пара, мой друг,—добавил он, фамильярно хлопнув барона по плечу.

— Ах, какая однако проза,—капризно заявила барышня Броше.—Луна—солнце мертвых, взгляните друг на друга. Мы прозрачны, мы сини, мы—увядшие цветы.

Господин Броше в негодовании взмахнул черным зонтиком.

— Вот за эти бредни, извольте слышать, господа, я платил святым монастырским грешницам по десятку тысяч франков. Моя мать, не стоившая моему деду сотой доли моих затрат на Генристу, не умела читать и не имела времени думать о луне. Зато она положила основу благоденствия семьи, открыв булочную возле Гревской площади. Отец нашего короля, принц Филипп-Эгалите, весьма хвалил матушкины печенья. Не угодно ли посмотреть сантим, который он дал ей в день суда в уплату за сдобный хлебца.

Господин Броше вынул из бисерного кошелька, подаренного ему Генриеттой ко дню рождения, стертую монету времен первой революции и подал ее префекту.

Бувье-Дюмоляр ничем не обнаружил того, что видит реликвию в восьмой раз на протяжении последнего месяца.

С воцарением Луи-Филиппа среди самобуверенных буржуа входило в моду иметь в числе предков умеренных якобинцев.

— Вы похожи на Альфреда де-Мюссе, Жорж,—шепнула барышня Броше.— У вас та же гордая шея. Ах, взгляните вверх...

Ночь темна...
Над пожелтевшим колокольни шпилем
Луна,
Как точка над «и».

патетически пришептывая, декламировала Генриетта «Балладу о луне» входившего в моду поэта:

Не око ли ты
одноглазого неба?
Какой лицемерный
херувим
Рассматривает нас
Из-за твоей
бледной маски

Адъютант генерала Рогэ не решился сознаться в том, что доселе не слышал стихов Мюссе. В свободные часы он отдавал предпочтение картам перед литературой.

У фонтана разговор коснулся холеры. Напоминание о страшной неведомой болезни, подползающей с востока к Франции, пронеслось ледяным дуновением. Дамы зябко кутались в мягкие шали. Нервно вспыхивали пахитоски под усами мужчин.

— Лимоны и ромашковый настой предохраняют от болезни, но впрочем, поскольку она передается по воздуху, убесть невозможно,—авторитетно заявил почитаемый в Лионе врач, поглаживая завитую по-ассирийски бороду.

Ночной ветер задувал свечи в серебряных канделябрах, которые несли лакеи. В «Виле изобилья» оркестр доигрывал увертюру из беллиниевской «Нормы».

Начались танцы. Господин Броше увлек префекта в диванную, где девятнадцать лионских буржуа молча играли в карты. Их появление прервало игру.

Бувье-Дюмоляр поймал вопросительные взгляды, обращенные к нему, и попытался ускользнуть от расспросов.

— Парижские газеты,—сказал он, небрежно развалившись в кресле,—толкуют о премьер-оперы «Танкред». Не верится, что пучеглазая Паста превзошла в игре божественную Малибран. У нас холодный тембр и надтреснутые верхи. Фабриканты угрюмо помалкивали. Оперные дивы их не заинтересовали.

— Жена спросила меня,—сказал шамкая старик с позеленевшими от нюхательного табака усами,—сможем ли мы уберечь дом от холеры? Я ответил, что если мы живы, несмотря на вымогательства рабочих, то и холера нас не одолеет.

— Воистину то, что мы переживаем, пострашнее эпидемий,—начал Броше.— Город кишит недовольными. 8 октября, всего неделю назад, рабочие, предводительствуемые демагогами, решили требовать повышения заработной платы. Негодяи не понимают, что Лион—не Англия, где паровая машина значительно удешевила кусок шелка. Проклятые англичане довели цену за штуку до пятидесяти франков против наших девяноста... Мы окружены, стиснуты неслыханной конкуренцией: Вена, Эрбельфельд, Кельн, Милан.—двадцать тысяч конкурирующих станков, не считая британских.

Броше дрожащим голосом подсчитывал потери на Франкфуртской ярмарке. Фабриканты сочувственно кивали головами.

— Было время,—сказал худой старик, потомок древней династии лисенских фабрикантов, в коричневом парике и старинном зеленом камзоле,—когда лионский шелк снабжал всю Европу, пропикая в Азию и Африку. Русские царицы и богатые скандинавские фермеры не носили иных тканей. Господь бог был милостив к нам. Хвала ему. Теперь—не то,—голос купца стал скрипучим, и кулаки невольно сжались,—мы, как пираты, бросаемся на вновь открытые земли, деремся и торгуем в убыток, гоняясь за Грецией, и боремся за турецкие и алжирские гаремы. Мы заискиваем перед бабьем всего мира, умождаем, захваливаем. И в момент такого кризиса рабо-

чие и ловкие содержатели мастерских пытаются бунтовать. Господин барон, нас — цивилизованных людей — только пятьсот в Лионе. Мы окружены тесным кольцом врагов. Их десятки тысяч, — тридцать тысяч ткачей, около девяти тысяч владельцев станков, которые не менее опасны в часы восстаний. Я не знаю числа учеников и подмастерьев — этого сброда, способного на все. Берегитесь, барон, развязывать стихию. Вы забыли, на что способна чернь. Вспомните, господин префект, вас послал король блюсти наши интересы. — Старик наступал на префекта, грозно размахивая рукой у его лица.

— Друзья мои, — ответил префект департамента Роны, немного растерявшись, — заверяю вас, нам не грозит анархия, стихают страсти, проясняются умы, люди возвращаются к порядку. Будем спокойны. Монархию беспокоит рабочий вопрос, но она сумеет удержать рабочих в пределах разумного. Мы знаем, как ценит монархия труд промышленника. Обогащайтесь, потому что ваше богатство — богатство нации, благоденствие для рабочих.

5

Иоганн Сток ожутился в предместьях Круа-Русс уже далеко за полночь. Босые ноги ныли, и сведенный голодом живот причинял непереносимые страдания. Оставив позади шагбаум, он свернул в первую попавшуюся улочку и пристроился у низкого дома, подпиравшего сарай, охраняемый болтами и гиреподобным замком. Сток заснул, едва голова его припала к каменной ступени. На рас свете он был разбужен бесцеремонной женской ногой. Широкая хошцевая юбка касалась его лица, большая мягкая ступня грозила смять нос. Ему удалось однако убедить женщину, что он вовсе не пьян и дожидался утра, чтобы отыскать мастера Буври, которому несет поклон от родственника.

Вскоре Иоганн стучался у двери мастерской Шарля Буври. Владелец семи станков получил изрядный заказ, но, несмотря на то, что безработица давно покинула стены его дома, был опутан долгами и жил впроголодь вместе с на-

емными рабочими. Налоги и низкая поштучная оплата выделанного шелка заставляли старика не раз подумывать о ликвидации мастерской.

— По мне, лучше поступить на большую фабрику, к богатому хозяину, чем маяться, как мы в своих конурах, — говорил часто Буври в ответ на сетования других содержателей мастерских, пугавшихся наступления машин на ткацкий станок.

За станками Буври работали четыре наемных рабочих, сам Шарль и жена его Катерина. Седьмой станок пустовал со времени болезни единственного сына стариков, умиравшего от чахотки на чердаке дома. Рабочие жили тут же, в мастерской, ночуя под станками, столами и на печи.

Тщательно расспросив Иоганна и положившись на рекомендацию женевакского свояка, Буври предложил ему работу, объяснив, что сырье дает ему заказчик, и, согласно вековой традиции, рабочий получает за выделку штуки шелка половину суммы, заплаченной за нее хозяину станка негодяином.

— Кровопийцей, — пояснил Андрэ, самый молодой из ткачей, темноглазый, хилый человечек с пушистой головой.

Проработав весь день до поздней ночи, Сток заснул под столом счастливейшим сном.

Он имел отныне кров и кусок хлеба. За каждый проработанный день Буври обещал платить рабочему восемьдесят сантимов — сумму, едва хватавшую на то, чтоб оплатить постой и корм старой Катерине.

6

Вопреки предсказаниям Бувье-Дююллара страсти не стихали, и, по мнению негодяиного Броше, анархия надвигалась на город, опережая холеру.

В середине октября префект принял делегацию от рабочих и хозяев мастерских, которые просили у него защиты в их распре с фабрикантами.

Первым заговорил седой Буври. Он начал с жалоб на непосильные новые налоги.

— Господин префект, — продолжал старик, переминаясь с ноги на ногу и

пощипывая седую бороду.—Нет предела произволу фабрикантов. За последние годы они снизили вдвое и более того плату за выделанную штуку шелка. Мы работаем по восемнадцати часов в сутки, но не можем прокормить ни себя, ни наши семьи. Мой рабочий Андрэ работал за этот год четыреста пятьдесят франков, а прокорм, масло для лампы, квартира и налоги потребовали пятисот пятьдесят. Как быть Андрэ? Спросите меня, господин префект: что ты ел сегодня, Буври? Но вы знаете — мы голодаем.

Король хочет счастья своим подданным и наверно не знает, что в Лионе многие рабочие и владельцы мастерских принуждены, чтоб избавиться от бессердечной эксплуатации, собирать милостыню. Шесть тысяч станков брошены, потому что труд не дает более хлеба. Нет управы на фабрикантов.

Мы просим вас именем бога и короля, нашего отца на земле, установить тариф, чтобы фабриканты не могли самовластвовать и обречь нас на муки и лишения. Тарифа требуют все лионские рабочие.

Буври замолчал и передал префекту заготовленную петицию.

Рабочие заявляли, что хотят и должны положить предел своему жалкому состоянию, но не желают прибегать к насильственным мерам: «Рабочий класс, просвещаемый с каждым днем все более факелом цивилизации, знает, что только порядком и спокойствием он получит доверие—основной базис торговли». Петиция заканчивалась обращением к Бувье-Дюмолару: «Зная, господин префект, до какой высокой степени вы по справедливости обладаете любовью управляемого вами населения, рабочая комиссия просит вас внести в прения, которые должны открыться, ваше благосклонное посредничество и даровать обеим заинтересованным сторонам одинаковое покровительство, которое обе заслуживают. Веря в вашу любовь ко всему, что касается счастья людей и гармонии, которая должна существовать в отношениях между всеми классами общества, мы возлагаем на вас наши надежды».

«Вполне грамотно и вполне умеренно»—подумал про себя префект. и, дочитав обращение, встал с кресла и пожал руки Буври и его товарищам, обещая принять на себя заботу об их нуждах.

Воспоминания об июльской революции были еще очень свежи в памяти лионского префекта. Пройдя солидную школу революции, директории, империи, реставрации и вновь революции, он понял высокие возможности и силу «черни». Он не напрасно был свидетелем возвышения маленького корсиканца и многочисленных превращений, творимых революцией.

Его мать—аристократка—принуждена была некогда подрабатывать тяжелым физическим трудом, и детство Бувье прошло в бедности.

Подчеркнутое внимание и вежливость префекта расположили в его пользу делегатов лионских ремесленников и пролетариев, привыкших к наглой грубости и оскорбительному чванству негоциантов и их посредников.

В ответ на обещание помощи Бувье-Дюмолар получил благодарственное письмо от имени всех рабочих города, которые заверяли, что доброта его запечатлена в сердцах всех трудящихся.

Незадолго до намеченного созыва смешанной комиссии из фабрикантов и рабочих лионский префект послал с нарочным в Париж секретное письмо корлевскому министру финансов. Разные чувства—негодование по поводу чрезмерных притеснений рабочих, страх за могущие возникнуть осложнения, желание выдвинуться, разыгрывая роль посредника между враждующими сторонами, и вместе нежелание навлечь недовольство центральной власти—боролось в Бувье-Дюмоларе. Однако ни одно чувство не побеждало.

Префект негодовал, что в виду невыплаты бургонскими и бордоскими виноделами сорока миллионов рублей правительство увеличило прямые налоги. в том числе и квартирный. Увеличение налогов всей своей тяжестью обрушилось на нищенскую зарплату рабочего, «и это,—пишет он далее,—на другой день после революции, которая, как должен

был думать рабочий класс, сделана в его интересах, и это—при наступлении зимы, увеличивающей нужду. Против безобразий нового обложения вопиют справедливость, разум, конституционная хартия и осторожность». Главное—осторожность!

Впервые за пребывание на посту префекта Бувье-Дюмолар делится с министром своим беспокойством за поддержание городского порядка. Он предвидит и предостерегает от опасного недоверия среди беспокойного населения, которым считает рабочий люд. Но, не желая быть зачисленным в число неблагонадежных, наперекор всему сказанному, он заканчивает доклад уверением в том, что суровый закон все же удастся выполнить, как того хотят в столице.

7

Иоганн Сток работал не покладая рук 15—16 часов, нередко с рассвета и до позднего вечера. Несколько су, которые он получал на руки, уходили на покупку масла для лампы. Постепенно «немец», как звали Иоганна товарищи, присмотрелся к окружающему. Старик Буври и его жена были очень почитаемы в рабочем городе, и к мастерской в праздничные дни стекалось множество ткачей со своими нуждами и сомнениями.

Разговоры вращались преимущественно вокруг беды, нагрянувшей весной,—вокруг заработной платы, настолько недостаточной, что она едва покрывала вконец изнуряющие налоги. Иоганн Сток был свидетелем того, как писалась петиция к префекту за тем самым столом, под которым спал он и курчавый Андрэ. Сын Буври, Жан, поддерживаемый матерью, кашляя и харкая кровью, сполз с чердака и принял участие в составлении документа. Иоганн узнал, что некогда Жан был здоровенный парень, первый забияка квартала. Он дважды уходил в Париж, где познакомился с Бунаротти, великим другом рабочих. В Лионе Жан руководил июльской революцией. Но колючая пыльца шелковичных коконов раз'ела легкие Жана, как раз'едала теперь горло Андрэ. Чахотка была обычной болезнью среди лионских пролетариев

У хлопотливой доброй Катерины умерло уже трое сыновей, теперь умирал четвертый. Кашляла и шестнадцатилетняя дочь Буври Женевьева, молчаливая девушка с неразвившимся узеньким тельцем ребсика и беспокойными, чуть покрасневшими глазами.

Женевьева выдывала богатые материи—шелковый бархат—в большой мастерской на набережной Роны. Она уходила работать на восходе солнца. Вечером, вернувшись домой, Женевьева усаживалась на скамье и, не обращая внимания на шутки и заигрывания отцовских рабочих, делала букетики из лоскутков шелка и бархата. Искусственные цветы быстро входили в моду и давали ей кое-какой дополнительный заработок. Единственным сокровищем семьи Буври был кованный сундук, куда складывалось приданое дочери: куски полотна, штука шелка, скатерти, суконный салоп, двести шали да вязаный капор. Если удавалось продать в дорогой магазин на площади возле биржи букетики шелковых фиалок и бархатных незабудок, Женевьева покупала ленты и тюлевые чепцы, которые немедленно прятала в сундук.

Не столько приданое, сколько сама Женевьева служила постоянной приманкой для холостых рабочих мастерской отца Буври.

Иоганн Сток попробовал приударить за хозяйской дочкой, нежно ущипнув ее локоть, но был позорно отброшен к стене и обозван глупым бревном. Несмотря на кажущееся тщедушие, Женевьева была сильна и гибка. Никто лучше не танцевал карманьолы и плавных бургундских танцев, которые принесла в город из деревни старая Катерина.

Женщины в семье Буври были религиозны. Накануне каждого праздника мать и дочь, под насмешки старого Шарля и безбожника Жана, отправлялись молиться в церковь Фурвьер на Зеленом Холме. Для неграмотных женщин торжественные молитвы в разукрашенной церкви были главным развлечением, выходящим далеко за узенькие рамки их скудной жизни.

Однажды, незадолго до появления Стока в семье Буври, Женевьева по пути

из церкви на большом мосту Сен-Клар уронила подвязку с колена. Густо покраснев, маленькая работница подхватила опустившийся чулок и побежала, придерживая его рукой. Догнав мать, смущенная Женевьева оглянулась, но успокоилась, найдя мост безлюдным. Малорослого франта в кофейного цвета рединготе, в сияющем цилиндре, с желтой тростью в руках, шедшего позади, она не заметила. Невольный свидетель происшедшего сам напомнил ей эту сценку неделю спустя, подкравшись к открытому окну мастерской бархата на набережной Роны.

Низенький франт был комиссионером господина Броше. От него зависела задача заказов фабрикантам тем или иным мастерским, проверка выполнения и расчет. Господин Каннабер мог осудить на голод или дать заработок рабочим и хозяевам станков. Влияние его, как и ему подобных, было огромным, поступки — бесконтрольными. Рабочие ненавидели полуприказчиков, полупосредников негоциантов. Хозяева мастерских принуждены были заискивать и давать им взятки. Женевьева содрогнулась, почувствовав многозначительный наглый взгляд Каннабера на своей шее, груди, ногах. Он прищуренным глазом оценивал ее, как штуку шелковистого бархата, причмокивая губами и поглаживая рукой цилиндр. Каннабер одобрил товар.

— Приходи ко мне в контору, девочка, — шепнул он, приподнимаясь на носках, — да одень праздничные подвязки.

8

Отец Буври об'явил 25 октября нерабочим днем. Вместе со своими подмастерьями он отправился в полдень к дому префекта, где должна была состояться встреча фабрикантов и рабочих.

Иоганн Сток впервые вышел за пределы темной, грязной улочки, где находилась мастерская.

— В аду живем, — говорил ему Андре, с трудом дыша в узких, темных улицах с переплетающимися домами, образующими тупики. Между зданиями были протянуты веревки, на которых высуша-

ло серое белье, назойливо пахнущее плохим мылом и острым жавелем.

Андре всего три года как покинул деревню. Город казался ему подземельем, из которого не было спасения.

Иоганн Сток не замечал угрюмой нищеты вокруг. В каждом городе, попадавшемся на пути от Дармиштадта до Лиона, он видел такие же улицы, такие же дома. Прилипчивый запах пота, темных подворотен, тряпья, непрветриваемых перенаселенных жилищ, гниющей пищи был слишком знаком ему и привычен. Иоганн втягивал его раздувающимися ноздрями, с радостью восставлявая в памяти воспоминания детства. Нищета была интернациональна и одинакова по Рейну и по Роне, благодаря чему немец всюду чувствовал себя дома, нигде не зная одиночества. Он терялся лишь там, где улицы раздвигались и ноги переступали с пыльной земли на мощеный тротуар, где по обе стороны вместо низких конур возвышались большие, украшенные каменными изваяниями дома. Там Сток терял обычную самоуверенность, стремясь поскорее уйти в глухие переулки.

Но 25-го перед ратушей выстроились рабочие, и Иоганн, затерянный среди них, впервые заметил, что дома знати не так уж велики и страшны, что площадь мала, а улицы, хоть и чисты, но узки для десяти тысяч рабочих, запрудивших их и весело распевавших марсельезу.

Около четырех часов терпеливо ждали рабочие конца заседаний, ничем не нарушая обычный порядок. Стемнело. Зажглись лампы, осветив плоский зал, где за столом, покрытым сукном, сидели в высоких креслах уполномоченные. Фабриканты упрямо торговались, не уступали рабочие, и председательствовавший Бувье-Дюмоляр время от времени брал слово, чтобы усмирить нараставшее раздражение и упорядочить прения. Его вмешательство с восторгом принималось рабочими, но вызывало откровенное негодование негоциантов.

— Предатель, — шипел Броше, — трудно поверить, что этот человек имеет доход в сорок тысяч франков и является членом приличного общества. Он ведет себя, как голодный демагог.

Жером стоял у окна господского кабинета и, приоткнув суконную портьеру, смотрел на площадь. Рабочие в белых не подпоясанных блузах, раздуваемых ветром, казались ему—сверху—горбунами. Как они были хилы, узкогруды, бедны!..

Поздно вечером сто сорок уполномоченных лионских капиталистов согласились принять предложенный рабочими тариф оплаты труда, исчисляющийся в грошах, но дающий возможность трудящимся вести сколько-нибудь сносное существование.

Бувье-Дюмолар с балкона префектуры сообщил толпе о достигнутом соглашении. Крики радости огласили воздух, полетели шапки, женщины зарыдали, мужчины обнялись.

До рассвета по городу несло:

«Да здравствует префект, да здравствует наш отец!»

Дюмолар провел ночь без сна.

«Король,—думал он,—поступил бы точно так. Главный враг сейчас—карлисты, стремящиеся поднять Вандею против Луи-Филиппа. Нужно привлечь рабочий класс на нашу сторону для борьбы за установившийся порядок, за нашу власть. Всякое средство годно. Беднякам нужно очень немного хлеба и немного человеческого отношения».

Бувье вспомнил Луи-Филиппа, который вскоре после июльской революции с неизменным зонтиком разгуливал по Парижу, скромно подавая милостыню нищим и выпивая рюмочку вина за стойкой вместе с случайным мастеровым.

— Я действую, как он, не следует обращаться нерасчетливо со столь страшной силой. Президент палаты Перье не понимает этого, как и старый рубака Рогэ. Нагайки и плетки должны действовать после слова, а не сначала. Эта возможность остается за нами. Уроки революций забываются многими, едва стихла пальба и погребены жертвы. Наши лионские мануфактуристы увлеклись и будут, пожалуй, ворчать на меня, но я докажу двору, что мы можем не только сэкономить кровь и патроны, но и получить опору против сторонников Бурбонов и парламентских крикунов.

Попутру слуга, принеший поднос с зав-

траком, нашел Бувье-Дюмолара в кресле у потухшего камина, в парадном вчерашнем мундире. Нависшие брови Жерома показались Бувье еще чернее и гуще.

— Дурные вести, старина?—спросил он, принимая поднос.

— Старый петух Рогэ вызвал в Лион из Вьенны три эскадрона драгун; одновременно гарнизону приказано быть в боевой готовности.

Бувье вскочил.

9

В то же утро к завтраку Катерина Буври зажарила баранью ногу и, полив ее жирным соусом, подала мужу и рабочим к обеду.

В мастерской больше месяца не пахло мясом. Баранья ножка символизировала вчерашнюю победу, и настроение за столом было праздничным, как никогда за весь последний год. Буври заставил жену достать бутылку наливки, предназначенную к пасхе. Большого Жана снес на руках Иоганн. Пили здоровье префекта, немцев и по требованию Жана провозгласили республику, чем старик Буври, почитавший короля, остался недоволен.

Иоганн затянул немецкую песню; заунывный, молитвенный напев понравился слушателям и был подхвачен ими.

Бог создал всех людей равными:

И рабочих, и господ,—

пел немец.

Для всех земля и воздух.

Для всех труды и заботы

Для всех отдых в доме.

Для всех могилы хлад.

Бог создал людей

равными:

И рабочих, и господ.

— А-ля-ля-ля, — тянули за ним французы.

В час дня все стали на работу.

10

Женевьева не знала покоя с той минуты, как господин Каннабер приказал ей притти к нему в контору. Она перестала делать фиалки и незабудки в вечерние часы после работы и не открывала сундука, чтобы порыться в своих сокровищах. Ни Андрэ, ни Сток не мог-

ли вызвать ее улыбки, несмотря на все их ухищрения. Старая Катерина не на шутку всполошилась поведением дочери, но, не добившись от нее объяснений, решила пойти к знакомой гадалке за советом.

Девятипудовая старуха Деи с помощью кофейной гущи отыскивала женихов девицам и вдовам, давала женам средства против запоев мужей, помогала в поисках украденного и охотно становилась поверенной сердечных тайн. Она неизменно появлялась на похоронах, свадьбах, крестинах, — чудовищно толстая, пахнущая мятой, тщательно одетая в одно и то же лиловое платье. Только лента на ее крахмальном чепце менялась в зависимости от причины посещения. На выносе она бывала черной, над купелью новорожденного — голубой, на венчании — розовой. В дни июльской революции красная лента на чепце толстухи была украшена трехцветной кокардой.

К госпоже Деи, завернув в платок дары: двадцать сантимов, кусок кружев и остаток бараньей ножки, пошла Катерина, встревоженная молчанием и бледностью дочери.

Ворожея жила на противоположном от Лиона берегу реки, в дальнем рабочем пригороде Бротто.

11

Генриетта Броше приехала в отцовскую контору (на квадратной площади Белькур) в полдень, чего она не делала уже много лет.

Несколько клерков почтительно повскакали с мест, чтобы проводить ее в кабинет фабриканта. Броше был занят и не обратил внимания на дочь, проскользнувшую в комнату. Генриетта усеялась в свободном бархатном кресле у окна, рядом с бюстом Луи-Филиппа, и молча стала ждать. «Одно это, — подумала она, презрительно окидывая взглядом сводчатый потолок, деревянный пол, посыпанный песком, и громко спорящих людей с лоснящимися лицами, неприглаженными волосами, в небрежно расстегнутых кафтанах и мятых шейных платках, — одно это способно убить девичьи мечты; проза, грязная проза».

У господина Броше происходило экстренное собрание лионских буржуа, не пожелавших подчиниться и принять тариф, выработанный 25 октября смешанной комиссией под председательством префекта.

— Мы им покажем, — сказал один из присутствующих, — мы закроем склады и конторы и поморим их голодом, пусть-ка побунтуют на голодный желудок, мы их..

— Дорогой Филипп, — прервал его Броше, — вы забываете, что закрытые конторы и склады отразятся и на наших желудках. Прежде, чем воевать с чернью, мы должны разделаться со своими изменниками.

— Дюмолар! — вскричало несколько голосов. Поднялся невероятный шум, в котором Генриетта улавливала лишь отдельные слова: «подлец, якобинец, обманул короля, демагог...»

— Господа, к делу, — раздался скрипучий голос, и рядом с Броше выросла тощая фигура генерала, графа Рогэ.

Мгновенно наступила тишина. Выстроившись гуськом, лионские буржуа двинулись пожимать генеральскую руку.

— Господа, я — бывший наполеоновский солдат и, хвала господу, никогда не был на пражданской службе. Скажу прямо: Бувье-Дюмолар и его меры — не более, как мятые панталоны.

Рогэ дал возможность своим слушателям вдоволь нахохотаться.

— Не ему побороть нас, людей дела, господа. Гарнизон города равен тысяче эссымистам человек. Национальная гвардия насчитывает десять тысяч. Эти молодчики не внушают мне особого доверия, но в худшем случае они докатятся до нейтралитета. Драгуны — дело другое, — прошли обычную школу и не рассуждают, а действуют. Предвкушаю удовольствие от зрелища, когда мои солдаты распотрошат сброд окраин. Предлагаю оповестить обо всем Париж и сегодня же выслать надежных представителей сословия в палату депутатов. Надеюсь на вашу отвагу и предприимчивость, господа, — генерал Рогэ вышел так же неожиданно, как и появился.

Генриетта выснулась в окно в надежде увидеть Жоржа и не ошиблась. Он сопровождал верхом карету команду-

щего войсками и в ответ на воздушный поцелуй барышни Броше отдал ей честь.

Господин Броше огласил заготовленный им документ, резко возражавший против тарифа. Фабриканты заявляли, что после июльской революции внутренний сбыт сократился во Франции и Европе, что холера ухудшила положение дел.

— Один из самых важных вопросов, которые могут возникать в современном обществе, где материальные интересы занимают столь большое место, только-что разрешен в Лионе с невероятным легкомыслием,—это вопрос о заработной плате рабочих. Наши власти показали свою полную неспособность поддержать порядок.

Вместо того, чтобы ждать увеличения заработной платы от восстановления промышленной деятельности, рабочие воображали, что добьются этого путем нажима.

Броше долго читал петицию. Кончив, он вручил документ своему компаньону, который положил его в конверт и скрепил сургучными печатями. Затем избрали делегатов в Париж.

В полном молчании негодяи покинули кабинет своего предводителя. Едва последний из них скрылся за низкой дубовой дверью, Генриетта бросилась к отцу.

— Как интересно,—почти революция, почти гильотина, и как-раз теперь, когда я на пороге жизни, на пути к Парижу, когда Жорж Дюваль согласен подать в отставку, если его не переведут отсюда, и женится на мне!..

Вытаращив недоуменно глаза, Броше смотрел на дочь, появления которой он не заметил.

— Жорж Дюваль,—сказал он и выразительно разломал гушиное перо,—глупый фат—зять первого лионского фабриканта? Что сделал Жорж Дюваль для Броше такого, за что Броше должен платить Дювалю?

— Но, отец, он храбр, он повезет меня в Париж.

— Город накануне беспорядков, честные люди, может быть, накануне смерти, а моя единственная наследница за-

нята покупкой себе пустоголовых офицеров! Через два дня ты уедешь в приморское имение. А Жорж Дюваль пусть скажет мне, за что я должен ему платить.

Генриетта поняла, что зашла к отцу не во-время и, заплакав на всякий случай, на ходу завязывая бархатную шляпку под подбородком, выбежала из конторы. За углом в переулке ее поджидала карета.

— К старухе Деи, в Бротто,—приказала она кучеру, всхлипывая.

Фабрикант Броше был чересчур взволнован, чтоб заниматься делами. Он отослал секретарей и погрузился в чтение только-что прибывшей парижской газеты.

Одна из статей тотчас же привлекла его внимание.

— Какое единство мыслей со мной,—произнес он самодовольно, вторично пробежав глазами несколько столбцов.

«Незачем утаивать,—писал безымянный автор,—ибо к чему служат притворство и умалчивание? Лионский конфликт может открыть важную тайну—внутреннюю борьбу, происходящую в обществе между классом имущим и ничего не имеющим. Наше торговое и промышленное общество имеет свою язву, как и все прочие общества: эта язва—рабочие...»

— Именно язва,—подумал вслух Броше и продолжал читать далее:

«Нет фабрик без рабочих, а с рабочим населением, все возрастающим и всегда нуждающимся, нет покоя для общества».

— Правильно,—подтвердил фабрикант.

«Каждый фабрикант живет на своей фабрике, как колониальный плантатор среди своих рабов, один против ста, и возможность рабочих восстаний—своего рода возможность возмущения туземцев на Сан-Доминго. Варвары, угрожающие обществу, находятся не на Кавказе и не в татарских степях, нет, они—в предместьях наших фабричных городов...»

— Таково тяжелое бремя фабриканта,—сокрушался Броше, складывая газету.

12

Лионским беднякам приходилось нередко селиться вне черты города — не только в виду крайней дороговизны квартир, но и из-за городских налогов на предметы первой необходимости. По тем же соображениям жила в Бротто гадалка. Хотя среди ее клиенток числились многие жены и дочери богатых буржуа, госпожа Деи оставалась небогатой: ее вконец разоряла неодолимая тяга к спиртным напиткам. В дни запоев старуха не вставала с кровати, почти касавшейся закоптелого потолка.

Катерина Буври застала гадалку дремлющей возле печки, на которой дымился чугунок с картофелем.

Около часу посетительница сидела, с'ежившись, не смея нарушить тишины. Наконец госпожа Деи проснулась, быстро выпила рюмку вина и взялась за карты.

— Светлый шатен, глаза неопределенные, не безработный, женатый, а может, и не женатый, этого карты не хотят сегодня сказать,—подмигнув, изрекла она.

— Женатый?!—ужаснулась Катерина и с чувством собственного достоинства разъяснила:—Женевьева—добрая католичка и не может полюбить женатого, я сама прокляла бы ее за это.

Но ворожея не сдавалась:

— Может, король и не женат, но обязательно имеет подружку,—сказала она и сердито собрала колоду.

Катерина заметила по вспухшим губам и свистящей одышке, что госпожа Деи пьяна и находится в дурном настроении. Она забраковала кусок принесенного мяса и презрительно отшвырнула кружево, приняв только сантимы, которые предварительно испробовала на трех зубах, оставшихся еще в коричневом зловонном рту.

— Следи за светловолосыми мужчинами,—добавила она, бесцеремонно выпроваживая посетительницу.

В черной подворотне Катерина повстречала нарядную барышню в длинном голубом салопе, отороченном горностаями. Ткачиха почтительно посторонилась, боясь измять богатый наряд, но, выбравшись на улицу, не могла побороть

любопытства. Проходя мимо величественного кучера в черной, золотом увитой ливрее, она спросила, благоговеино прикасаясь к лакированному кузову:

— Чья карета?

— Барышни Броше, дочери фабриканта.

13

19 ноября, накануне полочки, в рабочем Лионе наступило зловещее затишье. Фабриканты собирались опять выплачивать жалованье по старым расценкам, несмотря на то, что истек почти месяц со времени принятия тарифа. Их предательство и измена соглашению 25 октября стали очевидными. Они посмели бросить вызов сорока тысячам трудящихся.

От станка к станку перебегал шопот недовольства и возмущения. Оторопевшие было пролетарии бросились искать выхода из тупика и обмана, в который их завели.

В подворотнях, трактирах, на улицах собирались группы ткачей. Их молчание было многозначительнее крика. Началась переключка мастерских. Единство оказалось совершенным.

— Мы не возьмем грошей от негоциантов, куда они не подчинятся тому, что сами подписали,—сказали сто двадцать рабочих одной из крупных мастерских Лиона.

Эти слова разнеслись с быстротой ветра. Их подхватили тысячи голосов, но уши негоциантов остались глухи.

Великим стихийным событиям предшествует тишина. Накануне восстания Лион говорил шопотом.

В тот же день, в субботу, Женевьева получила расчет.

— Господин Каннабер забраковал работу и потребовал твоего увольнения,—сказал ей хозяин с состраданием.—Но погоди, в эти дни многое решится,—он погрозил кулаком.

Женевьева не слушала его слов. Слезы залили ей лицо.

На пороге мастерской девушку догнала подруга.

— Дура,—шепнула она злобно и насмешливо.—Вот до чего доводит заносчивость. Я получше тебя, а не погнущалась комиссионером, и теперь плюю на

всех, ты же несешь домой только невинность и шиш.

Запас слов и образов у Женевьевы был мучительно беден.

— Святая дева, за что? Святой отче, почему? — шептала она, кусая губы.

Дома Женевьева боялась признаться в том, что лишила работы. Рассказать об истинной причине расчета, о приставаниях Каннабера она не смела, видеть же укоризну в глазах ласкового отца и слышать плач матери, винящих ее в недостаточной старательности и трудолюбии, казалось девушке жестокой и незаслуженным унижением. Отказавшись от ужина, она вышла на улицу и направилась к заставе.

— Светлый шатен, — приговаривала про себя Катерина и, опустив деревянную ложку, разглядывала склоненные над общей миской мужские головы. Все рабочие Буври, за исключением немца, были черноволосы.

Глаза старой ткачихи впились в тусклые волосы Стока.

— Если и не шатен, то уж во всяком случае светлый, — решила Катерина и, дождавшись, когда рабочие снова стали к станкам, подошла к нему.

— Вот что, парень, — сказала она грубовато, — почему молчит и плачет Женевьева?

По странному совпадению об этом как раз думал и Сток.

— Почему? — спросил он, широко раскрыв рот и выпучив глаза.

Из-за чего, действительно, плачет девчонка? — Катерина и Сток изумленно смотрели друг на друга.

— Не шатен, — выговорила жена владельца мастерской разочарованно и отошла к своему станку.

Но Иоганн не успокоился и, уловив минутку, вышел из дому и свернул к заставе, — в сторону, где скрылась Женевьева.

Он спешил и не стал по обыкновению заглядывать в маленькие, едва освещенные окна, за которыми была всегда одна и та же картина: несколько голов, склонившихся над веретенами. Однообразное гуденье станков — будто вдоль улицы стояли улья — доносилось из домов, составляя мелодию безлюдных улиц.

Мимо взрытых, опустошенных огородов, по размокшей тропинке маленькая работница шла к глубокому буроводному притоку Роны. Ноябрьский вечер был серый и холодный. Женевьеве чудились в темноте голоса и тени. Страх обостряла ее безвыходное отчаяние.

— Святая дева, чем я согрешила? — шептала девочка, простирая руки вверх, в темноту.

В шуме опадающей листвы ей чудилось хихиканье господина Каннабера.

— Я устала, я так устала, — плакала девочка.

Она перебирала прожитые годы, чтоб отыскать в них хоть одно счастливое воспоминание, помогающее жить. Восьми лет мать начала учить ее ткацкому ремеслу. Одиннадцати поступила она к свояку отца, Дандье, на набережной Роны. С тех пор прошло пять лет, как один день. Бывали радости, елка без украшений, посещение с матерью кладбища в осенний день поминовения мертвых и сундук с приданым, куда складывались надежды.

— Не хочу замуж, — в ужасе вскричала Женевьева, представив себе распирающее кафтан брюхо Каннабера, приподнявшегося на носки, чтобы достать до подоконника мастерской и согнутыми пальцами пощекотать работницу. Ей вспомнилась горбунья-монахиня, называвшая себя христовой невестой.

Женевьева стояла на небольшом откосе.

Едва слышно переливалась внизу река.

Сток нашел девочку на берегу, изнеможенной от страха и слез. Обессиленная, она лежала без движения. Немец нежно поднял ее, усадил на колени и стал осторожно растирать озябшие ноги огромной, мягкой ладонью.

Женевьева застенчиво погладила торчащие ежиком жесткие волосы неожиданного утешителя и заботливо сняла несколько нитей пряжи с войлочного жилета, который ткач носил поверх рубахи.

Они сидели на песке, прижавшись друг к другу, не замечая исчезающего времени, усиливающейся речной сырости и холода.

Вдруг ревнивое, дурманящее подозрение уколело его и сделало грубым.

— Эй ты, курица, может, надеешься слезами отмыть грешок, может, спуталась с каким-нибудь павлином, потаскуха?

Сток наклонился к Женевьеве, едва доходящей до его плеча, и тяжело дыша, стал допрашивать, не замечая истерической дрожи и стонов девочки.

— Не смей гулять ты, ты,—Сток почувствовал, как ослабевает его спутница. Глубокий обморок спас Женевьеву.

На руках немец принес ее к родительскому дому.

Катерина встретила их на пороге и, не говоря ни слова, вlepила Стоку отчаянную пощечину.

— Подлец! — кричала она, готовясь вырвать клок сырых русых волос и зацепить ему новую оплеуху. — Так-то ты платишь дому, принявшему тебя, как родного, так-то, грязный бродяга... Хвала богу, в городе спокойно, и отец с полночи ушел, а то он показал бы вам обойм, как шататься по ночам.

— Замолчи, мать. — прервала тихо Женевьева,—Сток и я помолвлены.

Катерина растерянно опустила руку.

— Бедные дети,—плакала она.

Тяжелую сцену прервал Андрэ, вынырнувший из-за угла и мгновенно скрывшийся.

Багровый отблеск новой зари скользил по бодрствующим домам предместья Круа-Русс.

14

— Измена, братья! Нас предали! Три эскадрона драгун подошли к городу. Фабриканты отказываются выполнять условия, выработанные 25 октября. Более трех недель мы терпеливо ждали, мы получали плату за наш труд, которой нехватает на то, чтобы жить. Но проклятые негоцианты не только надсмеялись над ими же подписанным тарифом, они вызвали войска, они готовят Варфоломеевскую ночь для рабочих Лиона. Братья, мы не должны уступить! Предлагаю прекратить работу и пойти в город, требуя выполнения условленного тарифа. Но будем организованны. Призываю вас к спокойствию. Мы должны

показать, что рабочие уважают законы и не хотят кровопролития, несмотря на провокацию. Наше требование и наш лозунг—«Ж и т ь т р у д я с ь и л и у м е р е т ь в б о ю», — один за другим говорили рабочие, взбираясь на телегу, заменившую им трибуну. На вытоптанном лугу—площади предместья Круа-Русс, запруженной многотысячной толпой, — царил совершенный порядок.

Приняв решение прекратить работу на утро следующего дня и демонстративно двинуться в центр Лиона, рабочие пропели марсельезу и разошлись по домам.

15

Жером до вечера пробыл по поручению префекта в Круа-Русс. Он вернулся домой с ворохом известий и наблюдений, не предвещавших ничего хорошего в ближайшем будущем.

Обостренным нюхом старый корсиканец учуял приближающееся восстание и терпкий запах неизбежного кровопролития.

Его доклад Бувье выслушал с нескрываемым волнением.

«Франция бурлит вулканом, — думал барон,—в Вандее легитимисты успешно поднимают крестьян, в Лионе всякие Броше и Рогэ бросают огниво в пороховые погреба. Я не выношу дикарей в медвежьих берлогах, какими являются наши крестьяне, и очень далек от симпатии к полудиким рабочим, которые, несмотря на все ухищрения фабрикантов, все еще мускулисты и могут убивать, прежде чем умереть. Но я презираю также господ генералов Рогэ».

— Если б штык или пистолет думал,—обратился, прервав свои размышления, Бувье к слуге,—он делал бы это так же, как деревянная генеральская голова.

Превосходный наполеоновский рубака, живя среди населения, может быть, немного преувеличивающего идеи свободы, думает, что находится в Булонском лагере. Увы, во всем Лионе только я да может, ты, Жером, понимаем сложность эпохи, в которой живем. Надеюсь, что мой король понимает это тоже.

Но Жером не склонен был заниматься выяснением противоречий эпохи и

постарался заставить своего господина перейти от болтовни к действию.

— Ваше сиятельство, — начал он.

Бувье-Дюмолар поднял голову и насторожился, — так Жером называл его только три раза за двадцать семь прожитых совместно лет: сообщая о коронации Наполеона, о поражении при Ватерлоо и о победе июльской революции. Все эти три события потрясли корсиканское сердце.

— Ваше сиятельство, — повторил Жером, — если бы я был рабочим, то не откладывал бы выступления до завтрашнего утра и не дал бы врагам организоваться. Известно ли вашему сиятельству, что Рогэ сам объездил сегодня войска. Первый легион Национальной гвардии, составленный большей частью из сынков фабрикантов, согласно плану генерала, с ночи займет все пять ворот, через которые идут пути из Круа-Русс в Лион. Завтра утром рабочие, мирно идущие в город, будут встречены каргечью. Прольется невинная кровь. Ваше сиятельство говорили, что рабочие правы в своих требованиях и ведут себя как сознательные граждане, как джентльмены. Неужели ваше сиятельство не сделает все возможное, чтоб предотвратить непоправимое. Умоляю ваше сиятельство быть решительным и сегодня же принять меры именем короля и конституции.

Пафос и нахмуренные брови Жерома не понравились барону. Он окинул глазами уютную, всю завешенную коврами комнату, веселый яркий камин, вольтеровское кресло, на котором сидел он в своем ватном, затканном цветами, сиреневом халате, сафьяновый томик «Мыслей Паскаля» и произнес, зевая:

— Наивность, друг мой. Ты забываешь, что я и так превзошел полномочия короля и господина Казимира Перье, взяв на себя ответственность за этот злосчастный тариф. Не предлагаешь ли ты мне ночью в роли неистового Дон-Кихота ехать с тобой, мой Санчо-Панса, снимать патрули у городских ворот? Это — не дело префекта департамента. Я сделал все, что мог, и умываю руки. Корсикашцы — народ с преувеличенным воображением, что ино-

гда пагубно влияло на дела Франции. Я всегда учил тебя чувствовать, как надлежит лорду, а не сапожнику, но уже в июльские дни понял свое бессилие. Лорды флегматичны, Жером, флегматичны и, главное, равнодушны к судьбам «черни». Иди спать, старина.

Вдали башенные часы пробили двенадцать.

— Мы начинаем 21 ноября, — сказал Буври, отрывая лист календаря на камине.

16

В короткие промежутки между работой, преимущественно по ночам, Иоганн выходил в сени с уныло вздрагивающей свечой и принимался читать. Как описать ощущения человека, впервые нашедшего разгадку письменности! Сток читал по складам, но зато потраченное усердие и преодоленные трудности приводили к тому, что он запоминал текст навсегда, вникая в смысл, в оттенок каждого добытого слова. Книга была для рабочего подземной шахты, куда он впервые спускался, трепещущий, с меркнутым фонарем.

Иоганн, осевший в предместьях Круа-Русс за ткацким станком, продолжал странствовать по миру новых идей. Он перечел все книги Жана. В одну из ноябрьских ночей Сток принялся за чтение Сен-Симона в изложении его учеников.

Первые строки одной из глав сосредоточили на себе внимание немца.

«Эксплоатация человека человеком, — читал Сток, — вот состояние человеческих отношений в прошлом. Эксплоатация природы человеком, вступившим в товарищество с другим человеком, — такова картина, представляемая будущим.

Через семью, касту, город, нацию род человеческий стремится ко всемирной ассоциации. Это не мечта, а строго научное предвидение.

Существует, — читал он далее, — большое различие в положении разных классов в настоящее время и тем положением, какое занимали в прошлом господ и рабы, патриции и плебей, сеньоры и крепостные. На, первый взгляд

кажется даже, что нельзя делать сопоставлений, но отношение хозяина к наемному рабочему является только новым преобразованием, которому подверглось рабство. Рабочий не составляет прямой собственности хозяина, но разве пролетарий определяет свое положение? Нет, вынужденный всегда рассчитывать только на вчерашний заработок, чтобы прокормиться сегодня, он под страхом смерти должен соглашаться на любые условия.

Рабочий эксплуатируется материально, умственно, морально, как некогда эксплуатировался раб».

Порыв ветра приоткрыл створку окна и потушил свечу. Дрожащими от нетерпения руками ткач кремнем добыл искру и с нею свет.

«Его положение еще ухудшается, — продолжал читать Сток, — если он в своем неблагоприятии доходит до мысли, что и ему судьба предназначила такое же счастье, каким пользуется богатый, т.е. если он берет себе подругу жизни и основывает семью. Постоянно угнетаемый нуждой, пролетарий не имеет времени и сил для развития своих умственных способностей и нравственных привязанностей. Может ли он возыметь стремление к этому? Но кто даст ему средства удовлетворить их? Кто сделает науку доступною для него? Кто примет излияния его сердца? Никто о нем не думает, жалкая физическая жизнь ведет его к огрубению».

Сток отложил книгу.

— Кто ты, где твой дом, Иоганн? Нужда погнала тебя по свету, — спросил себя тихо Иоганн.

Он придвинул ближе свечу: «Мы должны предвидеть, что некоторые лица смешают нашу систему с системой, известной под названием общности имущества».

Между нами и ими нет ничего общего. В социальной организации будущего, — говорим мы, — каждый должен занимать место согласно своим способностям и получать вознаграждение сообразно своим делам; это достаточно указывает на неравенство раздела. Напротив, при системе общности все доли равны, и

против подобного способа существует множество возражений.

Праздник надеется быть вознагражденным наравне с человеком трудолюбивым...»

Сток отложил книгу.

Об общности имущества, о коммунизме ему говорил Жан, излагая мысли Гракха Бабефа.

Сток решил порасспросить его еще раз.

Он перенесся думой на родину. Там ему никогда не попадались такие книги.

Гордая надежда заставила ткача встать.

— В Германии, — шептал он, — пригодятся знания. Нужда погнала меня по миру, но она же многому выучила. Новым человеком вернется Сток на берега Рейна.

17

Первое столкновение Национальной гвардии с рабочими произошло возле Гранд-Кот на рассвете. Сток шел рядом с Буври и двумя тысячами других жителей Круа-Русс. Все они были безоружны. У ворот города их встретили вооруженные национальные гвардейцы.

— Дайте пройти! — кричали рабочие, отстаиваясь.

— Поверни назад! — раздалось в ответ. Заряницей сверкнули обнажившиеся шашки, многозначительно выпучили черные пустые глаза ружья.

— Братцы, вперед! — надрывая слабое горло, скомандовал Андре й, выбежав из толпы, первым бросился в узкую дыру ворот. Раздался залп. Андре упал. Кровь выступила из нескольких ран и расплзлась по серой осенней земле.

На одно мгновение ужас обуял толпу наступающих, но только на мгновение.

— Вперед, братцы! — ответили сотни голосов, — и люди тесными рядами двинулись на врагов. Не имея оружия, рабочие дрались камнями, тут же выворачивая их из мостовой кулаками, палками.

Убитые и раненые падали у ног гвардии. Они использовались как прикрытие. Падали гвардейцы и лошади.

Из груди вражьи тел Сток соорудил нечто в роде баррикады. Буври обезоруживал мертвых, передавая их оружие рабочим.

На подмогу из предместья сбегались дети и женщины. На площади они промилли лавку оружейника и несли отцам, мужьям и братьям пули, пистолеты, ружья, ножи, шашки и шпаги. Наконец перевес склонился на сторону осаждающих город. Легион Национальной гвардии дрогнул и начал отступать.

С криками: «Жить трудясь или умереть в бою» — рабочие ворвались и Лион.

Наученные печальным опытом этого утра, они бросились тотчас же строить баррикады, ломая мостовые, выкорчевывая уличные тумбы и фонарные столбы, опрокидывая встречные фургоны, снося отовсюду бревна, доски, матрацы, шкафы и столы.

В важных стратегических пунктах рабочие очистили жилые дома, готовясь к отчаянной защите, организуя засады на крышах, устанавливая отбитые у гвардейцев пушки в окнах домов.

Городской центр и окраины были все же оцеплены гвардией и линейными батальонами регулярной армии. Рабочие ждали подкрепления фабричных пригородов, которым предстояло с боями пробивать себе путь к товарищам. Женевева и ее подруги спешно шили черные знамена все с тем же не сходящим с уст в этот день лозунгом.

Катерина Буври готовила похлебку и нарезала хлеб. Все дети предместьев от семи-восьми лет участвовали в наступлении на город. Они, не уставая, доставляли патроны, держали связь между отдельными группами рабочего войска, проникали для разведки во все концы города, относили старшим еду, помогали раненым.

Разбуженный стрельбой, Бувье вскочил с постели и позвонил. Жером не явился на вызов. Барон вспомнил июльскую революцию, — тогда, как сегодня, слуги не было на месте.

Через полчаса префект вошел в штаб командующего войсками. Его встретил адъютант Жорж Дюваль, продолжая чи-

стить серебряной пилкой длинные розовые ногти.

— Сожалею, что барон был разбужен сегодня оружейной серенадой, — сказал адъютант развязно и, забренчав шпорами, вышел на крыльцо.

Генерал Рогэ появился, молодцевато покручивая ус. Он, предвидя ордена и почетную благодарность правительства, был в отличнейшем настроении.

— Слышите, мой друг, до чего довел вас либеральный образ мышления. — Издали доносился нараставший гул пушек.

— Тем не менее все обстоит вполне благополучно. Из Парижа я затребовал подкрепление. Конечно это еще не война. Так сказать, — суррогат. Но к ночи будет повеселее. Мы наступаем на Круа-Русс с тыла. А, какво придумано?

— Я требую, — прервал Бувье-Дюмолар, — немедленного прекращения бойни и гарантирую вам спокойствие со стороны рабочих. Вы же ответите за войско. Дайте немедленно приказ остановить стрельбу. Я сегодня же поеду к восставшим к Круа-Русс и добьюсь мира.

— Господин префект, город на осажденном положении, и власть в нем принадлежит армии.

— Господин командующий, я не отрешен от дел и требую прекращения гражданской войны, затеянной вами.

— Извольте, еще раз я готов передать инициативу в ваши руки, помните однако, что спокойствие граждан мне не безразлично. Пусть нас рассудит король. Я приостановлю наступление. Это будет в последний раз, Поезжайте к инсургентам. Генерал Ордонне будет вас сопровождать.

18

Утром в день восстания Жан Буври покинул матрац на чердаке и, дрожа от озноба, спустился в мастерскую. Там он не нашел никого. Очаг был не тощен, станки пустовали, покрытые рогожей, на столе доедали крошки сухого хлеба тараканы и мухи.

Жан вышел на улицу. Мимо него бежали к воротам, где произошло избивание рабочих, встревоженные женщины

и возбужденная детвора. Пронзительно гудел набат. Услышав ружейный залп, Жан выпрямился. Странная перемена произошла внезапно в умирающем: он как бы почувствовал, осознал, каков запас сил в его теле, пожираемом болезнью. Жан мог протянуть еще месяца два калекой, но мог и, исчерпав себя в два-три дня, насладиться последней вспышкой жизни. Могучим напряжением воли преодолев слабость и головокружение, больной пошел в сторону выстрелов.

По дороге он обдумывал план дальнейшей борьбы, вспоминая уроки июльской революции и долгие беседы с внушавшим благоговейное уважение всем его знавшим Буонаротти. Потомок Микель-Анджело, зарабатывавший пропитание уроками музыки, посвятил всю свою жизнь революционной борьбе. Старый патриарх революции мечтал о международном сообществе, которое утвердит равенство во всем мире и установит социальный строй, проповедываемый Бабефом.

Подобно учителю, Жан считал себя коммунистом.

Подходя к площади, на которой происходила битва, слушая крики борцов, ткач видел перед собой не Круа-Русс, не Лион, а всю Францию, охваченную восстанием.

— Нужно поддержать это маленькое пламя, пока оно не перебросятся дальше, и если не удастся поджечь тропы всей Европы, то пусть хоть сгорит дерн, заглушивший свежие ростки июльских дней, — шептал молодой Буври.

Он задержался у разбитой, опустошенной лавки оружейника и вошел внутрь. Обшарив поломанные ящики, шкафы, стойки, он не нашел ничего, кроме ржавой старой пики. С трудом волоча ослабевшей рукой найденное оружие, Жан присоединился к толпе рабочих, бегущих на подмогу товарищам.

19

В виду осадного положения в городе магазины с утра не открывались. Книжная лавка дядюшки Дайяра на площади Белькур выглядела также безлюдной.

За деревянными ставнями по фасаду не мерцали лампы. Однако посвященные, не смущаясь темнотой и запертой наружной дверью, проходили в ворота, и, пройдя прязный двор, заставленный телегами и ящиками, проникали в контору букиниста. Там, среди книжных полок, было шумно, накурено и светло. Сам дядюшка Дайяр в черной хламиде и бархатном колпаке восседал за своей конторкой между двух серебряных канделябров, в которых горели свечи.

Все ждали Франсуа, чтоб начать экстренное собрание сен-симонистской общины Лиона. Предстояло определить свое отношение к происходящим событиям.

— Я предчувствовал, что злосчастный тариф приведет к кровопролитию и предостерегал кого мог, — говорил, сокрушенно качая колпаком на лысой голове, хозяин книжной лавки.

Так как Франсуа и Пфейфер не являлись, Корреар предложил приложиться к источнику истины, почерпнуть мудрость в повторении кое-каких основ учения Анри Сен-Симона; община ответила на это восторженной готовностью.

— Вспомним мысли великого учителя нашего, около семи лет тому назад ушедшего навсегда, — заунывным голосом начал Корреар, сменив Дайяра за конторкой. — Целью его было, — продолжал он, — изменить в людях систему чувств, идей, интересов. Его ученье ведет к тому, чтобы исправить и осчастливить мир, однако не перевернув для этого общество вверх дном. Со словом «переворот» всегда связывается представление о слепой и грубой силе, имеющей своей целью и результатом разрушение, а мы верим в силу уговаривания, убеждения. Идя по стопам великого отца нашего, мы создаем, а не разрушаем; выдвигается ли нами умозрительная или материальная идея? Сен-Симон стремился к порядку, гармонии, строительству. Он не желал революции, он явился, чтоб предсказать и учить преобразованию, эволюции, он нес миру новое воспитание и тем окончательно возрождение. Мы хотим того, чего хотел наш отец и учитель.

— Мы хотим того, чего хотел наш отец и учитель,—хором повторили члены «перкви».

— Итак, когда Сен-Симон указывал, что нынешняя организация собственности должна уступить место совершенно новой, он хотел сказать, что переход от одной к другой не будет внезапным и насильственным, а постепенным и мирным, задуманный и подготовленный совместным действием воображения и доказательств, энтузиазма и рассуждения. Люди миролюбивые осуществят счастье человечества.

— Люди миролюбивые осуществят счастье человечества, — как псалом, протяжно тянули все присутствующие.

Разгоняя молитвенное настроение, в контору ворвался Пфейфер.

Все бросились к нему с вопросами.

— Вот,—сказал он, усевшись на груди пыльных фолиантов и показывая присутствующим измазанный кровью манжет, — вот, что красноречивее слов. До сумерек вместе с Франсуа мы перевязывали раны инсургентов. Мне пришлось немало повозиться с сыном старого Буври. Бедняга, едва живой от чахотки, ранен в плечо.

— Это неистовый бабувист, — вмешался Корреар.

— Сегодня мне попался один из его единомышленников,—продолжал Пфейфер, оживившись, — только-что я начал убеждать его, что восстание — бессмыслица, как оказался под словесным обстрелом: «Буржуи, — кричал он мне, забыв о сломанном в бою ребре, — воспользовались нами в июльские дни в своих интересах, но теперь довольно. Теперь мы делаем революцию для народа».

— Накануне карлистами или якобинцами и опять-таки гибнет ради них, — заметил букинист Дайяр, скрываясь в клубах темного дыма своей сигары.

— Вы угадали, именно так я ответил парню, — прибавил Пфейфер. — Но ткач осыпал меня бранью, поясняя: «Плевать на карлистов, мы сами знаем, чего хотим». Он — впрочем одиночка, как и Жан Буври. Рабочие хотят хлеба и, главное, тарифа, они не замечают пропасти, в которую падают.

Сен-симонисты полагали, что тариф не может быть выполнен, и выход из создавшихся затруднений видели во всевозможных временных мерах.

Накануне восстания делегаты общины посетили Броше, убеждая его хлопотать в Париже об установлении кредитных учреждений, которые облегчат положение фабрикантов и позволят им надбавить заработную плату. Одновременно они хотели снижения пошлин на сырьевые припасы.

Франсуа, в противоположность Пфейферу, был бледен, худ и неулыбчив. Он вошел в лавку Дайяра тихо, никем незамеченный, снял плащ и широкополую шляпу и сложил их на подоконнике, предварительно смахнув пыль платком. У Франсуа было узкое, костлявое лицо с большим кривым носом, придававшим ему сходство с учителем, с самим Сен-Симоном.

Франсуа не стал вмешиваться в общий разговор, а когда все смолкло, поклонился одной головой и начал говорить медленно, как бы думая вслух. Постепенно голос его креп, глаза теряли свое неподвижно-вялое выражение, и слова становились четкими, интонации — запоминающимися. Он, как опытный оратор, не сразу завоевывал слушателя, не боясь причинить ему вначале неуловимое разочарование. Тем полнее была окончательная победа.

Франсуа пользовался большим влиянием в общине, и речи его воспринимались как инструкция.

— Наше место сегодня не может быть ни в рядах буржуа, ни в рядах рабочих, — начал вождь сен-симонистов почти шепотом, равнодушно, как нечто само собой понятное и установленное. — Оно — между теми и другими, — голос оратора окреп. — Главное: предотвратить насилие. Богатые классы не смогут долго противиться благородной и спокойной просьбе. Пожертвование некоторыми нынешними выгодами вскоре покажется им священным долгом, который предписывается им религией, гуманностью и политикой, и, может быть, они найдут щедрую компенсацию в благоденствиях мира и в горячей признательности масс. Но против нажима и угроз

богатые будут сопротивляться, а рабочие, даже одержав победу, будут бесильны устроить свою судьбу. Пролетариям необходимо понять, что все зло — в конкуренции. Именно конкуренция заставила снизить заработную плату. С другой стороны, сен-симонисты должны сказать буржуазии, торжество которой в Лионе близко, что суровость — наилучшее из средств ограждения себя от народа. Фабриканты должны содействовать мерам удешевления хлеба.

Франсуа кончил и вернулся к обычному уверенному равнодушию.

Прежде, чем разойтись, собравшиеся предложили Пфейферу и Корреару отправиться наутро в штаб восставших и попытаться воздействовать на дальнейшее поведение рабочих. Франсуа вылезался поговорить также и с Рогэ.

В штабе рабочих было накурено и людно. В углах большой комнаты лежали амуниция, куски холста, оружие. На табуретах, подоконниках, столах сидели люди.

Рядом, в небольшой каморке, над разложенным планом города и пригородов сидел Локомб, неподалеку на ящике из-под патронов Жан Буври писал прокламацию.

— А, миротворцы, — сказал Локомб.

Франсуа снял шляпу и начал размеренно и степенно:

— Мы, выразители интересов самого многочисленного бедного класса, крайне удручены печальным происшествием и хотели бы внушить рабочим чувства порядка, мира и соглашения.

— Ладно, — буркнул Локомб, — приходите, когда кончится восстание.

— Постой, брат, — вмешался Пфейфер, бойкий низкорослый человек с рыжими бачками на розовых щеках, — я сегодня промыл твою рану, и ты назвал меня другом. Поверь, мы понимаем ваши цели! Изволь, прочти в доказательство сообщение, которое я написал в парижскую общину.

Пфейфер вытащил четверо сложенную бумагу и протянул Локомбу.

— «Отец, рабочие победили, — прочел вождь восставших. — Они сражались с невероятной храбростью, ничто не может дать понятие об их ярости в

битве. Мы имели очень ложное представление об этих людях, предполагая отсутствие у них энергии; мы тогда еще не знали по опыту, что такое человек, сражающийся из-за хлеба».

Локомб холодно спросил:

— Что знаете вы о рабочих теперь?

— Мы — апостолы мира, мы — посредники между классами, мы — враги всякого насилия, мы...

Буври и Локомб не слышали продолжения. Разведчики принесли тревожные известия о начавшейся передвижке линейных войск.

Сен-симонисты покинули штаб, ничего не добившись.

20

Генриетта Броше получила записку от Жоржа Дюваля, уже сидя в дорожной карете. Она успела прочесть ее, покуда кучер и лакей привязывали сундуки и корзинки.

«Мечта моя, — писал адъютант командующего войсками, — судьба нам благоприятствует. Твой отец отдаст мне тебя как трофей, как добычу военачальника. Не бойся, мой цветок, я, если нужно, отдам свою жизнь за тебя, за твое счастье. Генерал Рогэ отдал мне командование над прибывшим полком драгун. Жаль, что ты не увидишь своего Жоржа в пылу битвы. Я буду беспощаден во имя тебя. Прощай, мой луч солнца.

Жорж Дюваль — командир».

Генриетта поцеловала подпись и спрятала записку на груди. Она сняла браслет с руки и передала его вместе с заранее заготовленным письмом горничной — для Дюваля.

«Будь храбр, будь жесток, как Александр Великий. Я вижу тебя на коне. Кровь презренных врагов на твоем мундире. Ты прекрасен, как греческий бог. Целую твои руки, мой спаситель» — заканчивалось ее прощальное послание.

— Не медлите, — кричал между тем Броше, высунувшись из окна, — эта карета не успеет выбраться из города. Езжай на Сен-Жюст, Поль, минуя Круа-Русс, — поучал он кучера. — Смотрите, замечайте все, госпожа Брюс, в особенности не подпускайте военных.

Вы отвечаете за мою дочь передо мной и богом, — обратился Броше к гувернантке дочери, квадратной старухе в огромном вязаном капоре.

Наконец карета тронулась. Броше хлопнул окно. Лакей в ливрее скрылся за золоченой дверью.

21

Смеркалось. Улицы центра были безлюдны. Фонарщики не зажгли в этот день тусклых уличных ламп. Канонада стихла, как того требовал лионский префект. Кое-где попадались войсковые части в полном военном снаряжении.

Кучер выбирал улицы поуже и побезлюдней. Мимо медленно едущего возка пронеслись два всадника: лионский префект и генерал Ордоннэ. На расстоянии их сопровождал небольшой отряд Национальной гвардии. На шесте, прикрепленном к седлу генеральского коня, болтался чистый, белый флаг. Бувье сжал молча, недоверчиво поглядывая на темные дома.

На одном из поворотов всадников встретил шум заряжаемых ружей и громкое:

— Кто идет?

— Бувье-Дюмолар, префект департамента Роны, — раздалось в ответ.

В ту же минуту из вооруженной толпы выдвинулся человек с фонарем. Подойдя к лошади, он осветил лицо префекта и признал его.

«Давно ли они приветствовали меня, а теперь сторожат, как врага» — думал Бувье, выезжая в окружении безмолвной толпы из ворот в предместье Круа-Русс. В темноте не видны были следы минувшей битвы. Площадь, примыкавшая к городской стене, напоминала военный лагерь. Свет фонарей, факелов и костров позволил прибывшим увидеть группы людей, сидевших на земле, на телегах, чистящих ружья и старые пики.

Все прилегающие к площади улицы были баррикадированы. Кое-где стояли палатки, предназначавшиеся для раненых. У колодца девушки мыли тряпье, годное для обвязывания ран. Слышались негромкие разговоры и мурлыкаю-

щее пенье. Дома на площади выглядели безжизненными и страшными.

— Какой однако порядок, — пробурчал удивленно генерал Ордоннэ.

Прибытие парламентариев вызвало большое возбуждение. Сотни людей окружили лошадь Бувье-Дюмолара. Девушки у колодца вытерли руки о фартуки и повернули головы, стараясь слышать, что скажут прибывшие. На мгновенье площадь зашумела и ожила.

— Тише, друзья, — скомандовал Буври, становясь на куче щебня, вровень седлам лошадей. — Послушаем господина префекта, но не будем при этом терять бдительности. Все — по местам, призываю к порядку. Мы сообщим потом всем отсутствовавшим предложение властей.

Но Бувье-Дюмолару не дал говорить звонкий, детский голос, прозвеневший от края к краю площади:

— Бротто, Ла-Гийотьер, Сен-Жюст идут нам на подмогу.

Префект был мгновенно забыт.

Юные разведчики принесли благие вести. Три рабочих пригорода поднялись и двигались к Круа-Русс. Площадь загрохотала, засмеялась от радости. Лишь спустя четверть часа рабочие вспомнили о Дюмоларе, сидевшем одиноко на своей белой лошади, рядом с генералом Ордоннэ, который, воспользовавшись счастливой суматохой, быстро чертил план площади и подсчитывал военные запасы неприятеля.

— Ну, а теперь послушаем господина Бувье-Дюмолара, — повторил Буври, опять взбираясь на холм из щебня, заготовленного в целях обороны.

— Я хотел сказать вам, господа, — начал, подчеркнув слово «господа», барон, — что подкрепление, о котором вам только-что стало известно, не нужно. Мы все хотим мира. Вы знаете мое отношение ко всему, что касается улучшения вашего положения и спора с negociантами. Вот генерал Ордоннэ, представитель военного командования, который здесь для того, чтоб обсуждать условия мира также от имени генерала Рога. Уверяю вас, что...

Слова префекта заглушил страшный пушечный залп. Палили где-то рядом с

площадью Круа-Русс, со стороны заставы. Неопишное смятение охватило рабочих.

— Нам заговаривают зубы, чтобы обойти с тыла. К оружию!

— Предатели!

Топта хлынула к делегатам и стащила их с лошадей. Сжатые кулаки грозили им со всех сторон. Но, скоро оказавшись вновь на ногах и увидев изрядно помятого, перепуганного генерала Ордонне, Бувье сказал ему, едва сдерживая бешенство: «Порядочный негодяй ваш Рогэ».

— Вот это верно, — вмешался слышавший замечание префекта мастер Буври. — Вам следовало быть предупредительнее, господин Дюмолар, и разобраться в положении прежде, чем угрожать нас сдать.

— К оружию!

Новый залп сотряс площадь и окружающие дома.

Отряды рабочих бросились в прилегающие улицы, где залегли драгуны.

Битва, то затихая, то возобновляясь, продолжалась по поздней ночи.

Сток вел свой отряд на соединение с рабочими Бротто. У заставы Круа-Русс ему предстояло пробиться сквозь строй легиона Национальной гвардии. Приказом Рогэ линейный батальон регулярной армии был отозван в центр для защиты ратуши и военного управления. Узнав о том, что префект взят в плен, командующий войсками Рогэ счел себя временным диктатором. Жорж Дюваль по его приказу отправился с эскадрой драгун на Бротто.

Иоганн и пятьдесят вооруженных рабочих без труда расправились с врагом, засевшим в канаве у городской заставы. Спротивление национальных гвардейцев было кратким; ремесленники и отдельные рабочие, наспех собранные Рогэ, охотно сдавались и тут же присоединялись к рабочему войску.

Женевева шла позади отряда Стока с холщевым мешком маркизантки, переброшенным через плечо.

Прикрываясь темнотой, в полном молчании, двигались на подмогу товарищам лионские рабочие. Ноги их вязли в разрыхленной земле огородов, ветер шур-

шал невидимым в ночи черным знаменем. Из города доносились отдельные залпы, кое-где вдали загорались дома, и в небе вспыхивало дымное зарево.

— Готовься, ребята! — скомандовал Сток, заметив вдали, на горизонте нечто черное, неуклюжее, похожее на стадо буйволов.

— Засада на дороге.

Щелкнули затворы, тесной стеной, пригнувшись, двинулся, напряженно вглядываясь в темноту, отряд.

— Тпру, подай, подай влево, — доносились до рабочих голоса. — Не вытаскивать колеса, грязища, сто дьяволов!

Сток и его парни неожиданно окружили карету с визжавшими в ней барынями. После недолгих споров Генриетта под конвоем была отправлена в город. Выпряженных лошадей взял отряд, пообещав вернуть владелице тотчас же после заключения мира.

Всю ночь рабочие восставших пригородов вооружались. К утру в Лион подошли вызванные властями войска. С рассвета все чаще ружейные залпы заглушал грохот пушек, обстреливающих баррикады. Обывателям предложено было не показываться на улицах, превращенных в поля сражения, и не подходить к окнам: то и дело визгливо разрывались шальные пули.

Генерал граф Рогэ об'езжал позиции, заложив два пальца за борт шинели, как делал это Наполеон.

Отряд Стока ворвался в Бротто в разгар битвы. Оградившись баррикадами, наспех сооруженными из рундуков, корзин, табуретов, на рыночной площади отстреливались от прекрасно вооруженных драгун рабочие. Особенной меткостью прицела отличался негр-ткач, по имени Станислав. Ни один патрон не пропал у него даром.

На белой лошади впереди драгунского полка гарцовал, сияя мундиром, Жорж Дюваль.

В полдень пришли на помощь Бротто рабочие Сен-Жюста. Они решили исход битвы.

Жорж Дюваль с непокрытой головой и разжившимися локонами мчался с драгунами окружным путем в город.

Выпущенный после четырехчасового плена, Буври-Дюмолар вернулся домой в самом подавленном состоянии духа. Он проклинал военное командование и свою близорукость в отношении графа Рогэ, поняв, что в будущем его ждут не награды, а отставка.

Жером встретил префекта из явлениями восторга по поводу происходящего. Корсиканец надеялся на всефранцузскую революцию и втайне мечтал о республике.

Приготовляя пунш, необходимый озябшему, усталому префекту, Жером не переставал рассказывать о виденном. Он не потерял времени даром и, будучи отважным человеком и страстным любителем баталий, умудрился побывать до полудня в самых опасных местах.

— Какая была резня, господин барон, сколько офицеров отправилось прямехонько на тот свет, — рассказывал он с энтузиазмом.

— Рабочие боролись за каждую пядь земли, за каждый дом и двор. На кладбище Бротто они отвоевывали каждую могилу. Подкрепление из Гийотьера прорвалось через мосты, сквозь картечь и ружейный огонь. Лионские рабочие смелы, как корсиканцы. Они знают, что делать. Магазины ружейных мастеров все до одного взломаны и разграблены. К вечеру наконец сдались и пороховые погреба Серэны, и арсенал в Сизэ. Победа давалась не дешево. Многие погибли. Гордое знамя рабочих было продырявлено в десяти местах.

22

Вечером 22 ноября генерал Рогэ, предвидя, что рабочие не отступят и будут продолжать бороться, как боролись уже два дня, объявил на военном совете о необходимости вывести войска из города, чтобы занять более выгодную позицию вне городских стен.

— Мы зажаты в кулак, — сказал Рогэ, — наши войска изнурены. Инсургенты перехватывают продукты, подвозимые извне. Рационы уменьшены, войска недоедают. Рабочие, завербованные в Национальную гвардию, массами переходят на сторону неприятеля: из

пятнадцати тысяч осталось не более ста человек.

В спешке нам прислали подкрепление без обозов и провианта. Уведя войска, мы запрем врагов в городе и предотвратим разгром центра, иначе вандалы в рабочих блузах снесут ратушу и будут штурмовать дома поряdochных людей.

На рассвете 23 ноября командующий войсками приказал воинским частям покинуть город, двигаясь через предместье Сен-Клэр, берегом Роны.

О движении войск в штабе восставших стало известно от Екатерины Буври, которая под видом молочницы ходила к казармам на разведку. Маневр Рогэ поставил втулик осаждающих город. Жан Буври, заседавший дни и ночи в руководящем штабе вместе с вождями рабочих — Лашареллем, Фредериком и Шарпантье, — заподозрил западню и предложил товарищам остановить войска. Его поддержали.

Екатерина Буври с группой женщин была немедленно отправлена строить баррикады на мосту Сен-Клэр, чтобы задержать неприятельскую переправу. Два фургона, заранее подготовленные мешки с землей и несколько разбитых станков оказались достаточными для этой цели.

Из сношенной юбки старуха Буври смастерила черное знамя и прикрепила его к перилам моста.

Отступление войск происходило под прикрытием непрерывного артиллерийского огня.

На мосту Сен-Клэр отстреливающиеся на пути гвардейские канониры, драгуны и линейные солдаты бросились в атаку на баррикаду, которую отстаивали дети и женщины. Прежде, чем из ворот города в тыл врагу бросился рабочий отряд, все защитники моста были перебиты. Первой пала Екатерина Буври. Штык пробил ей легкое. Истекая кровью, старуха упала на разбитый станок.

Пуля Жоржа Дюваля пробила ей череп.

В сумерки рабочие отряды вступили в город, где принялись тушить возникшие пожары и устанавливать порядок. Первый приказ, выпущенный победителя-

ми, гласил, что воровство и грабежи будут наказываться смертью. Бувье-Дюмоляр остался на посту префекта и выпустил воззвание, призывающее к спокойствию. Госпожа Брюс и Генриетта после двухдневного пребывания в доме рабочего в Круа-Русс вернулись домой, но не отыскали Броше. Фабрикант бежал следом за графом Рогэ. Генриетта нашла отцовский особняк пустым, но нетронутым. Рабочие охраняли улицы и не допускали грабежей.

— Мы добиваемся исполнения обязательств, которые негодяи приняли на себя 25 октября. Мы не хотим анархии. Нам нужно работы и хлеба, — сказал Буври над братской могилой, в которую при свете факелов в первую ночь окончательной победы положили несколько сот деревянных ящиков с телами павших в бою.

24 ноября решившиеся покинуть погреб и вылезти на свет обыватели толпились у заборов, сплошь заклеенных воззваниями и прокламациями.

«Мы хотим прекратить кровопролитие, и генерал, движимый чувством гуманности, согласился на отступление гарнизона. Бойтесь анархии, подумайте о ваших семьях и о городе» — взывал Бувье-Дюмоляр.

Измятые серые листы смотрели мелкими тысячеязычными зрачками букв на оробевшие, измятые, посеревшие существа, едва вправившиеся от пережитых мышиных страхов.

Иногда у забора останавливался и подлинный участник восстания, нередко он дочитывал до конца никем не подписанную прокламацию — плод творчества мелких буржуа и зажиточных ремесленников Лиона.

«Французская кровь была пролита французами, — писали они, — после печальных событий, свидетелями которых мы были, возрадуемся, что ужасная борьба окончилась. Но пусть победители сумеют воспользоваться победой, купленной так дорого, иначе она станет для них более роковой, чем поражение. Мы уже сказали задолго до того, как вопрос был решен оружием, что вся наша симпатия на стороне массы тружеников, тех, кого усидчивая работа не огра-

ждает от голода. При виде трудолюбивых семейств, скученных в нездоровых мастерских, истощающихся в работе без отдыха, измученных постоянной небеспеченностью завтрашнего дня, душа наша часто наполнялась глубокой и скорбной жалостью, — мы понимали, сколько потрясающего в этих криках, требующих смерти или справедливой оплаты. Но эта оплата сможет быть достигнута только порядком и свободой для всех, — без порядка, без свободы нет промышленности, нет работы, есть анархия, разорение, нищета, смерть нации. Несмотря на различие интересов, все мы — хорошие французы. Друзья июльского правительства, остережемся, чтобы враги не пожелали воспользоваться нашими несогласиями и не зажгли междоусобную войну, столь счастливо потушенную».

23

Жорж Дюваль был послан генералом Рогэ в Париж с подробным донесением королю.

«Любовь моя, — писал Дюваль невесте в письме, которое ворожея Деи, подрабатывавшая на шпионаже в пользу отступившей армии, бралась передать в город. — Жди терпеливо, еще несколько дней, и мы войдем в город победителями во главе с наследником и славным маршалом Сультом. Изгони из своей памяти пережитое. Забудь дни слез и ужаса, долгие ночи страха и агонии, я вознагражу тебя за это. Пользуйся своим правом и требуй от черни уважения и покорности.

Стоя на коленях, целую край твоего платья, моя мужественная героиня. Господин Броше заискивает передо мной и обещает нам не только благословение, но и все полагающееся тебе приданое».

24

О лионском восстании в Париже стало известно лишь 22 ноября.

Негласным распоряжением правительства немедленно была усилена ночная охрана города. Шныряющие в толпе шпики доносили, что анархисты всех мастей радуются и настойчиво наблюдают за происходящим в шелкоткацкой

столице. Начались стачки среди портовых рабочих речных пристаней под Парижем. Комиссар полиции не посмел однако вмешаться. На бирже царила паника. Палата депутатов заседала беспорядочно. Но сведения из Лиона поступали отрывочные и противоречивые. Прибытие посланца от командующего войсками графа Рогэ пришло весьма кстати. Перепуганный король пожелал немедленно выслушать донесение, и Жорж Дюваль в карете президента палаты был доставлен на высочайшую аудиенцию в Тюильри.

25

Бувье-Дюмолар вот уже три дня не покидал префектуры. Он внимательно следил за разворачивающимися событиями и, пользуясь доверием рабочих, делал все возможное, чтоб победившее восстание выдохлось, не дав политических результатов.

— Город несколько дней как занят рабочими, но я у власти, подобно многим из ее законных носителей. Победители исчезают с улиц в последние дни, они отрекаются сами от победы. Чего еще ждать от невежественной массы, — говорил Дюмолар своему помощнику. — Им нужны поводыри.

— Боюсь, что, покуда вы тут рассуждаете, пастухи для баранов нашлись, помимо вас и нас, — раздался в это время сильный бас ворвавшегося к префекту без доклада лионского мера Буассе.

— Извольте, взгляните, — прохрипел он и бросил на стол шероховатый серый лист.

Одышка мешала потрясенному меру говорить. Он негодуяше сопел и размахивал руками. Префект департамента Роны, скрыв беспокойство, пробежал глазами печатный текст принесенной прокламации.

«Лионцы! Вероломные магистраты фактически потеряли свое право на общественное доверие, между нами и ими возвышается гора трупов. Никакое соглашение, таким образом, невозможно. Лион, столь славно освобожденный своими детьми, должен иметь магистраты по выбору, магистраты, руки которых не обгарены кровью их братьев. Наши

защитники выберут синдиков, которые будут председательствовать во всех соответствующих корпорациях и в представительстве города и ронского департамента.

Лион должен иметь свои коалиции или предварительные собрания, нужды населения провинций наконец должны быть услышаны, и должна быть организована новая гражданская гвардия. Довольно министерского шарлатанства, которое нам предписывает подчинение.

Солдаты, вы заблуждались, придите к нам, пусть ваши раненые скажут, являемся ли мы вашими братьями!

Национальная гвардия, распоряжения, отданные вероломными и корыстными людьми, осквернили ваш мундир. Но в сердце вы — французы. Соединитесь с нами для поддержания порядка.

Мы убеждены, что при первом призыве каждый из вас будет на своем посту.

Все честные граждане поспешат восстановить доверие, открыв свои магазины.

Заря истинной свободы с этого утра занялась над нашим городом! Пусть ничто не омрачит ее сияния. Да здравствует истинная свобода!

За комиссию рабочих:

Локомб — синдик,

Фредерик — вице-президент,

Шарпантье, Лашарелль — синдики.

Лион, 23 ноября 1831 года».

Дюмолар дважды перечел подписи и спокойно обернулся к лионскому меру.

— К счастью, — сказал он чванливо, — у меня есть достаточно влияния, чтобы исправить случившееся. Я знаю рабочих. Хотелось бы посмотреть Рогэ при создавшихся условиях. Он довел бы королевскую Францию до краха. Он, но не я. Этот документ устарел, хотя и помечен вчерашним днем. Они сами не поняли его смысла. К тому же сегодня мы противопоставим демagogии самого наследника трона, который на пути к Лиону. Поверьте, эта ставка бита.

— Но вы знаете только часть происшедшего, — замахал короткими ручками мер.

— Этажом выше здесь же, в ратуше, банда в семь человек объявила себя несколько часов тому назад каким-то главным революционным штабом. Они хотят республику, поймите же — республику. Воззвание—дело их рук. Я подозреваю, что эти господа не остановятся перед тем, чтобы пойти из Лиона войной на короля. Ходят слухи — парижские республиканцы только того и ждут.

Беспечно-самодовольное выражение на лице Дюмолара сменилось напряженным раздумьем.

Он вызвал Жерома и долго обсуждал с ним, как лучше пригласить представителей рабочих к себе на конфиденциальную беседу.

В тот же день старик Буври, Локомб, Лашарелль и кое-кто из других собрались в кабинете префекта.

Дюмолар встречал их, многозначительно протягивая прокламацию и патетически поясняя:

— Знаете ли вы, что это значит — поход на короля, война, небывалые безвинные жертвы.

Префект причислил себя к восставшим и клялся разделить их участь в страшных последствиях, которые повлечет за собой организация главного революционного штаба.

— Что худого сделал нам король, который, желая облегчить участь трудящихся, дал Лиону большие заказы и посылает своего сына разобрат, кем и чем обижены ткачи. Вы стали игрушками в руках демагогов и врагов отечества.

Речи Дюмолара произвели впечатление.

— Мы не хотели мятежа, нам только бы обуздать тарифом произвол негоциантов, — сказал один из владельцев мастерской, почесав лоб. Его поддержали остальные.

Обращение «к лионцам» по настоянию Бувье-Дюмолара было признано несуществующим. Вместо него рабочая комиссия выпустила обращение, адресованное префекту:

«Мы всецело преданы Луи-Филиппу, королю французов, и конституционной хартии. Мы одушевлены чувствами,

самыми чистыми и самыми горячими, и хотим общественной свободы и процветания Франции. Мы ненавидим все партии, которые пытаются на них покуситься».

Бувье-Дюмолар стал хозяином города. Ткачи признавали его власть и не мешали караулам, охранявшим пригороды, получать директивы непосредственно из префектуры. Прежние меры оставались на своих местах. Как только Дюмолар получил известие о том, что наследный принц во главе двадцатитысячной армии подходит к городу, рабочим предложено было вернуться к станкам. Спешно чинились мостовые, открывались лавки, театры, кафе. Обыватель с восторгом приветствовал восстановление обывденного порядка.

26-го Жером ввел к префекту гонца из Тилье — ставки генерала Рогэ.

— Мы встретим наследного принца, как послушные сыны, — патетически возвестил Дюмолар, принимая от курьера запечатанный пакет, в котором перусердствовавшему префекту Роны предлагалось, невзирая на все его услуги короне, немедленно покинуть город.

26

В последних числах ноября Буври отослал троих из своих вновь приступивших к работе ткачей и заперся в мастерской с Иоганном и Женевьевой.

— Дети мои, — сказал он, тяжело вздохнув, — нам придется расстаться. В течение недели я потерял жену, Андрэ, который был моим крестником, сына Жана, а сегодня я лишусь вас.

— Ты жалеешь о случившемся, старик, — буркнул Иоганн сердито, — а я скажу, что дни восстания были лучшими в моей жизни. Теперь я знаю, что делать и куда идти.

— Оставим споры, Сток. Не время. Герцог Орлеанский с армией завтра войдет в город. Начнется расправа, тебе первому не миновать тюрьмы, а то и хуже. Кровь пролилась понапрасну, тариф отменяют, Бувье-Дюмолара уже принудили покинуть город. Зато вчера вернулся в город негоциант Броше. Король нас предал, бог покинул...

Старик опустил седую голову и долго сидел молча. За окном мелькали угрюмые, согнувшиеся люди с котомками. Они оставляли город в канун расправы.

Сток вышел на улицу и направился на площадь предместья, чтоб еще раз взглянуть на временный штаб восставших. Дом был пуст и темен.

В подворотне кто-то положил ему руку на плечо.

— Прощай, друг, может, не сведет судьба больше.

Всмотревшись, Иоганн узнал молодого рабочего Менье, который шесть дней назад вел отряд на арсенал.

— Темно кругом,—продолжал Менье, отвечая на выразительное рукопожатие

Стока. — Я больше не знаю, как нам быть. Мы победили. Мы стали хозяевами Лиона, и мы сдали все без сопротивления. Что делать дальше? Бороться за тариф, сдаться на милость господ и довольствоваться подачкой? Когда же появится человек, наш рабочий мессия, который научит нас бороться и объяснит, почему, победив, мы снова всего лишь жалкие рабы.

Сток молчал, он сам мучился всем тем, чего не понимал Менье.

Они расстались.

Двадцать восьмого ноября Иоганн и Женевьева покинули предместье Круа-Русс и направились в Германию.

(Продолжение следует)

Петр Первый

Роман

А. Л. ТОЛСТОЙ

Книга вторая

(Продолжение ¹)

12

То и дело рвали дверь, входили новые люди, не раздеваясь, не вытирая ног, садились на лавки, а кто побольше — прямо к блюдам. У Меншикова ели и пили круглые сутки. Горело много свечей, воткнутых в пустые штофы. На бревенчатых стенах висели парики, — в избе было жарко. Стался табачный дым из трубок.

Вице-адмирал Корнелий Крейс спал за столом, уткнув лицо в расшитые золотом обшлага. Шаутбенахт русского флота, голландец Юлиус Рез, — отважный морской бродяга, с головой, оцененной в две тысячи английских фунтов за разные дела в далеких океанах, — тянул анисовую, насупившись на свечу одноголазым свирепым лицом. Корабельные мастера, Осип Най и Джон Дей, обросшие щетиной за эти горячие дни, попыхивали трубками, насмешливо подмигивали русскому мастеру Федосею Склаеву. Федосей только-что пришел, распустив шарф, расстегнув тулупчик, хлебал лапшу со свиной...

— Федосей, — говорил ему, подмигивая рыжими ресницами, простодушный Осип Най, — Федосей, расскажи, как ты пирувал в Москве?

Федосей ничего не отвечал, нагнувшись над чашкой. Надоело, в самом де-

ле. В феврале вернулся из-за границы, и надо бы сразу — по письму Петра Алексеевича — ехать в Воронеж. Чорт попутал. Закрутился в Москве по приятелям, и пошло. Три дня — в чаду: блины, закуски, заедки, винище. Кончилось, как и надо было думать, дракой у рогаток со сторожами и солдатами. (А шли-то к одной веселой бабенке.) Федосей шпагой порубил двоих и очутился на Мясницкой, в Преображенском приказе.

Царь, узнав, что жданный любимец его Федосей сидит за князем-кесарем, погнал в Москву нарочного с письмом:

«Мин хер Кениг... В чем держишь наших товарищей, Федосея Склаева и других? Зело мне печально. Я ждал паче всех Склаева, потому что он лучший в корабельном мастерстве, а ты изволил задержать. Бог тебе судит. Истинно никого мне нет здесь помошника. А чаю, дело не государственное. Для бога освободи и пришли сюды. Питер».

Ответ от Ромодановского дней через десять привез сам Склаев:

«Вина его вот какая: ехал с товарищами пьяный и задрался с солдатами Преображенского полку. И по розыску явилось: на обе стороны не правы. И я, разыскав, высек Склаева за его дурость, так же и солдат челобитчиков высек, с кем ссора учинилась. В том на меня не прогневишь, — не обык в дуро-

¹) См. «Новый мир», кн. 2 с. г.

стях спускать, хотя б и не такова чину были».

Ладно. Тому бы и конец. Петр Алексеевич, встретив Склеява, обнимал и ласкал и, отстраняя, ударил себя по ляжкам и изволил не то что засмеяться, а ржал до слез... «Федосей, это тебе не Амстердам!» И письмо князя-кесаря за ужином прочел вслух.

С'ев лапшу, Федосей оттолкнул чашку, потянулся к Осипу Наю за табаком:

— Ну, будет вам, посмеялись, дьяволы, — сказал грубым голосом. — В трюм, в кормовую часть, лазили сегодня?

— Лазили, — ответил Осип Най.

— Нет, не лазили...

Медленно вынув глиняную трубку, опустив углы прямого рта, Джон Дей проговорил через сжатые зубы по-русски:

— Почему ты так спрашиваешь, что мы будто не лазили в трюм, Федосей Склеяв?

— А вот потому... Чем мыргать ресницами — взяли бы фонарь, пошли.

— Течь?

— То-то, что течь. Как начали грузить бочки с солониной, — шпангоуты расперло и снизу бьет вода.

— Этого не может случиться...

— А вот может. О чем я вам говорил все время, — кормовое крепление слабое. Генералы!

Осип Най и Джон Дей поглядели друг на друга. Неспеша встали, взяли шапки с наушниками. Встал и Федосей, сердито цапая медными крючками по кожаной поле кафтана. Взяли фонарь, протолкались в сени.

К столу присаживались офицеры, моряки, мастера, усталые, замазанные смолой, забрызганные грязью. Вытянув чарку огненно-крепкой водки из глиняного жбана, брали руками что попадется с блюд, — жареное мясо, поросятину, говяжьки губы в уксусе. Наскоро поев, многие опять уходили, не крестя лба, не благодаря...

У дощатой перегородки навалился широким плечом на косяк дверцы сонноглазый матрос в суконной высокой шапке, сдвинутой на ухо, на жилистой его шее висел смоляной, конец с узла-

ми, — линек. (Им он-подчевал кого надо.) Всем, кто близко подходил к дверце, говорил тихо-лениво:

— Куда прешь, куда, бодлива мать...

За перегородкой, в спальной половине, сидели сейчас государственные люди: адмирал Федор Алексеевич Головин, Лев Кириллович Нарышкин, Федор Матвеевич Апраксин — начальник Адмиралтейства и Александр Данилович Меншиков. Этот, после смерти Лефорта, сразу жалован был генерал-майором и губернатором псковским. Петр будто бы так и сказал, вернувшись в Воронеж после пехорон: «Были у меня две руки, осталась одна, хоть и вороватая, да верная».

Алексашка, в генеральском, ловко затянутом шарфом, зеленом кафтане, в парике, утопив узкий подбородок в кружева, стоял у горячей кирпичной печки. Апраксин и тучный Головин сидели на неприбранной постели, Нарышкин, опираясь лбом о ладонь, — у стола. Слушали они думного дьяка и великого посла — Прокофия Возницына. Он только-что вернулся из Карловиц на Дунае, со с'езда, где цезарский, польский, венецианский и московский послы договаривались с турками о мире.

Царя он еще не видел. Петр велел сказать, чтоб министры собрались и думали, а он придет. Возницын держал на коленях тетради с цыфирными записями, спустив очки на кончик сухого носа, рассказывал:

— Учинена мною с турецкими послами, рейс-эфенди Рами и тайным советником Маврокордато, армисциция, сиречь унятие оружия на время. Большего добиться было нельзя. Сами судите, господа министры: в Европе сейчас такая каша заварилась, — едва ли не на весь мир. Испанский король дряхл, не сегодня-завтра помрет бездетным. Французский король добивается посадить в Испанию своего внука Филиппа и уж женил его, держит при себе в Париже, ожидая — вот-вот короновать. Император австрийский, с другой стороны, хочет сына своего Карла посадить в Испанию...

— Да, знаем, знаем это все, — нетерпеливо перебил Алексашка.

— Потерпи, Александр Данилович, говорю, как умею (седым взором поверх очков Возницын тяжело уставился на красавца), решается великий спор за морскую торговлю—чей быть: английской или французской... Будет Испания за французским королем,—французский с испанским флотом возьмут силу на всех морях: и в Америке, и в Индии. Будет Испания за австрийским императором,—англичане с одним французским флотом справятся, возьмут силу. Европейский политик мутят англичане. Они и свели в Карловицах австрийцев с турками. Австрийскому цезарю надобно руки себе развязать. И турки усердно рады мириться, чтоб отдохнуть, собраться с силами: принц Евгений Савойский много у них земель и городов побрал за цезаря, — в Венгрии, в Семиградской земле и в Морее, и цезарцы уж в самый Цареград смотрят... Туркам сейчас забота — свое вернуть... А воевать отдаленно — с поляками или с нами — сейчас и в мыслях нет... Тот же Азов,—не стоит он и того, что им надобно под ним потерять.

— Так ли турецкий султан слаб, как ты успокаиваешь? Сомнительно, — проговорил Алексахка. (Головин и Апраксин усмехнулись. Лев Кириллович, видя, что они усмехнулись, тоже с усмешкой покачал головой.) Алексахка,—подрожав ляжкой, позвонев шпорой:

— А коли слаб, что ж ты с ним вечного мира не подписал? Либо ты забыл сказать рейс-эфенди, что у нас на Украине зимуют сорок тысяч городовых стрельцов да в Ахтырке собран конный большой полк Шенна, да в Брянске готовы суда для всего войска... Не с голыми руками тебя посылали... Армисциция!

Прокофий Возницын медленно снял очки. Трудно было привыкать к новым порядкам, — чтобы мальчишка, без роду-племени, так разговаривал с великим послом. Проведя сухой ладонью по задрожавшему от гнева лицу, Прокофий собрался с мыслями. Лаем конечно тут ничего не возьмешь.

— А вот почему не мир, — учинена армисциция, Александр Данилович...

Цезарские послы, не сходясь с нами, ни с поляками, ни с венецианцами, тайно, одни переговаривались с турками. И поляки тайно от нас договорились. И нас бросили одних. Турки, приведя дела с цезарцами к удовольствию, с нами вначале и говорить не хотели, так надулись... Не будь там старинного моего знакомого Александра Маврокордато, — и армисциция бы у нас не было... Вы здесь сидите, господа министры, думаете — на вас вся Европа смотрит... Нет, для них мы — малый политик, можно сказать,—никакой политик...

— Ну, это еще бабка надвое...

— Подожди, не горячись, Александр Данилович, — мягко сказал Головин.

— На посольском стану ответли нам самое худое место. Стражу приставили... Ходить никуда не велели, ни с турками видеться, ни пересылаться с ними... Еще будучи в Вене, взял я одного дохтура, бывалого поляка. Дохтура и стал засылать в турецкий стан к Маврокордато. Послал раз. Маврокордато велел кланяться. Послал в другой. Маврокордато велел кланяться и сказать, что студено. Я рад. Взял кафтан свой чернобурых лисиц, на малиновом сукне, послал его с дохтуром, велел ехать кругом посольских станов — степью. Маврокордато кафтан взял, на другой день посылает мне табаку, два чубука добрых да кофе с фунт, да писчей бумага. Ах, ты, думаю, отдаривается... И опять ему на возу — икры паюсной, спиннок осетровых, пять тешь белужьих больших, наливок разных... Да и сам поехал ночью в турецкий стан, один, в простом платье. А турки как раз в тот день подписали с цезарцами мир...

— Эх!—топнул шпорой Алексахка.

— Маврокордато мне: «Вряд ли,—говорит,—будет у нас с вами удовольствие, если не вернете нам днепровские городки, чтобы Днепр запереть и ход вам западнить навсегда в Черное море, и Азов придется отдать, и крымскому хану вам дань платить по-старинному...» Вот, Александр Данилович, как с первого-то разговора турки начали задираться... А ведь я—один. Союзники свои дела кончили, раз'ехались... Воро-

нежским флотом прожу. Турки смеются: «В первый раз слышим, чтобы за тысячу верст от моря строили корабли, ну и плавайте на них по Дону, а через гирло вам не перелезть...» Грозил и украинским войском, а они мне—татарами: «Смотрите, у татар сейчас руки развязаны, как бы вам они не сделали, как при Девлет-Гирее»¹⁾). Не будь у турок заботы—обваляли бы они на нас войну... Не знаю, Александр Данилович, может быть, по скудости разума не смог я достичь большего, но армисциция—все-таки не война...

Много мелочей еще не было окончено. Нехватало гвоздей. Только вчера по ростопели пришла часть санного обоза с железом из Тулы. В кузницах работали всю ночь. Дорог был каждый день, чтобы успеть догнать по высокой воде тяжелые корабли до гирла Дона.

Пылали все горны. Кузнецы в прожженных фартуках, в соленых от пота рубахах, рослые молотобойцы, иные по пояс голые, с опаленной кожей, закопченные мальчишки, раздувающие мехи,— все валились с ног, отмахали руки, почернели. Отдыхающие (сменялись несколько раз в ночь) сидели тут же: кто у раскрытых дверей жевал вяленую рыбу, кто спал на куче березовых углей. Старший мастер Кузьма Жемов, присланный Львом Кирилловичем со своего завода в Туле (куда был взят из тульской тюрьмы—в вечную работу), покалечил руку. Другой мастер угорел и сейчас стонал на ночном ветерке, лежа около кузницы на сырых досках.

Наваривали латы большому якорю для «Крепости». Якорь, подвешенный на блоке к потолочной матице, сидел в горне. Омахивая пот, свистя легкими, воздуходувы раскачивали рычаги шести мехов. Два молотобойца стояли наготове, опустив к ноге длинноручные молота. Жемов здоровой рукой (другая была замотана тряпьем) ковырял в углях проволокой, приговаривал:

— Не ленись, не ленись, поддай...

Петр в грязной белой рубахе, в па-

русиновом фартуке, с мазками копоти на осунувшемся лице, сжав рот в куриную гузку, осторожно поворачивал в том же горне якорную лапу, зажатую в длинных клещах. Дело было ответственное и хитрое,—наварка такой большой части.

Жемов,—обернувшись к рабочим, стоящим у концов блока:

— Берись... Слушай... (И—Петру.) В самый раз, а то переждем... (Петр, не отрывая выпуклых глаз от углей, кивнул, пошевелил клещами.) Быстро, навались... Давай!..

Торопливо перехватывая руками, рабочие потянули конец. Заскрипел блок. Сорокапудовый якорь пошел из горна. Искры взвились метелью по кузнице. Добела раскаленная якорная нога, щелкая окалиной, повисла над наковальной. Теперь надо было ее нагнуть, плотно уместить. Жемов—уже шопотом:

— Нагибай, клади... Клади плотнее... (Якорь лег.) Сбивай окалину. (Загорающимся венником стал омахивать окалину.) Лапу! (Обернувшись к Петру, закричал диким голосом.) Что ж ты! Давай!

— Есть.

Петр вымахнул из горна пудовые клещи и промахнулся по наковальне,—едва не выронил лапу. (Жемов заскрипел зубами.) Присев от надтутги, ощерясь, наложил...

— Плотнее!—крикнул Жемов и только взглянул на молотобойцев. Те, выхаркивая дыхание, пошли бить кругами, с оттяжкой. Петр держал лапу, Жемов постукивал молотком, — так-так-так, так-так-так. Жгучая окалина брызгала в фартуки.

Сварили. Молотобойцы, отдуваясь, отошли. Петр бросил клещи в чан. Вытерся рукавом. Глаза его весело сузились. Подмигнул Жемову. Тот весь собрался морщинами:

— Что ж, бывает, Петр Алексеевич... Только в другой раз эдак вот не вымахивай клещи-то из горна,—так и человека можно задеть и непременно сваркой мимо наковальной попадешь. Меня тоже били за эти дела...

Петр промолчал, вымыл руки в чану, вытерся фартуком, надел кафтан.

¹⁾ При Иоанне Грозном крымцами была сожжена Москва и около полмиллиона человек убито и уведено в плен.

Вышел из кузницы. Остро пахло весенней сыростью. Под большими звездами на чуть сереющей реке шуршали льдины. Покачивался мачтовый огонь на «Крепости». Петр повернул по грязи и щепам к избе Меншикова.

Матрос у перегородки, увидев царя, кинулся головой в дверцу, оповестил министров. Но Петр не сразу пошел туда,—с удовольствием закрутив носом от тепла и табачного дыма, нагнулся над столом, оглядывал блюда:

— Слышь-ка,—сказал он круглобродому человеку (с удивленно задранными бровями, на маленьком лице—ярко-голубые глаза,—знаменитый корабельный плотник Аладушкин),—Мишка, всн то передай,—указал через стол на жареную говядину, обложенную мочеными яблоками. Присев на скамью, напротив спящего вице-адмирала, медленно—как пьют с усталости—выщедил чарочку: пошла по жилам. Выбрал яблоко покрепче. Жуя, плянул кисточкой в плешь Корнелию Крейсу:

— Чего, пьяный он, что ли?

Тогда вице-адмирал поднял измятое лицо, и—простуженным басом:

— Ветер—зюд, зюд-вест, один балл. На командорской вахте—Памбург. Я отдыхаю.—И опять уткнулся в расшитые рукава,

Поев, Петр сказал:

— Что ж у вас тут не весело?—Положил кулаки на стол. Минуту переждав, выпрямил спину, пошел за перегородку. Сел на кровать. (Министры почтительно стояли.) Большим пальцем плотно набил в трубочку путаного голландского табаку, закурил от свечи, поднесенной Алексашкой: — Ну, здравствуй, великий посол.

Стариковские ноги Возницына, в суконных чулках, подогнулись, жесткие полы французского камзола полезли вверх, — поклонился большим поклоном, раскинул космы парика близ самых башмачков государевых, облепленных грязью. Так ждал, когда поднимет. Петр сказал, навалясь локтем на подушку:

— Алексаша, подними великого посла... Ты, Прокофий, не сердись,—устал

я чего-то... (Возницын, отстраня Меншикова, сам поднялся, обиженный.) Письма твои читал. Пишешь, чтобы я не гневался. Не гневаюсь. Дело честно делал,—по-старинке. Верю... (Зло открыл зубы.) Цезарцы! Англичане! Ладно,—в последний раз так-то ездили кланяться... Сядь. Рассказывай.

Возницын опять стал рассказывать про обиды и великие труды на посольском с'езде. Петр все это уж знал из писем,—рассеяннo дымил трубочкой.

— Холоп твой, государь, скудным умишком своим так рассудил: если турок не задирать, то армисцицию можно тянуть долго. Послать к туркам какого ни на есть человека—умного, хитрого... Пусть договаривается, время проводит,—где и посулит чего уступить, так ведь магометан, государь, и обмануть не грех,—бог простит.

Петр усмехнулся. Половина лица его была в тени, но круглый глаз, освещенный свечою, глядел строго.

— Еще что скажете, бояре? (Вынул трубочку и на сажень сплунул через зубы.) Тени на стене от двух рогатых париков Апраксина и Головина заколыхались. Трудно было конечно так, сразу, и ответить... Попржнему, как говаривали в думе,—витиевато, вокруг да около,—этого Петр не любил. Алексашка, ерзяя плечами по горячей печи, кривил губы.

— Ну?—спросил его Петр.

— Что ж, Прокофий по-дедовски рассудил: канитель путать! Нынче нам так не подходит...

Лев Кириллович, с одышкой,—горячь:

— Сам бог не допустил, чтобы мы с турками мир подписали. Иерусалимский патриарх со слезами нам пишет: охраните гроб господень. Молдавский и валахский господари едва не на коленях молят: спасти их от турецкой неволи. А мы, да, господи! (Петр насмешливо: «А ты не плачь...») Лев Кириллович осекся, разинув рот и глаза. И—опять.) Государь, не быть нам без Черного моря! Слава богу, сила у нас теперь есть, и турки слабы... Не как Васька Голи-

цын,—не в Крым нам идти, а через Дунай на Цареград, — крест воздвигнуть на святой Софии.

Рогатые парики тревожно колыхались. Глаз Петра все так же поблескивал непонятно, трубочка похрипывала. Смирный Апраксин сказал тихо:

— Мир лучше войны, Лев Кириллович, война—дорога. Замириться с турками хоть на двадцать пять лет, хоть на десять, не отдав ни Азова, ни днепровских городков,—чего лучше... (Покосился на Петра, вздохнул.)

Петр встал, но места—шагать—было мало, сел на стол:

— Все мне на вас, на дворян, на вотчинников, оглядываться! Дворянское ополчение! Влезут, гладкие дьяволы, на коней, саблю не знают, в какой руке держать. Дармоеды, истинно, дармоеды! Поговорил бы ты с торговыми людьми в Москве, я говорил... Архангельск—одна дыра на краю света: англичане, голландцы, что хотят, то и дают, за грош покупают... Митрофан Шорин рассказывал: восемь тысяч пудов пеньки сгноил в амбарах, три набигации выжидал цену. Энти ироды ходят мимо — только смеются... А лес! За границей лес нужен, весь лес—у нас, а мы кладемся: купите... Полотно! Иван Бровкин: лучше, говорит, я его сожгу вместе с амбаром в Архангельске, чем отдам за такую цену... Нет! Не Черное море—забота... На Балтийском море нужны свои корабли.

Выговорил слово... Длинный, чумазый глядел со стола выпученными глазами на господ министров. Насупились. Воевать с татарами, ну, с турками, хоть и трудно,—привычная забота. Но Балтийское море воевать? Ливонцев, поляков?.. Шведов воевать? Лезть в европейскую кашу? Лев Кириллович пошарил полной рукой по торчащей поле кафтана, вынул орехового шелка платок, снял парик, вытерся. Возницын качал сухоньким лицом. Петр,—поташив из штанов кисет:

— С турками теперь, не как Прокофий, по-новому будем просить мира... Придем туда не с одним кафтаном на чернубурой лисе...

13

По мутному полноводному Дону плыли на полосатых парусах, наполненных теплым ветром, восемнадцать двухпалубных кораблей, впереди и позади них—двадцать галиотов и двадцать бригантин, скампавен, яхты, галеры: восемьдесят шесть военных судов и пятьсот стругов с казаками далеко растянулись на поворотах реки.

С высоких палуб видны были зазеленевшие степи, ряби поемных озер. Караваны птиц летели на север. Иногда вдали белели меловые кряжи. Дул зюд-ост, вначале противный ветер,—и много пришлось положить трудов, покуда не повернули по Дону на запад: заплескивались паруса, корабли дрейфовали, бешено орали капитаны в медные трубы. Приказ по флоту был такой:

«Никто не дерзнет отстать от командорского корабля, но за оным следовать под пеней. Ежели кто отстанет на три часа,—четверть года жалованья, ежели на шесть,—две трети, ежели на двенадцать часов,—за год жалованья вычесть».

После поворота на юго-запад поплыли шутя. Ненадолго разливались над степью пышные и влажные закаты. Катился выстрел с адмиральского корабля. Били склянки. Огоньки ползли на верхушки мачт. Убирались паруса, с плеском падал якорь. На помрачневших берегах зажигались костры, протяжно кричали казачьи голоса.

С темной громады «Апостола Петра» (где в звании командора состоял царь) ведьминым хвостом, шипя и пугая перепелов, взвивался в звездное небо потешный огонь. В кают-компаниях собирались ужинать. С ближайших кораблей приплывали на шлюпках в эти и без того пьяные ночи адмиралы, капитаны, ближние бояре.

Близ Дивногорского монастыря к флоту присоединились шесть судов, построенных кумпанством князя Бориса Алексеевича Голицына. По сему случаю стали на якорь под меловым берегом, два дня пировали на вольном воздухе в монастырском саду. Соблазняли монахов игрой на рогах и двусмысленными

шутками, пугали стрельбой из восьмисот корабельных пушек.

Снова по всей реке надувались пузатые паруса. Плыли мимо высоких берегов, мимо городков, обнесенных плетнями и земляными раскатами. Мимо новых боярских и монастырских вотчин, рыбных промыслов. Под городком Панышиным видели на левом берегу тучи конных калмыков с длинными копьями, а на правом—казаков в четырехугольнике обоза, с двумя пушками. Калмыков и казаков было тысяч тридцать,—с'ехали биться, не поделив табуны коней и остроты ятови.

Здесь также стали на якорь. Воевода Шеин поехал к калмыкам, Борис Алексеевич Голицын—к казакам. Помирили. По сему случаю на берегу, на зеленых холмах, пиروвали под медленно плывущими облаками, под летящими караванами журавлей. Корнелиус Крейс с похмелья велел наловить черепах, и сам сварил похлебку из них. Петр тоже велел наловить черепах, и у себя на корабле угостил бояр чудным блюдом, а когда поели,—показал для свидетельства черепахи головы. Воеводе Шеину и окольному Салтыкову сделалось тошно. Все много смелось.

Двадцать четвертого мая, в жаркий полдень, из морского марева на юге показалась бастионы Азова. Здесь Дон разлился широко, но все же глубина была недостаточной для прохода через гирло сорокапушечных кораблей.

Покуда вице-адмирал промеривал рукав Дона Кутюрму, а Петр ходил на яхте в Азов и Таганрог—осматривать крепости и форты,—прибыло из Бахчисарая ханское посольство на красивых конях, с вьючным обозом. Разбили ювровые шатры, на холме воткнули бунчук—конский хвост с шелковыми кистями и полумесяцем на высоком кошке, послали переводчика узнать—примет ли царь поклон от хана и подарки? Послам ответили, что царь-де в Москве, а здесь его наместник адмирал Головин с бояры. Три дня вела бунчук на холме. Татары поскакивали на горячих конях по берегу перед жерлами пушек. На четвертый посольство пришло на адмираль-

ский корабль. Разостлали белый анатолийский ковер, положили дары,—кованый арчак для седла, сабельку, пистолы, нож, сбрую,—все—так себе, в серебре, с дешевыми камнями. Головин важно сидел на раскладном стуле, татары—на ковре, поджав ноги. Говорили о перемирии, подписанном Возницыным, о том и о сем, пощипывая реденькие раздвоенные бороды, шарили повсюду глазами, быстрыми, как у морской собаки, цокали языками: «Карош москов, карош флот... Только напрасно надеетесь, большими кораблями Кутюрмой вам не пройти, не так давно султанский флот так-то пытался войти в Дон, ни с чем вернулся в Керчь...»

По всему видно, что прибыли только для разведки. Наутро ни бунчука, ни шатров, ни всадников уже не было на холме.

Промеры показали, что Кутюрма мелка. Разлив Дона опадал с каждым днем. Надеяться можно было только на сильный зюнд-вест, если нагонит в гирло морскую воду. Из Таганрога вернулся Петр. Помрачнел, узнав о мелководьи. Ветер лениво дул с юга. Началась жара. С корабельных бортов капала смола. Дерево, плохо высушенное за зиму, рассыхалось. Из трюмов выкачивали воду. Неподвижно, с убранными парусами, корабли лежали в мареве зноя. Приказано было выбросить в воду балласт. Вытаскивали из трюмов бочки с порохом и соляной, перегружали на струги, везли в Таганрог. Корабли облегчались, вода в Кутюрме продолжала спадать.

Двадцать второго июня в обеденный час шаутбенахт Юлиус Рез, врьдя, багровый и тяжелый, из жаркой, как баня, кают-компании—помочиться с борта,—увидел вращающимся глазом на юго-западе быстро вырастающее серое облако. Справа нужду, Юлиус Рез еще раз взглянул на облако, вернулся в кают-компанию, взял шляпу и шпагу и сказал громко:

— Идет шторм.

Петр, адмиралы, капитаны выскочили из-за стола. Разорванные облака неслись в вышину, из-за беловатой водной

пелены поднимался мрак. Солнце калило железным светом. Мертво повисли флаги, выпелы, матросское белье на вантах. По всем судам боцман зазвистали аврал,—все наверх! Крепили паруса, заводили штормовые якоря.

Туча закрывала полнеба. Помрачилось воды. Мигнул широкий свет из-за края. Зазвистало в снастях, крепче, тревожнее. Защелкали выпелы. Ветер налетел всею силой в крутящихся, раскиданных обрывках тьмы. Заскрипели мачты, полетели сорванные с вантов подштанники. Ветер мял воду, рвал снасти. Судорожно цеплялись за них матросы на реях. Топали ногами капитаны, перекиривая нарастающую бурю. Пенные волны заплескались о борта. Треснуло небо раскатами, разрывающими душу ударами, захлопотало, не переставая. Упали столбы огня.

Петр, без шляпы, со взвитыми полами кафтана, вцепясь позади себя в поручни, стоял на вздымающейся, падающей корме. Как рыба, раскрыл рот, оглушенный, ослепленный. Молнии падали, жазалось, кругом корабля, в гребни волн. Юлиус Рез закричал ему в ухо:

— Это ничего. Сейчас будет самый шторм.

Шторм пролетел, натворив много бед. Молнией убило двух матросов на берегу. Порвало якорные канаты, сломило несколько мачт, повыкидало на берег, затопило много мелких судов. Но зато установился крепкий зюнд-вест: то, что и надо было. Вода в Кутюрме быстро поднималась. На рассвете начали выводить суда. Полсотни пребных стругов, подхватив на длинных бичевах, повели первыми «Крепость». От веки к веку, ни разу не царпнув килем, он вышел через Кутюрму в Азовское море, выстрелил из пушки и поднял личный флаг капитана Памбурга. В тот же день вывели наиболее глубоко сидящие корабли— «Апостол Петр», «Воронез», «Азов», «Гут Драгерс» и «Вейн Драгерс». Двадцать седьмого июня весь флот стал на якорь перед бастионами Таганрога.

Здесь, под защитой мола, начали заново конопатить, смолить и красить раскохшиеся суда, исправлять оснастку,

грузить баластом. Петр целыми днями висел в люльке на борту «Крепости», посвистывая, стучал молотком по конопати. Либо, выпятив поджарый зад в холщевых замазанных штанах, лез по выбленкам на мачту—крепить новую рею. Либо спускался в трюм, где работал Федосей Склаев (поругавшийся до матерного лая с Джоном Деем и Осипом Наем). Он подводил хитрое крепление кормовых шпангоутов.

— Петр Ликсеич, вы мне уж не мешайте, для бога, — неласково говорил Федосей,—плохо получится мое крепление.—отрубите голову, воля ваша, только не суйтесь под руку...

— Ладно, ладно, я помогу только...

— Идите помогайте вон Аладушкеину, а то мы с вами только поругаемся...

Работали весь июль месяц. Шаутбенахт Юлиус Рез делал непрерывные ученья судовым командам, взятым из солдат Преображенского и Семеновского полков. Среди них много было детей дворянских, средю не видавших моря. Юлиус Рез — по свирепости и отваге истинный моряк—линьками вгонял в матросов злость к навигации. Заставлял стоять на бом-брам-реях, на двенадцати сажнях над водой, прыгать с борта головой вниз в полной одежде: «Кто утонет, тот не моряк!» Расставив ноги на капитанском мостике, руки с тростью за спиной, челюсть, как у медвежьего кобеля, все видел, пират, одним глазом: кто замешкался, развязывая узел, кто крепит конец не так. «Эй, там на стеньга-стакселе, грязный корофф, как травилшь фалл?» Топал башмаком: «Все—на шканцы... Снашала!»

Из Москвы прибыл новоназначенный посол, Емельян Украинцев, опытный из дельцов Посольского приказа, с ним—дьяк Череев и переводчики Лаврецкий и Ботвинкин. Привезли для раздачи султану и пашам соболей, рыбьего зуба и полтора пуда чаю. Четырнадцатого августа «Крепость» поднял паруса и, сопровождаемый всем флотом, при крепком северо-восточном ветре вышел в открытое море, держа курс на запад-юго-запад. Семнадцатого с левого борта на ногойской стороне показались тонкие минареты Тамани, флот пересек пролив

и с пальбою, окутавшись пороховым дымом, прошел в виду Керчи, стал на якорь. Стены города были весьма древние, высокие квадратные башни кое-где обвалились. Ни фортов, ни бастионов. Близ берега стояли четыре корабля. Турки, видимо, переполошились, — не ждали, не гадали увидеть весь залив, полный парусов и пушечного дыма.

Керченский паша Муртаза, холеный и ленивый турок, с испугом глядел в проломное окно одной из башен. Он послал приставов на московский адмиральский корабль спросить, зачем пришел такой большой караван? Месяц тому назад ханские татары доносили, что царский флот худой и совсем без пушек, и через азовские мели ему не пройти сроду.

— Ай-ай-ай... Ай-ай-ай,—тихо причитал Муртаза, отгибая веточку кустарника в окошке, чтобы лучше видеть. Считал, считал корабли. Бросил.—Кто поверил ханским лазутчикам?—закричал он к чиновникам, стоявшим позади него на башенной площадке, загаженной птицами.—Кто поверил татарским собакам?

Муртаза затопал туфлями. Чиновники, сытые и обленившиеся в спокойном захолустье, прикладывали руки к сердцу, сокрушенно качали фесками и чалмами. Понимали, что Муртазе придется писать султану неприятное письмо, и, как еще обернется, султан, хоть и пресветлый наместник пророка, но вспыльчив, и бывали случаи, когда и не такой паша, крихтя, садился на кол.

Косой парус фелюки с приставами отделился от адмиральского корабля. Муртаза послал чиновника на берег торопить посланных и сам снова принялся считать корабли. Пристава—два грека—явились, подкатывая глаза, вжимая головы в плечи, щелкая языками, как соловьи. Муртаза свирепо вытянул к ним жирное лицо. Рассказали: «Московский адмирал велел тебе кланяться и сказать, что они провожают посланника к султану. Мы сказали адмиралу, что ты-де не можешь пропустить посланника морем,—пусть едет, как все, через Крым на Бабу. Адмирал сказал: «А не хотите пускать морем, так мы всем фло-

том до Константинополя проводим посланника».

Муртаза-паша на другой день послал важных беев к адмиралу. И беи сказали: «Мы вас, московитов, жалеем, вы нашего Черного моря не знаете,—во время нужды на нем сердца человеческие черны, оттого и зовется оно черным. Послушайте нас, поезжайте сушей на Бабу». Адмирал Головин только надулся: «Испугали». И стоявший тут же какой-то длинный, с блестящими глазами, человек в голландском платье засмеялся, и все русские засмеялись.

Что тут поделаешь? Как их не пустить, когда с утренним ветерком московские корабли ставят паруса и по всем морским правилам делают построения, ходят по заливу, стреляют в парусиновые щиты на поплавах. Откажи таким нахалам? Надеюсь на одного аллаха, Муртаза-паша затягивал переговоры.

Шлюпка подошла к турецкому адмиральскому кораблю. На борт поднялись Корнелий Крейс и двое гребцов в голландском матросском платье—Петр и Алексашка. На шканцах турецкий экипаж отдал салют московскому вице-адмиралу. Адмирал Гассан-паша важно вышел из кормовой каюты, — был в шелковом халате, в белой чалме с алмазным полумесяцем. С достоинством приложил пальцы ко лбу и груди. Корнелий Крейс снял шляпу, пятясь, повел перьями перед Гассаном-пашой.

Подали два стула. Адмиралы сели под парусиновым тентом. Низенький, жирный человек—видимо, охолощенный повар—принес на подносе блюда со сладкими заедками, кофейник и чашечки, чуть побольше наперстка. Адмиралы начали приличный разговор. Гассан-паша спросил про здоровье царя. Корнелий Крейс ответил, что царь здоров, и сам спросил про здоровье султанского величества. Гассан-паша низко склонился над столом: «Аллах хранит дни султанского величества...» Глядя печальными глазами мимо Корнелия Крейса, сказал:

— В Керчи мы не держим большого флота. Здесь нам бояться некого. Зато

в Мраморном море у нас могучие корабли. Пушки на них столь велики,—могут даже бросать каменные ядра в три пуда весом.

Корнелий Крейс,—прихлебывая кофе:

— Наши корабли каменных ядер не употребляют. Мы стреляем чугунными ядрами по восемнадцати и по тридцати фунтов весом. Оные пронизывают неприятельский корабль сквозь оба борта.

Гассан-паша чуть поднял красивые брови:

— Мы немало удивились, увидев, что в царском флоте прилежно служат англичане и голландцы—лучшие друзья Турции...

— О, Гассан-паша, люди служат тому, кто больше дает денег. (Гассан-паша важно наклонил голову.) Голландия и Англия ведут прибыльную торговлю в Московией. С царем выгоднее жить в мире, чем в войне. Московия столь богата, как никакая другая страна на свете.

Гассан-паша—задумчиво:

— Откуда у царя столько кораблей, господин вице-адмирал?

— Московиты выстроили их сами в два года...

— Ай-ай-ай,—качал чалмой Гассан-паша.

Покуда адмиралы беседовали, Петр и Алексашка угощали турецких матросов табаком, всячески смешили их. Гассан-паша нет-нет и взглядывал на этих высоченных парней,—чересчур были любопытны. Вон один полез на мачту, в бочку. Другой навострил глаз на английскую скоро стреляющую пушку. Но из вежливости Гассан-паша промолчал даже, когда матросы увели московитов на нижнюю палубу.

Корнелий Крейс просил позволения съехать на берег—купить фруктов, сладостей и кофе. Гассан-паша, подумав, сказал, что, пожалуй, он сам бы мог продать кофе господину вице-адмиралу.

— Много ли тебе нужно кофе?

— Червонцев на семьдесят.

— Абдула-Алла, — крикнул Гассан-паша, топнул пяткой. Вперевалку подбежал охолощенный повар. Выслушав, вернулся с весами. За ним матросы тащили мешки с кофе. Гассан-паша удоб-

нее подвинулся со стулом, проверил весы, вытащил из-за пазухи янтарные четки—отсчитывать меры. Приказал развязать мешок. Пересыпая в холеных пальцах зерна, полузакрыв глаза:

— Это кофе лучшего урожая на Яве. Ты мне скажешь спасибо, господин вице-адмирал. Я вижу, ты—хороший человек. (Нагнувшись к его уху.) Не хочу тебе зла,—отговори московитов плыть морем: у берегов много подводных камней и опасных мелей. Мы сами боимся этих мест.

— Зачем плыть вдоль берегов,—ответил Корнелий Крейс,—нашему кораблю курс прямой через море, был бы ветер попутный.

Он отсчитал семьдесят червонцев. Простились. Подойдя к трапу, Корнелий Крейс крикнул сурово: «Эй, Петр Алексеев!..» — «Здесь!» — торопливо отозвался голос. Петр, за ним Алексашка выскочили из люка, на обоих—красные фески. Вице-адмирал помахал адмиралу шляпой, сел на руль, шляпка помчалась к берегу. Петр и Алексашка, налегая на гнувшиеся весла, весело скалили зубы. С прибойной волной шляпка врезалась в береговую гальку. От крепостных ворот мимо гнилых лодок и прозеленевших свай торопливо шли пристава и давешние беи просить никак не заходить в город, а, если нужда какая, купчишки принесут сюда, в шляпку, всякие товары... У Петра забегали зрачки, гневом вспыхнули щеки. Алексашка, — держа поднятое торчком весло:

— Мин херц, да скажи ты... Подойдем флотом на пушечный выстрел... В самом деле...

— Не пускать—это их право: это—крепость,—сказал Корнелий Крейс. — Мы погуляем по берегу около стен, мы увидим все, что нужно.

14

Муртаза-паша больше ничего не мог придумать—плывите, аллах с вами. Петр вместе с флотом вернулся в Таганрог. Двадцать восьмого августа «Крепость», взяв на борт посла, дьяка и переводчиков, сопровождаемый четырьмя турецкими военными кораблями, обо-

гнул керченский мыс и при слабом ветре поплыл вдоль южных берегов Крыма. Корабли следовали за ним в пене, за кормой. На переднем находился пристав. Гассан-паша остался в Керчи,—в последний час просил, чтоб дали ему хотя бы письменное свидетельство, что царский посланник едет сам собой, а он, Гассан, ему не советует. Но и в этом было отказано.

В виду Балаклавы пристав сел в лодку, поразившись с «Крепостью» и стал просить зайти в Балаклаву—взять свежей воды. Отчаянно махал рукавом халата на рыжие холмы: «Хороший город, зайдём пожалуйста». Капитан Памбург, облокотясь о перила, пробормотал сверху:

— Будто мы не понимаем, приставу нужно зайти в Балаклаву—взять у жителей хороший бакшиш за посланничий корм. Ха! У нас водой полны бочки.

Приставу отказали. Ветер свежел. Памбург поглядел на небо и велел прибавить парусов. Тяжелые турецкие корабли начали заметно отставать. На переднем взвились сигналы: «Убавьте парусов». Памбург уставился в подозрную трубу. Выругался по-португальски. Сбежал вниз, в кают-компанию, богато отделанную ореховым деревом и резьбой. Там, под девкой-наядой, страдая от качки, сидел великий посол Емельян Украинцев,—глаза закрыты, парик зажат в кулаке. Памбург—бешено:

— Эти черти приказывают мне убавить парусов. Я не слушаю. Я иду в открытое море.

— Иди, куда хочешь,—Украинцев слабо махнул на него париком.

Памбург поднялся на корму, на капитанский мостик. Закрутил усы, чтобы не мешали орать:

— Все наверх! Слушать команду! Ставь фор-бом-брамсели... Грот, крюс-бом-брамсели... Фор-стенга-стаксель, фока-стаксель... Поворот на левый борт... Так держать...

«Крепость», скрипя и кренясь, сделал поворот, взял ветер полными парусами и, уходя, как от стоячих, от турок, пустился пучиною Евксинской прямо на Константинополь.

Под сильным креном корабль летел по темносинему морю, измятому норд-остом. Волны, казалось, поднимали пенные гривы, чтобы взглянуть, долго ли еще пустынно катиться им до выжженных солнцем берегов. Шестнадцать человек команды,—голландцы, шведы, датчане, все—морские бродяги, поглядывая на волны, журили трубочки: итти было легко, шутя. Зато половина воинской команды,—солдаты и пушкари,—валялись в трюме между бочками с водой и солониной. Памбург приказывал всем больным отпустить водки три раза в день: «К морю нужно привыкать!»

Шли день и ночь, на второй день пришлось взять рифы,—корабль, сильно зарывался, черпал воду, пенная пелена пролетала по всей палубе. Памбург только отфыркивал капли с усов. Сильно страдало качкой великое посольство. Украинцев и дьяк Чередеев, лежа в кормовом чулане,—маленькой свежевывкрашенной каюте,—поднимали головы от подушек, взглядывали в квадратное окошечко... Вот оно медленно падает вниз, в пучину, зеленые воды шипят, поднимаются к четырем стеклышкам, с тяжелым плеском заслоняют свет в чулане. Скрипят перегородки, заваливается низенький потолок. Посол и дьяк со стоном закрывали глаза.

Ясным утром второго сентября юнга—калмычонок, взятый в Таганроге,—закричал с марса, из бочки: «Земля!» Близились голубоватые, холмистые очертания берегов Босфора. Вдали—косые паруса. Прилетели чайки, с криками кружились над высокой резной кормой. Памбург велел свистать наверх всю команду: «Мыться. Чистить кафтаны. Надеть парики».

В полдень «Крепость» под всеми парусами ворвался мимо древних сторожевых башен в Босфор. На крепостном валу, на мачте, взвились сигналы: «Чей корабль?» Памбург велел ответить: «Надо знать московский флаг». С берега: «Возьмите лоцмана». Памбург поднял сигналы: «Идем без лоцмана».

Возницын надел малиновый кафтан с золотым галуном, шляпу с галуном и перьями, дьяк Чередеев (костлявый, тонконосый, похожий на великомучени-

ка суздальского письма) надел зеленый кафтан с серебром и шляпу с перьями же. Пушкари стояли у пушек, солдаты при мушкетах на шканцах.

Корабль скользил по зеркальному проливу. Налево, среди сухих рыжих холмов,—еще не убранные поля кукурузы, водокачки, овцы на косогорах, рыбацьи хижины из камней, крытые кукурузной соломой. На правом берегу—пышные сады, белые ограды, черепичные крыши, лестницы к воде... Черно-зеленые деревья—кипарисы, высокие, как веретена. Развалины замка, заросшие кустарником. Из-за дерев—круглый купол и минарет... Подходя ближе к берегу, видели чудные плоды на ветвях. Тянуло запахом маслин и роз. Русские люди дивились роскоши турецкой земли:

«Все говорят—гололобые да бусурмане, а, смотри, как живут!»

Разлился далекий, будто за тридевять земель, золотой закат. Быстро багровея, угасал, окрасил кровью воды Босфора. Бросили якорь в трех милях от Константинополя. В ночной синеве высыпали большие звезды, каких не видано в Москве, туманом отражался в проливе млечный путь.

На корабле никто не хотел спать. Глядели на захищие берега, прислушивались к скрипу колодца, к сухому треску дикая. Собаки, и те брехали здесь особенно. В глубине воды уносились течением светящиеся странные рыбы. Солдаты, тихо сидя на пушках, говорили: «Богатый край, и живут тут, должно быть, легко...»

Поглядывая задумчиво на огонек свечи, светом своим заслонявшей несколько крупных звезд в черном окошечке кормового чулана, Емельян Украинцев осторожно омакивал гусиное перо, смотрел, нет ли волоска на конце (в этом случае вытирал его о парик), и цифирью, не спеша, писал письмо Петру Алексеичу:

«... Здесь мы простояли около суток.. Третье число подошли отставшие турецкие корабли. Пристав со слезами пенья нам, зачем убежали вперед, за это-

де султан велит отрубить ему голову, и просил подождать его здесь: он сам известит султана о нашем прибытии. Мы наказали, чтобы прием наш у султана был со всякою честью. К вечеру пристав вернулся из Цареграда и объявил, что султан нас примет с честью и пришлет за нами сюда сандалы—ихние лодки. Мы ответили, что нет, поплывем на своем корабле. И так мы спорили и согласились плыть в сандалах, но с тем, что впереди будет плыть «Крепость».

На другой день прислали три султанских сандала, покрытые коврами. Мы сели в лодки, и впереди нас поплыл «Крепость». Скоро увидели Цареград, достойный удивления город. Стены и башни хотя и древнего, но могучего строения. Весь город под черепицу, зело предивные и превеликолепные стоят мечети белого камня, а София—песочного камня. И Стамбул, и слобода Перу с воды видны как на ладони. С берега в наше сретенье была пальба, и капитан Памбург отвечал пальбой изво всех пушек. Остановились напротив султанского серала, откуда со стены глядел на нас султан, хоть и далеко, но мы заметили—над ним держали опахало и опахалами его омахивали.

Нас на берегу встретили сто конных чаушей и двести янычар с бамбуковыми батажками. Под меня и дьяка привели лошадей в богатой сбруе. И как мы вышли из лодки—начальник чаушей спросил нас о здравьи. Мы сели на коней и поехали на подворье многими весьма кривыми и узкими улицами, с боков бежал народ.

О твоём корабле здесь немалое удивление: кто его делал, и как он мелкими водами вышел из Дона. Спрашивали, много ли у тебя кораблей и сколь велики? Я отвечал, что много, и дны у них не плоски, как здесь врут, и по морю ходят хорошо. Тысячи турок, греков, армян и евреев приезжают смотреть «Крепость», да и сам султан приезжал, три раза обошел на лодке кругом корабля. А наипаче всего хвалят парусы и канаты за прочность, и дерево на мачтах. А иные и ругают, что сделан-де некрепко. Мне, прости, так мнится: плыли мы морем в ветер не самый сильный,

и «Крепость» гораздо скрипел и набок накланивался, и воду черпал. Строили его Осип Наф и Джон Дей, чаю, не без корысти. Корабль—дело не малое, стоит города доброго. Здесь его смотрят, но не торгуют, и купца на него нет... Прости,—пишу, как умею.

А турки делают свои корабли весьма прилежно и крепко и сшивают зело плотно,—ростом они пониже наших, но воду не черпают. Один грек мне говорил: турки боятся,—если твое царское величество Черное море запрешь, в Цареграде будет голодно, потому что хлеб, масло, лес, дрова привозят сюда из-под дунайских городов. Здесь слух, что ты со всем флотом уж ходил под Трапезунд и Синоп. Меня спрашивали о сем, я отвечал: не знаю, при мне не ходил...»

Памбург с офицерами поехал в Перу к некоторым европейским послам спросить о здоровьи. Голландский и французский послы приняли русских ласково, благодарили и виноградным вином пили за здоровье царя. К третьему поехали на подворье к английскому послу. Слезли с лошадей у красного крыльца, постучали. Вышел огненнородый лакей в сажень ростом. Придерживая дверь, спросил, что нужно? Памбург, загоревшись глазами, сказал, что они и зачем. Лакей захлопнул дверь и не слышком скоро вернулся, хотя москвиты ждали на улице. Проговорил насмешливо:

— Посол сел за стол обедать и велел сказать, что с капитаном Памбургом видеться ему незачем.

— Так ты скажи послу, чтоб он костью подавился!—крикнул Памбург. Бешено вскочил на коня и погнался по плоским кирпичным лестницам, мимо уличных торговцев, голых ребятишек и собак, вниз на Галату, где еще давеча видел в шашлычных и кофейных, и у дверей публичных домов несколько своих давних приятелей.

Здесь Памбург с офицерами напились греческим вином душком до изумления, шумели и вызывали драться английских моряков. Сюда пришли его приятели—штурмача дальнего плаванья, знаменитые корсары, скрывавшиеся в трущобах

Галаты, всякие непонятные люди. Их всех Памбург позвал пировать на «Крепость».

На другой день к кораблю стали подплывать на каюках моряки разных наций—шведы, голландцы, французы, португальцы, мавры, иные в париках, в шелковых чулках, при шпагах, иные с головой, туго обвязанной красным платком, на босу ногу—туфли, за широким поясом—пистолеты, иные в кожаных куртках и зюд-вестках, пропахших соленой рыбой.

Сели пировать на открытой палубе под нежарким сентябрьским солнцем. На виду—за стенами—мрачный, с частыми решетками на окнах дворец султана, купола мечетей, минареты—весь город, на другой стороне пролива—пышные роции и сады Скутари. Преображенцы и семеновцы играли на рожках, на ложках, пели плясовые, свистали разными птичьими голосами «весну».

Памбург в обсыпанном серебряною пудрой парике, в малиновой куртке с лентами и кружевами,—в одной руке—чаша, в другой—платочек,—разгорячась до ярости, говорил гостям:

— Понадобится нам тысяча кораблей, и тысячу построим... У нас уж заложены восьмидесятипушечные, стопушечные корабли. На будущий год ждите нас в Средиземном море, ждите нас на Балтийском море. Всех знаменитых моряков возьмем на службу. Выйдем и в океан...

— Салют!—кричали побагровевшие моряки.—Салют капитану Памбургу!

Затягивали морские песни. Стучали ногами. Трубочный дым сложился в безветрии над палубой. Не заметили, как и зашло солнце, как аттические звезды стали светить на это необыкновенное пиршество. В полночь, когда половина морских волков храпела, кто свалясь под стол, кто склонив поседевшую в бурях голову между блюдами, Памбург вдруг кинулся на мостик:

— Слушай команду! Бомбардиры, пушкари по местам! Вложи заряд! Забей заряд! Зажигай фитили! Команда... С обоих бортов—залп... О-о-огонь!

Сорок шесть тяжелых пушек враз выпыхнули пламя. Над спящим Кон-

стантинополем будто обрушилось небо от грохота... «Крепость», окутанный дымом, дал второй залп..

Емельян Украинцев писал цыфирью: «... припал на самого султана и на весь народ великий страх: капитан Памбург пил целый день на корабле с французами, голландцами и другими моряками и подпил гораздо, и стрелял с корабля в полночь изо всех пушек не однажды. И от той стрельбы учинилась по всему Цареграду ропот и великая молва, будто он, капитан, тою ночной стрельбой давал знать твоему, государь, морскому каравану, который ходит по Черному морю, чтобы он входил в гирло... Султаново величество в ту ночь испужался и выбежал из спальни в чем был, и многие министры и паши испужались, и от той капитанской необычай-

ной пушечной стрельбы две брюхатые женщины из верхнего серая младенцев загодя выкинули. И за все то султанское величество на Памбурга зело разгневался и велел нам сказать, чтобы мы сего капитана с корабля сняли и голову ему отрубили. Я султану отвечал, что мне неизвестно, для чего капитан стрелял, и я его о том спрошу, и если султанову величеству стрельба учинилась досадна, я капитану впредь стрелять не велю и жестоко о том прикажу, но с корабля снимать мне его незначем. Тем дело и кончилось.

Султан примет нас во вторник. Турки ждут сюда с Белого моря капитана Медзоморта-пашу, бывшего прежде морским разбойником алжирским, ждут для совета—мир с тобой учинить или войну весть. До приезда Медзоморта-паши никаких разговоров весть не хотят...»

К о н е ц п е р в о й г л а в ы

(Продолжение в 5-й книге)

Германия

М. ЧУМАНДРОВ

(Продолжение ¹)

Расправа

Однажды ранним утром я проходил на рыбный аукцион мимо входа в туннель, проходящий под Эльбой и соединяющий город с островами, где расположены крупнейшие верфи Гамбурга. Было еще темно, народ на мгновение задерживался у входа, потом проходил внутрь — жалкие остатки индустриальной армии, разгромленной кризисом.

В сторонке прогуливался невысокий парнишка, с поднятым воротником пальто, со свертком подмышкой. Он выхватывал оттуда пачками какие-то листки, размахивал ими и пронзительно кричал:

— Товарищи! Внимание!

Мне он показался чем-то похожим на тех зазывал, что надоедают нам у подъезда каждого магазина, каждого кино, ресторана, даже вокзала, — поверхностные агитпропы своих хозяев.

Люди торопились пройти в туннель.

Но вот один из рабочих задержался около парнишки. Он взял листовку, взглянул на нее: внизу, слева, словно печать проклятия, чернел хвостатый крест, свастика.

— Товарищи! — рабочий встал у ворот и широко расставил руки. — У нас в Сан-Паули — фашисты! Они распропагандуют вот это!

Он потрясал листовкой.

— Чего им надо? — негромко спро-

сил одноглазый старик, на мгновение вынимая изо рта трубку. — Я думаю, что они давно не пробовали вот этого.

Он вытянул руку и покачал большим волосатым кулаком.

— Стой! — крикнул он, хватая зазывалу за плечо.

Одно движение — и листовки полетели в воздух. Через мгновение земля была устлана ими, грязная, размешанная сотнями ног земля. Подходившие рабочие, одобрительно посмеиваясь, поглядывали на эту сценку и проталкивались к воротам, затаптывая свежие белоснежные листки.

Мне с трудом удалось спасти один из них, но ушел я лишь после того, как объяснил одноглазому старику, кто я такой и для чего я хочу взять фашистскую листовку.

— Хорошо... — хмуро улыбнулся он. — Куда ни шло, товарищ из Союза хочет поближе узнать об этой сволочи...

«Как долго еще» — назывался листок. Он обращался «к рабочим кулака и мозга» и говорил о предательстве красных вождей, о революционности партии Гитлера, что-то о нехороших капиталистах, — как будто кто видел хороших.

Обычная демагогия, — это уже не трогало рабочих, вот почему расправа была так убедительна, хотя и бескровна.

Дядюшка Пелле

Они разбросаны по всем берлинским окраинам, эти «Народные парки». В

¹ См. «Новый мир», кн. кн. 1 и 2 с. г.

Веддинге, неподалеку от здания банка, заарендовал себе просторную площадку, кое-как обнес ее дощатым забором, украсил пестрыми ярмарочными воротами и разбросал свои чудеса предприимчивый дядюшка Пелле.

Здесь вечная толчея, и она, на первый сторонний взгляд, придает всему «парку» настоящее оживление. В никелированных кастролях весело урчит кипяток, сосиски струят тоненький пар. Грубые сласти щекочут ноздри своим пряным запахом. Бешено крутится колесо, обещая обладателю счастливого номера приз в виде коробки леденцов или носового платка, перехваченного малиновой ленточкой. Через перила тира перекинута расхлябанное духовое ружье. Балаганщики, стоя на руках, играют в кларнеты и ногами бьют в барабаны, — это так зазывают публику. «Мировой фокусник доктор Фауст» мечется на подмостках, суля показать чудеса техники и ловкость рук и всего лишь за пятнадцать пфеннигов. По полу и потолку сарая лущен ток — люди садятся в трехколесную тележку, крохотное подобие автомобиля, и носятся по этому железному зашарпанному полу. Под звуки веселого менуэта мотается карусель, совершенно порожняя, ярко освещенная карусель.

Справа, у самого входа, пристроился так называемый «ипподром». Это грубый барак, предназначенный для танцев. У кассы толпятся девушки: здесь и взрослые, знающие себе цену, и молоденькие, только-что взглянувшие вполглаза на жизнь, здесь и полудети — многие из них пришли сюда в башмаках матерей, в платьях сестер.

Немного в стороне — парни.

Здесь например долговязый сын мясника, щеголяющий меховыми перчатками и золотой булавкой в галстук. Он поминутно смахивает воображаемые пылинки с гетр и пощелкивает языком: в зубах у него, видимо, что-то застряло.

Здесь и газетчик. У него на фуражке написано «Темпо», имя заслуженнейшей газеты берлинских бульваров. Смирный, затюканный парень. Ему повезло сегодня: нет и девяти вечера, а га-

зета уже разошлась. Это странно для нынешних времен.

Здесь и щеголеватый, гладко выбритый, красивый малый с презрительной усмешкой, с янтарным мундштуком в уголке губ. Он совсем щенок, но на золотом браслете — тонкие, голубой эмали часы, и, когда он закладывает левую руку за борт сюртука, видна металлическая цепочка, брелком на которой висит изящный кастет. Кто он такой? Нет, еще не вывелись благовоспитанные мальчики, еще сохранились семьи, которые выращивают таких мальчиков.

Вот он отделяется от группы парней и, расталкивая девушек, направляется к одной из них. Она высока и красива, всему, что надето на ней, бедному и поношенному, она сумела придать тот самый отпечаток, что всегда выделяет хороший вкус из потока грубого и вульгарного. Девушка в меру напудрена, искусно накрашена, и ее улыбка — точно солнце в последний день августа. Она старается спрятать свои руки. Они велики и обветрены, но крема не напачкаешься, да и разве для безработных этот крем?

Красавчик берет ее за локоть и, краснеющую, смущенную, ведет к кассе. Там он кидает десятимарковый билет и, не считая, кладет сдачу в карман. Все расступаются перед ними, контролер еще загодя распахивает перед ними дверь, и кассир долго глядит им вслед, высунув из окошка лысую свою голову.

— Да... — наконец говорит он, скрываясь в кассе.

— Он, разумеется, купит ей пива и сосисок... — возбужденно беседуют сзади.

Потом идет сын мясника и долго, точно на убой, выбирает себе девушку. Он останавливается на молоденькой, почти подростке, которая едва достает ему по плечо. Он молча идет впереди, убежденный, что подруга его не останется.

— «Тот» конечно купит сосисок и пива... — продолжается обсуждение.

Мясничий сын надувается, обмахивает на ходу гетры и скрывается в «ипподроме».

Здесь, посредине, — громадный де-

ревянный круг, обнесенный перилами, нечто в роде нашего «чортова колеса». На нем переминаются желающие танцевать, семь-восемь пар. Около железной печки сидят двое стариков и старуха. Они ведут тихую беседу и потягивают жидкое, лакричное пиво. Под самой крышей (сквозь щели ее видно синее небо) пристроилось четверо музыкантов: гармоника, фагот, виолончель, флейта.

Красавчик и в самом деле угощает свою избранницу пивом, — это хорошее пиво «Privat Botzow», тридцать пфеннигов бокал. Он угощает сосисками, это — хорошие сосиски, толстые, точно пальцы господа бога, тридцать пфеннигов пара. Девушка ест и пьет, как бы говоря про себя: «Хоть пять минут, да мои...» Вот только она что-то все покашивается в правый угол, где сидит сухощавый парень. Его глаза совершенно голубые, — только на картинах бывают такие глаза, — он в толстом матросском свитере и в вытертых вельветовых брюках. Голубоглазый тихонько размещивает уголь в железной печке, тихонько позвякивает щипцами о дверцу и одиноко насвистывает какой-то отрывистый мотив.

Красивый молокосос все подзывает и подзывает сюда кельнершу, тонкую, проворную женщину с соломенными волосами. Она приносит еще пива, еще сосиски, пирожные, жареные орехи, вафли, наполненные белоснежным кремом. Девушка все радостней и радостней смотрит в правый угол, она ест, и она пьет. Вот что значит иметь счастливую внешность! Голубоглазый все размещивает и размещивает огнедышащий уголь.

Вдруг раздается пронзительный визг фюгата, и оркестр раздражается веселейшим грубым мотивом. Круг медленно со скрипом трогается с места, и вот, с трудом сохраняя равновесие, парочки начинают танцевать. Щуплый паренек, с шеей, обмотанной линиялым шарфом, в пиджаке с приподнятым воротником, — вернейшее средство скрыть отсутствие рубашки, — танцует с высохшей, в пух и прах разодетой старой девой. Это — содержательница аптекарского магазина, а парень — из тех,

кто уже годами ходит на биржу штем-пелевать свои карточки.

Или вот розовый, плешивый, жизне-радостный человек в тирольском костюмчике, с синим склерозным носом и уродливыми коленками, прыгает вокруг стройной, с развитой мускулатурой, с тонким (действительно римским!) профилем и легкой шапкой каштановых волос, — он эдаким лысеющим амуром прыгает вокруг великолепной девушки.

Э, да что говорить, разные здесь попадаются типы!

Однако что с нашей первой парочкой? Девушка встала при звуках музыки.

«Этого я не танцую, понимаете...» — должен был означать бессильный, сожалующий жест кавалера.

Тогда девушка оставила его и направилась к голубоглазому. Он вскочил с места и одним прыжком очутился на круге. Круг все увеличивал свою скорость. Голубоглазый подал руку девушке, она скользнула к нему, и вот уже они понеслись в центре круга, то легко кружась, то яростно притоптывая каблуками. Все засмотрелись на них. И когда, уже передохнув, оркестр начал другое, какой-то меланхолический вальс, молокосос прорвался сквозь кучку танцующих и, скользя по отполированной поверхности круга и чуть не падая, приблизился к девушке.

Он что-то кричал ей, чего нельзя было разобрать из-за музыки, он буквально тряс карманом и показывал на столик, где стояли недопитые кружки пива. Потом, видимо, ему надоели эти разговоры, он схватил девушку за руку и, не давая никому опомниться, повлек ее на место. Там они просидели еще около часа, уже больше им ничего не приносили из буфета, молокосос что-то нетерпеливо выговаривал своей даме, она молчаливо рисовала пальцем узоры на столе и даже не поглядывала в угол, где опять на своем месте у печки уселся ее дружок, продолжая размещивать уголь.

Все, что куплено, должно выполнить свое назначение.

Теперь следует пройти в один из ба-лаганов. Хотя бы вот в этот, который называется «С е з а м. о т в о р и с ь». Он

вмещает человек сорок, но сейчас в нем вряд ли наберется и десять.

«Женщина, лишенная нервов», — так называется первый номер. На подмостках — высокая, черная женщина, одетая с неприглядной откровенностью: газовое яркое, оранжевое платье, под которым нет даже бюстгалтера. Ей дают в руки обнаженные концы электрического провода, хозяин гасит свет и включает рубильник. И вот уже видно, как из волос женщины начинают выскакивать искорки, их все больше и больше, они уже почти сплошным зеленым светом озаряют помертвевшее лицо женщины.

— Дотроньтесь спичкой до любого места! — кричит хозяин. — Прикоснитесь спичкой к пальцу, ботинку, платью, лбу, волосам, ногтю, ноге!

Желающие находятся, — спички вспыхивают. Хозяин берет керосиновую лампу, притрагивается фитилем ко лбу своей жертвы — фитиль вспыхивает.

— Довольно! — кричат уже со скамей, уже ребенок, пришедший с кем-то из рабочих, громко рыдает при виде зеленого, светящегося лица женщины. Хозяин выключает рубильник, бросается на женщину, сокрушительным ударом сбивает ее с ног и начинает, скрежеща зубами, разжимать ее пальцы и вырывать провода. Ее всю корчит, публика цепенеет, ребенок замокает, пораженный страхом. Наконец провод выдернут, хозяин безжалостно поднимает женщину, ставит ее на ноги, и вот она улыбается жалкой, болезненной улыбкой, вытирает рукавом легкую пену в уголках губ и, пошатываясь, раскланивается с публикой.

После выступления девушки с лассо и в ковбойском костюме, после музыканта, исполнившего палочкой на бутылках «Дейчланд, Дейчланд юбер аллес», опять появляется «женщина, лишенная нервов». Она сходит со ступенек подмостков, идет мимо каждого из посетителей и протягивает ему ящик-корзиночку:

— Убедитесь, это — настоящий овес...

— Настоящее сено...

Вынимает из корзинки бутылку:

— Настоящий керосин...

Да, спору нет, все — самое настоящее: «женщина, лишенная нервов», поднимается на подмостки и в полном молчании до самого пояса расстегивает платье. Обнажается бедное, тощее тело, видны острые ключицы, изможденные синие груди, провалившийся живот.

— Вы должны видеть, как все это пойдет сюда... — показывает она куда-то слева, около сердца. Она еще больше оголяет левую грудь, забирает полную горсть сена и медленно, мучительно выкапывая глаза (из ее глаз начинают капаться слезы), медленно, методически прячет его в рот и потом, давась, кашляя, потирая рукою горло, это сено жует...

Всякого рода увеселения дядюшки Пелле пустуют. Уже давно охрипли зазывалы, и диковинная реклама больше не выполняет своей напрасной обязанности. Гуляющих еще довольно много, но это — из наблюдателей. Сосиски стыннут, сложенные красивыми горками, горчица в стаканах теряет остатки своей остроты, черствеют крохотные французские булочки. Карусель попрежнему идет порожняком под торжественную увертюру из «Мейстерзингеров», мишень тира так и осталась нетронутой.

Над «Народным парком дядюшки Пелле» спускается ночь, которая, как это принято думать, покроеет все безобразия и уродства минувшего дня.

Я обошел еще раз весь сад и увидел, как последние кучки гуляющих пошли прочь, погасли огни, скрывавшие убожество балаганов, и теперь они встали во всей своей отвратительной наготе. Палатки с сосисками и сладостями стали закрываться, и «ипподром» испустил последний свой вздох.

После этого направимся в дальний угол двора, где в высоких, темных фургонах расположились артисты заведения дядюшки Пелле. Без особого труда разыскан фургон с тою же эмблемой, что и на балагане «Сезам»: кувшин, откуда вылезал джин, намалеванный грубой кистью.

В фургоне кто-то монотонно ругался, тоненько плакала женщина, и ей подвывал пес.

Я постучался в дверцу, кое-как взобрался по стремянке на тормоз и вошел внутрь. Мой электрический фонарик пришелся кстати. Я поставил его на стол, и свет его энергично ударил в потолок фургона. Здесь находились две женщины, ребенок, мужчина, собака и крохотная свинья-ублюдок. Длинные, сморщенные уши ее показывали, что она стара, а отвислое брюхо с грязными сосцами волочилось по полу. «Женщина, лишенная нервов», ходила все в том же растерзанном виде, что и давеча, на подмостках. Девушка-ковбой — в халате, кое-как надетом прямо на голое тело, опоясанная красным шейным платком. Хозяин теперь мне уже не показался жирным, просто недоедание и бродячий режим нарушили обмен веществ. Вот почему он выглядел таким обрюзглым и тяжелым.

— Мы все — артисты, даже эта свинья. Не правда ли, я имею некоторые основания говорить, что это помесь пса со свиньей?

Он пытается усмехнуться. Ему нечего скрывать. Кризис заставил его не гнушаться ничем, чтобы только заработать на хлеб.

— Жена? — тихо спрашиваю я, указывая на «женщину, лишенную нервов».

— Мне самому трудно понять, кто и что это... — устало говорит он.

Потом мы говорим о разных пустяках, о странствиях этой труппы, о том, как тяжела теперь жизнь... У меня в кармане имеется фунт сосисок и бутылка «водки князя Авалова». Я ставлю это на стол. «Женщина, лишенная нервов», молча смотрит на меня, девушка-ковбой — потупясь.

— Мне жаль... — что же мне остается сказать еще? — Мне жаль. Этого конечно мало...

Я не успеваю закончить фразу, как принесенное мною исчезает. Сосиски и водка идут куда как легче и сена, и керосина.

— Я собрал сегодня трижды по две марки, но вы сочтите... — тон хозяина становится почти дружелюбным. — Я

кормлю лошадь, собаку, эту свинью, и нас троих. Раз. Затем я плачу Пелле за право ставить здесь фургон и играть в его балагане. Пять марок за вечер. — Хозяин нагибается ко мне. — Вот уже третью неделю, как мы не ели горячего. У меня вся надежда на рождество.

«Женщина, лишенная нервов», заплакала. Так вот чей это мне слышался тоненький, жалостный плач! Собака беспокойно заколотила хвостом по полу.

— Ну-ну! — прикрикнул хозяин, стукнув опустошенной бутылкой по скамье. — Я еще рассчитываю пожить перед смертью в настоящей комнате!

Я поговорил с ним еще, и странная, скорее мрачная, история встала из его слов:

Когда-то, еще мальчишкой, с бродячим цирком, труппа которого была с бору да с сосенки собрана где-то в Румынии, очутился мой собеседник в Одессе. (Одесс, по его выражению.) Там цирк гастролировал тринадцать дней, и все это время артисты жили в гостинице.

С тех пор ни разу не повторилось этой чудесной поры: ни в Австрии, ни в Италии, ни в Венгрии, ни в Чехо-Словакии, ни в Германии, — нигде больше не повторилось этой поры.

— Возможно, я попаду в Россию еще раз... — совсем безнадежно говорит он. — И я опять окажусь в комнате... Это очень хорошо: иметь комнату и ложиться спать под настоящей крышей.

Так говорит он, уже не вслушиваясь ни в свои слова, ни в то, как плачет «женщина, лишенная нервов».

Как это иной раз происходит

Восьмого декабря 1931 года Брюнинг издал так называемый «Третий чрезвычайный закон», снижающий заработную плату, сокращающий пособия безработным, объявляющий «гражданский мир» до третьего января.

Демонстрации, открытые собрания, массовые митинги, т.-е. основные средства революционной мобилизации трудящихся масс, запрещались под угрозой закрытия пролетарских организаций, громадных штрафов, ареста участников и т. д.

Но эта германская компартия! Она не хочет считаться ни с божескими законами, ни с человеческими. Восьмого шестивия запрещаются, одиннадцатого коммунисты уже призывают рабочих демонстрировать против благовестника — Брюнинга.

В Веддинге демонстрация должна была начаться в шесть часов вечера, в самом оживленном пункте района: на углу Мюллер- и Зеештрассе. Здесь кончается северная линия подземки, и всегда здесь трудно пройти от обилия людей, выходящих из туннеля и спускающихся гуда. Здесь расположена масса мелких магазинчиков, обслуживающих рабочих. Улицы достаточно широки для демонстрации, а дворы вполне удобны, чтобы скрываться в них.

Полшестого, шесть — ничего особенного. У окон магазинов — толпы зевак, парни разгуливают с девушками, сегодня всего лишь четверг, но ведь безработных в Берлине достаточно, и ежедневно отдыхает немногим меньше, чем в праздник. Так что, повторяю, на первый взгляд ничего особенного здесь не происходит. Но стоит поприглядеться к улице.

С преувеличенным спокойствием стоят владельцы молочных и овощных лавочек, сложив на груди руки, опираясь о косяки дверей, медленно поглядывая по сторонам. Трамвайная публика жадно выглядывает из окон, как бы ища что-то на панелях. На площадках автобусов народу более обыкновенного, хотя внутри много свободных мест. Люди, выходящие из люка подземки, не сразу идут куда им надо, а беспокойно оглядываются, чего-то ждут. Время от времени пройдет полицейский и тихонько попросит публику не задерживаться здесь и не затруднять движения. Газетчиков более, чем обычно. Однако сегодня не видно ничего другого, кроме «Rote Post»¹⁾, «Junge Garde»²⁾, коммунистических «Nachrichten»³⁾ и «Rote Fahne»⁴⁾.

Но вот признак посерьезнее: через каждые десять-пятнадцать шагов по двое, по-трое стоят полицейские. Они стоят спиной к пафели, как будто даже не обращая внимания на окружающее, но по тому, как прямо стоят они, как много из них одето в темнозеленые шинели¹⁾, что большинство из полицейских молодцы, рослы, сильны (они вероятно умеют бегать, догонять тех, кого нужно догнать, несколькими молниеносными ударами дубинок свалить его с ног и аккуратно, за руки и за ноги, оттащить в под'езд или подворотню), — заметно, что здесь далеко не так спокойно, как это получается на первый взгляд.

Если постоять на одном месте хотя бы пять минут, то мимо тебя проследуют — по-три, по-шесть — конные полицейские на своих гнедых лошадях. Эти кони знают свою марку: они идут прямо, не покачиваясь в стороны, не встряхивая мордами, не звякнув ничем, четко отсчитывая удары подков о блестящую, накапанную мостовую.

У самой панели, чуть не задевая столбов, тумбочек и ларьков, во множестве расставленных здесь, идет, покачиваясь и встряхивая «зеленых», автомобиль. У ног жандармов расположился пулемет. «Зеленые» сидят, точно фараоны, как их показало нам египетское искусство: руки, аккуратно сложенные на коленях, профиль в профиль, только вот полностью впечатлению мешают карабины, взывающие к мокрому небу.

Между тем зажигаются фонари, и яркий свет главной улицы сразу выпячивает то, что чуждо рабочему району. Полицейских гораздо больше, чем это могло показаться сначала. Сразу же за люком подземки урчат четыре автомобиля с «зелеными». На перекрестке, около уличного полицейского в его широком дождевике, стоят двое рослых молодыхцов, пристально глядя каждый в свою сторону. Уличный — тучный, коротконогий старик — еле успевает поворачиваться, дирижируя движением. А эти, в зеленом, стоят, как врытые, и каждый, повторяю, смотрит в свою сторону.

¹⁾ Это политическая полиция, — жандармы.

¹⁾ «Красная почта».

²⁾ «Молодая гвардия».

³⁾ «Известия».

⁴⁾ «Красное знамя».

Панели залиты гуляющей публикой. Ее уже так много, что столько никогда не увидишь даже в праздник. Разумеется, это уже подозрительно само по себе, но, с другой стороны, разве в стране чрезвычайных декретов запрещено гулять по вечерам, особенно, если у тебя есть два-три приятеля, им захотелось пройтись по улице, да и подружке твоей нынче не сидится дома, да и родители твои еще не так стары, чтобы лишиться этого удовольствия — подышать вечерним воздухом: день ведь заполнен разными хлопотами, то да се, а?

Но «зеленые» поминутно подходят то к одной, то к другой группе, расталкивают гуляющих и говорят:

— Не останавливаться! Проходите! Почему вы идете такой группой? Не затрудняйте движения!

Молодежь начинает было спорить, но тот, кто постарше, покачивает головой и понимающе подмигивает. Так что и молодежь удивительно как спокойна сегодня.

Время идет и идет, полицейским, видно, прискучило стоять вот так, неподвижно на своих местах, вот уже они собираются кучками, тихонько разговаривают, кое-где наверное уже пошли в ход казарменные анекдоты, по крайней мере об этом можно судить по взрывам громогласного хохота, который то там, то здесь вознесется, да и вознесется к темному небу.

Таким образом цепочка полицейских пикетов редет. Пространство между ними всё больше и больше. Часть конного резерва спешилась и теперь прогуливается среди гуляющих. Все это в одном конце улицы, у пересечения ее с Зеештрассе, то-есть на самом оживленном ее участке, а другой конец в значительной мере очищен от темнозеленых рыцарей. Только взад-вперед носится громадный шестиместный автомобиль, в котором, пристально глядя перед собою, сложив руки на трости, сейчас сидит только один полицейский офицер, изящный, седой, маленький. Вероятно это — главком, который как-раз и начнет завоевание беспокойного района, ежели того потребуют обстоятельства.

И вот восемь минут восьмого, когда

автомобиль «главкома» мчится по перекрестку, на другом конце квартала, у Брюсселерштрассе, оглушительный, трубный голос поднимается над улицей, над ее шумом и гамом, над ее вековой суетой:

— Долой голодные декреты и диктатуру хозяйского кулака!

— Доло-о-ой! Доло-о-о-ой! — отвечает улица. Она мгновенно преобразилась. Больше нет гуляющих парочек, благодушных стариков, веселых зевак. Публика кричит, делая руками рупоры. Владельцы магазинов, что побольше, загоняют приказчиков внутрь, закрывают двери и продолжают смотреть уже сквозь тяжелые, зеркальные окна. Зато в окнах многих мелочных лавчонок появляются наскоро сделанные лозунги:

«Мы разоряемся от кризиса!»

«Брюнинг, бедняков питает хлеб, а не декреты!»

Или:

«Рот фронт марширует к победе!»

Все четыре грузовика с «зелеными» стремительно прошуршали вдоль улицы. Конные, правильно построившись, бравые и лощеные, приподнимаясь и опускаясь на стременах, приподнимаясь и опускаясь, мчатся туда, где растет и ширится грохот голосов, где уже вырастает боевая песня. С перекрестка смыло всех пеших «зеленых»: они, прижав локти к бокам, ритмически покачивая плечами, размеренно и быстро бегут к Брюсселерштрассе.

Когда вся эта сила появляется там, тротуары уже неузнаваемы. Тишина, мир и благонаравие словно и не исчезали отсюда; парни гужуются с девчатами, женщины рассматривают шерстяные береты и черные бюстгальтеры в окнах магазинов, старики обращают преимущественное внимание на витрины табачных лавчонок, зонты, тросточки, складные стулья привлекают особенно людей среднего возраста.

Блюстители гражданского мира в смущении. Можно ли глазеть в окна магазинов? Не есть ли это военная уловка врага с целью обмануть бдительность правительства? И не следует ли прика-

зать разойтись, чтобы люди не засматривались на витрины? Но, с другой стороны, подобного параграфа не предвидел Брюнинг, и его нет в декрете. Какая непростительная ошибка!

И вот в этот момент уже на скрещении Зее- и Мюллерштрассе тоже находится иерихонская труба. Слов отсюда не слышно, но когда их подхватывают тысячи гуляющих там, фразы уже вполне отчетливы:

— Долой иезуита¹⁾! Долой правительство голода! Да здравствует Москва!

— Да здравствует!

Публика настораживается, отворачивается от витрин, опирается на витринные поручни и, посмеиваясь, следит за тем, как один за одним снимаются «зеленые» и спортивным бегом направляются в сторону возрастающего гула, как мимо проносятся грузовики и вечерний свет переливается на стволах карабинов, как мчится эскадрон «зеленых», как улица в этом месте постепенно очищается от полиции. И тогда приземистый, курчавый парень оставляет свою девушку, подмигивает ей и, размахивая сумкой, сплетенной из ремешков, кричит голосом, напоминающим не особенно отдаленный гром:

— Долой гражданский мир! Да здравствует классовая борьба!

— Да здравствует! — рокочет улица.

Кричит маленькая старушка, обутая в старые солдатские сапоги с короткими голенищами.

Кричит слепой в черных очках, с желтой повязкой на рукаве, еле сдерживая громадную овчарку, — последний подарок правительства слуге, отравленному газами где-нибудь под Верденом.

Кричит старик, потирая поясницу и ежась от холода в своем тысячу раз заляпанном свитере.

Кричит девушка, яростно потрясая дешевой сумочкой и топоча ногами, обутыми в лакированные, потрескавшиеся, со стогганными каблуками туфельки.

Кричит трамвайный кондуктор, держащий на обеих руках по ребенку. Ноги

детей закутаны в какие-то тряпки, видимо, ребята не имеют обуви.

Кричит юноша, красивый крепыш, в матросском картузе, с обнаженной грудью, разукрашенной красной татуировкой: Леда, лебедь и ротфронтровский кулак.

Вся улица сточом-стонет от горячих, возмущенных криков. И вдруг все меняется. Парни зубоскалят с девушками, все как было, сюда уже мчатся полицейские машины, а за ними кавалерия, а дальше — пехота. На войне, как на войне. Улица вновь оживает, и уже стонет от хохота. Ничего себе, «зеленым» придется попотеть.

Полиция застает здесь прежний, образцовый порядок, но зато зашевелился и ожил другой конец. И не успевают бегуны в зеленом отдышаться, как оттуда же опять слышна иерихонская труба, и снова там грохочет улица:

— Heil Moskau!

— Heil! — отвечает улица.
Берлин.

Вечер в пивной

Мимо полицейских, здоровенных, точно памятники, идешь узким двором, проходишь темную арку за аркой и наконец попадаешь в пивную. Около полицейских — помятые и равнодушные физиономии каких-то людей. Каждый из них одет пестро, точно это рынок. Не стоит обманываться равнодушной и легкомысленной внешностью этих котелков, внезапно оглянешься и перехватишь изучающий взгляд: шпик, да, это — шпик.

Потом, повторяю, попадаем в пивную. Через следующую распахнутую дверь виден просторный зал. Он полон, он гудит и волнуется, хотя до начала самое меньшее полчаса. Вход двадцать пять пфеннигов, иначе нельзя: надо оплатить расходы по найму помещения.

Это не зал для собрания в нашем смысле. Здесь нет строгих рядов стульев. Стоят маленькие столики, рабочие тихонько потягивают пиво, играют в шахматы, молодежь флиртует, пожилые рьяно постукивают костяшками пальцев по краю стола, встречая приятелей, — традиционная, молчаливая формула приветствия, нечто в роде «сухого» тоста.

¹⁾ Брюнинг — католик.

Теперь дальше так: на стенах — религиозно-нравственная живопись. Например блудный сын, милосердный самарянин, чудо в Кане Галилейской. Правда, попадаетея и нечто другое: голубые ба-рашки, увитые цветами, курчавые и глупые купидоны, философские изречения. Скажем:

«Собственная печь в доме — дороже денег».

Или:

«Горячо в печи — горячо и в орту».

Прямо перед тобою — сцена. Она немногим больше иного письменного стола, на ней кое-как расположились человек шесть музыкантов, в синих комбинезонах, с красной буквой «F» на груди. Это — оркестр Красного спортивного союза: скрипка, мандолина, гармоника, кларнет. Над столом повешено красное полотнище с портретами Маркса, Энгельса, Ленина.

МОПР Северного района собрал этот митинг. Между столиками расхаживают мопровские активисты. Они продают литературу, ходят с подписным листом, публика дает по пять, по десять пфеннигов (большинство собравшихся — безработные). Активисты ходят и позвякивают запечатанными кружками с эмблемами МОПР на них.

Характерная для сегодняшних настроений мелкой буржуазии деталь: в номере «Трибунал» (орган МОПР) напечатано восемь страниц объявлений! Молочные торговцы, грошевые прачечные, папиросники, сапожники — и все в таком же духе. Дать объявление. Заплатить за него, это для некоторых и значит выразить свою активную поддержку революционной организации.

На сцене вдруг раздается музыка. Слышишь знакомые звуки: «Смело, товарищи, в ногу». Мотив подхватывается всем залом. У нас в Союзе несколько «прислушался» этот мужественный мотив. Здесь его поют во весь голос, с ударением на каждом слове, отрываясь от своих неизменных трубок или дешевых, зловонных сигар и отстукивая такт кружками по краю стола.

Но вот на сцене появляются два «шу-

по». Они садятся за крохотный столик, торжественно снимают свои каски и, словно повинувшись приказу полиции-президиума, одновременно начинают вытирать платками свои розовые лысины. У правого — платок дикого, канареечного цвета с черными крапинками.

Это ничего не значит, что собрание разрешено. Там, где собираются рабочие, нужен да нужен «хозяйский глаз».

Шум в зале немного примолкает, идет председатель. Он вскакивает на сцену и сразу же, без лишних слов, дает слово докладчику от берлинского комитета «Rote Hilfe»¹⁾. Чернявый, сутулый человек выходит на сцену. Он быстро, деловитыми движениями раскрывает портфель, кладет его на стол, достает лист бумаги, легонько поддевает брюки (вероятно это интернациональный жест низовых ораторов всего мира).

Придумали, что немецкий рабочий до смешного спокоен и пуше огня отфасается всякого шума. «Страна умеренности и аккуратности» — говорили когда-то. Глупости, это — вчерашний день! Мне давно не доводилось участвовать на таких горячих, таких темпераментных собраниях, хотя это было одно из тех, что происходят ежедневно по всему району, по всему Берлину, по всей стране. Очередной, агитационный митинг МОПР, ничего особенного.

— Наши товарищей арестовывают! Им дают каторжные приговора! Нам не дают того, что называется демократическими свободами! Правда, за исключением свободы быстро, без помехи, публично умирать с голоду.. — говорит докладчик, потрясая газетой.

— Sehr richtig!²⁾ — отвечает зал, громогласно опуская кулаки на стол.

— Нашему любимому товарищу, рабочему поэту Эриху Вайнерту, полиция запретила публично читать его стихи...

— Zum Teufel!³⁾ — несутся возмущенные выкрики зала. Он уже полон. Мест у столиков больше нет. Люди

¹⁾ «Красная помощь» — МОПР.

²⁾ Очень правильно.

³⁾ К чорту.

стоят вдоль стен, в проходах, теснятся в дверях.

— Но... — докладчик хитро покачивает пальцем. — Но стихи читают его друзья и товарищи, а он только сидит на сцене и ничего не слышит...

Мгновение тишины — и вдруг раздаётся такой оглушительный хохот, что оба полицейских, сидящих, так сказать, в почетном президиуме, уже протягивают руки к каскам. Надень они их — собрание закрыто. Но, с другой стороны, в Германии пока еще не запрещено смеяться. Жест «шупо» пропадает впустую.

Зал дрожит от смеха, люди кашляют, протирают заслезившиеся глаза, топчут ногами, хлопают друг друга по плечам, что-то кричат соседям, перегибаясь через столы и сдвигая кружки в сторону. Зал стонет-стонет от смеха. Полицейские оглядываются, точно гуси, но повода для придирки нет.

И так идет все собрание. Нет чинной тишины. Зал действует заодно с докладчиком. Возгласы: «Schmach! Richtig!.. Zum Teufel!»¹⁾ все время перебивают его речь. И это чрезвычайно характерно для сегодняшних настроений пролетарской Германии. Отныне благораврие и умеренность остались лишь для мещан и рабочей аристократии. Масса накапливает боевую злобу. Зачастую только на пустяках, только на мелочах, но разве не следует брать мелочи в их непременно развитии?

— Брюнинг — католик и, следовательно, иезуит. Не правда ли? — насмешливо спрашивает чернявый, покачиваясь на месте. Он не позволит себе уменьшить зарплату на тридцать процентов в один прием, он снизит трижды по пятнадцати...

— Richtig! — привставая на месте, не повышая голоса, но так, что слышно на весь зал, отвечает рабочий с седыми бисмарковскими усами. — Коммунисты это говорили с самого начала.

Между столиками сует кельнер, на нем белая куртка, вся в пивных пятнах. Это — низкорослое, жалкое существо, скорее похожее на дрессированную

обезьяну. Кельнер ловко сгребает со столов пфенниги, как-то особо, одним только пальцем козыряет в ответ заказчикам и удаляется до отказа нагруженный пустыми бокалами.

Уже в самом конце доклада — небольшой конфликт.

— Нам разрешают собрания, но потом туда заявляются полицейские и избивают наших товарищей дубинками... — говорит докладчик.

На основании последних чрезвычайных декретов ораторам разрешается говорить лишь о том, что соответствует действительности. Но право оценивать речи в этом смысле принадлежит только «шупо», присутствующим на собрании. И вот один из них сейчас поднимается и тянет руку к шапке. Председатель начинает что-то объяснять ему, но полицейский пренебрегает доводами.

Зал замирает. В дверях уже показались трое новых архангелов. Они наготове, они стоят с заложенными назад руками и ждут малейшего кивка тех, что на сцене.

Но оратор успокаивающе простирает руку, достает из кармана газету, распакивает ее — «Берлинер тагсblatt» — и жестом тароватого хозяина протягивает ее полицейскому. Тот багровеет, начинает сморкаться и наконец садится на место. Спорить трудно, если неприятные сведения напечатаны даже в буржуазной газете.

— Они сами не могут скрыть своих безобразий, — спокойно и презрительно роняет председатель. — Итак, продолжаем, товарищи!..

Оратор переходит к следующему вопросу. Он говорит о пресловутом 218-м параграфе, запрещающем аборт. Он приводит десятки примеров, когда безработные женщины, нарушившие этот закон, получали каторжные приговоры.

— Товарищи, вы только подумайте, до чего доводит лицемерие классово-буржуазной юстиции...

В зале начинается движение. Недалеко от меня сидит женщина. Ее коротко подстриженные, медного цвета волосы тяжело и ровно спадают назад. Она постукивает карандашом по дешевой пельнице, стоящей перед нею, и внезапно

¹⁾ Позор! Правильно! К чорту!

но, перебивая оратора, вдруг кричит, блестя влажными глазами, она кричит напряженным, полным голосом:

— Я не согласна с этим параграфом! Нас заставляют голодать и рожать детей!

Она молода. Ее крупные руки лежат теперь на краю стола. Она налегла на него грудью, и вот стол медленно сдвигается с места.

В конце собрания принимается резолюция. Она принимается единогласно, воздерживаются лишь трое.

— Полиция и шпик, — весело поясняет председатель, собирая свои бумаги. — Смотрите, товарищи, вон он, под цифрой «25»...

Все шумно обергиваются. На двери написано, что вход 25 пфеннигов. И как-раз под этим клочком бумаги стоит тип в ярком пальто, котелке, радужном галстуке, с подозрительно громадной булавкой в нем.

— К черту!

Со всех сторон несется оглушительный, разрывающий уши свист. Котелок сначала принимает было независимый вид, потом — оскорбленный и недожимающий (дескать, в чем дело?), и наконец не выдерживает, и — алло! Сразу — овация. Зато вместо шпика в зале появляются трое молодых в касках. Ого, и еще трое, а сзади — опять котелок.

Однако собрание кончено. Затем — художественная часть, все те же музыканты из красных спортсменов. На девяносто процентов — наш, советский репертуар, к сожалению, не всегда хороший. Здесь пользуется громадной известностью даже такая вещь, как «Дуния», сотни раз надоевшая, трижды прокалятая «Дуния», не говоря уже об «Авиомарше».

Но перед музыкой — еще десять минут пропаганды, т.-е. обычный перерыв, который здесь на собраниях заполняется так: из-за сцены, с хоров, из-за столиков выходит молодежь с листовками, с «Амнистией», той газетой, что справедливо именует себя «Боевым органом против фашизма, классово-юстиции и полицейского террора».

«За один месяц убито одиннадцать рабочих!» —

кричат крупные, кровавые буквы. На третьей странице, затем на пятой — портреты двенадцати рабочих — жертв «демократической» юстиции. Галлереею возглавляет Карл Петерс, получивший бессрочную каторгу. Одиннадцать остальных в общей сложности имеют пятьдесят девять лет тюрьмы и каторги.

По залу рассыпалось десятка два пропагандистов. Зал поет, по-мальчишески, с присвистом, топотом, «Сергей-поп». Полицейские переминаются на сцене.

Временами оркестр примолкает, и председатель выкрикивает, принимая снизу, из публики, анкеты:

— В КРД — три! В РН¹⁾ — одиннадцать!

Опять музыка, опять поет зал. И потом — снова:

— В партию — пять, в МОПР — тринадцать!

Так за эти десять минут было приобретено девять новых коммунистов и тридцать четыре мопровца.

Выхожу из зала, движемся густой толпой мимо пивной стойки, мимо величественного и безразличного хозяина в белоснежной куртке, мимо «шупо», стоящих вдоль стен и ошупывающих тебя глазами, мимо типа в котелке. Молодежь отпускает крепкие словечки по его адресу.

— До следующей встречи!.. — насмешливо говорят ему старики, подмигивая весело, но совсем не přátельски.

У ворот — полугрузовик. На нем, на скамейках, — полицейские, спинами друг к другу. Над головой шофера возвышается прожектор, закутанный в серый брезент. Машина наготове и урчит, офицер тревожно вытянулся на подножке, заглядывая в лица выходящих.

— До следующей встречи!

— До настоящей встречи!
Берлин

Он получил работу

Еще с угла видно, что у подъезда собрались полицейские. Похоже, что они

¹⁾ «Rote Hilfe» — МОПР.

привлечены ярким светом в окнах большого зала, звуками боевых песен, доносящихся оттуда, оживлением у входа.

— Мои господа... — озабоченно говорит старший полицейский, низенький, потный, толкаясь среди прибывающей публики. — Спокойнее, прошу вас — немного спокойнее..

Сегодня здесь, у Вульфа, собрание моряков и портовых рабочих. Революционная профопозиция назначила его, чтобы обсудить вопрос — «Снижение заработной платы гаванских рабочих и условия найма моряков». Зал переполнен уже минут за двадцать до начала. Это видно еще с лестницы, по которой непрерывным потоком движутся люди в грубых куртках, в штопаных свитерах, в вытерных пальто, и большинство — в типичных гамбургских картузах, с крученым шнуром на околыше.

Двое рослых моряков едва успевают проверять входные билеты и в сомнительных случаях — профсоюзные документы. Сразу же за контролем стоят несколько товарищей, встряхивая кружками и оживленно покрикивая:

— МОПР! Жертвуйте в МОПР!

— Жертвуйте в фонд профопозиции! Она живет только вашей помощью...

— Товарищи, кто дает в стачечный фонд «Натан, Филипп и К°»? Товарищи, там сегодня бастуют докеры. Товарищи, там бастуют!..

В кружки падают пяти- и десятифенниговые монеты. Большого ждать трудно: не менее половины пришедших сюда — хронические безработные, сами едва-едва не умирающие с голоду.

Прямо перед сценой — тридцать два ряда стульев, которые уже все заняты. За облупленными колоннами, вдоль боковых стен, стоят столики. Старик, в грязной, когда-то белой куртке, разносит чай, темное лакричное пиво, дешевую карамель, бутерброды с селедкой и зеленым луком. Но лишь в виде исключения можно заметить столик, на котором что-либо стоит. Здесь даже стакан голого чая — и то редкость.

Локаль Вульфа стоит на Гроссбергерштрассе, в самом сердце припортового района Альтоны, на улице, которая

является прямым продолжением Репербана («канатная дорога»), мирового центра кабаков, кабаре, барделей всякого ранга. И Репербан, и Гроссбергерштрассе со всех сторон обступлены темными, грязными переулками, куда днем не покажется солнце, а вечером не проникнет луч фонаря с этих радостных, блестящих улиц.

В зале, на площадках лестницы, в коридоре, позвякивая никелевой и медной монетой, расхаживают функционеры профопозиции, с пачкой газет и журналов каждый. «Rote Fahne», «Hamburger Volkszeitung»¹⁾ — орган гамбургского комитета компартии, «Rote Stern»²⁾ — иллюстрированное приложение к «Rote Fahne», МОПРовские еженедельники, — вот каков ассортимент у этих добровольных газетчиков.

Вот пожилая женщина, одетая в матросскую куртку, держит веером несколько розовых карточек.

— Германская секция МОПР, — ровным, энергичным тоном непрестанно говорит она, расхаживая среди собравшихся. — Комитет водного округа... Девятнадцатого декабря... Восемь часов вечера, локаль Нитца, Троммельштрассе, 30... Вечер собеседований. Бесплатная лотерея, пятьдесят премий...

Карточка стоит десять пфеннигов. Благодаря ничтожной цене они раскупаются довольно быстро.

— Марта! — кричит пожилая девушка, показавшейся в дверях. — Возьми у Тилемана еще этих!..

На карточке поименованы премии: один окорок, бок сала, толстая итальянская колбаса, голова сыру, консервы и тому подобные вещи.

Но вот со сцены слышится громкий, хриповатый голос. Это высокий, широкогрудый человек, с обветренным лицом, не выпуская изо рта трубки, приглашает успокоиться и поскорее занять места. Через полминуты уже не остается ни одного свободного стула, и все-таки у дверей, вдоль стен, у колонн стоят десятки опоздавших.

¹⁾ «Гамбургская народная газета».

²⁾ «Красная звезда».

На сцене — Детер, районный руководитель профопозиции. У него движения человека, не привыкшего общаться с комнатными вещами: то он без надобности берет стул и шумно переставляет его на другое место, то вдруг примется за графин, откроет его, да и оставит, так и не наполнив стакана, или что еще.

Видимо, это — любимец района. Его встречают шутками, остротами, намеками, смысл которых понятен, пожалуй, только намекнувшему да самому Детеру. Кто-то из собравшихся бросает на сцену яблоко. Детер ловко ловит его и разламывает надвое.

— Детер! — кричат ему снизу, из зала. — Не подавись, не оставь нас без доклада...

— Нет! — возражает он. — Я заставлю вас выслушать его, хотя бы он был вдвое длиннее обычного...

Хохот прокатывается по залу и утихает, когда за столом президиума показываются еще двое товарищей. Один из них невелик, с громадной головой, с желтым лицом, с правой ногой, волочащейся по полу. Второй — молод, красив, и его толстая матросская фуфайка сидит на нем, как произведение лучшего костюмера. Великое дело быть хорошо сложенным. Он весело улыбается, встречая взгляды друзей, находящихся в зале. На этого преимущественно свое внимание обращает женская часть собрания.

Вопреки запугиваниям Детер говорил очень недолго. Он вкратце изложил содержание последнего чрезвычайного декрета, назвал несколько цифр, рисующих рост безработицы среди докеров и матросов, указал на снижение зарплаты и неожиданно кончил. Видимо, зная повадки Детера, собрание не было удивлено этим обстоятельством.

Он сидел посредине стола, поглаживая свои седоватые виски, и спрашивал, пуская клубы табачного дыма:

— Итак, видишь ли, кто выступает в дискуссии? Пока я не вижу никого.

В зале поднимается легкий шум, люди подталкивают друг друга, посмеиваются: не так-то легко выйти на подмостки и говорить перед пятью-шестьюстами товарищами.

— Я и не знал, что вам живется хорошо, и это довольство мешает вам принять участие в обсуждении, видишь ли, очень острого нашего вопроса!..

— Хорошо живется? Хо! — кричит женщина из первого ряда, вставая и оглядываясь назад (это как-раз та, что продавала лотерейные карточки).

— Разве тебе далека наша жизнь, что ты можешь так говорить? — спрашивает старик в старом солдатском обмундировании, держа обе руки на коленях.

Старика задние плохо слышат.

— Что? Что он сказал? Громче! — двигают они стульями.

И вот наконец стороной, мимо столика, к подмосткам, громко стуча башмаками, подкованными железом, пробирается человек, желающий высказаться. Он невелик ростом, одет в донельзя драгуную, брезентовую робу. Рукава куртки длинны ему, левый закатан, правый закрывает всю кисть руки, и только самые кончики пальцев появятся из рукава, когда человек взмахнет рукой.

Лицо его истощено и покрыто реденькой щетинкой, из кепки торчит грязная вата, на левом глазу черная повязка, поверх куртки он подпоясан ремнем, когда-то лакированным. Вряд ли во всем Гамбурге можно разыскать человека, грязнее его.

Минуты две он стоит на сцене и, кажется, не знает, с чего начать. Он перебирает пальцами кусок красной материи на пюпитре, откашливается и, лишь подгоняемый нетерпением аудитории, наконец начинает:

— Я два с половиной года был без работы...

Он смотрит исподлобья, произнося эти слова густым, хриплым басом, так неподходящим к его тщедушному виду.

— Я два с половиной года был без работы, и вы! Кто сидите здесь! — он вдруг яростно стонет и колотит кулаком по краю пюпитра. — Разве вы помогли мне? Разве вы помогли мне, когда я лежал больной, ожидал врача и не мог заплатить ему?!

Он уже вырывается на середину сцены, словно готовясь отразить нападение, он слегка расставляет ноги, сжимается и вдруг резко обертывается к президиуму.

— Вам хорошо говорить, вы — функционеры, ну, а я — простой докер, у меня четыре человека семьи...

— Ты говоришь странные вещи!.. — кричит женщина из первого ряда. Она сдергивает с головы вязаный красный берет, и седые волосы рассыпаются по ее плечам. — Вы подумайте, что он болтает!

Докер крадущимися движениями отходит к пюпитру и говорит уже неувереннее, уже опять принимаясь за кромку материи.

— Я случайно получил работу у «Натана и Филиппа», и я сказал себе, что пора бросить игру! Что вы мне говорите о разных декретах? Я не знаю их, но я голодал два с половиною года!..

— И теперь продал нас?.. — вполголоса, но отчетливо спрашивает Детер, постукивая карандашом по стакану и покачивая головой.

— Называй как хочешь! — вскрикивает оратор и потупляет глаза. — Я — взрослый человек, у меня двое детей, и жена у меня, и... Ну, я кончил! — резко обрывает он сам себя и, грохоча коваными башмаками, сбегает с деревянных ступенек. В зале его встречает подозрительный гул, который разрастается по мере приближения к выходу этого невзрачного человека.

Кто-то за последним столиком шумно сдвигает в сторону стул и выпрямляется во весь рост.

— Раньше я тебя звал Фредом, теперь не назову даже по фамилии!.. — говорит он, резко останавливая докера. — Сколько тебе заплатили, что ты бросаешь нас?

— Видишь ли, это профоппозиция виновата в том, что теперь кризис и докеры сидят без дела! — кричит женщина из первого ряда, размахивая розовыми карточками. — Детер, я хочу говорить!

— К тому же, у «Натана и Филиппа» — стачка... — сдержанно говорит Детер. — Слово имеет Эльза...

Но ему не дают закончить:

— Штрейкбрехер! Продажная собака!

Зал топочет, стучит палками о пол, гудит, свистит, сдвигаются стулья, лю-

ди вскакивают, чтобы получше разглядеть виновника всего этого шума.

Старая Эльза уже стоит рядом со столом президиума и самочинно звонит в колокольчик.

— Тише! Я ведь вам говорю — тише!.. — слышно, когда спадает волна возбуждения и ярости. Эльза побагровела от усилий перекричать зал и теперь тяжело дышит, вытирая беретом потное, посеревшее лицо.

— Говорит Эльза Троммель... — с прежней сдержанностью, только побагровев, нервно играя карандашом, повторяет Детер.

— Ответь этой собаке, Эльза! Требуем! — волнуется зал, двигая стульями, гремя кружками, откашливаясь.

Эльза подходит к самой рампе, распакивает перелицованный, старый жакет и упирается руками в широкие бедра. Так вероятно она разговаривает и с соседками о разных пустяках и неурядицах рабочего быта.

— Пусть будет доволен этот дрянной человек тем, что ушел отсюда цел и здоров, потому что никогда еще Штрейкбрехер в Альтоне не встречал приветов. Не правда ли?

— Ты помнишь, как раньше, Эльза!.. — задумчиво спрашивает старик из первого ряда.

— Почему раньше? — громко возражает старая Эльза, энергично топая ногою. — А всегда? Везде?

— Солидарность, Эльза? — кричит сзади тоненький женский голос.

— Конечно солидарность!.. — и лицо старухи расплывается в широкой улыбке. — Ведь это самое сильное в наших руках, девочка. Такие вот «докеры»... — иронически продолжает она. — Они думают, что дело кончается, когда их купят за шесть марок. Глупости, завтра его выжмут, как мокрую тряпку, и бросят на мостовую. Кто вспомнит о нем, если не братья по классу? Кто, я спрашиваю, вспомнит о нем? Я например не вспомню теперь, я даже не пушу его вытереть ног у моей двери! Он стал счастливым, — только надолго ли, позволь тебя спросить?

— Штрейкбрехер! — кричит прежний тонкий голос.

— Правда, штрейкбрехер, и мы не забудем это!.. — Эльза еще ближе подходит к краю сцены, вот тупые носки ее башмаков уже выступают за ее край. Башмаки уже доживают последние свои дни.

— Нам особенно тяжело во время стачек... — резко кричит Эльза, грозясь кулаком. — Но это — самое сильное наше средство, и я не хотела бы видеть, что случится с нами, когда мы откажемся от него.

— Мы прежде всего не откажемся, — вполголоса замечает Детер. — Продолжай...

— Мы не откажемся конечно... — уверенно подтверждает она. — Но если мой муж придет домой и я узнаю, что он не голосовал за стачку и отказался пойти в пикет, то я не открою ему двери! Это будет так же, как я — Эльза Троммель! Поверь!

— И я! И я тоже! Да и все мы! — это кричат из рядов женщины, вскакивая со своих мест.

— Правильно! — громогласно восклицает Детер, привставая, вскакивая с места. — Товарищ Троммель, я говорю: браво!

— Браво! Браво! — отвечает зал.

— И никто из нас, пролетарских женщин, не откроет дверей своему мужу или сыну, или же брату, если узнает, что он — штрейкбрехер... — торжественно повторяет старая Эльза, клятвенно поднимая руку.

— Никто! Никто! — кричат отовсюду.

Эльза сходит с подмостков, провожаемая троекратными «Рот фронт» и криками «браво». Долго еще не может унять зал. Детер непрерывно гремит в большой колокольчик. И когда в зале наступает относительная тишина, Детер говорит, сильно налегая грудью на пюпитр:

— Товарищи, мы немного отвлеклись, но ведь мы все слышали этого человека, и какой честный пролетарий не ответил бы ему!? Человеку, забывшему свой класс? Эльза Троммель ответила, ему, и я говорю еще раз: Эльза Троммель, браво!.. Рот!

— Фронт! — приподнимается весь зал.

— Рот! — взмахивает рукой Детер.

— Фронт! — повторяет зал.

— Рот!

— Фронт! — гремит и рукоплещет зал.

Гамбург.

Неравная встреча

Выцветшая и поблекшая трава на могилках покрыта инеем. Дорожки, выложенные мелким плитняком, обшарпанные тысячами ног, блестят, как всегда. Здесь все подчинено строгому режиму, и ничья могила не вылезает из кладбищенского порядка.

Изредка у подножия скромного креста можно заметить пучок темной гвоздики или пышную астру, разметавшую свои тяжелые пряди, а вообще-то повсюду низенькая травка, тщательно срезанные края могил, обложенных дерном, кресты, выкрашенные в серо-голубой или какой-либо другой цвет.

Слева от асфальтированной и широкой главной аллеи есть уголок, странно выделяющийся из этого траурного окружения: невысокая, тяжелая стена, ни надписи, ни барельефа на ней, лишь на фасаде ее горит громадная пятиконечная звезда, как бы впаянная в кирпич.

Стена окружена множеством могильных холмиков. Они сплошь засыпаны цветами и устланы красными лентами. Здесь, сомкнувшись последним строем, вокруг Карла и Розы, собрались уничтоженные полицейским и фашистским террором. Их сотни, этих безымянных и знакомых могил.

Низенький старичок, зажав подмышкой суконную матросскую фуражку, с крученым шнуром на широком ее околыше, ходит между могил, поправляет венки, подбирает цветы, упавшие на дорожку, поровнее укладывает их на могилы.

У самой ограды, на четырех дорожках, окруживших молчаливый памятник, то там, то здесь стоят люди. Они в куртках защитного цвета, в потертых вельветовых брюках, расстегнутые воротники их сорочек выбиваются наружу, — обычный праздничный наряд берлинского рабочего. Они стоят без шапок, всматриваясь в могилы, лежащие перед

ними. Некоторые из рабочих пришли сюда с детьми, даже с такими, кто еще не научился ходить. Это вошло здесь в привычку: провести свободный часок у стены Карла и Розы.

Через чугунную цепь, ограждающую могилы, старик перешагивает на дорожку, останавливается около одного из рабочих и, вытирая пальцы громадным клетчатым платком, начинает рассказывать все, что известно ему о мертвецах. Он говорит таким тоном, словно все, кто лежит здесь, — это его братья или друзья.

— А вот Курт Менгес... — говорит он.—Первого мая двадцать девятого года он нес, понимаешь, знамя ячейки трамвайного депо. Пуля попала ему в грудь, вот здесь, пониже левой ключицы, — сердце! Это было на углу Мюллер- и Зеештрассе, в четверть двенадцатого, днем...

— Или вот Ханс Кернер, его убили гитлеровские молодцы, когда он шел и выкрикивал: «Rote Post»!.. — старик энергично сморкается и проводит пальцем по горлу. — Нож вошел вот сюда, и его несколько раз повернули там...

Старик перешагивает обратно через цепь и бережно оправляет цветы на могиле газетчика.

Слева зияет новая яма, до поры до времени кое-как огороженная досками. Ее приготовили для нового товарища, инвалида мировой войны, убитого фашистами во время их последнего нападения на локаль Геккерта. Покойный товарищ подсчитывал после собрания гроши, собранные здесь для МОПР, когда крикливая шайка ворвалась в заднюю комнату. Уже раненый первым выстрелом, инвалид опустил дубовый стул на голову гаваря, но вторая пуля попала товарищу в челюсть. Пуля была надрезана крест-накрест, она разорвалась так, что снесла прочь всю левую сторону лица. После этого инвалид мучился трое долгих суток, пока не наступил конец.

Сегодня его должны хоронить.

Издали доносится негромкое пение. Вскоре на дальнем конце аллеи показывается несколько знамен, медленная процессия идет сюда. Вот уже видны

полицейские. Поблескивая на солнце лакированными своими касками, они важно идут по обочине аллеи, сгоняя в стороны встречных.

Гроб настолько беден, что даже краски, багряной краски не легло на него. Но зато еще одно знамя, с тяжелыми кистями, спадающими вниз, покрывает его, на крышке лежит фуражка покойного. Она еще хранит на себе горячие пятна крови.

Когда процессия была совсем уже близко к могиле, кто-то негромко крикнул:

— Наци!..

Шагах в двадцати, с божь, прямо по траве, по могилам, от дерева к дереву, пробирались люди, приближаясь и приближаясь сюда.

— Товарищи, внимание! — крикнул чей-то громкий, нервный голос. От колонны, отталкивая полицейских, начали отрываться рабочие, стремясь навстречу тем, кто уже завывал и вопил, окружая процессию.

— Стой! Стой! — закричал офицер, забегая вперед и поднимая руку с белой перчаткой, зажатой в ней. Но люди шли и шли.

Нападавшие бежали уже под углом к аллее, намереваясь преградить путь шествию. Вот у первого из них что-то блеснуло в руках, и потом полились сплошные, ревушие выстрелы: били из «парабеллумов» и больших «маузеров». Вскоре все смешалось, только гроб, покачиваясь на плечах тех, кто оставался в рядах, медленно шел к могиле.

А в стороне уже завязался настоящий бой. Полицейские, расталкивая небооруженных рабочих, не хотели замечать того, что творилось в десяти шагах. Фараоны молча и поочередно окружали то одного, то другого рабочего, быстро щелкая дубинками. Человек валился, двое полицейских подхватывали его и относили в сторонку, остальные окружали новую жертву.

Скоро люди рассеялись, только в полицейском кольце стояло человек двадцать арестованных, и среди них старик, ну, тот самый, кто говорил о могилах. В стороне несколько товарищей, уже опустив гроб, почти засыпав его, скло-

нив знамена над свежей могилой, стройно и решительно пели: «Братья, к солнцу, к свободе...» Нет, они не пели никаких траурных мотивов.

На дорожке и около на траве лежало несколько распластанных фигур. Четверо в коричневой униформе, трое — одетых кто как. Кроме того, один из рабочих сидел у дерева с резко запрокинутым, залитым кровью лицом. Около него уже хлопотали товарищи. Ногами на дорожку, лицом в траву, тронутую морозом, лежал полицейский, удобно, как бы специально подложив руки под голову. Лишь на одном из фашистов можно было заметить кровь, остальных убили тем, что подвернулось под руку: ведь рабочие пришли сюда без оружия.

Фашистам полиция дала уйти. Рабочих переписали и повели к воротам. Те, кто не был задержан, поодиночке, по двое, группками, пошли вслед, чем ближе к воротам, тем плотнее сближаясь.

— Наци зашли в наш район! — крикнул вдруг старик. — Парни, вы посмотрите, как же это так?

— Молчание! — перебил офицер, опять поднимая руку с белой перчаткой в ней.

Но старик, не обращая внимания, приветственно замахал своим громадным клетчатый платком. Тесная кучка арестованных уже удалялась, полицейская цепь отделила ее от сопровождающих.

Старик, шедший первым, опирался на руку высокой, некрасивой девушки в светлом пальто. Он размахивал платком и протяжно кричал:

— Рот!..

— Фронт! — дружно откликались арестованные.

— Рот!..

— Фронт! — отвечали издали те, кого остановила полицейская шеренга.

— Тише, господа, вы ухудшаете свое положение... — то тараща глаза на старика, то забегая вперед, грозился офицер.

— Рот! — не уставая повторял старик.

— Фронт! — мужественно отвечала тесная кучка, мерно шагая по дорожке, усталой в этом месте шебнем.

И у самых ворот они запели «Ин-

тернационал». Там уже стояли сотни возбужденных, разгоряченных людей, но и четыре полицейских автомобиля в то же время.

Сотни, встретившие арестованных, подхватили воинственный гимн, и вот он загремел, покрывая шум поезда, устилавшего паром свой путь там, за решеткой, под глубоким откосом.

Это было тринадцатого ноября на кладбище Фридрихсфельд, на востоке Берлина. На том самом кладбище, где похоронены Роза Люксембург и Карл Либкнехт.

Начало будущего романа

Машина на Поссендорф урчала, готовая сорваться с места, шофер сидел за стеклом, не шевельнув прямых выгнутых плеч. Когда кондуктор нажал кнопку звонка и машина тронулась, друзья принялись рассматривать пассажиров.

Впереди, как-раз перед Эрной, покачивалась широкая шея, покрытая седой щетиной, затянутая в гуттаперчевый воротник. Черная шляпа лежала рядом с человеком. Он читал газету. Эрна заглянула через плечо — «Sächsische Beobachter»¹⁾.

— Наци... — шепнула она, скромненько поджимая ноги и развертывая «Arbeiter Stimme»²⁾.

— Эрнал

Рудольф строго смотрел на подругу: ребячество было излишним.

Машина мягко пружинила своими ресорами. Мимо шли, отходили назад и исчезали особнячки, увитые пожелтевшим плющом, кирпичные домики в глупине палисадников, тихие магазинчики, у дверей которых стояли аккуратные и наблюдательные хозяева.

Промелькнула, уродливая и чужая, русская церковь как-раз при выходе из Имперской улицы на одноименную площадь. Вероятно был какой-то русский праздник: глухо бил колокол, не надтреснутый и легкий, как в кирхах, а

¹⁾ «Саксонский наблюдатель» — фашистская газета.

²⁾ «Рабочий голос» — орган саксонской коммунистической организации.

уверенный, грузный, с низко плывущим звуком.

Сразу же за шоферской будкой сидела женщина с корзиной лилий. Они были тяжелы и роскошны, точно в натюрморте.

— Дольче, «Ангел благовещения», помнишь? Как-раз такие же...

— Дольче? — не поняв, переспросил Рудольф.

Ей немного взгрустнулось. Она видела натруженные, красные руки пожилой женщины. Они лежали на краю корзины, прядь белых волос выбилась из-под соломенной, совсем не сезонной шляпки. Лилии тяжело покачивали своими головами. Где это мать Эрны, ее старуха? Может статься, вот так же ездит она в город продавать какую-нибудь мелочь и, не продав, так же, измученная и отчаявшаяся, возвращается она в деревню, в церковную сторожку. Все может статься...

Слева, почти рядом с Эрной, сидел довольно молодой еще, мускулистый, крепкий господин в длинном черном пальто. Он не совсем скромно поглядывал на девушку, не без фатовства покусывал губы, и вот губы темнели и нежно наливались кровью.

Эрна редко замечала, чтобы на нее так смотрели. Не то, чтобы она была некрасива, нет, но она просто считала себя малозаметной девушкой, обыкновенной, в меру веселой, в меру живой, привыкшей много работать.

Городские окраины давно уже отошли назад, и сразу же дорога начала то взмывать вверх, то круто обрываться вниз, обегая и пересекая поселки и деревушки с пестрой черепицей крыш, блестящих на солнце. Тишина господствовала на улицах, выложенных брусчаткой, с аккуратно размеченными тротуарами, с бесчисленным количеством крохотных, точно в старой сказке, лавчонок, окна которых завешены и заставлены всякой дешевой и наивной всячиной.

В Поссендорф приехали через час с небольшим. Омнибус остановился на небольшой площади, у трактира, на окнах которого были нарисованы уморительные золотоволосые рожицы, выгляды-

вавшие из пивных кружек, — фабричная марка «Berliner Kindl», одного из самых известных пивоваренных предприятий Германии. Это было странно: ведь каждая провинция свято блюла интересы своей пивной индустрии, и она была чуть ли не единственным пунктом, где автономные привилегии отдельных республик давали себя знать наиболее полно.

В дверях трактира стоял хозяин — жилистый, багроволицый человек, с маленькой, змеиной головой, с совершенно белым носом, отчетливо обозначенным на лобном личике.

Трактирщик стоял, заложив большие пальцы обеих рук за широкий вязаный пояс, плотно охватывающий его широкую, лишенную талии, фигуру. Похоже, что он попал под вальцы, и они пропустили его разок-другой, — вот почему он был такой широкий и плоский.

— Запоздали на две минуты! Что произошло? — совершенно детским голоском прокричал он и вдруг увидел цырюльника, тоже вышедшего на улицу. — Посмотрите, Глюкауф, он опять запоздал на две минуты!

— Просто ваши часы не в порядке, сосед, — миролюбивым басом, не повышая голоса, но тем не менее на всю площадь, отозвался цырюльник.

— Скажите, вы заступаете за него?! Не ожидал, вовсе не ожидал!

Плоский просто выходит из себя. Шофер, не обращая внимания ни на одного из них, протирал сейчас стекла своей будки, тоненько пошвыстывая носогрежкой.

Над дверями цырюльника висело три медных, неглубоких таза, один одного меньше. Они раскачивались на ветру и звякали, задевая друг за друга, — средневековые эмблемы парикмахерского ордена.

Мимо кирпичи, по укатанной дороге, Эрна и Рудольф направились к ложбине, в которой расположилась группа кирпичных домов. Сзади каждого из них возвышались острые крыши хлевов, и оттуда доносилось величественное и медлительное мычание.

Феликс Отт служил конюхом у хозяйна, семья которого принадлежала к чис-

лу почетнейших в Поссендорфе. Дом, расположенный на сухом пригорке, был обращен окнами на все стороны, кроме севера. Именно с этого бока поднимался мощный скотный двор, от которого сейчас несло свежим запахом навоза, молоком, всеми теми особыми испарениями, которых ты не уловишь в городе.

Свежевыкрашенная ограда шла кругом поместья, приземистые, резные ворота из старого дуба пропускали неширокую, покрытую укатанным гравием дорожку. Она вела к самым дверям дома. Дом стоял восемьдесят третий год, и то, что он ни разу не ремонтировался за это время, составляло предмет особой гордости фамилии Курта-Гейнриха Панкова.

Вокруг к дому, особенно на пути к хлеву, стояла жидкая, медленно просыхающая грязь, и несколько пар деревянных башмаков в чинном порядке выстраивались на первой ступеньке у двери. Феликс кончал их мыть.

— Идите в «Rote Nachtigall»... — не задерживаясь взглядом на Эрне и Рудольфе, спокойно проговорил конюх, когда они оба направились было к нему. — Через несколько минут мы встретимся за одним столиком.

Равнодушная физиономия небритого старика выглянула из окна, на двор вышла великолепно сложенная девушка, не девушка, а какой-то атлет, с икрами, обтянутыми серыми шелковыми чулками, в белом, с кружевами, платье. Оно было стянуто красным лакированным поясом.

— Феликс... — громко заговорила она, размахивая библией в красном переплете. — Ты можешь сопровождать меня к пастору, если хочешь...

— Я не совсем здоров, барышня, — возразил он, откладывая в сторону последний башмак. — С вашего позволения, я хотел бы прогуляться.

— Да, конечно, ведь сегодня воскресенье, — важно заметила девушка, чуть-чуть вздергивая подол платья. — Разумеется, отец не возразит против этого.

Небритая физиономия в окне кивнула, точно было слышно, о чем шла речь. Феликс, глядя вслед Эрне и ее спутнику, уже поднимавшимся из ложбины к

дороге, прошел в хлев, где в углу стоял умывальник, которым пользовались батраки.

«Она, видимо, обиделась, — думал он, засучивая рукава и вспоминая хозяйскую дочку. — Это ведь честь — сопровождать ее...»

Дочь хозяина, крутобедрая Герта, медленно вышла за ворота и направилась по дорожке, задевая за землю зонтиком и чертя им по песку тоненький, прерывистый след. Те, двое, медленно шли впереди нее, и как непохожа была городская девушка на рыжую молодую хозяйку.

«Это у них всегда... — продолжал неопределенно думать Отт, наблюдая за тем, как грязная вода стекает в жестяной желоб. — Они привыкли к городской суматохе, а по мне — хоть не будь ее вовсе...»

«Rote Nachtigall», полутемный трактир на юго-восточной окраине села, был любимым местом отдыха поссендорфских крестьян. Хоть неподалеку и стоял дом пастора, утопавший в вишнях, яблонях и жасминах, редко-редко кто из начальства заходил сюда. Лишь так себе, время от времени, порядка ради, в дверях показывалась светлая шинель полицейского, да и то быстро исчезала, словно полицейский заранее знал, что здесь, в этом подвальчике, нет ничего такого тайного, что потом не стало бы явным.

В правом от входа углу, за широкой стойкой, у самого пивного крана (представьте себе громоздкое сооружение из фаянса, меди, полированного дерева, с росписью на религиозные сюжеты), на высоком вертящемся табурете восседал старик Эмиль, ветеран 1870 года, один из победителей при Седане. «Эмиль из Седана» — иной раз называли его, желая доставить старику удовольствие.

Он понимал толк в людях, хотя, сказать правду, изо дня в день, из месяца в месяц он видел одних и тех же посетителей. Но зато он знал каждого настолько, что, даже закрыв оба глаза, мог бы сказать, сколько и какого пива возьмет один, кто, хитренько подмигнув, в обычный свой воскресный приход попросит рюмочку аквавита и кто обяза-

тельно сколотит компанию, чтобы выпить вкруговую из громадной голубой чаши, которая, словно того дожидаясь, стоит на верхней полке, прикрытая куском парчи.

— А, сосед Нейкранц!.. — скажет, бывало, старик, подмигивая на сифон с аквариумом, и Нейкранц, расправив усы, поздоровается с Эмилем из Седана, облокотится на медный поручень прилавка и спросит, как сегодня нога Эмиля из Седана.

— Нога, милость бога, ничего, а что возьмет на закуску сосед Нейкранц: вообще-то очень неплох бутерброд с ливерной колбасой, но некоторым нравится простая селедка.

Эмиль спрашивает больше для порядка, так как он знает, что портной Нейкранц скорее закроет свою мастерскую, нежели закусит бутербродом.

Эмиль из Седана сохраняет свой трактир так, как сам получил его от родителей. Он несколько лет назад совсем было собрался реставрировать картину о блудном сыне, которая была нарисована прямо на передней стене, но потом он подумал, что менять однажды установленный порядок — глупо, и картина осталась желтеть и покрываться все равняющим налетом времени.

Некоторые горячие головы предлагали старику поставить радио.

— Так делается в городе, — говорили они. — Вот уже сколько лет так делается в городе.

Однако Эмиль из Седана непреклонно отклонял от себя попытки превратить его заведение в модный кабачок, где нет ничего ни уму, ни сердцу. Он, как и раньше, по вечерам заводил музыкальный ящик, и вот из него шла надтреснутая музыка — «Старый товар ищ» или игривый мотив «Социалистического марша». В конце концов горячие головы поостыли, тем более, что во всех остальных вопросах Эмиль из Седана был настолько терпимым хозяином, что просто удивительно. У него можно было собираться кому угодно и говорить о чем угодно, — пожалуйста. Все дело только в том, чтобы не забирать в кредит, ибо человек, пьющий в долг, — поистине темен.

В те дни, когда Эмиль из Седана уходил в церковь (а справедливость требует отметить, что старик не отличался религиозными чувствами и ходил туда больше для порядка), за прилавком появлялась его Лотта — высокая, с орлиным взглядом, но в самом деле кроткая, словно канарейка. Это была вторая жена Эмиля из Седана, потому что первая, француженка Жозефина, еще в девятилетом году ушла с аптекарем, который было расположился в Поссендорфе, даже снял помещение для магазина, но потом раздумал, расторг контракт на помещение, забрал Жозефину и, ошеломив Эмиля, без лишних слов умчался с его женою, куда только глядят глаза.

Особенным расположением старика пользуются горожане, случайно забредающие в его кабачок.

Тогда он сам выходит из-за прилавка и, слегка наклоня свой еще мощный корпус, осведомляется о вкусах гостей. Чаще всего это бывают молодые парочки, которые приходят сюда не столько выпить и закусить, сколько посидеть рядышком, поглядеть друг другу в глаза, покраснеть в меру, — чорт их знает, эту современную молодежь, точно для подобных занятий нет им другого места! Однако это не касается Эмиля из Седана.

Вот почему появление Эрны и Рудольфа не произвело особенного впечатления на старика. Они заказали по бокалу темного пива и молча прошли в уголок, как бы не желая оставаться на виду. Девушка была светловолоса, точно дева Мария, а молодой человек немного мрачноват, но впрочем удачная парочка. Парень развернул сверток, вынутый из кармана. В свертке оказались газеты, это не интересовало старика, он завел ящик, и вот «Старый товар ищ» захрипел в подвальчике.

Эрна оглядывалась. Народу сидело немного, вероятно потому, что было еще довольно рано. В узком, несурзном шкафу, поднимавшемся до самого потолка, стояло за стеклом несколько знамен: охотничье, певческое и союза друзей полезных пернатых. На верхней полочке поместился призовой кубок, который каждую осень доставался лучшему

стрелку Поссендорфа: крышка кубка была сделана в виде лодки, через борта которой перекинута раненая лань.

В противоположном углу сидело двое парней, видимо, батраков. Один был уже сильно на взводе и все начинал петь:

Тетушка Мильх моложе меня..

Другой, в спортивном клетчатом костюме, держал подмышкой футбольный мяч и то расшнуровывал, то вновь затягивал его.

Тетушка Мильх моложе меня..

Тот, что занялся мячом, тихонько и прерывисто говорил:

— Это же... невозможная... вещь, Вернер.

— Тетушка Мильх моложе меня на три года.

уже перевирая и не обращая внимания на товарища, продолжал подвыпивший.

Феликс, видимо, задержался, и к тому моменту, когда он появился в подвальчике, Эрна уже начинала терять терпение. Феликс приделался, в его галстук торчала большая булавка, тяжелые, солдатского образца башмаки были ярко начищены, и светлые волосы покорно и гладко лежали на голове. Он поздоровался с хозяином. Старый Эмиль указал ему глазами в угол и что-то шепнул ему. Феликс незнакомо прищурился, потом присял и сделал приветственный жест: — Да это же мои дрезденские друзья!..

Он как ни в чем не бывало подошел к столику и преувеличенно радостно поздоровался с каждым из товарищей.

Эмиль из Седана уже успокоился и тихонько клевал носом на своем возвышении.

— Мы привезли «Саксонского мелкого крестьянина»... — безразлично говорит Эрна.

— Второй номер? — лениво постукивая ногтем указательного пальца по столу, подняв брови, спрашивает Феликс.

Он невнимательно сует сверток в карман пиджака и лениво насвистывает какой-то простенький мотив.

— Ты думаешь, наша корреспонденция появится в срок? — спрашивает он потом, обмахиваясь газетой.

— Ты найдешь ее в этом номере...

На момент Феликс изумленно смотрит на Эрну, но потом прежнее безразличие овладевает им.

— Да?.. — зевает он. — Придется этот номер расклеить по деревне. Прозит!

— Прозит! — отвечают ему Эрна и Рудольф, тихонько приподымая бокалы.

— Когда третий? — спрашивает Феликс. — Хорошее пиво.

— Ну, я думаю, через семь, восемь дней. Нужно деньги. Прозит!

Трактир начинает наполняться публикой. Сначала пришел седой, со смешными косичками человек, похожий на героя из рождественской сказки. Потом — старуха, которая сразу же подгела к нему и резко постучала палкой по стулу. Вслед за ними ввалилась группа веселых парней, тащивших за собою громадного пса. Пес упирался, рычал, но его влекли в угол, точно господнюю жертву. Вскоре показался старик, который давеча выглядывал из окна, когда Эрна и Рудольф зашли за Феликсом.

Конюх встал и поклонился старику.

— Это сущий пустяк, но так надо.. — похоже, что Феликс опасался вмешательства хозяина в их разговор. Однако этого не случилось. Старый Курт-Гейнрих важно расположился за столиком в нише, позвякивая мундштуком трубки о кружку, которая была наполнена золотой, казалось, звенящей пеной.

— Слышно, ваш пастор стремится попасть в газетку? — спросила Эрна, наклоняясь над столом.

— Да, это должно случиться рано или поздно. Он бесчинствует так, что хоть впору палачу... Мы сейчас можем пойти к Эриху и Розе.

И он встал, уже готовый проводить их. Эмиль из Седана миролюбиво кивнул им и задремал опять, впрочем и сквозь дрему не переставая быть бдительным: долголетняя привычка трактирщика. На улице накрапывал мелкий зимний дождь, вдалеке гудел автомобиль, и по дороге простучала тележка, запряженная парой овчарок. Пустые бидоны из-под молока мягко гудели, когда колесо насакивало на камень. Сбоку на велосипеде мчался худощавый парниш-

ка. Велосипед был велик для него, и, принужденный сидеть вместо седла на раме, он тяжело переваливался с ноги на ногу, чтобы только не отстать от псов.

Усадьба пастора возвышалась над домиками, расположенными здесь, точно корабль в устье деревенской речки. Новая черепица лоснилась от дождя, и флагшток высоко стоял над каменным, высоким крыльцом, оберегая пасторские владенья. Из распахнутых ворот хлева слышны были позвякивания глухих колокольчиков, нежно и тоненько ржал жеребенок, слышно было, как грузно и мерно била подковой лошадь о дубовый пол конюшни.

Роза мыла руки, низко нагнувшись над широким деревянным корытом, в которое была проведена труба. Эрих заканчивал уборку конюшни. Пора уже завтракать, ведь деревенский день начинается рано. В каменном низком сарае, переделанном под барак для рабочих, было темно и сыро, так как с одной стороны окна сильно затенялись еще не опавшей листвой каштана, уже пожелтевшей и даже почерневшей местами; другая же стена опускалась к самдму ручью, протекавшему тут же. Кроме Розы и Эриха, здесь жил еще пчеловод, высокий, усатый старик, с неестественно широкими плечами и круглой грудью, его жена—птичница — и молодой Курт, бывший на побегушках у пасторской семьи.

Курт уже расставил миски, и теперь только ожидали Розу и Эриха. Они вошли в помещение вместе с двумя городскими и Феликсом от Панкова. Феликс был здесь в роде как своим человеком, ему молча кивнули, старик-пчеловод безучастно спросил о погоде и о том, не слышно ли чего нового, и придвинул к себе свою миску, куда было щедро наложено зеленого луку, приправленного простоквашей.

— Не очень-то роскошно, — скептически произнес Феликс, косясь в миску. — Как везде, — с прежней апатией отозвался пчеловод.

— Да, это так.

Эрих был невысоким, коренастым человеком, и военная выправка давала се-

бя знать в нем. Он шагал, точно ожидая сзади команды, после которой он должен будет сделать нечто в роде «кругом-марш». Он и сидел-то настороженно, не поворачивая головы, не нагибаясь над столом, а только опустив в тарелку глаза. Волосы Эриха были совершенно белы, нет, не седы, а именно белы, с легким золотым оттенком, который, пожалуй, и не уловить сразу.

— Правда, сейчас и не жди лучших завтраков,—прервал молчание Феликс, барабанив по столу пальцами. — Как бы не лишиться и этих... — многозначительно добавил он, поглядывая на Эриха.

Эрих молчал, добросовестно жуя пищу. Роза вспыхнула:

— Да, как бы не лишиться и этого, болтая слишком...

— Мы много болтаем, — покорно согласился пчеловод. — Что же касается хозяев, то они были всегда, и тут ты ничего не поделаешь...

Батраки, видимо, стеснялись посторонних, что приехали из города. Эрна переглянулась с Рудольфом, и он подумал про это же.

— Свои... — бесцеремонно сказал Феликс.

Тогда Эрих преобразился, он сдвинул в сторону пустую тарелку, взял кружку, наполненную серым кофе, и сел поудобнее, не в такой деревянной позе.

— Видишь ли, — обратился он к Рудольфу, похлопывая его по коленке. — Я не знаю, тебя, но Феликсу привык верить. Раз мы здесь свои, я могу говорить так, как приказывает моя совесть...

Роза с беспокойством смотрела на мужа. Пчеловод собирал остатки лука, тщательно скользя вилкой по дну миски. Молодой Курт уже разливал кофе для остальных.

— Я был мальчишкой, когда произошла революция в России, я был на фронте под Верденом, мы стояли как раз напротив «Kalte Erde»¹⁾. Западный фронт, как видишь. Ремарк? Я прочел его книжонку, видишь ли, товарищ, это все — глупости. Было в тысячу и один

¹⁾ Один из фортов Вердена.

раз хуже. Но революция в России нас не касалась, ведь мы же — западный фронт. Я только сказал себе: «Надо кончать этот шум и идти по домам, независимо от революции у русских. Человек обязан работать и приносить пользу...» Я был молодой и искал справедливости, а она приказывала мне кончать войну.

Он отхлебнул кофе и опять заглянул в свою тарелку.

— Рассказывать все очень долго... — продолжал он, опустив голову. — Скажу одно: каждый человек имеет право работать и жить не хуже например скотины, которая делает то, что требуется.

Он вдруг вспыхнул и неожиданно вскочил на месте, возбужденно грозя пальцем.

— Я понимаю, когда мы, батраки и нищие, позволяем себе глупости, не умеем сдерживать себя и поддаемся дурацким уговорам, — тяжелая жизнь ожесточила нас!

Пчеловод, как бы соглашаясь с ним, кивал головой, методически и крохотными щепоточками набивая трубку.

— А господин пастор? — вдруг спросил он, когда этого никто не ожидал.

Эрих промолчал и замкнулся опять. Роза успокоенно улыбнулась, поправила выбившийся черный локон и присела на краешек старого, резного стула, стоявшего у самой плиты. Веснушчатое лицо женщины улыбалось, и она тихонько положила руку на локоть мужа.

Через закрытое окно донеслись певучие звуки гармоники, выведившей какой-то религиозный мотив. Его подхватили несколько детских голосов, слов не было слышно.

Эрих заглянул в окно.

— Странно требовать себе жизни, что у нашего пастора: он — ученый человек, я — конюх, потом я — солдат, и вот снова — конюх. Но, может быть, надо отнестись ко мне все же иначе, нежели теперь? По справедливости?

Он почти с ненавистью оглядел помещение и снова принял свою неживую позу.

Феликс молча выжидал, что скажет Эрих далее. Но Эрих решительно встал, подтянула брюки, поправил кашне и су-

нул руки в карманы, зазвенев при этом какой-то мелочью.

— Ты немного выиграешь от таких разговоров, — осторожно, как бы мимоходом, заметил Феликс, внимательно рассматривая олеографию на стене: Фридрих Великий в Сан-Суси. — Ты говорил так всегда, а сколько теперь тебе стали платить перед рождением? Хотя ведь работы не стало меньше. Наоборот! А что тебе сказал пастор, когда ты пообещал пойти в союз?

— Все равно Эриха нельзя уволить, даже если он и пошел бы!

— Прекрасно уволил бы, Роза, поверь... — спокойно возразил Феликс, косясь в сторону женщины. Она выпыхнула опять и стала рядом с мужем. — Справедливо не то, что нравится тебе, а то, что хорошо для большинства. Этого пока еще нет, стало быть, справедливости пока еще нет и пока не будет.

Эрих возбужденно шагнул к гостям, старик-пчеловод, осторожно прикрывая трубочку темной ладонью, пускал дым в сторону и незаметно косился на дверь. Роза дотронулась до плеча Эриха.

— Ты оставь, успокойся.

— И это говорит коммунист? — даже задрожал Эрих. — Нет, она есть, но только ее забыли, только ее забыли мы все!

— Мы-то как-раз помним, но ты спроси пастора...

— Что такое спросить пастора, Феликс? — раздался звучный голос от входа. Эрна обернулась: в дверях стоял тот господин, что давеча ехал в омнибусе. — О чем вы хотели спросить меня, Эрих? Не бойтесь же, дружок...

Он похлопал Эриха по плечу, приветливо поздоровался со всеми и присел на стул!

— Садись и ты, Роза, — он потянул женщину за рукав. — Вы сегодня отдыхаете, Феликс?

— Воскресенье, — неопределенно ответил Отт.

— Это верно. А вы, Иоганнес, опять курите? Разве вам неизвестно правило, что пчелы не любят табачного запаха. Возможно, это предрассудок, но ведь я просил вас считаться со мною. Понимаете, господа... — обратился он к Эр-

не, смотря на нее тем же откровенным, смеющимся взглядом, что и там, в автобусе. — У меня условие: за нарушение правила я делаю при выдаче жалованья десять процентов скидки. Мне жаль старого Иоганнеса, но придется эту скидку делать три месяца под ряд.

— Это неправильно! — вырвалось у Эрны.

— Вы молоды, фрейлейн, — нельзя судить эмоционально. Людей воспитывает только система...

Он встал и направился к выходу, но в дверях остановился и оглядел всю компанию.

— А вас, Феликс, я попрошу больше не заходить к моим рабочим. Эти господа—с вами? Может быть, они не откажутся зайти ко мне? Ну, дорогой Феликс...

Эрих отвернулся от окна и яростно зазвенел мелочью в карманах.

— Господин пастор!

— Эрих, я не узнаю вас. С каких пор вы стали вмешиваться в чужие разговоры?

— Господин пастор!

— Эрих, мне очень не хочется лишать вас работы...

Эрих мгновенно задохся, молча обогнул пастора, поклонился ему и выскочил на двор. Роза медленно, потупив глаза, вышла за ним, и сразу за дверью послышалась ее приглушенное рыдание. Феликс прошелся из угла в угол.

— Господин пастор... — бледнее и дрожа от бессильного возбуждения, заговорила Эрна. — Вы понимаете, мы намерены...

Рудольф коснулся ее локтя и успокаивающе улыбнулся. Пастор посторонился, пропуская ее, но Феликса и Рудольфа остановил.

— Феликс, кто эти господа?

Эрна из-за пасторской спины промком и зло звала Рудольфа, но пастор плотно загородил собою узкий вход.

Пастор повторил свой вопрос.

— Прошу пропустить, господин пастор! — крикнул Феликс, решительно отводя руку пастора и пробираясь к двери.

Пастор еще раз повторил свой вопрос и шире расставил ноги, как бы готовясь

встретить грудью каждого, кто решится пробиться наружу.

Сзади были слышны негромкое ворчание Эриха, голос Розы, которая успокаивала его, прежняя мелодия на гармонике и детские голоса.

Вдруг пчеловод вышел из-за стола, сделал несколько шагов к хозяину и переложил шляпу из руки в руку.

— Пусть господин пастор извинит меня, стариковская слабость, все же могу присягнуть, что я в последний раз взял эту проклятую трубку...

— Очень хорошо... — улыбнулся пастор. — В конце концов для вашей же пользы...

— Так что пусть господин пастор извинит меня...

— Я не сержусь, Иоганнес!

— И те десять процентов...

— Какие пустяки, Иоганнес, нет, я не привык отменять своих решений.

— В таком случае, господин пастор... Позвольте пройти, господин пастор.

— Нет, вы останьтесь, Иоганнес, и расскажите, о чем здесь шел разговор.

Старик молча вытер красным платком глаза, совершенно сухие, желтые глаза, и отошел в свой угол.

Феликс пристально смотрел на пастора, а тот стоял в прежней своей позе, слегка отставив локти в стороны, выжидающе приглядываясь к находившимся в помещении, прямо завоеватель на костях покоренных народов. Рудольф сидел на старом стуле, тихонько покачивая ногой, обутой в поношенные ботинки.

— Вы не имеете права задерживать меня... — сказал он наконец, как человек, прибегающий к последнему средству.

Сюда снова скользнула Эрна и с удивлением оглядела всю картину.

— Руди, автобус отходит через семь минут!

— Я попрошу вас зайти на секунду ко мне... — посторонился пастор, гостеприимно уступая дорогу.

Эрна и Рудольф переглянулись: «Что бы это могло значить?»

Хозяин уже шагал, не оглядываясь, к дому. Он поймал на крыльце Курта (ну, того, что на побегушках) и что-то

шепнул ему. Мальчишка сорвался с места и помчался к воротам.

Пастор провел гостей через всю нижнюю половину дома к себе в кабинет. Они проходили светлыми, чистенькими комнатами. В одной из них белобрысый мальчик красил скамеечку для ног, в следующей — тихонькая девушка переписывала на пишущей машинке какие-то тексты из толстой книжки в кожаном переплете.

Кабинет пастора был невелик, выкрашен в голубой цвет, и вся мебель была покрыта этой же небесной краской. Окно, выходящее на ручей, густо заросший в этом месте осокой, было сплошь завалено разными книгами, среди которых преобладала беллетристика. В простенке, направо от входа, была повешена большая фотография: молодой студент, лицом поразительно напоминавший хозяина, дежит в руке рапиру и в другой — бокал пива, а внизу на гвоздике висели крохотная корпорантская шапочка, голубая лента с полуслинявшей надписью и рапира, повидимому, та самая, что была в руках студента.

Телефон одиноко стоял на столе. Портсигар с одной единственной папиросой лежал около. Другое окно было свободно от всего, и на нем, привешенные к переплету рамы, висели два цветных на стекле изображения: распятие и тайная вечеря.

Громадный дог ворчал под голубым письменным столом, постукивая тяжелой своей лапой.

Вскоре пришел полицейский, а из-за его спины осторожно посматривал Курт-Гейнрих Панков. Он был в серой, затасканной жилетке, в деревянных башмаках, видимо, его оторвали от какого-то дела. Старик своим единственным глазом оглядел всех в комнате, поскреб небритый свой подбородок и боком вошел в кабинет.

— Меня можно извинить... — резко заговорил он, здороваясь с хозяином. — Я принужден сам доканчивать чужую работу... — он указал глазами на Феликса. — Я — из тех хозяев, кто еще продолжает считаться с лентяями. Что ж поделывать, господин пастор, такие теперь времена!

Эрне стало смешно, и она с трудом удержалась от широкой улыбки. Полицейский шептался с пастором, который сидел на краю стола и легонько пощелкивал стэком по стене.

Потом полицейский положил на стол портфель, раскрыл его и достал громадную записную книжку.

— Итак, Феликс, кто же эти господа? — снова спросил пастор, указывая глазами на Эрну. — Можете записать, что господин Феликс Отт отказывается сообщить, кто эти господа, приведенные им в служебное помещение моей усадьбы...

Саксонская Швейцария, Поссендорф.

Ноябрь 1931 г. — декабрь 1932 г.

(Окончание следует).

Человеческая комедия¹⁾

(По Бальзаку)

П. СУХОТИН

Пьеса в 5 актах, 12 картинах и 5 интермедиях

Действие происходит в Париже в начале XIX века, 30 лет спустя после революции, в правление короля Людовика XVIII.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ЭЖЕН ДЕ-РАСТИНЬЯК и **ЛЮСЬЕН ШАРДОН** — молодые люди, родом из Ангулема, обедневшие дворяне, студенты Сорбонны.

ЖАК КОЛЕН — каторжник, по прозвищу Бессмертный, бежавший с Тулонских галер и скрывающийся под именем Вотрена и Карлоса Эррера.

БАРОН НЮСЕНЖАН — миллионер, владелец банкирского дома в Париже.

ДЕЛЬФИНА НЮСЕНЖАН — жена барона.
ВИКОНТЕССА ДЕ-БОСЕАН — кузина де-Растиньяка.

ГРАФ ДЕ-СЕРИЗИ — вице-председатель государственного совета.

ЛЕОНТИНА ДЕ-СЕРИЗИ — его жена.

ГЕРЦОГ ДЕ-ШОЛЬЕ — королевский секретарь.

ГРАФ ДЕ-ГРАНВИЛЬ — генерал-прокурор.

ФИНО — редактор и владелец газеты.

ЛЮСТО и ВИНЬОН — журналисты.

ГОНДЮРО — начальник сыскальной полиции.

МАТИФА — купец-москательщик.

КОРАЛИ, ФЛОРИНА и ФЛОРВИЛЬ — артистки театра.

ДИРЕКТОР ТЕАТРА.

ВОКЕ — содержательница пансиона в улице Нев-Сен-Женевьев, пожилая, но молодится.

МИШОНО — старая дева, сухая и безобразная.

ВИКТОРИНА ТАЙЛЬФЕР — молодая де-

вушка, дочь богатого банкира Тайльфера, изгнанная им из дому.

КУТЮР — пожилая дама, тетка, благодетельница Викторины.

ПУАРЁ — наполеоновский интендантский чиновник.

БИАНШОН — студент-медик.

ЛЕОНАРДИССИМО — художник.

ЖАКЛИНА КОЛЕН — тетка Жака Колена.

Д'АРТЕЗ — писатель-республиканец.

ДОКТОР.

ЖУРНАЛИСТ, роялист.

ЖОЗЕФИНА — камеристка де-Серизи.

ПОРТНОЙ.

БУРЖУА.

ЛАВОЧНИК 1-й.

ЛАВОЧНИК 2-й.

ДАМА.

СЛУГА Носенжана.

ИГРОК 1-й.

ИГРОК 2-й.

СЛУГА игорного дома.

НИЩИЙ-СКРИПАЧ, лжеслепой.

НИЩИЙ.

СПЛЕТНИЦА.

СТАРИК — бывший префект.

ЛАШАПЕЛЬ — агент полиции.

САДОВНИК виконтессы де-Босеан.

ЛАКЕЙ Тайльфера.

МУЗЫКАНТ.

ЖАНДАРМЫ.

ТОЛПА.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

(Садик у пансиона Вокке. Утро. Кристоф метет ступени. Растиньяк читает книжку, прогуливаясь по дорожке, ему навстречу идет Тайльфер.)

РАСТИНЬЯК. Вы сегодня рано встали, мадемуазель Викторина.

ВИКТОРИНА. Мы сегодня с тетушкой Кутюр говеем в Сент-Этьен-дю-Мон.

¹⁾ Печатающаяся здесь пьеса представляет собой литературную редакцию. В театре

им. Вахтангова она готовится к постановке по иному сценарию.—А в т о р.

РАСТИНЬЯК. Вы так часто говоете, что вам, по-моему, уже не в чем каяться.

ВИКТОРИНА. Да. Я постоянна в своих мыслях и чувствах также...

РАСТИНЬЯК. Мадемуазель, вы твердо уверены в вашем сердце, но можете ли вы сказать, что оно останется таким же, если вы завтра разбогатеете?

ВИКТОРИНА. Никогда, никогда не изменится.

РАСТИНЬЯК. И вы, продолжали бы любить... ну, какого-нибудь бедного и несчастного юношу?

ВИКТОРИНА. Разумеется... Только несчастного и бедного...

(Из пансиона выходит Кутюр.)

КУТЮР (Викторине). Дитя мое, нам надо торопиться... Доброе утро, господин де-Растиньяк.

РАСТИНЬЯК. Доброе утро, мадам Кутюр.

(Викторина и Кутюр уходят.)

КРИСТОФ (таинственно Растиньяку). Господин де-Растиньяк, у нас на улице спрашивал меня один мужчина: «Не у вас ли живет этакий, который красит бакенбарды?» Это про Вотрена. А я говорю, к чему бы ему красить бакенбарды, когда он такой весельчак? Я конечно расказал Вотрену, и он посмеялся: «Так, мол, и всегда отвечай, ничего не может быть неприятнее, когда знают наши слабости, из-за этого может расстроиться иная свадьба...» Скажите, разве он задумал жениться?

(Входит Люсьен с вещами.)

РАСТИНЬЯК. Я не знаю, что думает ваш Вотрен.

ЛЮСЬЕН. Кристоф, наймите мне фиакр на улицу Бонди и передайте вашей хозяйке, что я приду вечером, чтобы рассчитаться с ней за пансион и мой чердак.

КРИСТОФ. Мадам Воке очень жалеет, что вы уезжаете, а я говорю: «Что же ему жить у нас, когда он стал так много получать денег?»

ЛЮСЬЕН. Да, старик, сборник моих стихотворений «Маргаритки» я продал за две тысячи франков. Недурно?

КРИСТОФ. Какие деньги! *(Смущенно указывая на два узелка Люсьена.)* Это все ваши вещи?

ЛЮСЬЕН. Да, и рукописи... главным образом рукописи... скорей же, фиакр! *(Кристоф уходит.)* Эжен, что ты думаешь делать, мой друг?

(Садятся на скамью.)

РАСТИНЬЯК. То же, что и сегодня, Люсьен: пить по утрам жиденький кофе мадам Воке и постигать юридические науки. Я ведь — студент, и больше ничего, а ты — поэт, талант, журналист!..

ЛЮСЬЕН. Ведьмы нашептывали Макбету: «Будь королем, будь королем», а мне чей-то голос всегда твердил: «Будь журналистом, будь журналистом». Однако я не думаю бросать науки и буду посещать Сорбонну, хотя журнальная работа требует много времени. Утром я пишу, потом посещаю редакции либеральных газет, потом — обед с журналистами, и незаметно, как подойдет вечер, и уже пора в театр. Я пишу о театре. Но больше всего мне удаются характеристики современных людей. Сегодня утром я набросал кое-что... Вот, послушай: «Красавец времен империи всегда бывает тонкий и длинный мужчина, недурно сохранившийся. Он носит корсет, и у него крест Почетного легиона. Зовут его что-то в роде Потлэ. Пролезая ко двору короля, имперский барон прибавил к своей фамилии частицу «дю», он теперь дю-Потлэ, а в случае революции он снова превратится в Потлэ. Тщательно скрывая, что его отец и сам он когда-то торговали в парфюмерной лавке, барон танцует на балах и волочится за длинными хвостами поблекших красавиц Сен-Жерменского предместья...» Это будет статья под заглавием «Бывший красавец». Как тебе нравится?

РАСТИНЬЯК. У тебя легкое перо.

ЛЮСЬЕН. А почему бы тебе не попробовать своих сил на литературном поприще?

РАСТИНЬЯК. Я не собираюсь, как ты, чеканить монету чернильницей.

ЛЮСЬЕН. Конечно, слава недешево дается. Надо много выстрадать, пока станешь великим.

РАСТИНЬЯК. Что же, и ты много страдал, прежде чем начать писать свои статейки?

ЛЮСЬЕН. Я испытал муки творчества. Что может быть сильнее этих мук! Но зато какое блаженство, когда достигаешь царственной сферы, где правят высокие умы.

РАСТИНЬЯК. Твой путь меня не соблазняет.

ЛЮСЬЕН. Ты мне завидуешь.

РАСТИНЬЯК. Ни капли. Я не знаю, чей путь вернее: твой или такого человека, который бережет ваксу и красит сапоги чернилами, а из перьев делает себе зубочистки, чтобы, выходя из кафе Фликоного голодным, делать вид, что он хорошо пообедал, а сам в это время мечтает о месте судебного писаря.

ЛЮСЬЕН. Однако ты сам этого не делаешь и предпочитаешь брать у своих сестер их жалкие сбережения, чтобы шить себе хороший костюм...

РАСТИНЬЯК. Этот костюм дал мне возможность бывать в салоне моей кузины виконтессы де-Босеан.

ЛЮСЬЕН. Я презираю этот знатный мир, он мне нанес неизгладимые обиды.

РАСТИНЬЯК. Не потому ли, что Люсьен Шардон незаконно, без воли короля присвоил себе девичью фамилию и титул матери знатного дома де-Рюбанпрэ.

ЛЮСЬЕН. Я добьюсь того, что имя Люсьена Шардона прогремит по всей Франции.

РАСТИНЬЯК. С либералами ты ничего не добьешься. Разве они свергнут правительство короля? Никогда! Ты доказал, что ты человек остроумный, так стань же благоразумным и переходи в лагерь роялистов. Реставрация кончит тем, что обуздает печатъ. Либералы никогда не возведут тебя в графы, а через несколько лет титул во Франции будет более верным богатством, чем талант. Ты был либералом и с выгодой можешь продать свое перо роялистам.

ЛЮСЬЕН. Никогда. Люсьен Шардон верен своей партии, которая увенчала его голову славой, чему ты можешь быть свидетелем. Скоро меня будут чест-

вовать мои редакторы и журналисты. Я хочу, чтобы и ты был там.

РАСТИНЬЯК. Предупреди, и я буду.

КРИСТОФ (входя). Фиакр вас ждет на углу.

ЛЮСЬЕН. Кристоф, отнесите мои вещи. (Обратившись к дому.) Прощай, мой бедный чердак, свидетель головокружительных мечтаний и надежд! Прощай, мой чердак, прощай навсегда! (Растиньяку.) Мой друг, до свиданья!

РАСТИНЬЯК. До свиданья, Люсьен.

(Люсьен и Кристоф уходят. Пуаре и Мишоно возвращаются с прогулки.)

ПУАРЕ (Мишоно). Какой удивительный порядок у нас во Франции. А! Растиньяк! Вы вышли подышать свежим воздухом после своих юридических наук.

РАСТИНЬЯК (Мишоно). Вы сегодня прекрасно выглядите, мадемуазель Мишоно.

МИШОНО. Вы вчера были так прекрасно одеты, господин де-Растиньяк.

РАСТИНЬЯК. Я танцевал на балу у де-Карильяно со своей кузиной де-Босеан.

МИШОНО. И с этого пышного бала вы вернулись, кажется, пешком?

РАСТИНЬЯК. Я люблю дышать свежим воздухом, мадемуазель Мишоно.

(За решеткой появляется Гондюро, он одет, как рантье.)

ПУАРЕ (Мишоно). Мадемуазель, вам кланяется тот милый господин рантье с улицы Бюффона, идемте к нему...

МИШОНО (оправляя шаль). Он меня положительно преследует...

(Пуаре и Мишоно уходят. Растиньяк в задумчивости ковыряет фонтанному амуру глаз. Вотрен подходит к нему сзади и кладет руку на спину. Растиньяк испуганно оборачивается.)

РАСТИНЬЯК. А! Вотрен!

ВОТРЕН (смеясь). Ну, когда же я вам докажу, что я на тридцать шагов попадаю пулей в шикового туза?

РАСТИНЬЯК. Вы только этим и занимаетесь?

ВОТРЕН. А, вам хочется знать, чем я занимаюсь? Тем, что мне нравится. Я добр, когда мне делают добро, но, чорт возьми, я зол, как дьявол, с теми, кто мне не по нраву, и надо сказать, что для меня убить человека — все равно, что плюнуть. *(Плюет и смеется.)*

РАСТИНЬЯК. У вас неприятный смех.

ВОТРЕН. Вы бываете на балах у виконтессы де-Босеан, а сами продолжаете жить в этом поганом пансионе мадам Воке...

РАСТИНЬЯК. Там же, где и вы...

ВОТРЕН. По вашему размаху вам много надо иметь.

РАСТИНЬЯК. У всякого свой аппетит.

ВОТРЕН. Аппетит у вас, как у волка, и клыки острые, но вы не с того начинаете. Послушайте, хотите иметь миллион?

РАСТИНЬЯК *(смущенно)*. Я изучу юриспруденцию и сделаю карьеру...

ВОТРЕН. Да знаете ли вы, как делается карьера? Надо ворваться в толпу, как пушечное ядро, или же втереться в нее, как чума. Гении и таланты редки, в силе одна только безнравственность.

РАСТИНЬЯК. Вот это и возмутительно.

ВОТРЕН. Послушайте-ка, у меня есть план. План мой заключается в том, чтобы начать добродетельную жизнь где-нибудь в большом имении в Соединенных Штатах. У меня пятьдесят тысяч франков. На это я могу купить соток негров, мне же надо двести тысяч, то-есть двести негров. С этим черным капиталом я наживу четыре миллиона, и тогда уж у меня никто не спросит: кто я? Я — месье Четыре Миллиона, гражданин Северо-Американских Штатов. Короче говоря, если я добуду вам девицу с приданным в миллион, вы дадите мне двести тысяч франков? Двадцать процентов комиссии, а? Право, недорого.

РАСТИНЬЯК. Что же мне для этого надо сделать?

ВОТРЕН. Почти ничего. Видите ли, сердце бедной, несчастной девушки, все

равно как губка, жадно вбирает в себя любовь и расширяется, чтобы не обронить ни одной капли чувства... Будут у нее миллионы, и она бросит их к вашим ногам.

РАСТИНЬЯК. Где же такая девушка?

ВОТРЕН. Еще один подобный вопрос, и мы пойдем друг друга. Викторина, она — к вашим услугам.

РАСТИНЬЯК. Как! Мадемуазель Викторина? У нее же нет ничего.

ВОТРЕН. Мы дошли до главного. Ее отец — Тайльфер — старый плут. У него единственный сын, и он хочет передать ему все свое состояние, обобрав Викторину, но если провидению угодно будет отнять у него сына...

РАСТИНЬЯК. При чем же здесь я?

ВОТРЕН. Я беру на себя роль провиденья. У меня есть друг, который мне предан. Этот бывший вояка луарской армии, а теперь полковник королевской гвардии, распял бы Христа, если бы ему приказали... Принципов нет, есть только факты, нет законов, есть только обстоятельство.

РАСТИНЬЯК. К чему вы все это говорите?

ВОТРЕН. Достаточно слова Вотрена, и он затеет ссору с негодяем — сыном Тайльфера... *(Принимает позу дуэлянта на шпагах.)* Раз... два... и конец!

РАСТИНЬЯК. Какой ужас! Да вы шутите, Вотрен?

ВОТРЕН. Побольше спокойствия. Будет день, когда вы поступите хуже. Друг мой, презирайте людей и имейте всегда выход из сетей свода законов. Тайна всех громадных состояний — есть преступление, которое хорошо забыто, потому что искусно совершено...

РАСТИНЬЯК. Замолчите, я не хочу вас больше слушать. Вы меня пугаете... Я даже начинаю бояться сам себя... Но я еще владею всем своим существом...

ВОТРЕН. Как угодно, милый мой мальчик. Я считал вас за более сильного. Я молчу. Хотя нет! Одно слово: вы теперь владеете моей тайной.

РАСТИНЬЯК. Тот, кто вам отказывает, сумеет ее забыть.

ВОТРЕН. Сказано здорово! Я рад. Но запомните навсегда, что я хотел сделать для вас.

РАСТИНЬЯК. Зачем?

ВОТРЕН. Даю вам две недели срока на размышление: или да, или нет.

(Вотрен удаляется в пансион и напевает.)

Хороша моя Фаншетта
В простоте своей...

(Занавес опускается, на просцениуме с одной стороны появляется Мишоно, а за ней Гондюро, с другой — Пуаре.)

ГОНДЮРО. Мадемуазель, не понимаю, почему вы церемонитесь? Господий министр полиции...

ПУАРЕ. Ах, министр! *(Мишоно.)* Вы слышите?

МИШОНО. Разумеется, слышу.

ГОНДЮРО. Именно министр уверен, что этот Вотрен — каторжник, бежавший из Тулона, под именем Бессмертный...

ПУАРЕ. А, Бессмертный!

МИШОНО. Но если министр уверен...

ГОНДЮРО. Уверенности нет, есть подозренье... Жак Колен, прозванный Бессмертным, хитер: под именем Вотрена он считается почтенным человеком, у него большие дела.

ПУАРЕ. Я давно об этом догадался...

ГОНДЮРО. Если министр ошибется, то вооружит против себя коммерческий Париж и общественное мнение. Одна ошибка — и либералы зашумят.

ПУАРЕ. Что же вам нужно?

МИШОНО. Если вам нужна хорошенькая женщина, то я меньше двух тысяч не возьму...

ГОНДЮРО. Нужно вот... *(Указывает пузырек.)* Влить в вино или кофе, тогда кровь ударит в голову, и обморок... Сейчас же снимите с него рубашку, хлопните по плечу, и должно выступить клеймо каторжника... Согласны?

МИШОНО. А если не будет клейма?

ГОНДЮРО. Тогда только пятьсот франков...

МИШОНО. Но у меня пострадает совесть...

ПУАРЕ. У мадемуазель главное — совесть...

ГОНДЮРО. Идет: две тысячи...

МИШОНО *(передает пузырек Пуаре)*. Мне еще надо посоветоваться с моим духовником...

(Мишоно и Пуаре удаляются.)

ГОНДЮРО. Какая тонкая штучка. *(Исчезает.)*

(Темнота. Звуки фортепиано. Столовая в пансионе Воке. Викторина играет. Кутюр и Воке у камина за вязаньем напульсников. Растиньяк громко повествует.)

РАСТИНЬЯК. Вчера я был со своей кузиной виконтессой де-Босеан на балу у де-Карильяно. Великолепный дом, стены обиты шелковой материей... Пир был на славу...

ВОКЕ. Шелковой материей...

КУТЮР. Это благородно.

РАСТИНЬЯК. Я танцевал с одной из самых красивых женщин. Восхитительное, очаровательное создание. На голове у нее были персиковые цветы, сбоку у пояса был приколот букет. Он благоухал. Это была Дельфина Нюсенжан, жена богатейшего банкира барона Нюсенжана. Я сегодня зван к ней на вечер. Да, но сердце мое еще остается верным другому имени... *(Подходит к фортепиано. Викторина смущенно потупляется и перестает играть. Растиньяк разглядывает на стене портрет Наполеона.)* Гляжу и думаю: о, это целая поэма пламенной меланхолии, непрестанного честолюбия, скрытой деятельности. Поглядите: в ней вы увидите гений и скромность, хитрость и величие. Если бы здесь и не стояло имени Бонапарта, вы бы все равно от него не оторвали глаз. И вот наступил нынешний 1820 год, и его уж нет, он — в могиле изгнанника. Эту дату каждый француз должен вписать в своем сердце рядом с именем возлюбленной.

ВИКТОРИНА. У вас оно есть?

РАСТИНЬЯК. Я не смею его произнести... вам...

ВОКЕ. Что вы там какие глупости городите. У нас король — и слава богу.

ВОТРЕН (*вдруг появляясь в дверях, поет*):

Изъездил я весь белый свет...

ВОКЕ и **КУТЮР**. Ах, как вы меня напугали!

ВОТРЕН (*поет*):

И не был никогда один,
Любил блондинок, как брюнет,
Любил брюнеток, как блондин

(*Кутюр.*) Я уверен, мадам, что Эжен де-Растиньяк признался вашей племяннице в неземной любви.

РАСТИНЬЯК. Я мог бы выбрать себе невесту и похуже.

КУТЮР. Прошу, господа, без шуток. (*Викторине.*) Дитя мое, пойдем на минутку к нам, я что-то хочу тебе сказать. (*Уводит Викторину.*)

(*Воке, увидав, что Кристоф вносит пирожки, выталкивает его в кухню.*)

ВОКЕ. Пирожки только к празднику... Сколько раз я говорила. (*Уходит ва Кристофом.*)

ВОТРЕН (*Растиньяку*). Есть чертовски хороший выпад шпагой: вверх, а потом прямо в лоб противника, вот этак. (*Смеется.*) Все идет, как по маслу.

РАСТИНЬЯК. Но я вам не сообщник...

(*Входят Воке и Кристоф.*)

ВОТРЕН. Понимаю, у вас еще осталось несколько пеленок добродетели. (*Кристоф звонит.*) Эй, воронал! Подайка несколько бутылочек моего бордоского! (*Поет.*)

Хороша моя Фаншетта
В простоте своей..

(*Входят Пуаре, Мишоно, Бианшон, Леонардиссимо, Кутюр, Викторина и садятся за стол.*)

ВОКЕ. Вотрен, вы сегодня веселы, как птичка.

ВОТРЕН. Я всегда весел, когда сделаю хорошенькое дельце. Мадемуазель Мишоно, что вы смотрите на меня таким лягавым взором. Если вам не нравится, я могу переделать свою физиономию.

ЛЕОНАРДИССИМО. Ради бога не надо, я с вас собираюсь рисовать голову Геркулеса.

ВОТРЕН. Нет, уж вы лучше с мадемуазель Мишоно, господин маэстро Леонардо Леонардиссимо, изобразите Венеру с кладбища Пэр-Лашез.

МИШОНО. Вы сегодня все шутите.

БИАНШОН. А с Пуаре — бога садов. Пуаре — просто груша.

ПУАРЕ. Бианшон, вы еще студент, вы еще молоды, чтобы шутить надо мной.

КРИСТОФ (*с бутылками*). Вот, пожалуйстае... (*Вотрену.*) Приятный вы господин...

ВОТРЕН. А старик по дороге хлопнул.

(*Пьют.*)

ВОКЕ. Вы сегодня раскутились, Вотрен.

ЛЕОНАРДИССИМО (*наточивая нож об нож*). Точить ножи! Посуду чинить! Мошь выводить!

БИАНШОН. Зонтики хорошие! Зонтики! (*Смех.*)

ВОТРЕН. Ну, дорогая мамаша Воке, шампанского!

ВОКЕ. Еще чего выдумали! Бутылка — шесть франков. Я могу подать только черносмородиновфй.

БИАНШОН. Господа, как медик, предупреждаю: эта настойка действует, как ремень.

РАСТИНЬЯК. Замолчи, пожалуйста. Меня тошнит при этом слове. Давайте шампанского, я плачу.

ВОТРЕН. Ого! В вас поселился мой дух, — небольшая, но светлая для него квартирка. Мадам Кутюр, там, кажется, найдется комнатка для невинной девушки.

КУТЮР (*Викторине*). Дитя мое, тебе нужен покой, и на ночь вредно кушать.

ВИКТОРИНА (*складывая салфетку и всем кланяясь*). Доброй ночи.

ВОТРЕН (*поет*):

Дай, любовь, тебя обнять,
Спи, а я не буду спать..
Солнце красное пригреет,
Глядь — и яблочко созреет

(*Входит лакей Тайльфера.*)

ЛАКЕЙ. Скажите, здесь проживает Викторина Тайльфер?

ВИКТОРИНА. Да, это я, Тайльфер.
КУТЮР. Это она, Викторина Тайльфер.

ЛАКЕЙ. Мадемуазель, вас просит к себе господин Тайльфер. Ваш брат смертельно ранен на дуэли.

ВИКТОРИНА. Наш Фредерик? Боже мой!

БИАНШОН. Интересно, куда он ранен?

ЛАКЕЙ. Ранен вот сюда—в лоб.

ВОТРЕН. Как жаль! Бедный молодой человек!

ВИКТОРИНА (*мечется, отыскивая свою шляпу*). Боже мой! Наш Фредерик.

КУТЮР. Я с тобой, дитя мое...

(*Викторина и Кутюр, наспех одевшись, уходят за лакеем.*)

ВОТРЕН (*Растиньяку*). Представьте, прямо в лоб. Это, кажется, опасно.

РАСТИНЬЯК. Послушайте!

ВОТРЕН. А впрочем, в Париже дерутся каждый день.

МИШОНО. Подумайте, мадам Воке, какая удача для Викторины.

ПУАРЕ. Она теперь—единственная наследница.

ВОКЕ (*Мишоно*). Скажите лучше, что месье Эжен знает, где зимуют раки.

РАСТИНЬЯК (*откинув стул*). Мадам Воке, я никогда не женюсь на мадемуазель Викторине. (*Отходит к фортепиано.*)

ВОТРЕН (*поет*):

Я полюбил, но не женюсь,
Но я женюсь, хоть не люблю,

(*Растиньяк машинально берет несколько нот на фортепиано.*)

ВОТРЕН. Уж если я заразил всех музыкой, не станцовать ли нам менуэт? С мадам Воке?

РАСТИНЬЯК. На самом деле, чего нам грустить? Я например даже не знал, что у мадемуазель Викторины есть брат.

ВОКЕ (*проходя мимо Мишоно*). Уж не имеет ли на меня виды господин Вотрен...

(*Растиньяк играет. Вотрен и Воке танцуют.*)

ВОТРЕН (*театрально отблагодарив Воке*). Эй, Кристоф! Ворона! Еще вина!

ПУАРЕ. Смотрите, месье Вотрен, осторожно. С вами вчера от вина случился обморок.

МИШОНО. Ну, да, да... я еле сумела расстегнуть ворот вашей сорочки...

ВОТРЕН. Однако я сегодня здоров, как бык. Курносая еще нескоро меня одолеет.

БИАНШОН (*запьянев*). А я-то ломал голову, о каком это человеке шепталась Мишоно с господином Пуаре... О каком-то Бессмертном... Поздравляю вас, Вотрен, с новой кличкой.

(*Пауза. Вотрен в упор смотрит на Мишоно.*)

ВОТРЕН. Старая ведьма...

ВОКЕ. Что с вами, Вотрен?

(*Внезапно появляется Гондюро, Лашапель и два жандарма, они набрасываются на Вотрена и хватают его.*)

ГОНДЮРО. Именем закона и по указу короля...

(*Гондюро срывает с Вотрена парик.*)

ВОТРЕН (*Гондюро*). Ты сегодня не очень вежлив. (*Жандармам.*) Тогда давайте и наручники. (*Протягивает руки.*) Свидетели, помните: я не соприкасаясь.

ГОНДЮРО. Ты всегда ловко увертываешься от пильотины. Мадам Воке, пройдите в его комнату.

ВОКЕ (*уходя*). Боже! А я ходила в театр с этим негодяем!

(*Воке, Гондюро и Лашапель уходят.*)

ВОТРЕН (*вдогонку Воке*). Эх ты, госпожа мразь! (*Оглянув всех.*) Все тут исчады гнилого общества. На моих плечах меньше грязи, чем в ваших сердцах. Сколько ты взяла, Мишонетка? Как-нибудь тысячу эю. Я стою дороже, прогнившая Нинона, помпадурша в отребьях, кладбищенская Венера! (*Растиньяку.*) Не смущайтесь. Я свое возьму. У меня десять тысяч братьев, ради меня они готовы на все. А все потому (*ударяет в грудь*), что здесь чертовски много огня! (*Мишоно.*) На меня смотрят с ужасом, а на тебя с отвращением,—вот твоя награда! Я честнее всех,

я восстал против глубоких неправд общественного договора, как сказал мой славный учитель Жан-Жак, и вот один против правительства со всеми его трибуналами, жандармами, бюджетами и... решительно на все плюю! (*Растиньяку.*) Мой ангел, наш договор остается в силе. (*Поет.*)

Хороша моя Фаншетта..

На всякий случай я оставил вам друга. Придет беда — обратитесь к нему. (*Делает дуэльный выпад.*) Раз! Два! (*Входят Гондюро и Лашапель.*) Ну, что? Птички вылетели вчера из своего гнездышка? Коммерческие книги мои (*ударяет по лбу*) — здесь!

ГОНДЮРО. Лашапель пишите протокол.

ВОТРЕН (*Растиньяку*). Помните, мой друг, деньги—это добродетель. (*Обернувшись к столу, где Лашапель разложил свои бумаги.*) Эй, кум палача, пиши: каторжник, Жак Колен...

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

(*Зрительный зал. При открытии занавеса на сцене темно, и слышны аплодисменты.*)

КРИКИ: Корали! Bravo! Брависсимо!.. Флорина! Бис! Брависсимо!..

(*В партере: директор, Фино, Люсто, Люсьен.*)

ДИРЕКТОР. Хвала богам, первый акт прошел благополучно.

ФИНО (*директору*). Как вы думаете, господин директор, будет вам эта пьеса давать сборы?

ДИРЕКТОР. Сегодня все зависит от Корали и Флорины. Они прелестны, у них очень коротенькие юбки, они танцуют испанские пляски... Могу заработать сто тысяч экю, если вы, господин редактор, пустите сочувственные статьи.

ФИНО. Это будет только полууспехом.

ДИРЕКТОР. Правда, три соседних театра устроили «кабаль» и будут свистать, но я принял меры. Я заплатил клякерам, и они будут свистать неумело.

А покровители Корали и Флорины, два богатых негоцианта, скупили по сто билетов и роздали своим знакомым буржуа и лавочникам...

ФИНО. Двести билетов! Это—щедро...

ДИРЕКТОР. Будь у меня еще две такие артистки с такими же содержателями, я бы выпутался из долгов. (*Указывая в партер.*) Вон, вон идет главный клякер и его армия...

ЛЮСТО (*Люсьену*). Вот римляне. Вот слава актеров и драматических писателей! Вблизи она не особенно хороша.

ЛЮСЬЕН. Я вижу поэзию в грязи.

ЛЮСТО. Э, да ты не расстался еще с мечтаньями, мой милый.

ЛЮСЬЕН. Лучше умереть.

ЛЮСТО. Хуже жить.

ФИНО. Ну, однако я бегу в оперу. Я напишу громовую статью о двух танцовщицах; их покровители—большие аристократы.

ДИРЕКТОР. Что же вы этим выигрываете?

ФИНО. Я потребую от Оперы за вторую, и уже хвалебную, статью подписаться на сто экземпляров моей газеты.

ДИРЕКТОР. Этак вы разорите наши театры.

ФИНО. Вам-то стыдно жаловаться, вы подписались только на десять экземпляров.

ДИРЕКТОР (*берет Фино под руку*). Я на вас не жаляюсь, дорогой мой...

ФИНО. Люсто, ты не поедешь со мной?

ЛЮСТО. Нет, мне нужно набросать маленькую заметку...

ФИНО. После спектакля мы увидимся...

(*В ложе № 1 появляется Растиньяк, в партере—Люсьен.*)

ЛЮСЬЕН (*Растиньяку*). А, Эжен! Не обманул и пришел в театр...

РАСТИНЬЯК. Обещанное я исполню точно.

ЛЮСЬЕН (*указывая на Люсто и Фино*). Этот человек с бакенбардами изрядно потревожил покой пансиона Воке. А как поживает Викторина Тайльфер?

РАСТИНЬЯК. Она молится с утра до ночи и сейчас с тетушкой Кутюр на неделю в монастыре.

ЛЮСЬЕН. Что за причина такому рвению к молитве?

РАСТИНЬЯК. Может быть, у нее нечиста совесть.

ЛЮСЬЕН. У тебя к Викторине серьезные намерения?

РАСТИНЬЯК. Я не собираюсь так рано обременять себя семейственностью... Я хочу жить.

ЛЮСЬЕН. А кто эта прекрасная блондинка, у кого ты в ложе?

РАСТИНЬЯК. Баронесса Нюсенжан.

(В ложу входит Дельфина.)

ЛЮСЬЕН. После спектакля мы увидимся за кулисами...

ДЕЛЬФИНА. Вам со мною вероятно скучно?

РАСТИНЬЯК. Помилуйте... Как вы могли подумать, что мне с вами будет скучно? Вы никогда еще не встречали такого человека, который бы, как я, так страстно желал принадлежать вам.

ДЕЛЬФИНА. Чего же вы от меня хотите?

РАСТИНЬЯК. Счастья. Но ведь и ваше счастье—счастье женщины—заключается в том, чтобы ее любили, обожали, чтобы она имела друга для доверия ему своих мечтаний, своих огорчений и радостей, перед которыми она могла бы предстать во всей нагоде своей души, со всеми прекрасными недостатками и очаровательными достоинствами и не боялась бы, что ее предадут. Такое преданное и пылкое сердце может она найти только у молодого человека, полного иллюзий. Вы, может быть, посмеетесь над моей наивностью, но я ведь приехал из глухой провинции, я—новичок. Чувствовать себя таким было для меня ужасно. Когда я в первый раз увиделся со своей кузиной...

ДЕЛЬФИНА. Бывать в обществе вашей кузины виконтессы де-Босеан я сочла бы за честь...

РАСТИНЬЯК. Мой долг сделать так, чтобы вы всегда были у нее первой гостьей...

ДЕЛЬФИНА. А я умею за услугу благодарить...

РАСТИНЬЯК. Сегодня я почувствовал, что меня увлекает к вам какой-то поток... Какое счастье смотреть на ваши розовые губки, на ваши кроткие глаза...

ДЕЛЬФИНА. Сядьте. Вы готовы мне повиноваться?

РАСТИНЬЯК. Слепо.

ДЕЛЬФИНА. Я должна вам все рассказать, мой друг. Вы теперь будете моим другом, не правда ли?

РАСТИНЬЯК. Я стану таким, каким хотите меня знать...

ДЕЛЬФИНА. Вы конечно видите, что я богата, или по крайней мере вам так кажется... Ну, так знайте же, барон не дает мне на руки ни одного су. Он заставлял меня потихоньку страдать от нищеты. Я ему не смею признаться, что у меня есть долги... за туалеты... Он завладел моим приданым. Все свои и мои капиталы он вложил в какие-то новые предприятия и для своих спекуляций хочет покинуть Париж... и я не знаю, вернется ли он... Что мне делать, мой друг?

РАСТИНЬЯК. Вы должны потребовать раздела имущества.

ДЕЛЬФИНА. Но как же, как?

РАСТИНЬЯК. Я помогу вам это сделать.

ДЕЛЬФИНА. Вся моя надежда будет на вас. Делайте вид, что мы говорим об очень веселых вещах... Из ложи напротив за нами внимательно наблюдают...

РАСТИНЬЯК. На вас смотрит моя кузина—де-Босеан.

ДЕЛЬФИНА. Она очаровательна...

(Входит Нюсенжан.)

НЮСЕНЖАН *(Дельфине)*. Баронесса, ваша сестра просила вас зайти к ней в ложу...

ДЕЛЬФИНА *(уходя Растиньяку)*. С моим мужем вам будет веселей...

РАСТИНЬЯК. Вы жестоки...

(Дельфина уходит.)

НЮСЕНЖАН. К сожалению, я не думаю веселиться.

РАСТИНЬЯК. Мне это понятно, барон. Есть слух о том, что вы разорены и думаете покинуть Париж...

НЮСЕНЖАН. На такие вопросы не отвечают, господин Растиньяк.

РАСТИНЬЯК. Это ваше право.

НЮСЕНЖАН. В устах другого человека я счел бы это за наглость, но в устах ваших это звучит иначе. Вы горите желанием действовать, я заметил в вас боольшую энергичность...

РАСТИНЬЯК. Вы можете ошибаться...

НЮСЕНЖАН. Я никогда не ошибаюсь. Выслушайте меня: вы из знатного рода, и вам открыт путь во все знатные дома Парижа. Вы молоды, и вас могут любить женщины. В минуту откровенности они скажут вам, то, чего не скажут мне.

РАСТИНЬЯК. Я не намерен выдавать любовные тайны.

НЮСЕНЖАН. Они меня совершенно не интересуют. Мне нужно знать только то, что касается денежных сундуков французских аристократов, чтобы во-время найти к ним ключи, пока их богатства не распозались по мелочам. Я люблю брать все или ничего.

РАСТИНЬЯК. Но ведь это же называется...

НЮСЕНЖАН. Это называется осведомленностью, которая оплачивается во сто раз дороже всякого труда и не карается законом. Подумайте.

РАСТИНЬЯК. А вы, барон, думали о том, что ваша жена должна потребовать раздела имущества. Я говорю это исключительно из преданных чувств, которые питаю к ней.

НЮСЕНЖАН. И если об этом узнает Париж, мне будет не безвыгодно.

РАСТИНЬЯК. Каким образом?

НЮСЕНЖАН. Вы это поймете, если дней через пять зайдете ко мне в мою контору побеседовать. А сегодня я попрошу вас сделать первый шаг. На празднике у Люсьена Шардона за кулисами передадите какому-нибудь журналисту вот эту сумму... *(Подает деньги.)* Пусть он через неделю сообщит в газете *Фино* о том, что некий банкир Н. покинул Париж тайным образом и так далее...

РАСТИНЬЯК. Я не совсем вас понимаю...

НЮСЕНЖАН. Вы скоро все поймете... У меня есть дело, я покидаю театр. Подумайте...

РАСТИНЬЯК. Барон, я подумаю.

(Нюсенжан уходит.)

ДИРЕКТОР *(появляясь у края занавеса)*. Любезные наши гости, месье, дам, чтобы рассеять скучное время театральной перемены, мы решили предложить вам прослушать последнюю веселенькую и легкую вещицу начинающего немецкого сочинителя музыкальных увражей господина Бетховена. Музыканты, прошу начать. *(Музыка. В ложу входит слуга.)*

СЛУГА *(Растиньяку)*. Вас просит к себе в ложу виконтесса де-Босеан...

ДЕ-БОСЕАН *(де-Шолье)*. Герцог, вы уже кого-то нашли, кому нужно поцеловать ручку и наговорить любезностей...

ДЕ-ШОЛЬЕ. Виконтесса, я на одну минуту...

ДЕ-БОСЕАН. Это становится несносно... Я требую... *(Входит Растиньяк.)* Герцог, это—мой кузен де-Растиньяк... *(Растиньяку.)* Герцог де-Шолье—секретарь его величества...

ДЕ-ШОЛЬЕ *(Растиньяку)*. Я боюсь помешать вашей родственной беседе... *(Исчезает.)*

ДЕ-БОСЕАН. Кузен, как ваши дела?

РАСТИНЬЯК. Мои дела идут недурно. Я влюблен. *(В ложу № 2 входит Дельфина и другие дамы.)* Вот она!

ДЕ-БОСЕАН. Белые ресницы.

РАСТИНЬЯК. Но какая тонкая талия...

ДЕ-БОСЕАН. А руки толстые...

РАСТИНЬЯК. Прекрасные глаза...

ДЕ-БОСЕАН. А лицо длинное...

РАСТИНЬЯК. Это — признак поро-ды.

ДЕ-БОСЕАН *(смеется)*. Породы. Взгляните, как она обращается с лорнетом. Во всех движениях видна лавочница из Шоссе д'Антен.

РАСТИНЬЯК. Когда я ей сказал: «Полюбите ли вы меня?», она не рассердилась...

ДЕ-БОСЕАН. Ну, так вот, господин де-Растиньяк, вы хотите успеха. Я помогу вам. Чем холоднее вы все взвесите, тем вы дальше пойдете... Да, будьте безжалостны, и вас станут бояться. Смотрите на мужчин и женщин, как на перекладных лошадей. Если около вас не будет молодой и богатой женщины, вы ничего не добьетесь. Но, если у вас явится истинное чувство, прячьте его подальше, а если вы его покажете, вы пропали, вы уже перестанете быть палачом, а станете жертвой. Научитесь не доверять свету...

РАСТИНЬЯК. Кузина, умоляю вас, допустите к себе Дельфину Нюсенжан.

ДЕ-БОСЕАН. Я знаю, она проползет в грязи между улицами Сен-Лазар и Гренель, если узнает, что я хочу ее принять. Я приму ее. Нюсенжан будет вашей вывеской. У вас будет успех,—женщины любят мужчину только тогда, когда он принадлежит другой. В Париже успех—все... *(В ложу входит молодой красавец.)* Мое имя послужит вам нитью Ариадны в этом лабиринте...

РАСТИНЬЯК. Я—ваш вечный раб...

(Свет тухнет. Аплодисменты.)

КРИКИ. Корали! Bravo! Брависсимо!..

(Свистки, шум и опять рукоплесканья.)

(За кулисами театра комната, где собираются актеры для выхода. За столом пьют: Люсто, Люсьен, Фино, Виньон, Флорвиль, директор, Корали, Растиньяк, Матифа и другие.)

Из-за кулис выносят актеры Флорину. Она должна изображать музу. Общий взрыв восторга. Флорину подносят к Люсьену. Она возлагает на него венок.)

ФЛОРИНА. Я, твоя богиня, муза, венчаю тебя во имя пошлости с газет, залога и штрафа, венчаю тебя, великий журналист, да будут легки тебе твои статьи!

МАТИФА *(Флорине)*. Зачем вы разделись?

ФЛОРИНА. Вам-то что за дело? Ведь не ради вас, животное. О, своей глупостью он приносит мне счастье. Как честная девушка, я платила бы ему за

каждую глупость, но боюсь совершенно разориться.

РАСТИНЬЯК *(Люсто, указывая на Матифа)*. Кто это такой?

ЛЮСТО. Содержатель моей любовницы Флорины,—богатый москательщик Матифа.

ФЛОРВИЛЬ. Флорина, что ты сделала во втором акте, тебе ужасно хлопали?

ФЛОРИНА. Я встала на колени и показала им всю свою грудь...

ДИРЕКТОР. О, это у тебя самое сильное место.

(Смех.)

ЛЮСЬЕН. Господа. Не правда ли, чудесно? Вы не сердитесь на меня, что я пригласил вас сюда: здесь не совсем чисто и удобно, но мне все это дорого. Три месяца тому назад на меня, еще совершенно неизвестного юношу из Ангулема, впервые повеяло легкостью милой распушенности и очарованием сладострастия. В этих грязных углах и коридорах жизнь мешается с реальностью, здесь, в волшебстве декораций, перед потоками света и нарядов красивых женщин, смеются над всем серьезным и невозможное кажется правдой...

ФЛОРИНА. Господа, а богиня дрожит от холода. Несите меня обратно на небеса. *(Флорину уносят.)*

ДИРЕКТОР. А правда, не перейти ли нам всем пить шампанское в уборные комнаты.

КОРАЛИ. Цветов! Цветов! *(Бросает Люсьену цветы.)* Путь моего бога должен быть устлан цветами.

ЛЮСЬЕН. Корали, крошка моя, ты утомлена... Дайте же нам шампанского.

КОРАЛИ *(садясь Люсьену на колени)*. Я утомлена, потому что не видела тебя целый день.

ЛЮСЬЕН *(наливая шампанское)*. Да отнесите корзину вина туда—актерам. Пускай их выпьют за здоровье этого милого пастушка. Ты останешься сегодня весь вечер в этом костюме.

КОРАЛИ. Да, ради тебя, Люсьен. Или я бесстыдная и бесчестная женщина и сразу влюбилась в тебя, или несчастное создание и в первый раз почувствовала любовь, которую ищут все

женщины. Брось меня или примиришь со мной, какая я есть.

ЛЮСЬЕН. Я никогда тебя не брошу. *(Целуются.)*

КОРАЛИ. Люсьен, у меня есть тебе подарок.

ЛЮСЬЕН. Давай его скорей...

КОРАЛИ. Будь терпелив. *(Убегает.)*

РАСТИНЬЯК *(Люсьену)*. Друг мой, я слышал, что у тебя много долгов.

ЛЮСЬЕН. Я стою больше, чем мои долги. Мне предлагают перейти в газету роялистов за большие деньги. Там говорят: «Мы счастливы оплатить ваш великий талант». Но не в деньгах дело, а в том, что мне, надо сознаться, становится не по нутру этот либерализм Фино.

РАСТИНЬЯК. Но чем же тебе не по нутру либерализм Фино?

ЛЮСЬЕН. Видишь ли, как тебе известно, власть из Тюильри перемещена в журналистику так же, как бюджет переехал из Сен-Жерменского предместья в Шоссе д'Антен—в обиталище буржуа. Наше правительство—это банкирская и адвокатская аристократия, которая ныне составляет отечество, как некогда попы составляли монархию. Нашим отечеством становится капитал, иден меняются и даже продаются. Но я хочу, чтобы моим отечеством остался Париж и его общество, которое оценит мой гений. Отечество веселья, свободы, остроумия, хорошеньких женщин, доброго вина. Я хочу быть там, где гению не мешают политика, где служат чистой идее короля-гражданина. Там я найду истинных ценителей искусства. Там поэзию венчают розами...

ЛЮСТО. Шипы которых источают ядовитую слюну.

РАСТИНЬЯК. Если твое решение серьезно, а не последний шаг отчаянья, я приветствую твои мысли.

ФИНО *(Люсто)*. Люсьен ведет переговоры с роялистами, он больше у меня работать не будет...

(Корали вводит музыканта.)

КОРАЛИ. Господа, позвольте вам представить месье Зеро. Дворянин, прожившийся на испанку. Был сыщиком, журналистом, а теперь сочиняет песенки.

Я вам спою его куплеты, написанные в честь Люсьена.

ГОЛОСА. Bravo, bravo!

(Музыкант настраивает гитару.)

ЛЮСЬЕН. Тип, который можно встретить только в Париже...

ЛЮСТО. Это не тип, а целое зрелище.

КОРАЛИ. Я начинаю *(поет)*:

Любезные франты,
Ни шали, ни банты
У милой Констансы
Не купят огнь.
Констанса хлопочет,
Констанса хохочет,
И знать вас не хочет
Констанса моя

Любезные франты,
Ни шали, ни банты
У милой Констансы
Не купят любви.

ГОЛОСА. Bravo! Bravo!

КОРАЛИ. Музыканту вина!

ФИНО. А вот любезный барон мог бы купить любую Констансу.

НЮСЕНЖАН. Вы забавно шутите, Фино, в вашей газетке. *(Люсьену.)* Поздравляю, поздравляю...

ЛЮСЬЕН. Барон, выпьем шампанского!

ЛЮСТО. Выпьем, барон, за те миллионы, которые вы нажили за одну революцию.

ФИНО. Как либерал, приветствую следующую революцию, когда барон наживет еще несколько миллионов франков... *(Шум. Крики. Темнота.)*

(На просцениуме с одной стороны появляется Нюсенжан и Флорвиль, с другой притаивается Растиньяк.)

ФЛОРВИЛЬ. Мой бурнус и шляпка брошены в твою карету.

НЮСЕНЖАН. Твоей тетке уплочены все деньги, а через неделю мы покидаем Париж.

ФЛОРВИЛЬ. Мы пойдем здесь, через ложи. Возьмите меня на руки, я боюсь темноты. *(Флорвиль повисает у него на шее, Нюсенжан берет ее на руки и несет.)* Не сопите так громко носом, там спит автор будущей пьесы. *(Флорвиль уносит барон, появляется Растиньяк.)*

РАСТИНЬЯК. Веселитесь, господа. Я не хочу вашей дружбы. Ваша привязанность летит прочь от мелкой ссоры или укрепляется от той доверчивой легкости, с которой вы выдаете свои тайны, все вместе опошляясь... Кому нужно небо, кому—ад, кто идет к разгулу, кто—в монастырь, а мне ни с кем не по пути... Я знаю, что нужно... Решено: я бросаю вызов обольстительному Парижу. Посмотрим: кто кого! *(За занавес.)* Люсто! Люсто! *(Входит Люсто.)* Люсто, вы не очень пьяны?

ЛЮСТО. Во всяком случае еще не настолько, чтобы своему ближнему задаром сделать добро.

РАСТИНЬЯК. Дайте вашу руку... *(Берет его руку и кладет в нее золотые монеты.)*

ЛЮСТО *(считая).* Сто франков...

РАСТИНЬЯК. Через неделю поместите в газете Финн сообщение о том... *(Шепчет ему на ухо.)*

ЛЮСТО. Ага... что некий банкир Н. тайно покинул Париж... В случае опровержения потребуетъся такая же сумма...

(Темнота.)

(Маленькая комната рядом с конторой банкирского дома Нюсенжана. Дверь в контору и едва заметная дверь наружу. Стол, несколько потертых кресел, все покрыто пылью. Горит камин. Опершись на камин, стоит Нюсенжан и глядит в огонь. Из двери в контору входит Растиньяк.)

РАСТИНЬЯК. Здравствуйте, барои. *(Нюсенжан молча указывает на кресло.)* Вы сегодня пасмурны так же, как тогда, когда вам объявили о банкротстве одного книгопродавца, ловкостью которого вы были восхищены, хотя и сделали его жертвой.

НЮСЕНЖАН. Жертвой? Я просто забавлялся.

РАСТИНЬЯК. Я никогда не замечал в вас таких артистических наклонностей.

НЮСЕНЖАН. Разве только те люди—поэты, которые пишут стихи?

РАСТИНЬЯК. Вы—поэт?

НЮСЕНЖАН. Да, и нет более блестящего положения, чем мое. Вы моло-

ды, в вас кипит кровь, вам могут мерещиться в огне этого камина женские фигуры, а я вижу там только угли.

РАСТИНЬЯК. А ваша милая красотка Флорвиль?

НЮСЕНЖАН. Любовницы — это проценты, я их плачу Парижу. Вы еще верите во многое, а я ни во что не верю. Для каждого человека наступает возраст, когда жизнь превращается в привычку, а поэтому счастье заключается в упражнении ваших талантов, которые вы применяете к реальной действительности. Крепко только одно чувство: инстинкт самосохранения, — некоторые его называют личной выгодой,—и существует одна только ценная вещь, это, друг мой,—золото. Золото выражает собой все человеческие силы. Нравы, видите ли, всюду одни и те же: везде идет борьба между бедными и богатыми, потому что легче быть господином, чем слугою; все наслаждения изнашиваются, но остается тщеславие. Тщеславие—это мое «я», а золото содержит все и все дает. Я—поэт тщеславия. Словом, я обладаю миром, и мир не имеет надо мною власти.

РАСТИНЬЯК. Еще немного, барон, и вы объявите себя богом.

НЮСЕНЖАН. Все человеческие страсти, раздутые игрой в ваши общественные и политические интересы, проходят передо мной в тиши этой комнаты. Послушайте. *(Нюсенжан идет к двери в контору, замыкает ее, задерживает занавеску и возвращается.)* Послушайте, я расскажу вам случай из сегодняшнего утра. Я поехал сам получить по векселю, который подписала одна графиня своему любовнику, и моя контора учла его, имея в виду большой барыш. Она приняла меня в спальне. По моему голосу графини я угадал, что она не может залатить. Но как она была красива! Второпях она накинула на голые плечи кашемировую шаль и так в нее завернулась, что можно было в подробностях угадать все ее формы, как будто она была передо мною нагая. Черные локоны выбились из-под шелкового красного платочка, повязанного так, как это делают креолки. Кровать за драпировкой еще носила следы лихорадочного

сна и беспорядка, возбуждающего воображение мужчины. На медвежьей шкуре, у постели, блестели атласные башмачки, на кресле лежало смятое платье, чулки упали под кресло, белоснежные подвязки были брошены на диван, ящики комода были выдвинуты, веер, цветы, бриллианты, перчатки, букет, кушак валялись в разных местах. Все было роскошно, беспорядочно красиво, но нищета, притаившаяся здесь, уже показывала свои зубы. Эти разбросанные безделушки внушали мне жалость, а еще накануне, где-то на балу, собранные вместе, внушали кому-то упоение. Эти следы любви, истерзанной угрызениями совести, эти свидетели жизни расточительной говорили о муках Таитала в погоне за мимолетными наслаждениями. Глаза графини горели. Она мне нравилась. Мое сердце давно так сильно не билось. Мне казалось, что я уже получил свои деньги, так как с удовольствием бросил бы тысячи франков ради этого ощущения, напоминавшего мне молодость.

РАСТИНЬЯК. Вы были благородны и ушли, отсрочив платеж?

НЮСЕНЖАН. О нет! Я сказал ей про себя: «Ты—такая, так плати за свою роскошь, за свое имя, плати за счастье, плати за монополию, которой ты пользуешься».

РАСТИНЬЯК. И вы прозили ей судом?

НЮСЕНЖАН. Чтобы сохранить, свое имущество, богачи придумали суд и гильотину, нечто в роде церковной свечки, о которую обжигается темный народ, но для них, которые спят на шелку и под шелком, есть еще угрызения совести, зубовный скрежет, скрытый в милой улыбке, львиная пасть, которая кусает за самое сердце.

РАСТИНЬЯК. Неужели вы объявили протест векселя?

НЮСЕНЖАН. Молодой человек, я дал однажды займы китайцу и взял от него в залог труп его отца. О, если бы король был мне должен и не платил бы, я бы привлек его к суду скорее, чем всякого должника.

РАСТИНЬЯК. Что же вы ей сказали?

НЮСЕНЖАН. Я сказал: «Сударыня, я жду только до двенадцати часов нынешнего дня». И после этого вы скажете, что я не поэт, господин Растиньяк? По-вашему, ничего не значит иметь возможность заглядывать в тайны человеческого сердца, входить, как к себе домой, в чужую жизнь и видеть ее без прикрас: отвратительные язвы, смертельное горе, любовь, нищету, которая топится в водах Сены, веселье, которое ведет на эшафот, смех отчаяния и расточительность праздников? Разве это не могущество? Я могу иметь самых красивых женщин и самые нежные ласки. Разве это не наслаждение? А могущество и наслаждение—не есть ли это цель всего нашего социального порядка?

РАСТИНЬЯК. Барон, вы хотите быть моим демоном?

НЮСЕНЖАН. Демонов не смущают.

РАСТИНЬЯК. Зачем вы меня позвали сюда тогда, когда этот промотавшийся мальчишка ломался за кулисами театра?

НЮСЕНЖАН. Вы тогда сделали хорошее начало. Вы помогаете моей жеке требовать раздела имущества. Очень хорошо, очень хорошо, господин де-Растиньяк. Я действительно покидаю Париж, я хочу скандала с разделом имущества.

РАСТИНЬЯК. Этого не может быть!

НЮСЕНЖАН. У меня мало времени, я буду краток. Положим, совершилось: я разорен, но есть американское дело Клапорона, свинцовых рудников, копей и каналов,—мои капиталы там. После моего бегства из Парижа акции моего банкирского дома летят вниз, но я хочу их по дешевой цене сккупить или перевести на акции Клапорона и должен иметь верного человека, который в качестве доброго совета будет предлагать такую комбинацию всем владельцам моих акций. Для этой сделки достаточно одного письма на мое имя. Таким верным человеком будете вы, на ваши операции вложены деньги. Вот вам чекочная книжка. Надвигается финансовый кризис, он перевернет все европейские биржи.

РАСТИНЬЯК. Вы сгруппировываете свое золото, как Наполеон свои войска?

НЮСЕНЖАН. Да, и своему князю Ваграмскому я скажу: будьте внимательны на бирже в такой-то день, в такой-то час, там станут предлагать фонды. *(Стук в дверь.)* Вот мой адрес в Брюсселе. *(Растиньяк, прислушивается к стуку.)* Мне пора... *(Кладет записку на стол и идет на стук к двери. Нюсенжан отпирает дверь. Входят Флорвиль и слуга, который из-под плаща передает барону узел с верхним платьем. Нюсенжан быстро одевается.)*

ФЛОРВИЛЬ *(Растиньяку, дернув его за полу)*. Это я, Флорвиль, я сегодня уезжаю из Парижа.

РАСТИНЬЯК. Я мог бы сказать тебе эту новость неделю назад...

ФЛОРВИЛЬ. Прелесть, дай я тебя поцелую. *(Шум в конторе, туда идет слуга.)*

НЮСЕНЖАН. До свиданья, мой друг.

РАСТИНЬЯК. До свиданья, барон. *(Шум в конторе и голоса.)*

НЮСЕНЖАН *(указав на контору)*. Слышите, в Париже прочли газету Фино.

(Нюсенжан и Флорвиль уходят. Растиньяк быстро прячет адрес в карман. Входит слуга из конторы, за ним проскальзывает буржуа.)

СЛУГА. Барона нет. *(Держит дверь.)*

БУРЖУА *(с газетой в руке, Растиньяку)*. Вы к барону?

РАСТИНЬЯК. Барона нет.

БУРЖУА. Ах, боже, вы—Растиньяк? *(Бросаясь в кресло.)* Я разорен.

РАСТИНЬЯК. Барон сегодня ночью выехал из Парижа. Если ликвидация будет невозможна, ему придется объявить себя несостоятельным.

БУРЖУА *(тыкая в газету)*. Вот, вот! Тут все! Барон — мерзавец!

РАСТИНЬЯК. Вы полагаете, что ваша ругань вам в чем-нибудь поможет?

БУРЖУА. Я задыхаюсь, я не могу молчать. Ой, боже мой, меня даже тошнит от того, что я могу сказать.

РАСТИНЬЯК. Тут-то именно и надо молчать...

БУРЖУА. Молчать?

РАСТИНЬЯК. Молчать, потому что разорившийся богач—еще не бедный человек, у него есть коммерческие книги, которые легче всяких ключей отмыкают сундуки жадных дураков и скопидомов. Сегодня барон объявлен банкротом в Париже, завтра он будет богачом в Америке.

БУРЖУА. Ну-ну!..

РАСТИНЬЯК. Вы можете спасти свое состояние.

БУРЖУА. Пойдите, пойдите! *(Шукает живот.)* Мне даже как будто захотелось кушать. Что, что вы говорите?

РАСТИНЬЯК. Напишите барону задним числом письмо, в котором вы просите обратить ваш капитал в акции Клапорона.

БУРЖУА. Куда ж я напишу?

РАСТИНЬЯК. Его адрес у меня.

БУРЖУА. Друг! Спаситель! *(На коленях.)* Заплачу. Десять процентов. *(Новый взрыв шума. Ломятся в дверь.)*

РАСТИНЬЯК *(отстраняя буржуа)*. Молчите, только одному вам.

БУРЖУА. Завтра на бирже... *(Дверь вылетает, и вваливается толпа лавочников, буржуа, дам.)*

ЛАВОЧНИК 1-й. Барон! Дьявол...

ЛАВОЧНИК 2-й. Он здесь. Дайте мне его сюда. *(Натыкается на буржуа.)*

БУРЖУА. Пусти меня, красная рожа. *(Исчезает.)*

ДАМА. У меня дети! У меня нет детей... *(Некоторые стоят в испуге.)*

ЛАВОЧНИК 1-й. Вот он, ход. Он здесь.

(Все устремляются в дверь, куда вышел барон. На пороге конторы появляется Карлос Эррера. Растиньяк и он молча глядят друг на друга.)

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

(Парк виконтессы де-Босеан в Сен-Жерменском предместьи. Зажигают фейерверк. На срединной куртине шар, и на нем вспыхивают слова:

«Да здравствует король-гражданин Людовик XVIII».)

САДОВНИК. Что скажете, мой доктор? Недурно я нанизал словечки?

ДОКТОР. Скажу, слова чудные. Послушал бы, как выражался вчера в бильярдной о конституции королевский секретарь герцог де-Шолье. Конституция, говорит, все равно, что женщина легкого поведенья, с ней можно и посмеяться, и покутить и... вообще... (*Садовник смеется.*) Потихе, сюда идут (*приглядываясь*)... сама хозяйка и Шолье... Скорей надо зажигать фонтан Нептуна... (*Садовник и доктор уходят. Входят де-Босеан и де-Шолье.*)

ДЕ-БОСЕАН. Как вам нравится, герцог, этот светящийся шар?

ДЕ-ШОЛЬЕ. Игра с конституционным шариком под королевским кубком теперь в большой моде.

ДЕ-БОСЕАН. Стыдитесь говорить, вы, верный слуга королю...

ДЕ-ШОЛЬЕ. Первосвященник не обязан верить.

ДЕ-БОСЕАН. Я думаю, что не обязан верить и народ...

ДЕ-ШОЛЬЕ. В монархию по крайней мере он верил свято...

ДЕ-БОСЕАН. Стоит ли огорчать себя воспоминаньями...

ДЕ-ШОЛЬЕ. Виконтесса, когда веришь только в дьявола, то позволительно пожалеть о рабских днях своей юности, когда мы благочестиво подставляем язык патеру, чтобы получить от него освященную облатку.

ДЕ-БОСЕАН (*грозится*). О, вы когда-нибудь попадетесь либералам на их поганый язычок.

(*Музыка.*)

Пойдемте на площадку, там сегодня мои актеры разыгрывают интермедию маркиза Люсьена де-Рюбанпрэ...

ДЕ-ШОЛЬЕ. Виконтесса, он еще не маркиз и не де-Рюбанпрэ. Повеление короля о даровании ему этого титула и присвоении фамилии этого славного рода мною еще не заготовлено и вряд ли осуществится. Поведение Люсьена становится предосудительным. Не скрывая своей страсти к графине де-Серизи, он волеится за Дианой де-Мофриньез и заявляет себя женихом дочери герцога де-Гранлье. Король опечален тем, что граф де-Серизи измучен занятиями ви-

це-председателя государственного совета, а между тем я знаю...

ДЕ-БОСЕАН. Молчите. Ревность делает его смешным. Свет не допускает супружеской страсти в сердце старого администратора.

ДЕ-ШОЛЬЕ. Этого мальчишку Люсьена мы выкупили у либеральной прессы, она его назад не возьмет, а нам он больше не нужен с его глупыми стишками.

ДЕ-БОСЕАН. Ваше слово, слово королевского секретаря,—для меня закон. Я больше его не принимаю.

ГОЛОСА. Оэ, оэ, оэ!

ДЕ-БОСЕАН. Нас зовут... Ах да, я должна вас поблагодарить: только вам обязан де-Растиньяк в получении от короля баронского титула.

ДЕ-ШОЛЬЕ. Вот это—достойный юноша: учтив, услужлив, знает толк в винах, грешный, но аккуратен.

ДЕ-БОСЕАН. Не то, что вы в свое время были плутом...

ДЕ-ШОЛЬЕ. А вы и до сих пор плутовка... (*Целует ее в плечо.*)

ДЕ-БОСЕАН. Неугомонный... Смотрите, как чудесно разгорается Нептуново царство... (*Входит Матифа, у него в руках свеча, исторгающая искры.*)

МАТИФА. Фу, черт возьми... Извините, заблудился... (*Уходит.*)

ДЕ-ШОЛЬЕ. Кто это — толстопялый пузырь?

ДЕ-БОСЕАН. Барон Матифа.

ДЕ-ШОЛЬЕ. А-а! Бывший москальский торговец...

ДЕ-БОСЕАН. Он так прекрасно отдал нижний этаж дворца, что король возвел его в бароны, а я обязана его принимать...

ДЕ-ШОЛЬЕ. Как несносно, что в наших домах начинает вонять потом буржуа и всяких лавочников... (*Де-Босеан и де-Шолье уходят. При свете Нептунова царства мелькают фигуры и с криком и смехом удаляются в темную глубь парка. Остается Растиньяк, Дельфина и доктор.*)

РАСТИНЬЯК (*доктору*). Доктор, я не знал, что вы искусны не только в лечении подагры, но и в устройстве фейерверка. Как это вами состряпано?

ДОКТОР. Все дело в антимонии... средство замечательное...

ДЕЛЬФИНА. Как это скучно...

ДОКТОР. Простите, баронесса... *(Исчезает.)*

РАСТИНЬЯК. Спасибо, что вы отпугнули этого старика. Наконец мы одни...

ДЕЛЬФИНА. Только не говорите мне о вашей любви...

РАСТИНЬЯК. С каких же пор мне это запрещено? Не с того ли дня, как вы получили от мужа свое приданое.

ДЕЛЬФИНА. Я получила его не полностью. С меня удержали сто тысяч франков,—десять процентов за ваши хлопоты, барон де-Растиньяк. Вы меня вынуждаете говорить о ваших пороках...

РАСТИНЬЯК. Чердак, потертое платье, серая шляпа зимой и долг швейцару,—вот, что я считаю пороком. Все остальное—а в особенности деньги—есть добродетель... Но я вас люблю, Дельфина.

ДЕЛЬФИНА. Я получила свое приданое, я принята здесь, у виконтессы де-Босеан: я вам обязана и благодарна, мы—друзья...

РАСТИНЬЯК. Разве вы не говорили мне нежных слов, разве вы не принимали меня в своей спальне в соблазнительном неглиже? Дозволять созерцать этот трон любви, никому не отдаваться и позволять всякому оставлять там свою визитную карточку,—разве это не бесстыдное кокетство?

ДЕЛЬФИНА *(смеется)*. Ха, ха, ха. Я надеюсь, что умный человек, успеху которого я готова содействовать, не станет меня судить вкривь и вкось за то, что я откровенно высказала ему то, что у меня на душе. Итак, мы—друзья.

(Пауза. Трубит рог, призывающий к столу.)

РАСТИНЬЯК. Да, друзья.

ДЕЛЬФИНА *(протягивая руку)*. Ваши условия?

РАСТИНЬЯК. Они легки, баронесса. Я хочу, чтобы вы меня принимали попрежнему запросто...

ДЕЛЬФИНА. О, конечно. И даже в спальне... А вы запомните: никакого

трона не может быть без женщины... *(Хватаясь за ногу.)* Ах, загородите меня, мне нужно оправить подвязку... *(Скрывается за куст. Растиньяк стоит к ней спиной. Появляется де-Шолье.)*

ДЕ-ШОЛЬЕ. Четырнадцать шаров под ряд. Но как же я не положил пятнадцатого? Вот так, как этот лист, не дальше... Мой шар здесь... простой удар, бильярд легкий... *(Поднимает палку с дорожки и, как кием, тыкает в куст.)* В угол направо. *(Из куста слышен крик. Дельфина со смехом убегает в парк.)* Ах, черт возьми! Кто это, кто?

(Из-за куста выходит Растиньяк.)

РАСТИНЬЯК. Герцог, вы бьете без промаха.

ДЕ-ШОЛЬЕ. Барон, недаром я сказал вашей кузине, что вы—плутишка. Но кто же это там был с вами?

РАСТИНЬЯК. Тише... Дельфина Нюсенжан. Вы нарушили самую нежную минуту...

ДЕ-ШОЛЬЕ. Плутишка, ах, плутишка! Да, вот что: Если уж вы так пойманы мною, то я требую выкупа.

РАСТИНЬЯК. Какой угодно.

ДЕ-ШОЛЬЕ. Не можете ли вы по случаю того, что вы с ней... то-есть через нее сделать так, чтобы барон Нюсенжан в самый короткий срок купил у меня земли?

РАСТИНЬЯК. Мне нужно знать: где они, какие земли и сколько их?

ДЕ-ШОЛЬЕ. Вот это очень трудно сказать. Разве я знаю... Это очень трудно: где, сколько у меня осталось?... Надо спросить управляющего Моро. Пока, знаете, не ударит по карману картежная игра, бильярд и еще кое-что... о землях и не подумаешь... А, может быть, их и совсем нет... *(Смеется, берет под руку Растиньяка.)* Ну, тогда у меня есть еще какой-то остров на Луаре...

РАСТИНЬЯК. Поверьте мне, герцог, и земли, и остров—все будет у вас куплено...

(Уходит. Зажигается свет в беседке,—там шум, звон стаканов.)

ЛЕОНТИНА *(за сценой)*. Господа, я надеюсь, что наш замечательный

поэт—маркиз де-Рюбанпрэ — прочтет нам что-нибудь... Попросим, господина. (Молчание.) Я вас прошу, маркиз!

ЛЮСЬЕН (за сценой читает):

Ни кисть волшебная, ни музы лепет томный,
Не будет украшать моей тетради скромной
Летучие листы

Украдкою перо под пальчиками милой
Пусть поверяет им печаль души унылой
И светлые мечты.

Когда ж, коснувшись усталою рукою
Поблекнувших страниц, увидит, что судьбою
Уготовлялось ей, —

Пусть волею любви, прекрасна и без бури,
Картина этих дней
Предстанет в памяти в безоблачной лазури.

(Молчание.)

ДЕ-ШОЛЬЕ (за сценой). Господина, стихи не утоляют жажды. Выпьем и поздравим господина де-Растиньяка с получением от его величества короля Франции баронского титула.

(Крики, шум, звон стаканов.)

ЛЮСЬЕН (выбегает из беседки). Позор. Мне не рукоплещут. Я не маркиз еще... Я—Люсьен Шардон... Я — должник... Настанет день, пробьет три с половиной часа, и меня схватят клерки, пристава и посадят в Сен-Пелажи. Должник не принадлежит самому себе, тем более должник не маркиз. Меня не спасет титул, у меня его нет. Зачем я ел пуддинги? Зачем пил замороженное? Зачем я спал, ходил, думал, забавлялся и не платил...

(Входит Карлос Эррера.)

ЭРРЕРА. Мой мальчик, вы страдаете?

ЛЮСЬЕН. Отец мой, настанет день, и ко мне войдет господин в каштановом фраке с потертой шляпой в руке, этот господин окажется моим долгом, моим векселем, призраком, он заставит улечь мою радость, он отнимет у меня веселье, мою любовницу, все, все и даже постель. Совесть добрее, чем этот человек во фраке, он доведет меня до эшафота, и только там под рукой палача я стану благородным... в минуту казни все думают, что мы невинны, а здесь это скопище людей лишило меня всех добродетелей, как кутилу, у которого нет ни одного су... Отец мой, за

мною ходят эти двуногие долги, одетые в зеленое сукно, в синих очках, с разноцветными зонтиками, они ждут меня на всех перекрестках Парижа...

ЭРРЕРА. Дитя мое, вы бредите... Чтобы делать долги, надо быть богатым человеком. Вы плохо знаете историю— историю не официальную, а тайную, в которой изложены истинные причины всех событий. Позвольте мне рассказать вам одну историйку... (Хочет сесть.)

ЛЮСЬЕН. Нет, нет, вот здесь, тут плохо...

ЭРРЕРА. Об одном молодом честолюбце. Был он священником и захотел приобрести себя к государственному делу. Вскоре же он сделался сторожевым псом королевского фаворита, и фаворит добыл ему звание министра. Однажды ночью некий услужливый человек... Заметьте кстати: никогда не оказывайте услуги, когда вас не просят... Некий человек донес нашему честолюбцу, что во дворце неспокойно и если он не поедет туда сию же минуту, то его благодетеля изведут... Ну, что бы вы сделали на его месте?

ЛЮСЬЕН. Конечно предупредил бы своего благодетеля.

ЭРРЕРА. Вы—дитя. А наш молодец подумал так. «Если король пошел на преступление, то благодетель все равно погиб, а я мог получить этот донос слишком поздно». И он проспал до того часа, когда убили фаворита королевы.

ЛЮСЬЕН. Чудовище.

ЭРРЕРА. Этим чудовищем был Решилье. Все великие люди—чудовища. Дитя мое, я вас спасу. Мы можем с вами добыть большие деньги.

ЛЮСЬЕН. Каким образом? Большие деньги, да.

ЭРРЕРА. Послушайте: у графа Серизи и у вас схожий почерк. Вы подпишете на меня его именем несколько векселей, а я предлагаю вам учесть их у любого ростовщика... Мой сан каноника толедского капитула и полномочного доверенного испанского двора и папы оградит вас от всяких подозрений.

ЛЮСЬЕН. Как, вы мне предлагаете подлог? Нет, нет. Уйдите от меня, я буду кричать, уйдите...

(Входит Леонтина.)

ЛЕОНТИНА. Люсьен...

ЛЮСЬЕН. Уйдите от меня, вы — демон.

ЛЕОНТИНА (*Эррера*). Что вы с ним сделали?

ЭРРЕРА. Графиня, я указал ему путь к спасенью... (*Люсьену.*) Подумайте, мой дорогой друг... (*Уходит.*)

ЛЕОНТИНА. Люсьен, ты — бог, ты — гений, тебя поймет и увековечит Франция...

ЛЮСЬЕН. Да, да, я — талант, я — свеж, я — молод, я — изящен, я прослыл остроумцем, но кто знает мою страшную жизнь, которая превратила меня в воронку, в соску для вина, в показную лошадь... Разгул, разгул. Разгул — моя стихия... Я понял его величие... Я уже не провинциал, для которого опиум, вино и кофе только лекарства... Я нашел в них великое наслаждение... Наслаждение пропасти... Она зовет меня, как некогда остров святой Елены звал к себе Наполеона, от нее кружится голова, я хочу видеть, что там, на дне, я упоен славой, я хочу славы.

ЛЕОНТИНА. Люсьен, если тебе понадобится мое имя, имя графини де-Серизи, оно — твое...

ЛЮСЬЕН. Успокойтесь, сударыня, я буду богат... (*Хочет уйти.*)

(*Музыка. Начинаются танцы.*)

ЛЕОНТИНА. Люсьен, скажи, что ты меня любишь...

ЛЮСЬЕН. Сударыня, я буду богат, у меня будет все... (*Уходит.*)

ЛЕОНТИНА. Люсьен, Люсьен.

(*Входит граф де-Серизи.*)

ДЕ-СЕРИЗИ (*Леонтина*). Графиня, не я, ваш муж, а хозяйка дома, виконтесса де-Боссан, заметила ваше отсутствие за столом.

ЛЕОНТИНА. Граф предложите мне руку.

(*Де-Серизи предлагает жене руку, и они удаляются к беседке.*)

(*Темнота. На простеннике — игорный стол. Игроки, слуги. Люсьен лихорадочно ищет в карманах деньги.*)

ИГРОК. Наверное ищет последний свой патрон.

СЛУГА. Это — забубенная голова.

ИГРОК. Белоручка, промотавший отцовские деньги.

ЛЮСЬЕН (*старику*). Скажите, как надо играть?

ИГРОК. Он спрашивает, как надо играть.

СТАРИК. Если вы поставите луидор на один из тридцати номеров, вы получите тридцать шесть луидоров.

ЛЮСЬЕН. Наполеон умер в прошлом году... 1820 год... Один и восемь... девять... два... одиннадцать... (*Кричит.*)

Одиннадцать.

ИГРОК. Он — сумасшедший.

ИГРОК. Он — не игрок.

ИГРОК. Надо было разделить на три части. У меня примета верная. Он проигрывает.

(*Люсьен выигрывает.*)

ИГРОК. Он выиграл.

ИГРОК. Спросите, сколько лет ему.

ИГРОК. Сложите цифры и, если сумма четная, делите пополам, нечетную берите целиком и ставьте.

СТАРИК (*Люсьену*). Берите ваши деньги и уходите...

(*Люсьен ставит все и выигрывает.*)

ИГРОК (*Люсьену*). Вам сколько лет?

ЛЮСЬЕН. Мои года считает вечность.

ИГРОК. Он — маньяк.

ИГРОК. Вот помяните мое слово, — он опять выиграет. У меня верная примета.

СТАРИК (*Люсьену*). Если вы милостивы, дайте мне золотой и облегчите нищету бывшего наполеоновского префекта.

(*Люсьен бросает ему монету, ставит все деньги и проигрывает.*)

ЛЮСЬЕН. Куда же мне идти?

ИГРОК. Не сегодня, так завтра он бросится в Сену.

СЛУГА. Он повесится, у него такие слабые руки...

ЛЮСЬЕН. Куда идти?

СЛУГА. Сударь, возьмите залог за вашу шляпу.

ЛЮСЬЕН (*уходя*). О, каноник толедского капитула, Карлос Эррера, теперь я—твой!..

(*Темнота. Спальная комната де-Серизи. Люсьен в кресле у камина в задумчивости играет веером. Леонтина около него.*)

ЛЕОНТИНА. Что же делать?

ЛЮСЬЕН. Леонтина, разве я знаю, что нужно делать?

ЛЕОНТИНА. Что нужно делать, чтобы спасти тебя?

ЛЮСЬЕН. Мне нужно пятьдесят тысяч наличными франками...

(*Пауза.*)

ЛЕОНТИНА. Хорошо... я их найду...

ЛЮСЬЕН. И триста, чтобы уплатить по векселям, под которыми Карлос Эррера заставил меня подделать подпись твоего мужа, графа де-Серизи... Боже, и я решился на это дело.

ЛЕОНТИНА. У кого эти векселя?

ЛЮСЬЕН. У скряги дю-Тилье с улицы Сент-Оноре. Леонтина, ты меня любишь, и ты должна меня понять... Есть две бедности, одна—это та, которая бесстыдно, в лохмотьях расхаживает по улицам и подражает Диогену, питаюсь немногим и упрощая жизнь, она, может быть, счастливее богатства. Но есть бедность роскоши, бедность испанская, скрывающая нищенство под титулом, гордая, надменная. Эта бедность в белом жилете, в желтых перчатках, у нее есть кареты, и она лишается всего состояния за неимением сантима. Первая бедность—бедность народа, вторая—бедность плутов, королей и талантливых людей. Я—талант. Я создан принцем. Мой ум слишком проворен, а там, где состязаются честолюбцы, первое место остается за тем, кто это проворство проявляет настолько, насколько оно нужно, и у кого оно не ослабевает до конца трудового дня, а я, вспыхнув, гасну... О, сколько в Париже знаменитостей, которые уже забыты. На пороге старости я буду старше своих лет, без состоянья, без уваженья... Я отвергаю такую старость. Я не хочу стать общественным отбросом. (*Падает перед Леонтиной на*

колени.) Леонтина, я обожаю тебя за твои ласки, и отречься от тебя—значит отречься от жизни.

ЛЕОНТИНА. Люсьен, я разрешаю тебе жениться на герцогине Клотильде де-Гранлье... но ты останешься моим...

ЛЮСЬЕН (*порывисто*). Ангел мой, поверь мне: самоотречение—это ежедневное самоубийство...

ЛЕОНТИНА. Я спасаю тебя... для себя...

ЛЮСЬЕН. Да... но прежде, чем в руках моих будет богатство Клотильды, я буду опозорен историей с векселями...

ЛЕОНТИНА. Я все сделаю... Меня выручает Растиньяк, он предложил мне свои услуги. Он очень мил, я решила принимать его запросто. Меня уже ждут по этому делу... Я попрошу тебя побыть в моем кабинете... (*Звонит.*) Зачем тебя путать в свои домашние дела? (*Смеется.*) Не правда ли? (*Входит Жозефина.*) Жозефина, меня все еще ждут?

ЖОЗЕФИНА. Так точно, графиня.

ЛЕОНТИНА. Что делает граф?

ЖОЗЕФИНА. С королевским секретарем де-Шолье в бильярдной.

ЛЕОНТИНА. Пригласите моих гостей сюда... Я немного нездорова. (*Жозефина уходит.*)

ЛЮСЬЕН. Богиня моя!

ЛЕОНТИНА. Мой принц! (*Уходя с Люсьеном.*) На столе ты увидишь листок бумаги, и на нем несколько строк для тебя. Такие слова можно сказать любимому человеку только раз в жизни...

(*Люсьен и Леонтина уходят. Входят Нюсенжан и Растиньяк в сопровождении Жозефины.*)

ЖОЗЕФИНА. Моя госпожа сейчас будет... (*Уходит.*)

РАСТИНЬЯК. Если бы я даже не знал, куда мы попали, не трудно было бы догадаться, что мы у той особы, о которой вы мне когда-то рассказывали. Вы видите. (*Указывает на вещи.*)

НЮСЕНЖАН. Замужняя женщина принимает мужчину там, где менее всего рассчитывает встретить мужа.

РАСТИНЬЯК. И такое помещение называется спальней комнатой.

(Входит Леонтина.)

ЛЕОНТИНА (Растиньяку). Простите меня, барон, меня задержал муж... (Нюсенжану.) Простите...

НЮСЕНЖАН. Ничего, графиня, я интересно беседовал с моим молодым другом де-Растиньяком...

ЛЕОНТИНА (Нюсенжану). Я не ожидала, что это вы... Я с вами, кажется, встречалась у герцога де-Гранлье... Значит, вы... вместе?

НЮСЕНЖАН. Я никогда не расстаюсь с моим талантливым юристом. Иначе я бы много наделал глупостей...

ЛЕОНТИНА. Прошу вас, садитесь... (Пауза.) Я как-то не знаю, с чего начать... Мне приходится в первый раз... Впрочем, вот... (Берет с каминной ящичек и, раскрыв его, ставит перед Нюсенжаном.) Есть ли какая возможность получить деньги за эти бриллианты, сохранив за собой право их выкупа?

(Нюсенжан сладострастно разглядывает камни.)

РАСТИНЬЯК. Разумеется, графиня. Этот акт или договор называется выкупом проданной вещи на известный срок...

НЮСЕНЖАН. Прекрасные бриллианты. До революции они стоили бы триста тысяч. Какая вода! Вот настоящие камни из Голконды или Виссапура... Во времена империи такой убор стоил бы более двухсот тысяч франков, но теперь бриллианты падают в цене с каждым днем... Бразилия заваливает нас камнями. Женщины их носят только при дворе... Вы бьете там, графиня?

ЛЕОНТИНА. Да, бываю...

НЮСЕНЖАН. Без пятна... Нет, нет, вот пятно... Сколько вам нужно, графиня?

ЛЕОНТИНА. Триста тысяч на три года...

НЮСЕНЖАН. Это невозможно. Двести.

РАСТИНЬЯК. При чем я сомневаюсь, будет ли иметь силу акт о выкупе, так как графиня замужем, а муж..

НЮСЕНЖАН. Он прав. Положение меняется. Сто восемьдесят тысяч франков.

ЛЕОНТИНА. Но ведь мне нужно... Я не знаю, как же быть...

НЮСЕНЖАН. Делайте, как хотите... Я слишком рискую.

РАСТИНЬЯК (тихо). Графиня, если вы в нужде, бросьтесь на колени перед вашим мужем, и тогда...

(Входит Люсьен.)

ЛЕОНТИНА (Люсьену). Ах, боже мой, вы не дождались... Мы третий день не можем с вами... сказать двух слов...

ЛЮСЬЕН. Простите, я вам помешал?..

НЮСЕНЖАН. Нисколько.

ЛЮСЬЕН. Графиня, я тороплюсь... (Тихо.) Завтра мне уже ничего не будет нужно... (Растиньяку.) Эжен, как жаль, что мы так редко с тобой видимся.

РАСТИНЬЯК. Это потому, Люсьен, что я только недавно стал бывать в больших домах Парижа, где ты бываешь давно и, кажется, запросто.

ЛЮСЬЕН. Ты вступаешь в свет медленно, но верно и всегда неотступно с бароном...

РАСТИНЬЯК. В дружбе я неотступен, и по причине этого разреши мне сказать тебе кое-о-чем... (Леонтине.) Позвольте мне воспользоваться такой совершенно чудесной встречей здесь...

ЛЕОНТИНА. Пожалуйста... прошу вас...

РАСТИНЬЯК (отводя в сторону Люсьена). Мой друг, твое имя соединяют с делом епископа Эррера. Будь осторожен.

ЛЮСЬЕН. Я благодарен тебе. Но в чем?

РАСТИНЬЯК. Может явиться полиция и найти у тебя бумаги, компрометирующие других... Письма например...

ЛЮСЬЕН. Да, у меня очень много писем...

РАСТИНЬЯК. Передай их мне как другу...

ЛЮСЬЕН. Ты прав... я передам... Спасибо, друг... А вот сейчас... то-

есть сегодня я получил. (*Передает ему письмо графини де-Серизи.*) И это то же... чтобы не забыть...

ЛЕОНТИНА (*быстро подойдя к Нюсенжану*). Барон, я согласна.

ЛЮСЬЕН (*вдруг радостно*). Графиня, я надеюсь увидеть вас завтра на балу у Мофриньез... (*Растиньяку*). Спасибо, друг. (*Уходит.*)

НЮСЕНЖАН. Однако трудно вас уговорить, графиня. А теперь (*подписывая чек*) получите тридцать тысяч наличными и сто пятьдесят векселями вашего мужа. Мне их уступил дю-Тилье с улицы Сент-Оноре. Ценность их для вас неоспорима. (*Пауза.*) Итого сто восемьдесят...

ЛЕОНТИНА. Конечно, да, конечно... Я сейчас... Мы напишем бумагу... акт... Бумагу ведь нужно... Я принесу бумагу... (*Быстро уходит в свой кабинет.*)

НЮСЕНЖАН. Я имею эти бриллианты, я имею эти бриллианты. Прекрасные бриллианты, и какие бриллианты. И недорого. А! а! Знатоки драгоценных камней всей Европы—Вербруст и Жигоне, я вас всех научу. В каких дураках они сегодня останутся, когда между двумя партиями в домино я опишу им свою покупку. Но это еще не все о бриллиантах. Растиньяк, вы должны дать мне слово, что на завтрашнем приеме у короля, куда зван и я,—да, да, и я,—зайдет речь о недоразумении, возникшем у владыки Испании Фердинанда VII с нашим пресветлым королем. Об этом я знаю через Карлоса Эррера...

РАСТИНЬЯК. Епископ арестован.

НЮСЕНЖАН. Золото не перестает сиять, если несколько дней проболтается в кошельке у преступника. Точно так же можно сказать и о словах, о золотых словах.

РАСТИНЬЯК. Но к чему вам это нужно, и как я это сделаю?

НЮСЕНЖАН. Вы это сделаете через вашего друга де-Шолье, королевского секретаря. Он вскользь затронет эту тему для того, чтобы я мог сказать королю: «Я рад, ваша светлость, пожертвовать миллионы франков, если вашей светлости понадобится добавить к фран-

цузской армии еще несколько полков». Один только намек на войну, один только запах человеческой крови может мне принести большие дивиденды и с лишком покрыть мою благотворительность. Вы знаете: достаточно королю охаять заморских гусей, как тотчас порожают домашние куры. Теперь вы понимаете, при чем тут бриллианты.

РАСТИНЬЯК. В них конечно будет блистать на королевском приеме ваша жена.

НЮСЕНЖАН. Растиньяк, вы—гений. (*Всело.*) Нет, а мне-то, мне-то после всего этого неужели еще нужно писать стихи?

ЛЕОНТИНА (*войдя*). Стихи. Какие стихи? (*Подает Нюсенжану бумагу.*)

НЮСЕНЖАН. Э, графиня, я все убеждаю моего друга Растиньяка в том, что я—поэт.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

(*На просцениуме стоят манекены, на них костюмы: короля, сановников, почтенных особ и почтенных денди. Кресло, столик и на нем зеркало.*)

ПОРТНОЙ (*ухаживая за Растиньяком*). Бедный человек склонен к дешевым удовольствиям. Он напоминает собаку, которая утащила с чужого стола кость,—она грызет ее, вылизывает мозг, а сама все озирается. Но молодой человек, у которого зазвенели в кармане золотые, предвкушая блаженство, смакует его, входит во все подробности, он не знает, что такое нищета, и тогда весь Париж принадлежит только ему. Вы не ошиблись, что выбрали меня своим портным. Благодаря мне многие сделали себе карьеру великих людей Франции. Портной—это или смертельный враг, или друг, посланный судьбой.

РАСТИНЬЯК. Даже короля?

ПОРТНОЙ. Я одевал его, когда он еще не был королем.

РАСТИНЬЯК. Но у короля, кроме того, что одеваете вы, есть еще и голова.

ПОРТНОЙ. Голова его величества только однажды принадлежит нашему богу, для помазания, ну, и министрам для их государственных планов, и каждый день—парикмахеру и мне: я надеваю на нее шляпу, когда он отправляется на прогулку, а в прогулках он проводит почти всю жизнь. Вот костюм для барона Нюсенжана. Прошел слух, что он разорился и бежал из Парижа... Чего только не наплетет молва. Однако он здесь стал еще богаче и даже принят во дворе короля. А вот как одевался у меня журналист Люсьен Шардон, он же, когда пустился в высший свет...

РАСТИНЬЯК. Заказчик королевского портного—Люсьен—арестован и вместе с другом своим епископом Эррера посажен в Консьержери. Он тебе конечно много должен.

ПОРТНОЙ. Мне остаются одни надежды... (*Оглядывая Растиньяка.*) Все на месте и все достойно вашего баронского титула...

РАСТИНЬЯК. Прощай, мой друг.

ПОРТНОЙ. Счастливого пути, барон!

РАСТИНЬЯК. Свои счета можешь прислать в дом Тайльфер, я у его дочери, Викторины Тайльфер, каждый день обедаю. (*Уходит.*)

ПОРТНОЙ. Если только ночь можно считать временем для обеда... (*Поворачивает манекены и поет.*)

Откинув страх,
Резвись, живи
Весь день в мечтах,
Всю ночь в любви...

(*В танце удаляются манекены при открытом занавесе, за которым расположен кабинет генерал-прокурора де-Гранвиля в Консьержери.*)

(*Кабинет генерал-прокурора в Консьержери. Граф де-Гранвиль и Гондюро за разбором документов. Входит жандарм.*)

ЖАНДАРМ. Ваше сиятельство господин прокурор, граф де-Серизи изволил прибыть.

ГРАНВИЛЬ. Но где же он?

ЖАНДАРМ. Здесь, на площадке остановились перевести дух... (*Входит де-Серизи, он запыхался.*)

ГРАНВИЛЬ (*усаживая с помощью Гондюро*). Граф, скорее садитесь, вот сюда. Вина не моя, мой друг, проклятые лестницы Консьержери изведут кого угодно... Все это здание давно надо перестроить, а попробуй потребовать расхода в двадцать миллионов!

ГОНДЮРО. Во всей Франции такая сумма не испугает только одного барона Нюсенжана...

ДЕ-СЕРИЗИ (*Гранвилю*). Поговорим... я тороплюсь...

ГРАНВИЛЬ. Гондюро, оставьте нас...

(*Гондюро уходит.*)

ДЕ-СЕРИЗИ. Говорите со мной так, как будто вы не прокурор, а только мой друг...

ГРАНВИЛЬ. Конечно, граф, конечно... Начну с того, граф, что молбдой человек Люсьен был схвачен приставом и его клерками после того, как выяснилось, что вы никаких векселей ему не выдавали и ваша подпись на них поддельная...

ДЕ-СЕРИЗИ. Мною решено: я должен поплатиться за то, что принимал в своем доме такого человека. Я заплачу по векселям ростовщику дю-Тилье, который выдал под них этому Люсьену сто пятьдесят тысяч... Я лишусь своих последних земель, но огражу свой дом от сплетен...

ГРАНВИЛЬ. Граф, есть кое-что другое... Он был настигнут приставом у одной куртизанки, которую некогда благодетельствовал старик Тайльфер. Когда вошла полиция, хозяйка находилась в глубоком обмороке, был вызван доктор, и он определил у нее отравление каким-то ядом...

ДЕ-СЕРИЗИ. Ядом?

ГРАНВИЛЬ. А нам известно, что у нее были деньги...

ДЕ-СЕРИЗИ. Новое преступление!

ГРАНВИЛЬ. Хорошо было бы, если бы только преступление... С Люсьеном вместе был по этому случаю арестован другой ее гость—испанец Карлос Эррера, и при обыске у него на квартире была найдена пачка писем к молодому человеку Люсьену...

ДЕ-СЕРИЗИ. Этот щенок оказался испанским шпиоком?

ГРАНВИЛЬ. Увы, граф, эти письма к молодому человеку Люсьену принадлежат перу трех знатных дам Парижа... Вот, взгляните... *(Подает письмо.)*

ДЕ-СЕРИЗИ. Моя жена!.. *(Вскочив и роясь на столе в бумагах.)* Письма моей жены...

ГРАНВИЛЬ. Ее облатки и печать...

ДЕ-СЕРИЗИ. Подумать страшно... боже мой... *(Опускается в кресло.)*

ГРАНВИЛЬ. Граф, успокойтесь... Мой друг, будьте мужественны... Не дать ли вам укусу... для головы?..

(Входит жандарм.)

ЖАНДАРМ. Барон де-Растиньяк...

ГРАНВИЛЬ. Барон... Отлично... хорошо... проси его... *(Жандарм уходит.)*

Граф, успокойтесь... Сейчас мы обсудим втроем. Этот достойный юноша поможет нам своими юридическими познаниями... *(Входит Растиньяк.)* Барон,

милый де-Растиньяк, вы не знаете, как трудно быть судьей людей... Сядьте... Неприятные и чрезвычайные события... Мы должны помочь графу... *(Входит жандарм.)* Ну, что еще?

ЖАНДАРМ. Ваше сиятельство, экстренно и секретно...

ГРАНВИЛЬ. Говори скорей!

ЖАНДАРМ. Находящийся в тюрьме подследственный журналист Люсьен Шардон повесился на галстук!..

ГРАНВИЛЬ. Велеть послать за доктором! Спаси! Вылечить! Ступай же.

ЖАНДАРМ. Слушаю, ваше сиятельство. *(Уходит.)*

ГРАНВИЛЬ. Вот, граф, теперь мы можем в несчастьи пожалть друг другу руки... Моей карьере нанесен страшный удар... Проклятая охрана!

ДЕ-СЕРИЗИ. Проклятое дело.

РАСТИНЬЯК. Господин прокурор, только час тому назад я был на свидании у друга моего Люсьена.

ДЕ-СЕРИЗИ. И вы еще не отказались от этой дружбы?

РАСТИНЬЯК. Мое правило: не покидать людей в несчастьи... По дружбе к нему и по просьбе Карлоса Эррера я принял на себя защиту их на процессе. Обстоятельства дела мне известны...

ДЕ-СЕРИЗИ. Но кто же это наконец Карлос Эррера?

ГРАНВИЛЬ. Испанский подданный, незаконный сын герцога д'Осуна, каноник королевского капитула в Толедо, тайный посланник его величества Фердинанда VII.

ДЕ-СЕРИЗИ. Неужели испанский двор допустит дело до процесса? Не верю, не может быть!

ГРАНВИЛЬ. Есть подозренье, что он самозванец...

РАСТИНЬЯК. А если так, то процесс неизбежен...

ГРАНВИЛЬ. Да, да, неизбежен... И у него могут оказаться еще какие-нибудь документы, позорящие достойных людей Франции.

РАСТИНЬЯК. А разве они уже есть?

ГРАНВИЛЬ. Да, барон, есть... Письма к Люсьену от трех знатных дам... и письма довольно нежного смысла.

РАСТИНЬЯК. Вам, господин прокурор, мне не приходится разъяснять, что совесть адвоката, не позволит мне не воспользоваться на процессе документами, которые могут ввести ясность в обстановку преступления...

ДЕ-СЕРИЗИ. Как, и вы хотите опозорить меня?

РАСТИНЬЯК. Граф, неужели они касаются и вашего имени?

ДЕ-СЕРИЗИ. Да, и моего имени, имени графов де-Серизи. Барон, кроме имени, у меня ничего не осталось. *(Умоляюще.)* Что же делать? Что делать?

РАСТИНЬЯК. Но ваше имя и дружба с королевским секретарем герцогом де-Шолье дает вам полную возможность избрать вернейший путь...

ДЕ-СЕРИЗИ. Куда?

РАСТИНЬЯК. К королю!..

ДЕ-СЕРИЗИ. И что же?

РАСТИНЬЯК. И вымолить для генерал-прокурора свободу действий в отношении арестованного аббата...

ДЕ-СЕРИЗИ. К королю. Да, к королю.

ГРАНВИЛЬ *(пожимая руку Растиньяку)*. Барон, я всегда знал, что вы благородны, что вы умны...

ДЕ-СЕРИЗИ *(пожимая руку Растиньяку)*. Барон. Достойный человек. Благодарю вас... Мы вместе... Погоди-

те... А где же мы найдем герцога де-Шолье?

РАСТИНЬЯК. Я знаю час, когда он бывает в Булонском лесу...

ДЕ-СЕРИЗИ. К королю! К королю!

ГРАНВИЛЬ. Барон, вы и меня спасаете. Если бы вы знали, как тяжело быть судьей людей!.. Скорее к королю!

(Растиньяк и де-Серизи уходят. Де-Гранвиль звонит. Входят Гондюро и жандарм.)

ЖАНДАРМ. Ваше сиятельство, заключенный аббат Карлос Эррера просит позволения поговорить с вами.

ГРАНВИЛЬ. Введите сюда аббата под хорошей охраной, и пусть жандармы отпустят его не раньше, как у дверей моего кабинета.

ЖАНДАРМ. Слушаю, ваше сиятельство. *(Уходит.)*

(Гранвиль разбирает документы, входит Гондюро.)

ГОНДЮРО. Что же, ваше сиятельство, у нас на руках остался один, но весьма опасный преступник. Это, как видите, не хуже моего Жака Колена, а может быть, и похитрее его.

ГРАНВИЛЬ. Преступник безусловно владеет самыми опасными письмами трех знатных женщин: де-Серизи, де-Мофриньез и де-Гранлье...

ГОНДЮРО. Судите сами, — когда я развертывал перед ним пачку писем арестованного и теперь уже покойного Люсьена, он бросил на них испытующий взгляд и улыбнулся. Это значит, что у него есть оружие поострее, каким обладаем мы.

ГРАНВИЛЬ. Сообщался он с кем-нибудь, кроме барона Растиньяка, которому я сам разрешил?

ГОНДЮРО. В ту минуту, как он выходил из камеры для свиданий, появилась дама.

ГРАНВИЛЬ. Какая дама?

ГОНДЮРО. Одна из его духовных дочерей, какая-то маркиза...

ГРАНВИЛЬ. Чем дальше, тем хуже! Как смели влупить эту даму? Охрана преступников никуда не годится! Проклятое зданье! *(Слышны голоса.)* Тсс...

Его ведут. Займемся разбором документов и не будем несколько времени обращать на него внимание. Относитесь к нему со всем почтением, которого требует его духовный сан.

ГОНДЮРО. Слушаю, ваше сиятельство.

(Углубляются в чтение документов и при входе Карлоса Эррера не поднимают голов. Эррера подходит вплотную к столу Гранвиля. Пауза.)

ЭРРЕРА. Ваше сиятельство, я — Жак Колен.

(Гранвиль и Гондюро в ужасе молчат.)

(Темнота. На просцениуме — редакционный стол. За ним — Фино и Люсто. Входит д'Артез.)

Д'АРТЕЗ. Я могу видеть редактора?

ЛЮСТО. Видеть редактора никому не возбраняется.

ФИНО. Редактор—я. Что вам угодно?

Д'АРТЕЗ. Вам конечно известен Люсьен Шардон.

ФИНО. Почему конечно?

Д'АРТЕЗ. Хотя бы потому, что он писал у вас в газете.

ФИНО. Могу ли я запомнить всех своих сотрудников?

ЛЮСТО. Писал наверно глупые статьики...

Д'АРТЕЗ. Сила его гения была в стихах.

ЛЮСТО. Эти изящные соловьи продаются во множестве у букинистов на берегу Сены, — все эти «Вдохновенья», «Восторги», песни, баллады...

Д'АРТЕЗ. На челе этого человека была печать гения, но он погиб...

ФИНО. Достойная участь. Так что же вы хотите от меня?

Д'АРТЕЗ. Я принес вам несколько слов, посвященных его памяти и просил бы поместить в вашей газете.

ФИНО. Оставьте. *(Оглядывая д'Артеза с ног до головы.)* Послушайте, у вас на челе есть печать разума. Вы не могли бы написать о последнем скандале на балу у графа де-Ресто?

Д'АРТЕЗ. Нет, не могу.

ФИНО. А вы могли бы заработать себе на сапоги, они у вас без подошв.

Д'АРТЕЗ. В таком случае, вы не знаете истории об одном бедном авторе, который жил на чердаке...

ФИНО. О, знаю, знаю. Прощайте, бедный автор.

Д'АРТЕЗ. Прощайте. (Уходит.)

ЛЮСТО. А не прочтешь ли от нечего делать это творенье?

ФИНО. Прочти, пожалуй...

ЛЮСТО (читает). «Письмо на могилу друга».

ФИНО. Заглавие ничего... Ну, дальше...

ЛЮСТО. «Мой милый друг, я встретил вас на заре ваших мечтаний. Вы тогда влачили нищую жизнь студента и воспитывали ваш гений. Гений нельзя купить по дешевой цене. Гений поливает свои творения слезами. Кто хочет возвыситься над людьми, должен готовиться к борьбе, не отступать ни перед какими препятствиями. Великий писатель—просто мученик, которого не удалось замучить. У вас на челе была печать гения...»

ФИНО. Опять про эту печать!.. Белиберда!..

ЛЮСТО. А дальше: когда родился, где... и прочее, как полагается.

ФИНО. А что, Люсто? Воспользуйся биографией этого литературного жучка, присочини и сооруди ему такой похоронный соус, чтобы он стремглав поплыл по тихим волнам по реке забвенья, именуемой Летой. А как его... как имя?

ЛЮСТО. Люсьен Шардон.

ФИНО. Люсьен Шардон... Не помню, позабыл.

(Темнота. Катанье в Булонском лесу.)

(Беседка в парке Тюильри, рядом—ездовая аллея. В беседке—де-Серизи и Растиньяк.)

ДЕ-СЕРИЗИ. А дождик еще будет... Посмотрите, барон, это не герцог де-Шолье идет под зонтиком?

РАСТИНЬЯК. Нет, граф, вы обожались. Но он тотчас сюда будет. Он может появиться внезапно, ему ведомы в Тюильри такие пути, о которых мы не знаем.

(В аллее мелькают две юных фигуры—мужчины и женщины. Смех.)

(Вздыхнув.) Эта юная пара испытывает полное счастье...

ДЕ-СЕРИЗИ. Полное счастье, барон, бывает тогда, когда мужчина отдает свою первую любовь последней любви женщины, но если первая страсть женщины ответит последней страсти мужчины, то это грозит великими несчастьями...

РАСТИНЬЯК. Тогда в чем же искать счастья на склоне лет?

ДЕ-СЕРИЗИ. В досуге от женщины. Тот, кто обретет этот досуг, тот будет счастлив.

РАСТИНЬЯК. Это счастье было бы неполно, если бы ему не сопутствовал покой благополучия и избыток средств... У вас, граф, в этом недостатка не будет.

ДЕ-СЕРИЗИ. Вы так думаете?

РАСТИНЬЯК. Да, граф, я глубоко в этом уверен. Когда я впервые имел честь посетить ваш дом и, выжидая выхода графини, любовался святым семейством, изображенным на полотне блестящей кистью знаменитого итальянского художника, я подумал о том, что недаром это великое произведение нашло свое место здесь. От него веяло той же теплотой семейственности, которая согревает сердца самих хозяев и как бы оживляет холодный мрамор стен и стройных колонн, а пышность изображенной природы соответствует изобилию и богатству дома...

ДЕ-СЕРИЗИ. Мне от этого мрамора так же холодно, как сейчас от осенней земли и облаков, насыщенных стужей...

РАСТИНЬЯК. Причина этому—ослабление вашего организма, истощенного заботами о государстве, хозяйство которого столь сложно и многообразно.

ДЕ-СЕРИЗИ. Жизнь, барон, сложнее государства.

РАСТИНЬЯК. Сила и ясность вашего ума должны мгновенно разрешать всякие препятствия...

ДЕ-СЕРИЗИ. А вот сейчас я не могу разрешить простого вопроса: где мне достать сто пятьдесят тысяч франков. Ну, если бы вам задали такую задачу, где бы вы их достали?

РАСТИНЬЯК. Я не знаю, граф...

ДЕ-СЕРИЗИ. Ну где? Где?

РАСТИНЬЯК. Мои потребности настолько скромны, что я даже представить себе не могу такой цифры... А вам это ужасно легко... Вы располагаете такими владеньями...

ДЕ-СЕРИЗИ. Владения не есть еще деньги...

РАСТИНЬЯК. Но их можно превратить в золото.

ДЕ-СЕРИЗИ. Мне нужна такая сумма немедленно.

РАСТИНЬЯК. И на это я не вижу препятствий.

ДЕ-СЕРИЗИ. Только счастливая случайность может меня выручить.

РАСТИНЬЯК. Эта счастливая случайность как-раз имеется, и барон Нюсенжан озабочен спешною покупкой земель...

ДЕ-СЕРИЗИ. И что же?

РАСТИНЬЯК. Ваше имя — все. Достаточно вашей записки, и вы до совершения купчей сможете завтра же располагать деньгами. Я был бы польщен избавить вас от хлопот и передать барону ваше желание, и совершить все формальное, и, если бы некоторые поступки не карались законом, я подписал бы обязательства вашим именем... (Смеется.) Но я не обладаю легкостью пера...

ДЕ-СЕРИЗИ. Легкость пера. Берегите себя от этого качества, свойственного либералам.

РАСТИНЬЯК. Наоборот, граф, я всегда мечтал обладать им, чтобы посвятить себя защите униженных и оскорбленных разнузданной чернью и безнравственными проповедниками безвластия. Граф, вы еще не знаете, сколь горячо мое сердце, и, когда бы мне приказал король, я взорвал бы мину, исторгающую гибель его врагам...

ДЕ-СЕРИЗИ. Милый барон, вы меня тронули, я нахожу в вас опору и друга. Помогите же мне!

РАСТИНЬЯК. Граф, вот вам мой карманный письменный приборчик... Подарок моей матушки... (Раскрывает кожаный ящичек.) Листок бумаги... перо... и есть чернила... Пишите, граф...

ДЕ-СЕРИЗИ (пишет). Вас вероятно любит ваша матушка.

РАСТИНЬЯК. Я не достоин любви этой святой женщины...

(Набегает облако.)

ДЕ-СЕРИЗИ. Вы достойны первого места Франции. У вас сердце ребенка и ум министра...

(Вбегает с зонтиком де-Шолье.)

ДЕ-ШОЛЬЕ. Граф, вы и здесь, как у себя в совете, за пером.

ДЕ-СЕРИЗИ (передавая записку Растиньяку). А вас только это грозное облако могло загнать сюда... (Растиньяку.) Я верю вам во всем...

ДЕ-ШОЛЬЕ. Ах, господа, не умолчу о своих слабостях. Есть поцелуи, которые разорвать труднее, чем цепь Прометея, которою он прикован к скале.

ДЕ-СЕРИЗИ. Герцог, мне не до шуток. Вам передал мой друг барон об ужасных событиях?

ДЕ-ШОЛЬЕ. У этого молодого человека Люсьена была система выманивать у женщин страстные письма.

РАСТИНЬЯК. Возможно, что это система аббата Эррера...

ДЕ-ШОЛЬЕ. Запрятать его в секретную, в Бисетр, пусть он там издохнет.

РАСТИНЬЯК. У него могут оказаться верные люди на свободе...

ДЕ-ШОЛЬЕ. Мы можем отправить его в Рошефор, и он умрет там через полгода от миазмов Шаранты.

РАСТИНЬЯК. Это хорошо только в том случае, если у него нет писем, а если они есть, их надо добыть...

ДЕ-ШОЛЬЕ. Но как?

РАСТИНЬЯК. Повелением короля о его помиловании.

ДЕ-СЕРИЗИ. Да, да, о помиловании.

РАСТИНЬЯК. Во имя спасения чести французской аристократии можно решиться на многое... Во власти короля — все, а во власти государственных мужей применить способности преступника на пользу общего дела, кто бы он ни оказался.

ДЕ-ШОЛЬЕ. И вы берете на себя эту задачу?

РАСТИНЬЯК. Да, беру. Я заставляю аббата молчать о письмах.

ДЕ-СЕРИЗИ. И вы будете государственным мужем, в этом клянется граф де-Серизи.

ДЕ-ШОЛЬЕ. Вы знали аббата?

РАСТИНЬЯК. Я, кажется, встречал его... где-то... раньше.

ДЕ-ШОЛЬЕ. Барон, о вашем благородном поступке будет сейчас же известно королю. Мы вместе едем во дворец! Аяри, скорее к королю!

(Проезжает экипаж, в нем — супруги Нюсенжан.)

НЮСЕНЖАН *(кучеру)*. Стой! Стой!
(Растиньяк направляется к экипажу.)

НЮСЕНЖАН *(выскочив из экипажа)*. Вы здесь, а я ишу вас по всему Парижу... Что случилось?

РАСТИНЬЯК. После приемов у короля у вас завелись аристократические привычки — вы любопытны.

НЮСЕНЖАН. Расскажите же!..

РАСТИНЬЯК. Барон, если хочется видеть, как скачут марионетки, зачем подглядывать в дырку холста, когда можно прямо войти в балаган... *(Указывает на беседку, где шепчутся де-Серизи и де-Шолье.)* Барон... *(Передает ему записку.)* Отныне земли графа де-Серизи принадлежат вам!

ДЕЛЬФИНА. Господин де-Растиньяк, я так же нетерпелива, как этот конь.

РАСТИНЬЯК. Баронесса...

(Растиньяк у экипажа беседует с Дельфиной.)

НЮСЕНЖАН *(направляясь к беседке)*. Граф, дорогой мой граф, какая счастливая встреча!

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

(Дом свиданий у Жаклины Колен. Корали и Флорина за вышиваньем. Играет органчик.)

ФЛОРИНА. Придумала еще наша мамаша, чтобы мы занимались этим дурацким вышиваньем.

КОРАЛИ. Она говорит, что мужчины в таких домах любят благопристойность.

ФЛОРИНА. Скучно... *(Зевает.)* Корали, у тебя сколько было любовников?

КОРАЛИ. Один.

ФЛОРИНА *(смеется)*. Идиотка. Если ты не хочешь об этом разговаривать, так и скажи.

КОРАЛИ. Один — мой Люсьен.

ФЛОРИНА. А те мужчины, которые приезжают за тобой сюда, ты их не считаешь?

КОРАЛИ. Это — не любовники.

ФЛОРИНА. А кто ж они?

КОРАЛИ. Звери, которые меня пытаются.

ФЛОРИНА. Без них ты бы умерла с голоду или ходила бы, как нищенка. Эти разбогатевшие лавочники кормят нас и одевают. В театр нас больше не возьмут, потому что наши журналисты бросили нас. А что такое актриса без собственной прессы? Ничего!

КОРАЛИ. И слава такой актрисы — тоже ничто.

ФЛОРИНА. А деньги? Деньги, которые ей суют мужчины, сманивая друг перед другом к себе в любовницы.

КОРАЛИ. Я была бы счастлива жить с любимым человеком на мансарде и питаться одними жареными каштанами и кофе.

ФЛОРИНА. Ну, и живи.

КОРАЛИ. У меня нет любимого человека.

ФЛОРИНА. Найди.

КОРАЛИ. В Париже любовь покупают деньгами.

(Входит Жаклина.)

ЖАКЛИНА. Мадемуазель, подехала карета. Оправляйтесь и встречайте. *(Флорина выходит.)* Измени выражение лица, Корали. Скорбь на твоём лице превращается в глупость. *(Уходит.)*

КОРАЛИ. Боже мой, пусть бы сегодня никто уж не приходил... *(Прислушиваясь.)* Нет, кажется, кто-то разговаривает.

(Входит Гондюро. Он в новом облике.)

ГОНДЮРО. Вот где я вас нашел, мое дитя!

КОРАЛИ. А я вас не знаю.

ГОНДЮРО. Поклонник с давних пор, когда вы блистали в «Драматической панораме».

КОРАЛИ. Я там не служу... я так... в разных местах... выступаю.

ГОНДЮРО. Вы покинули сцену, когда Люсьен Шардон кончил свою блестящую литературную карьеру и пустился в плаванье по капризным водам парижского света. Париж — это океан. В нем часто погибают утлые челны, если только слабую человеческую душу можно сравнить с челном, плавающим по житейскому океану. У вас, дитя мое, не сохранилось ли чего из его рукописей? Я—поклонник его таланта. Какие-нибудь отрывки, письма его... или даже письма к нему с его остроумными пометками на полях... Ему писали многие женщины... даже графиня де-Монкорнэ. Может быть, он этак на ее письме сбоку... на полях выражал мгновенную мысль, мимолетный вздох...

КОРАЛИ. Нет, ничего нет...

ГОНДЮРО. Или вы его держали под замком? Ревновали к женщинам комильфо?

КОРАЛИ. Да... они хуже нас...

ГОНДЮРО. Откуда вы это знаете, дитя мое?

КОРАЛИ. От их мужей... За мной полгода ухаживал де-Марсэ и рассказывал про свою жену...

ГОНДЮРО. Так у вас нет, ничего нет?

КОРАЛИ. У меня нет ничего, кроме его образа, который я ношу в своем сердце. Иногда я хожу в Булонский лес и вижу его там... издали...

ГОНДЮРО. И больше никогда не увидите.

КОРАЛИ. Почему? Хоть завтра... я соберусь на-днях...

ГОНДЮРО. Его же нет, дитя мое.

КОРАЛИ. Как нет?

ГОНДЮРО. Люсьен Шардон повесился в тюрьме...

КОРАЛИ. Повесился? В тюрьме? Что, что вы говорите? Вы нарочно!..

ГОНДЮРО. Да, да, дитя мое.

КОРАЛИ. Повесился... в тюрьме... (Входит Карлос Эррера. Короли в ужасе.)

Ой, ой, как страшно! (Кричит.) А-а-а!

(Вбегает Жаклина.)

ЖАКЛИНА. Дрянная девчонка! ЭРРЕРА. Почтеннейшая, уведите ее.

(Жаклина уводит Корали, Гондюро хочет уйти.)

ЭРРЕРА. Я, кажется, вижу одного из моих хороших знакомых. Господин Гондюро, случая ли я обязан, что вы здесь?

ГОНДЮРО. Да, это я, мой милый аббат...

ЭРРЕРА. Вы плохо маскируетесь, мой друг. Вам не удастся спрятать ваши глаза. (Жаклина показывается у двери.) Вот берите пример с этой почтенной женщины... Ведь это же маркиза, которая посетила меня в тюрьме. Это—моя тетушка, Жаклина Колен...

ГОНДЮРО. Содержательница притона!..

ЭРРЕРА. В этом притоне люди делают свои дела откровеннее, чем то же самое делают в салонах герцогинь. А вы, я знаю, зачем посетили этот притон. Вы собирались выманить у этой девчонки документик, чтобы иметь со мною равное оружие для устрашения знати и закрепить свое положение начальника полиции. Вы проиграли дело. Девчонка находится в надежных руках. Почтенная тетушка... (Напевает.)

О, дайте мне,
Что у вас есть,
Что у вас есть..

(Жаклина подает ему пачку писем.)

Это — письма графинь и герцогинь. Хороший товар. Когда пишут публичные женщины, то заботятся о выражениях и прекрасных чувствах, а важные барыни пишут так, как поступают девки. Ради этих писем меня отпустил сюда генерал-прокурор. А ведь я был почти побит вами.

ГОНДЮРО. Да, если вы лишились ферзя, то я потерял две туры.

ЭРРЕРА. Мишоно и Пуаре, которых я убрал со своей дороги, можно назвать только пешками. А вы, честное слово, удивительный человек.

ГОНДЮРО. Я признаю ваше превосходство и преклоняюсь перед вами. Вы одного закалѣ с Лувелем, самым великолепным политическим орудием, какое я видел.

ЭРРЕРА. От таких похвал кружится голова.

ГОНДЮРО. Ну, полноте. Я вам предлагаю совершенное прощенье, и вы станете первым моим помощником и после меня моим преемником.

ЭРРЕРА. Значит, вы мне предлагаете место? Из брюнета я стану блондином.

ГОНДЮРО. Между двумя такими людьми не может быть никакого недоразумения.

ЭРРЕРА. Ах! Вместо того, чтобы сказать как Робер-Макер: «Обнимемся», я просто вас обнимаю. *(Эррера быстро обнимает Гондюро и отшвыривает его к двери, потом ловит его руку и привлекает к себе.)* Прощайте, мой милый. Между нами легло три трупa. Станем уважать друг друга. Я хочу быть вашим ровней, а не вашим помощником. Вы зовете себя государством, подобно тому, как лакеи зовут друг друга по имени своих господ. Мы оба очень приличны и останемся навсегда *(на ухо)*... страшными канальями. Я подаю вам пример, заключая вас в свои объятия. *(Вновь обнимает Гондюро и вышвыривает в дверь.)* Проводите дорогого гостя. *(Возвращается к письмам и разбирает их. Входит Жаклина.)* Какова история с письмами, тетушка Жаклина?

ЖАКЛИНА. Стоит только женщине потяжелее вздохнуть, как у всех перевертываются мозги. Юбка надета чуть-чуть повыше или пониже, и они в отчаянии забегают по Парижу.

ЭРРЕРА. Женщина — это гениальный палач. Кроме вас, тетушка, я презираю всех женщин и всегда буду господствовать над этим миром. *(Входит Растиньяк.)* Ну и молодцы мои ребята! Барон, вас перехватили на дороге? Вы из дворца?

РАСТИНЬЯК. Я от короля. Вы свободны, и вам будет оказана милость.

ЭРРЕРА. Я есть, чем был. Карлос Эррера умер. Только потому, что вы

здесь, из учителя я стану вашим рабом. Ваши дела идут успешно. Вы сияете, но из дьявольской осторожности не откроете конечно, какая и вас ожидает королевская милость.

РАСТИНЬЯК. Да, я ничего не скажу, ибо привык хранить тайны до тех пор, пока их не следует обнаружить для своей пользы.

ЭРРЕРА. И во вред другому.

РАСТИНЬЯК. Чужая жизнь меня не интересует.

ЭРРЕРА. Или интересуется постольку, поскольку она вам нужна.

РАСТИНЬЯК. Разумеется. Так должен рассуждать государственный человек.

ЭРРЕРА. И я вам окажу на государственном вашем пути первую пользу: передайте вот этот сюрпризик графине де-Серизи и скажите ей, что я устрою так, что ей будет прилично присутствовать на похоронах Люсьена.

РАСТИНЬЯК. Что вы задумали?

ЭРРЕРА. Тайна, которая вам окажет пользу. Но не забудьте и меня. Мой друг, я хотел бы из жильцов ка-торги перейти в ее поставщика.

РАСТИНЬЯК *(пожимая ему руку)*. О, если б вас захотели взять. *(Хочет уйти.)*

ЭРРЕРА. Барон, одну минуту. Вы женитесь на девице Тайльфер. Я надеюсь, вы не забыли, ибо мне нужна небольшая сумма для покупки черных рабов. А вас уже не смущает... *(Делает дуэльный выпад.)* Раз... два... *(Смеется.)*

(Темнота. Спальная комната Леонтины — она в постели. Доктор и Жозефина — у столика с лекарствами.)

ДОКТОР. Это — примочка к голове. Это — лекарство внутрь. Это давайте графине нюхать. Грейте ноги.

ЖОЗЕФИНА. Доктор, я, право, так не волновалась, когда присутствовала при казни короля Людовика! Не так страдало сердце!

ДОКТОР. Положение графини ничего, ничего... *(Идет на цыпочках к двери.)*

ЖОЗЕФИНА *(за ним)*. У нас пропал кот Мистригис... Вы понимаете?

ДОКТОР (у двери). Пропал кот?.. Неважно, неважно... (Уходит.)

ЛЕОНТИНА (слабым голосом). Жозефина..

ЖОЗЕФИНА. Что вам угодно, ваше сиятельство? Примочки или капель?

ЛЕОНТИНА. Меня хотел видеть барон. Пригласи его сюда, только пусть войдет один, без графа...

ЖОЗЕФИНА. Слушаю, ваше сиятельство. (Уходит.)

(Бьют часы.)

ЛЕОНТИНА. Уже десять...

(Входит Растиньяк.)

РАСТИНЬЯК (у постели). Графиня, как вы себя чувствуете? О, да вы молодцом!

ЛЕОНТИНА (оправляя халат). Не обращайтесь внимания на умирающую... Я слышала, что вы имеете ко мне важное сообщение... иначе бы я не решилась принять вас здесь...

РАСТИНЬЯК. Я имею передать вам вот это. (Передает пачку писем.)

ЛЕОНТИНА. Письма! Мои письма! О, боже! Вы знаете, как тяжело было бы, если бы кто-нибудь узнал о моих невольных и неопытных чувствах?.. Вы, надеюсь...

РАСТИНЬЯК. Что вы, графиня, разве я осмелюсь заглянуть в ваше сердце... Я хотел бы только поговорить с вами о том человеке, который мне их передал. Правда, Карлос Эррера оказался не совсем аббатом, но действительно испанского происхождения, малый честный и необыкновенный по талантам. Я просил бы вас—или пусть это сделает граф—замолвить о нем доброе слово у хранителя королевской печати. Там о его талантах знают...

ЛЕОНТИНА. Непременно, барон, непременно.

РАСТИНЬЯК. И наконец мое скромное вам одолжение. (Подает листок.) Последнее ваше письмо к Люсьену, которое он мне вручил на хранение вот здесь, у вас...

ЛЕОНТИНА. Это письмо! Барон, это для меня все! Вы не знаете, как я вам благодарна! Что я могу для вас сделать?

РАСТИНЬЯК. Вы можете сделать все, но я ничего не смею просить.

ЛЕОНТИНА. Отчего вы вдруг стали такой грустный?

РАСТИНЬЯК. Я озабочен, графиня. Сегодня решается моя судьба. Я — или обыкновенный человек, или вступаю на путь государственного деятеля. Я люблю свою Францию и хотел бы ей послужить...

ЛЕОНТИНА. От кого же это зависит?

РАСТИНЬЯК. От общего голоса французской знати, к которому его величество так чутко прислушивается...

ЛЕОНТИНА. Перед вами большая преграда, через которую очень многие не могут переступить, но вот вам женская рука, чтобы вам помочь...

РАСТИНЬЯК. Я не смею вас просить...

ЛЕОНТИНА. Вы отступаете? Но вы будете иметь успех, вас ожидает блестящая будущность. Достаточно взглянуть на ваше лицо, чтобы предсказать удачу.

РАСТИНЬЯК. Вы меня смущаете... Но обо мне — что. Вот о вас, о вас! Карлос Эррера клялся мне устроить так, что вы сможете, не подавая повода к дурной молве, быть на похоронах Люсьена де-Рюбанпрэ...

ЛЕОНТИНА. Как же это можно?

РАСТИНЬЯК. Я, графиня, не знаю. Он — человек гениальной выдумки. Полагаю, что вы имеете право ближе всех стоять у могилы моего друга...

ЛЕОНТИНА. Боже, как я страдаю...

РАСТИНЬЯК. У вас не было соперниц... Прощайте, графиня...

ЛЕОНТИНА (с платком у глаз). Прощайте, барон... вы меня растрогали... (Растиньяк уходит. Леонтина быстро вскакивает с постели.) Растиньяк очарователен. (Разрывая и бросая в камин письма.) Положительно очарователен. (Звонит.) Жозефина, Жозефина!

(Входит Жозефина.)

ЖОЗЕФИНА (всплеснув руками). Боже мой, опять припадок безумья.

ЛЕОНТИНА. Дура! Скорей одеваться! Скорей же, я говорю! Я здорова!

ЖОЗЕФИНА. Какое прикажете платье?

ЛЕОНТИНА. Бальное. Последнее, что мы получили из ателье мадам Сан-Эстабан.

ЖОЗЕФИНА. Бегу, сейчас бегу. Какое счастье! (Уходит.)

ЛЕОНТИНА (скидывая халат). Растиньяк очарователен.

(Темнота. В течение интермедии начнется музыкальный номер: похоронная процессия. На проscениуме — Гондюро и журналист.)

ГОНДЮРО. Вы — журналист?

ЖУРНАЛИСТ. Да, я — журналист.

ГОНДЮРО. Кому служит ваше перо?

ЖУРНАЛИСТ. Разумеется, роялистам. Я здесь потому, что мне поручено описать эти знатные, пышные похороны и сказать несколько слов по поводу деятельности покойника.

ГОНДЮРО. Вы сколько получаете за такую статейку?

ЖУРНАЛИСТ. Не менее десяти франков от редактора, а если у покойника окажутся богатые родственники, то я могу заработать и больше.

ГОНДЮРО. Я — представитель либеральной прессы. Хотите получить от меня тысячу?

ЖУРНАЛИСТ. Сколько?

ГОНДЮРО. Тысячу.

ЖУРНАЛИСТ. Мда... мда...

ГОНДЮРО. Великие мира сего совершают почти столько же низостей, как и те, кого называют голью, но они совершают свои дела в благодатной тени, а напоказ выставляют свои добродетели и остаются великими.

ЖУРНАЛИСТ. Это — философия.

ГОНДЮРО. А мелкие люди расточают свои добродетели в тени и выставляют на свет свои слабости, и их за это презирают.

ЖУРНАЛИСТ. Мда... мда...

ГОНДЮРО. Вы согласны с моими мыслями?

ЖУРНАЛИСТ. Только насчет света и тени.

ГОНДЮРО. А с этим? (Сует ему деньги.) Тут ровно тысяча.

ЖУРНАЛИСТ. Согласен.

ГОНДЮРО. Вы можете создать себе популярность даже сегодня, тут же, на кладбище Пер-Лашез. Вы знаете, кого хоронят с пышностью, достойной священной особы?

ЖУРНАЛИСТ. Ну, конечно знаю.

ГОНДЮРО. Дайте мне ваше ухо. (Шепчет ему на ухо.)

(Темнота. Погребальная процессия. Проходят парами: муж и жена де-Серизи, де-Мофриньез, де-Гранлье с дочерью, Растиньяк, Тайльфер, Нюсенжан и разодетая Жаклина Колен. По бокам охраняют процессию жандармы и не допускают толпу, в которой: Воке, сплетница, префект, скрипач, нищий, журналист, Гондюро и другие. Скрипач играет.)

СКРИПАЧ. Подайте монету слепому.

НИЩИЙ. Синьоры, святая дева Мария да поможет вам за ваше милосердие.

ВОКЕ. Покойник, говорят, был замечательный человек.

ЖУРНАЛИСТ. О ком вы говорите, мадам?

ВОКЕ. Здесь неприлично ввязываться в чужие рассуждения. Мы, кажется, на похоронах, а не за обеденным столом в пансионе.

СПЛЕТНИЦА. Будьте религиозны.

ВОКЕ. Он был почти святой жизни.

ЖУРНАЛИСТ. Кто, мадам?

СПЛЕТНИЦА. Его даже пытали в Африке.

ПРЕФЕКТ. Я ходил туда с Наполеоном.

СПЛЕТНИЦА. Я вас, кажется, не спрашиваю, куда вы ходили.

ПРЕФЕКТ. В Африке так жарко, что вата...

ВОКЕ. Какая вата?

ПРЕФЕКТ. Вот та самая, сударыня, что у вас на салопе, в Африке вырывает в апреле месяце.

СПЛЕТНИЦА. Смотрите, смотрите, его уже опускают в могилу!

(Гондюро и журналист порываются из толпы к могиле, но каждый раз на дороге становится несколько жандармов и подходит нищий с просьбой о подаянии.)

НИЩИЙ. Синьоры, святая дева Мария да поможет вам...

ГОНДЮРО (журналисту). Здесь видна рука хорошего распорядителя. Но вы будьте смелее.

ЖУРНАЛИСТ. Разумеется.

ВОКЕ. Он состоял в каком-то знаменитом ордене.

ПРЕФЕКТ. Это, сударыня, врут.

ВОКЕ. Как врут?

ПРЕФЕКТ. Если в ордене, то должна стрелять пушка.

СПЛЕТНИЦА. Смотрите, смотрите, все люди — дамы и даже мужчины — плачут!

ЖУРНАЛИСТ. Это, мадам, не люди, а знать. Знатный — это еще не значит человек.

ВОКЕ. Они идут! Сюда идут!

(Журналист порывается к ним навстречу, и опять около него нищий).

НИЩИЙ. Синьоры, святая дева Мария да поможет вам...

ГОНДЮРО (журналисту). Я вам скажу, когда.

(Вдруг сквозь толпу протискивается Жак Колен.)

ВОКЕ. Кто это?

СПЛЕТНИЦА. Вероятно запоздавший родственник.

ГОНДЮРО (журналисту). Вот, вот.

ЖУРНАЛИСТ (Жаку). Скажите пожалуйста, кого это хоронят?

(Нищий подступает к группе.)

НИЩИЙ. Синьоры, святая дева Мария...

ЖАК (упорно глядя на Гондюро). Каноника толедского капитула Карлоса Эррера.

ЖУРНАЛИСТ (кричит, обращаясь к толпе). Граждане, я — журналист! Я утверждаю, что это — ложь! Это — не он! Хоронят преступника Люсьена Шардона!..

(Журналиста и Гондюро хватают жандармы, нищий и скрипач. Среди провожающих смятение и возгласы.)

ЖАК (Гондюро). Гондюро, мы поравнялись.

(Журналиста и Гондюро увлекают.)

ЛЕОНТИНА (мужу). Граф, идемте... Ах, как я любила аббата.

ДЕ-СЕРИЗИ. Достойнейший, прекрасный был человек аббат Карлос Эррера.

НЮСЕНЖАН (Растиньяку). Господин министр, как вам понравился мой арабский конь?

РАСТИНЬЯК. Я тронут вашим подарком...

НЮСЕНЖАН. Вы привыкли брать большие препятствия, мой конь сослужит вам хорошую службу.

РАСТИНЬЯК. Благодарю, барон... (Жаку.) Что случилось, господин Жак Колен?

ЖАК. Неожиданное выступление двух сумасшедших. Их схватили и на минутку завезут в Консьержери.

РАСТИНЬЯК. Под вашим началом прекрасно действует парижская полиция.

ТАЙЛЬФЕР. Прекрасно.

ЖАК. Я рад служить господину министру.

РАСТИНЬЯК. Благодарю вас. (Протягивает руку.)

ЖАК (пожимая руку). И пожать руку де-Растиньяку, моему нежнейшему другу... (Растиньяк быстро отрывает руку и удаляется.) Почтеннейшая моя тетушка Жаклина Колен, вас ждет одна из лучших карет города Парижа.

ЖАКЛИНА (передавая ему кошелек). Вот за упокой души аббата.

ЖАК (бросая нищему кошелек, кричит). Золото!

(Монеты рассыпаются по земле, нищий, скрипач и люди из толпы кидаются подбирать монеты.)

Занавес.

Архангельск

ИВАН ЕВДОКИМОВ

Часть третья

(Продолжение ¹)

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Джемми Сноуден давно не писал Виктории. Прямо из лазарета, как только на месте плечевой раны образовался синеватый рубчик, правда, еще не совсем твердый, шотландского стрелка отправили на позиции. Шестая красная армия порядком оправилась от первоначальных неудач и остановила противника на главнейшем направлении к Москве. Архангельская железнодорожная кишка, по которой рвались интервенты и белогвардейцы на Вологду, оказалась доступной им в незначительной своей части. Переполох и смятение после занятия Архангельска давно прошли. Неприятель воспользовался своими преимуществами весьма слабо и даже просто неумело. Он кинулся было яростно вперед, как разъяренный бык с олушенными до земли рогами, проскакал сто километров и... уперся, и... обломал рога. Он попытался прорваться сквозь тайгу в обход и выйти на железнодорожное полотно в глубочайшем тылу Шестой армии. Но и тут не успел. Архангельская кишка осталась за красными более чем на три четверти.

Джемми Сноудена перебросили с Великой Северной Двины сюда. Он должен был снова запоминать и путать странные названия русских сел, деревень, станций... Тундра, Обозерская, Емца, Плесецкая, Няндом, Коноша... и какое-

то Селецкое, и какое-то Чекуево, и Шелекса, и Межновское, и Авдинское...

Шотландский стрелок отдохнул в лазарете от трудного похода на Двину со всеми его неожиданностями, случайностями, непонятым поведением населения и большевиков. На лазаретной койке Джемми опять почувствовал себя опрятным, причесанным и побритым человеком. А главное он по-настоящему отгрелся от ледящих ветров, от назойливых, как и ветра, непрерывных метелей, от невыносимого холода ночных караульных часов.

Джемми готов был забыть все свои походные невзгоды и уже надеялся попасть из лазарета на корабль, дабы отправиться домой, к Виктории. Ему казалось, что прошло достаточно времени, в течение которого главная британская квартира обязана была понять совершенную ошибку, а следовательно как можно скорее исправить ее. Джемми крепко надеялся на благоразумие Британии. Стрелку однако представилось, что парламент также располагал длительным промежутком со дня отправки войск в Россию до середины этой зимы, чтобы передумать воевать неизвестно с кем и зачем и непременно отозвать свою армию обратно.

Надежды шотландского стрелка подкреплялись многозначительными фактами. Недавно привезли в лазарет раненого американца, и он рассказал по секрету Джемми поучительную историю.

Недалеко от лазарета помещались Смольные казармы. Там находился аме-

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 1 и 2 с. г.

риканский отряд. Он получил приказ отправиться на железнодорожный фронт. В назначенный срок послали к Смольным казармам санный обоз, дабы он доставил солдат на станцию, где их ожидал поезд. Обоз прибыл, но люди не двинулись из казарм и не погрузили обмундирование. Явился командир полка, собрал солдат в самом обширном помещении казармы и сказал:

— Я хочу знать причины, по которым замедлено выполнение приказа?

Солдаты промолчали. Тогда командир прочитал им статью военного устава, в которой разъяснялось, что подобные поступки считаются мятежом, а всякий мятеж карается смертной казнью.

Но солдаты и после страшного предупреждения продолжали молчать. Тогда командир сам прервал долгое молчание и спросил:

— Нет ли у присутствующих каких-нибудь вопросов?

Поднялся один солдат и спокойно произнес:

— Сэр, относительно статьи воинского устава конечно не может быть никаких вопросов: она ясна и определённа. Но, сэр, мы хотим знать, для какой цели мы здесь и каковы намерения правительства Соединенных Штатов?.. Тем более это важно знать, что война с Германией окончилась несколько месяцев назад, Германия признала себя побежденной, сложила оружие и, повидимому, не ведет никакой скрытой войны здесь, на Севере. По крайней мере никто из нас не видал ни одного германца, когда нас везли сюда по океану и когда мы всю зиму сражались на суше в русских деревнях. Мы, сэр, бессильны признать за германца русского крестьянина и солдата-большевика, сражающихся с нами, так как на западном фронте достаточно познакомились с германцами, в состоянии отличить их наречие и привычки от наречия и привычек русских. Они не походят. Мы не можем ошибаться!

Командир выслушал и вежливо, с полной откровенностью заявил:

— Я хотел бы дать исчерпывающий ответ присутствующим и полностью удовлетворить понятное любопытство их, но я и сам не знаю точно цели, для какой

мы здесь, и еще меньше знаю, каковы намерения правительства Соединенных Штатов. Однако даже при незнании целей экспедиции необходимо исполнять военные приказы. От этого зависит жизнь солдат всего отряда и успешность сопротивления.

Приказ был выполнен, обмундирование погружено, и люди отправились на станцию железной дороги.

— Мы обязаны быть мужественными солдатами,—с тайной насмешкой над собой тихонько шепнул рассказчик,—мы мужественно выполняли... тяжелый долг убивать русских крестьян в солдатской форме... и вот я,—американец мрачно надулся,—потерял ногу в этой войне, цель которой ни для меня, ни для командира неизвестна. Я возвращусь на родину калекой. Пусть другие вместо меня кичатся мужеством. Я привезу в семью мою только несчастье и слезы.

Джемми Сноуден напряженно продумал поведение американского отряда. Товарищи по походу, как ему казалось, не могли поступить иначе.

— Военный устав очень суров,—строго протянул он и задумался,—но... без него... нельзя. Он действует во всех армиях... Даже у большевиков. У них также нельзя отказаться от похода, и они также требуют мужества.

Американец с опаской осмотрелся в полупустой палате и задорно шепнул:

— А... если мятеж?

Шотландский стрелок недоверчиво покачал головой.

— Он не поможет. У главной квартиры всегда найдутся запасные части. Они останутся преданными генералам до конца. Кроме того, Айронсайд соберет всех офицеров... А затем он может приказать потопить корабли... И в том, и в другом случае мы не попадем на родину.

— А... если все солдаты сговорятся и выступят сразу,—жадно продолжал американец,—не кажется ли тебе, что офицеры будут в меньшинстве и... корабли будут в нашем распоряжении?

— Ну, что же из этого?—быстро ответил Джемми Сноуден.—А куда поплывут корабли?

— Домой.

— Домой? А военный устав? У тебя есть уверенность, что навстречу нашим кораблям парламент не пошлет эскадру, чтобы уничтожить нас как изменников? Нет? И у меня нет. Он наверное поступит так.

— Да, да,—растерянно и недовольно пробормотал американец.—Нас... не прирут! Мы будем опасны!

— Один выход: послать парламентаров к большевикам,—улыбнулся шотландский стрелок,—но это значит признать себя побежденными. Но мы же не побеждены?

— Это значит навсегда отказаться от родины, от наших семей!—взволновался американец.—Я чувствую, как моя Эмма не пережила бы подобного позора при всей жалости ко мне. То-есть она бы была довольна, что война кончилась и я остался жив, но ка-а-к покинуть свою страну?

— А кто ей позволит покинуть? Жене изменника единственный выход — отказаться от него. Да и захочешь ли ты сам променять Америку на Россию? Я... не могу... У меня нет уверенности и в самих большевиках. Про них рассказывают много ужасного. Наш белый флаг—свидетельство поражения и отсутствие мужества. Ага, они стали слабы, у них нет сил! В таком случае большевики скорее уничтожат нас, чем пощадят!

Американец и шотландский стрелок, не найдя выхода, загрустили и отвернулись друг от друга.

— Как морская воронка, —отчаянно воскликнул Джемми—От нее не избавишься. Она затягивает по кругам. Ты уже... спасен... наполовину,—голос Сноудена с неловкостью перебил, —я очень жалею тебя, но ты будешь дома и... скоро.

— Да, да,—горько прибавил американец,—я отслужил, я не нужен, я возвращаюсь, но... но... но я же не думал возвратиться в таком.. положении.. Мне теперь мало радости от моего возвращения. Я... я хочу быть сильным и здоровым!

Американец уткнулся в подушку, взялся за нее обеими руками и прижал ее крепко к ушам.

— Эй, что ты делаешь? — нетвердо

вымолвил шотландский стрелок, встал со своей койки, пересел на соседскую и погладил американца по спине.—Я неосторожно задел твое больное место?.. Но ты же понимаешь, что я хочу вернуться домой тоже сильным и здоровым, а... а... а не таким!..

Американец медленно успокаивался. Он довольно резко отвел руку Сноудена и сказал:

— Не... надо... Хуже мне!..

Разговорились они снова не скоро. И тогда шотландский стрелок вернулся к происшествию в Смольных казаомах.

— Это хорошо,—одобрил он,—что наши товарищи задали серьезные вопросы. Они будут известны главной квартире. Она сообщит парламенту. Там задумаются. И... нас отзовут. Правительство не захочет довести нас до отчаяния, когда мы забудем наш долг и совершим... вредные поступки. Я думаю, это будет скоро... Я чувствую...

Американец недружелюбно посмотрел на Джемми и язвительно проворчал:

— Желая тебе выиграть время и... не догнать меня! Три месяца назад, когда я был на отдыхе после окопов, мне казалось то же самое. Смотри, я, помимо моей воли, стал колченогим!

Джемми Сноуден напрасно обольщался и проиграл.

— Молодец, молодец,—поощрительно улыбнулся доктор при очередном обходе лазарета.—Вынослив и крепок, как и добавает шотландскому стрелку!

Джемми Сноуден побледнел и растерянно обвел глазами настороженную палату.

И вот снова дул колючий и злой ветер из-за проволочных заграждений, повсюду лежали ослепительные горы снега, хмуро тайга обступала стрелка, грозила каждая ветка.. Джемми прыгнул по горло в оврагах, трудно карабкался в сугробах, мерз и дрожал на ветру, стискивал коченеющими руками винтовку, готовый бессильно выронить ее..

Джемми Сноуден, казалось, столько накопил овежих сил в лазарете, что мог преодолевать все препятствия, не устывая и не жалуясь. Его бросили сюда на вырчку неудачников, которые до него ни-

чего не могли поделаться с упершейся на месте Шестой армией. Виктория скучала, не имея вестей от мужа. Джемми было не до писем. Он не имел даже постоянной ночевки.

«Архангельский партиотряд» партизан, так назвали себя мужики нескольких сел в деревень, скрывшиеся в тайгу, забрался в тыл интервентам и подстергал врага в каждом укромном месте. Соединенный отряд из шотландских стрелков и американцев бесплодно гонялся за партизанами. Они хорошо знали сечи леса и овраги, квартальные и визирные просеки, обходы болот, буреломов, тропы и просеки. Партизаны ускальзывали на виду, прорывая, казалось, самые безвыходные облавы.

Но деревня раскололась надвое. Небольшой слой зажиточных мужиков и кулацкие сынки были верными союзниками интервентов. Они тоже знали свои родные места и поставляли проводников. А те выводили пришельцев на заповедные лесные тропы, к сторожкам и шалашам охотников, смолокуров, корьевщиков... Отряды ловили друг друга.

Командир «архангельского партиотряда», солдат старой армии Звонков, и партизанский комиссар Елкин набрали отчаянную ватагу товарищей. Два десятка добровольцев, с которыми они выступили, скоро привлекли в отряд до сотни мужиков. Маленькое знамя с надписью «Победим или умрем», прикрепленное к гладкому цепу из овина Елкина, неуловимо мелькало по таежным берлогам, внезапно появляясь в далеких деревнях тыла, преграждало дороги белогвардейским обозам, нападало, дразнило, сбивало с толку врага.

Звонков и Елкин принимали в отряд скупое, с выбором, с беспощадным пристрастием. Каждый партизан, вступая в отряд, подписывал обязательство: «Клянусь твердо встать на защиту соввласти от всех разбойников-капиталистов и от всех контрреволюционных сил. твердо выполнять все боевые задачи, быть всегда наготове, в полном боевом порядке. По первому приказанию начальника отряда и отдельных командиров выступать беспрекословно. При выполнении боевой задачи действовать дружно—все, как

один,—не забывать своего поста. Если при встрече с неприятелем кто будет прятаться за спину товарищей и уклоняться от своей задачи,—первый, кто увидит такого подлого труса, должен бить его на месте преступления. Всех уличенных в саботаже или провокации строго наказывать и выбрасывать из своей среды».

Комиссар отряда Елкин бережно хранил обязательство в нагрудном кармане пиджака в крепких кожаных корочках какой-то записной книжки, отнятой у попавшего в плен англичанина. Карман был заколот ржавой французской булавкой. При малейшем проступке партизана командир Звонков грозно предупреждал:

— Помни Елкина. У него твоя грамота. К булавке.

Елкин не говорил ничего, он только пронзительно взглядывал и явственно ощупывал карманчик, как будто уже намереваясь расстегнуть его.

Неисправных и вредных уничтожали, мало опасных и неустойчивых с позором выводили на дорогу, плевали им вслед и отнимали у них оружие.

— Товарищи! — возглашал Звонков или Елкин, — мы знаем, за что деремся, а поэтому должны драться, так драться. Нам куча мала не нужна. Мало, да здорово, да все на одну статью партизаны!

Штаб Шестой красной армии не раз предлагал представить «архангельский партиотряд» к боевым наградам. Тогда буйствовало общее партизанское собрание, и Звонков с неудовольствием выражал мнение всех:

— Благодарить командование, и... отказ вчистую. Сделали на грош, а нам награды. Ничего не надобно. Мы по совести работаем, а не за награды. Пускай другим отдадут, кому это послужит на пользу. Мы и так свои по гроб!

Шотландские стрелки и американцы старались только не погрешить против военного устава. Они шли не сами, их вели.. Они мучились в сомнениях о целях войны, но аккуратно выполняли боевой долг, выполнение которого, им внушили, являлось необходимостью для каждого честного солдата.

Джемми Сноуден третью неделю метался по лесным чащобам в безуспеш-

ной поимке партизан. Они непрерывно причиняли вред. Иностранный отряд терпел урон за уроном. Ни превосходство вооружения, ни превосходство в снабжении, ни военная опытность командиров — ничто не помогало: «архангельский партиотряд»; держал в страхе значительную округу, занятую интервентами и белыми. Дозоры партизан с безумной и дерзкой отвагой подбирались к самым стоянкам неприятеля и снимали часовых на глазах у всех или же уводили в плен.

Не помогла и воздушная разведка, которую прислали из Архангельска. Аэроплан кружил над громадными, густо заросшими лесами, с него видели редкие полянки и просеки, они обманывали, на них пеньки можно было принять за людей, и пилоты сбрасывали ненужные бомбы. А партизаны, рассеявшись, легко укрывались под любой елкой. Лесная местность подводила пилотов, и они плохо разбирались в ней, и тогда не различали чужих и своих.

Джемми Сноудена уберегла совершенная случайность от гибели. Аэроплан низко кружил недалеко от собственных линий, запутался и швырнул бомбы в нескольких американцев, подбиравших на опушке полянки бурелом для костра. Шотландский стрелок отстал от товарищей в чаще на десять шагов и уцелел.

А вскоре воздушная разведка сама собой прекратилась. Джемми Сноудену и другим начальство об'явило просто: аэроплан за бесполезностью отправлен обратно.

Партизаны знали другое. Самолет после разведки снизился и сел на болоте. Местность позволяла, и пилоты решили отдохнуть. Партизаны упорно и настойчиво следили за полетами как-никак неприятной птицы. Звонков давно отдал приказ:

— Стереги, товарищи, во все глаза! Я подглядел—они садятся залоговать! Тут их и брать! Машину не трогай пальцем, а летчиков как придется!

Партизаны подстерегали. Едва показывался аэроплан, они на лыжах разбежались по лесу и держались вблизи полянок, открытых мест и болот. Сторож-

ка раскидывалась на несколько километров. Федюкову и Ермолину подвезло.

Самолет спустился. Партизаны позволили вылезти двоим пилотам на землю и начали осторожно подходить, прячась за редевшими к полянке деревьями.

И так они благополучно подобрались. Низкорослые кустарники, заваленные снегом, отделяли партизан от лётчиков. Те обмяли ногами снег около одной кочки, разложили на ней еду и поставили темную бутылку с вином.

— Погоди,—пролепетал Федюков товарищу,—пушай сядут. Тоды легче бить. Не успеют сидя опомниться, а мы и навалимся.

Партизаны замерли в выжидательном нетерпении. Летчики в меховых теплых куртках действительно почти тотчас опустились на снег и, над чем-то смеясь, потянулись к вину и закуске.

— А ну-ка, Ермолин,—захрипел пересохшим горлом Федюков,—перевернем им веселье на слезы. Палять будешь, гляди не попади в машину: Звонков с'ест.

Партизаны враз выскочили из засады и гаркнули:

— Не шевелись! Руки вверх!

Летчики ошалело и трусливо подняли руки: один держал кусок мяса, а другой стаканчик.

— Отпустите. Мы вам дадим.. много денег!—жалко попросил старший.—Не трогайте нас!

Младший молчал и пытливо разглядывал направленную ему в грудь федюковскую винтовку.

— Ты... русский?—невесело спросил Ермолин летчика, просившего пощады. — Поди, офицер? А интот... по белой роже видать... из иностранцев? Не балакает по-нашински?

Вместо ответа русский летчик на непонятном языке сказал два слова своему товарищу, а тот оживился и кивнул головой.

— Чево-о?—бешено завопил Федюков. — Смешь разговаривать, изменник, на предательском наречьи при красных партизанах?

Но белый летчик нашелся и довольно развязно ответил:

— Ну, ну, борода! Вас тут двое, а нас... целый отряд! Мы, может, вам и под силу, а... и вас заберут! Стрельни, попробуй, ежели не дорожишь жизнью!

Он явно выигрывал время, изловчился, вскочил, иностранец сделал те же движения, и оба кинулись наутёк.

Ермолин сёрвался было вслед...

— Дура, — гневно крикнул Федюков. — Промажешь, не мешай! И... тебя застрелю одной пулей!

Федюков немедленно пальнул. Русский белый летчик на полном ходу ткнулся носом в снег, рванулся вкривь, приподнялся и недвижимо обрушился. Ермолин остановился и прицелился в иностранца. Федюков тоже вскинул винтовку. Второго пилота уронили двумя смертельными пулями.

— Эй! — радостно выкрикнул Федюков, — страшшали нас отрядом! Выходи, ребята, на мишеньку! Чего-о? Никого нет? Ха-ха, — захохотал он. — То-то белые войны-гадючки?

Федюков резко оборвал смех, нахмурился, смахнул со лба мгновенно выступивший пот и в тревоге сказал, скорее приказал Ермолину:

— Кати, что есть духу в лагерь! Верст за двенадцать мы ушли. Пушай лошадь снаряжают! Где хотят находят! Ероплан так не взят! Я похраню. Ж-живо, Ермолка! По своим следам приведешь всех.

Ермолин стремительно перекинул винтовку за плечи.

— Погодь, — дрожал Федюков, — отсыпь мне половинку патронов. Тебе бежать надо, мене понадобятся, а мне, неровно, придется стражаться. Скажи Звонкову и Елкину, коли дойдешь до землянки и тебя не устосаут в лесу, что-де Федюков... пушай кладут на ево надежду... в случае неминучей и сам подохнет, а ероплан целым врагу не оставит. Искверкаю весь. Как утке все лапы перепончатые скручу и обломлю! Жарь те-перича!

Федюков остался сторожить. Он обошел аэроплан вокруг, приноровился, какую часть сломать в первую очередь, если бы пришлось, и только тогда малость успокоился. После таких трудов цыгарка была необходима, и он начал тянуть ее с жадной сладостью.

Федюков, не присев на секунду, чтобы видеть всё болото и не подпустить к себе незаметного врага, ходил вокруг аэроплана, точно часовой на площади у знаменитого памятника. Он даже ни разу не взглянул на убитых. Те были уже не нужны.

К ночи с десятков партизан пригнали розвальни и сани на четырех лошадях. Ермолин еще издали взволнованно закричал:

— Федюков, Федюков, а мы по пути сюда смазали-таки одного человечка... с нашивочками. Видно, ероплан разыскивал. Хе-хе. А при нем распрекрасные карты. Карты-то, видно, не помогают в лесу! Заблудился!

В ту ночь штаб дивизии на станции Плесецкая поголовно высыпал на мороз: партизаны доставили целешенький военный самолет.

Джемми Сноуден понял обман, когда пропавший самолет опять взлетел над тайгой, но уже с другой стороны.

Зато шотландский стрелок никак не мог ни понять, ни объяснить себе наглое упорства и беззаботной храбрости, каких он сделался свидетелем немного спустя после потери аэроплана.

Пятеро партизан промахнулись, в их числе Ермолин, и попали в лапы более многочисленному противнику. Перестрелка не принесла освобождения партизанам: троих тяжело ранили, двоих взяли живьем.

Джемми обезоружил Ермолина и сшиб его с ног прикладом. Другого, Ваську Шошина, повалили два американца. Русский офицер, прапорщик из местных кулацких сыновей, которого держали при отряде скорее, как проводника и переводчика, чем офицера, приказал закрутить партизанам руки за спину.

— Сколько вас шляется по лесу? — грубо и злобно потребовал он отчета от Ермолина

— Сколько да полстолька, да четверть столька, — с хитрой веселинкой усмехнулся партизан.

Офицер тоже начал усмехаться, но с подчеркнутым злорадством.

— Так, хорошо! Прибаутки и я знаю. Тебе нравится игрунка выкинуть пе-

ред... — и прапор выразительно сделал губами, — п-паф, паф, пли!

— Нам, татарам, все даром,—как-то просветленно смотрел Ермолин и скалил белые-белые зубы—Чтоб тебе самому на ноже поторчать! И поторчишь! Ну, разделявайся живее, а то воротит меня от твоего лица, будто коня от нелюбого хозяина! Знаю тебя, ты—Пашка Синицын, тятенька твой, мельник, сорок годов у мужиков помольную муку крадет, тебя и выходил... прапоришка несчастный!

Офицер Синицын сморщился от боли и возмущения, но не хотел быстрой развязки.

— Ты что,—язвительно, с излишней звонкостью в голосе, процедил он,—каламбурами страх разгоняешь! Самого, поди, бьет внутри. Печенка на селезенку не попадает. Болван, тебя спрашивают дело,—как только офицер произнес слово «болван», ярость начала бушевать и в голосе его, и в остекляневших глазах, — ты можешь заслужить прощенье!.. Убить тебя ничего не стоит!.. А ты, идиот, на дыбы! Отчаянностью своей забавляешься! Кому она нужна?

Ермолин искренно расхохотался.

— Да ты окосел,—приснул он. — Не на те колени сел. Да ты, сужин сын, на самом деле — дурак и обалдуй. Я... у тебя... просить... стану прощенья? Ха-ха. Шошин, слышь? — оборотился он к товарищу, но тот его не поддержал и не подымал от земли убитых глаз. — Чорт, не кисни! Знал, на что ходил! Смо-о-три, Васька! Не выдавай! До десятого колена твоему роду не будет от партизан покоя. — И Ермолин опять занялся прапорщиком Синицыным. — Язык мне вырезать ты можешь, на это твоя взяла, а штоб мой язык товарищей подвел!!! Не-е-т! Мы не продажные! Это ты со своим отцом на слезах взошли, как тесто всходит на дрожжах! Эт вы продаетесь и в розницу, и оптом. Дай тебе, выскочка глупая, лишнюю двадцатку, ты, пожалуй, с колокольни спрыгнешь: финти, не финти, радуйся над моей бедой, а погоди, никуда не убежишь и сам!

— Так не скажешь?—дрогнули и перекосились губы у Синицына, который поймал нескрываемую насмешку на ли-

цах у некоторых солдат-американцев, понимавших немного русский язык.

От них узнал содержание разговора и Джемми Сноуден, безотчетно любовавшийся неустрашимой горячностью Ермолина.

— Так получи!—крикнул Синицын и выстрелил.

Партизан зашатался и наклонил голову, точно хотел разглядеть на своей груди рану, дернул связанные руки, не мог освободить их и упал на бок.

Васька Шошин неожиданно всхлипнул. Синицын перевел торжествующий взгляд на него.

— Ключет,—с гримасой пошутил он.— Один охальничает... другой кается!

Вдруг Ермолин, едва ворочая губами, с величайшим трудом пригрозил Шошину:

— Васька, прощай. Ни-ни. С-с-тыдно!..

Шошин всхлипнул еще раз, остановил плачущие глаза на прапорщике и ненавистно швырнул ему в лицо:

— Катай дальше, продажная шкура!

Офицер словно бы удивился и невольно воскликнул:

— Ого! примерный последователь!—

Он на мгновение задумался, что ему делать, а затем, совсем повеселевший, насмешливо закончил.—Не-ет. Тебя мы не тронем.. пока. Наоборот, даже дадим тебе водки! Надо же отогреться от лесной жизни на холоду. Дадим водки и.. плетей!

— И после будет то же! — с упорной уверенностью пробурчал Васька Шошин.

Джемми Сноуден изнемогал от погоны за быстроногими партизанами. Они мешали любовным атакам на позиции красных, постоянно угрожая обходами с тыла. Они отвлекали силы на себя и дробили их.

Британская главная квартира была довольна своим командованием на фронте. Платились партизанские семьи. Кулаки из тех деревень и сел, откуда вышли партизаны, знали их всех наперечет. Ближние и дальние партизанские родственники объявлялись заложниками и отправлялись в белогвардейские тюрьмы.

Но, видно, партизаны научили своих врагов. В сорокаградусные морозы интервенты и белые начали наступление по железнодорожной линии. Тяжелая артиллерия бронепоезда «Колчак» открыла ураганный огонь по близлежащей станции. Одновременно большой отряд американцев и шотландских стрелков услужливый предатель из местных мужиков, шорник Егор Сермягин, повел в обход мало изведанной тропой. Враг выигрывал...

Комиссар Елкин с Федюковым, молоденьким пареньком Снятковым и с десятком партизан, рыская по тайге, наткнулись на телефонный провод. Около провода был глубоко замят снег, обломаны кустарники, взбит кое-где ногами мох, раскидан на стороны бурелом.

— Обход,—почему-то прошептал Елкин, хотя в лесу стояла такая тишь, какая только и бывает в непроглядных борах Севера.—Обман. Да. Пушки громят Емцу! Подготавливают... а бочком идет пехота! Понятно! По следам выдать—прошло много людей. Режь провод,—скомандовал громко Елкин.—Так. Вот что, Снятков, скачи в штаб бригады, предупреди! Повидай на дороге Звонкова и шугни его сюда с народом. Скажи—будем стеречь телефон. Придут починять белые, а мы их и накроем!..

Снятков молча кинулся в самую глущую заросль волока.

Партизаны, затаившись, ожидали. Стоянка на месте была тяжела. Скоро жестокий мороз пробрал каждого. Люди, осторожно отдуваясь, прыгали с ноги на ногу, терли носы, дышали на коченеющие пальцы рук.

— А, сволочи, они нас совсем заморозят!—кривился Елкин. — Разогреться бы поскорее.

— Погодишь, — ухмылялся Федюков, — они нас дольше ждали. Стянем с них шинелишки и посдеваем на наши бровные шубейки! Тогда и обдобреем в тепле.

Засада наконец услышала приближающиеся голоса, треск сучьев, хруст снега...

— Наши так не ходят,—тихонько сказал Федюков,—товарищи, умри на местах.

Партизаны, не дыша, подпустили белых ближе, и внезапно со всех сторон раздались караульные голоса:

— Стой! Кто идет?

Белые в недоумении, не видя партизан, остановились.

— Свои. Кто же, кроме своих?—неуверенно произнес чей-то голос.

— Какой роты?

— Первой роты второго полка.

— Хорошо. Подходите.

Партизаны шумно окружили четырех белых солдат первой роты второго полка. Они конвоировали человек десять пленных красноармейцев.

— Здорово, товарищи! — весело засмеялся Елкин, освобождая красноармейцев. — Влипли было? Ладно партизаны подоспели!

Красноармейцы ожили и пожимали руки партизанам.

— «Архангельский партотряд», — сказал Федюков.

— Честь имею... с кисточкой,—радовался Елкин и вдруг хмуро уперся глазами в белогвардейцев и показал на них винтовкой.—Они... ничего... не измывались?

— Дурачье,—пренебрежительно бросил один красноармеец.—Серость. Серятина. Нас не трогали.

В это время появились белогвардейские телефонисты.

— Исправлен, исправлен,—закричал Елкин. — Действует! Ходи сюда, в общий кружок.

Взяли телефонистов.

— Пожива поживой, — серьезно вымолвил Федюков, — а и дело ждет! Кто пошел в обход? И народу пошло сколько? Это надобно узнать!

Белогвардейцы не упорствовали: в обход ушел батальон. Елкин немедленно направил с новым донесением в штаб бригады второго партизана. От белых узнали, где расположился штаб батальона, и решили сделать на него налет.

— Ребята, по правде говорить, — крикнул Елкин белогвардейцам, — офицера среди вас нету? Узнаем, после не будет пощады за укрывательство! Не-е-т? Ну, тогда верим.

Вскоре подошел Звонков почти со всем отрядом. С партией обезоруженных

пленных послали двух-трех партизан, остальные поспешно двинулись к штабу.

Там подготовились. Бездействие телефона и пропажа телефонистов не вызвали сомнений в провале. Партизаны сумели однако подойти к штабу, подняли стрельбу, были легко отбиты превосходящими их силами...

Но налет все-таки удался. Тревога, возникшая в штабе, передалась на передовые части, и батальон, не доведя обхода до конца, отступил.

Звонков отвел «архангельский партиотряд» километра за полтора от штаба. Надо было переждать ночь, чтобы с рассветом выскользнуть из неприятельского тыла. Отряд спустился на дно глубокого оврага и там молчаливо залёг. Усталые за день люди спали сидя. Близость врага заставляла особенно опасаться всяческих случайностей. Звонков и Елкин сами несли дозорную службу. Вместе с ними не спал всю ночь Федюков

Чуть прокрался на землю первый свет, дозор вздрогнул и насторожился. Овраг был невдалеке от дороги. Внезапно там заржали лошади. Ржание повторилось.

— Поднимай товарищей, — тихонько приказал Звонков Федюкову, — а мы с Елкиным разведаем. Тихе! Не шумите! Пока оставайтесь на месте!

Звонков и Елкин осторожно шмыгнули в темноту, а Федюков, чуть ступая, начал сходить с гребня оврага на дно его.

Беспокойство сразу исчезло, когда командир и комиссар подкрались к дороге и разглядели, что там происходило.

— Я думал, — шепнул Звонков, — или артиллерия, или обоз... Смотри... Лошади без всадников. На них вьючные седла из-под пулеметов. Откуда они?

Товарищи решали недолго.

— Я понимаю, откуда, — оживился Елкин. — Лошади убежали от штаба во время перестрелки и... паники!

— А ведь, пожалуй, это верно! Что же делать?

Лошади тихонько шли по дороге.

— Какие сытые, здоровенные, — с восторгом сказал Елкин, когда лошади приблизились почти к самым партизанам.

— Осторожнее! Не спугни, — встревожился Звонков. — Лошадей бросить жалко, но ведь на пути у нас болото. Не провести! Зря утопим. Болото промерзло не везде.

С минуту они были в нерешительности.

— Это ж никуда не годится, — зашептал Елкин, — от такого добра отказываться! Надо рискнуть! Отрядим Федюкова с пятеркой ребят. Пускай сделают крюк. По-за болоту. Верст двадцать. Но лошади-то какие: загляденье!

Командир и комиссар поспешно вернулись в овраг. Партизаны вылезли наружу. Умело и привычно они преградили дорогу лошадям и взяли их.

Джемми Сноуден через несколько часов после этого, встречая серое раннее утро у полузамерзшего окна в бараке на станции Емца, узнал своих батальонных лошадей. Мгновенно бессознательно ему как будто сделалось легче. Значит, не он один был в плену, значит, он дрался не хуже других, раз и те попались вместе с лошадьми и конечно с пулеметами!

Джемми Сноуден участвовал в обходе. Шотландский стрелок шел непосредственно за Егором Сермягиным и непонятно почему испытывал странное презрение к этому человеку. Не ко времени и некстати он даже подумал, что Джемми Сноуден никогда бы не мог встать впереди неприятельского отряда, случись война в Шотландии.

Стрелок отбивал с товарищами все сумасшедшие атаки красноармейцев, когда отряд выбрался из тайги и перерезал шоссе, ведущее к позициям на Емце. Джемми Сноуден с уважением наблюдал отчаянную храбрость противника, который в сборной рваной одежке, почти разутый, наполовину в лаптях, в дикий холд лез и полз по придорожным канавам, стараясь смести с дороги впятеро сильнейший отряд иностранцев.

Джемми не хотел уступить занятое им место и не уступил бы. Но эти непонятные и непохожие на него люди, полуголые большевики-красноармейцы, сумели пробраться в тыл, к штабу батальона, и... началась путаница. Шотландские

стрелки и американцы с белыми частями русских подались. Красноармейцы прорвали первую линию. Джемми спасло одно слово, которое как-то само собой запомнилось раньше других русских слов.

Кучка красноармейцев с искаженными лицами проскочила мимо шотландского стрелка, и он остался позади. Он только было хотел повернуть вслед за ними и выстрелить, как заметил крохотного красноармейца, винтовку со штыком наперевес и главное кудлатую голову бойца без шапки. Красноармеец догонял товарищей, проникших по дороге довольно далеко вперед.

Малыш не заметил движения винтовкой Джемми. Он кинулся на него, как на одного из многих чужих солдат, противостоявших атакам красноармейцев. Кратчайшее мгновение шотландский стрелок смотрел на него высоко сверху—так был мелок и низкоросл нападавший. Но летящий навстречу штык его как-раз поддевал Джемми снизу вверх. Сноуден с содроганием понял, что штык должен был войти в живот. И стрелку сразу представилось, что рана в живот самая ужасная и самая больная. Ему захотелось, не откладывая на пылинку времени, зажать руками живот и не позволить красноармейцу проколоть его.

Джемми Сноуден с треском швырнул свою винтовку оземь в тот ничтожный промежуток, который был между животом Джемми и красноармейцем с выставленным штыком.

Как будто бы падение винтовки чуть-чуть сбило нападавшего и в чем-то помешало ему. Но сам потрясенный Джемми Сноуден забыл прикрыть незащитный живот руками, резко выбросил их кверху и отчаянно закричал:

— Стаюсь! Стаюсь!

Красноармеец как-то странно запнулся о брошенную под ноги ему винтовку, скривил штык в сторону, грудью ударился с разбегу о Джемми, повалил его и, не взглянув больше, пробежал вперед...

Шотландский стрелок просидел на земле до тех пор, пока вернувшиеся красноармейцы не подобрали его. Малыш что-то горячо говорил товарищам,

а те хмуро поглядывали на стрелка, потом похлопал его по спине и сделал знак подняться.

Малыш махнул рукой вдоль дороги, и шотландский стрелок, ежась от страха, вспоминая все рассказы о вероломстве большевиков, расстреливающих поголовно пленных, жалко согнулся и разбито зашагал под охраной красноармейцев.

Он шел долго и устало и ни на один миг не мог отделаться от томительного и ужасного ожидания почувствовать в спине боль красноармейского залпа или от колющих и рвущих на части его тело штыков.

Джемми Сноуден замирал в ужасе, когда шаги конвоиров слышались ближе. Вот, вот, сейчас... Его необоримо тянуло оглянуться. Он не смел, чтобы не выдать своих тайных мыслей. И... все-таки не утерпел.

А после этого движения ему стало еще хуже. Когда растерянное и смятенное лицо шотландского стрелка увидел малыш, он вдруг утратил всю свою приветливость и хорошую заинтересованность к пленнику, сердито выкрикнул какие-то слова и на ходу приложил к плечу винтовку.

Джемми Сноуден теперь раскаивался в глупом своем малодушии, таким ему казалось издали его недавнее поведение, и корил себя за бессмысленную на войне честность. Зачем он, точно безногий или неумеющий ходить, оставался сидеть на месте, когда малыш не заколол его и умчался вперед? Разве Джемми кто-либо мешал поднять снова винтовку с земли и снова померяться силами? Или, если не померяться, то немедленно вскочить на ноги, сделать два три прыжка в лес, протягивающий над дорогой свои ветви,—и там уже, за толстыми стволами сосен и елок, в густой чаще, в непролазных зарослях и бу-реломе, оказаться в безопасности?

Шотландский стрелок вспомнил пристреленного им Бернарда Кука. Тому было легче. Тот страдал от ран. Джемми освободил его от страданий. Сноуден же шел совершенно невредимым. Его пока не трогали красноармейцы. Но ведь это же пока!.. Он объяснил странное промедление красноармейцев не чем

иньм, как рассчитанным желанием их усыпить внимание пленного, вселить в него надежду на благополучный исход, обмануть и надругаться над ним, чтобы потом уже приступить к медленной, мучительной, постепенной расправе. Малыш, подняв угрожающе винтовку за малейшее нарушение Джемми правил следования под охраной, ясно намекнул ему, чего должен ожидать в дальнейшем пленник.

Шотландский стрелок пожалел Викторину, которая в этот роковой час не может представить себе обледенелый узкий тракт посреди мрачного русского леса, а на тракте ее Джемми, совершающего последний путь на земле. Его ведут, чтобы где-то, в удобной ложине, под каким-то кустом замучить и убить.

С такими несуразными мыслями шотландский стрелок достиг станции Емца. Втаскивая голову в плечи, он вяло переступил порог барака: Джемми и тут ожидал залпа в спину.

Только уже присев на лавку в бараке, увидав любопытные и веселые лица пленных — одного американца и другого француза, — он как будто улыбнулся над своими преждевременными страхами и, удивляясь, понял, что он попрежнему живет, смотрит, чувствует и даже радуется. Это новое его состояние выразилось в слишком шумном движении Джемми к товарищам по плену и в неестественно звонком голосе, когда он их приветствовал.

— Нельзя так восторгаться и... галдеть! — сухо предупредил американец. — Запрещено! Это нам может повредить!

Вскоре, не отходя от барачного окна, Джемми Сноуден увидел ватагу разношерстных людей в полушубках, в курточках, в зипунах, в грязных шинелишках, обмерзлую, в сосульках, с заиндевелыми сизым пушком винтовками. Как ему было не узнать быстроногих партизан!

В середине отряда тихонько несли на руках несколько человек раненых. Звонков и Елкин с боями прорвались к своим через опасные болота. Джемми Сноуден почувствовал неловкость и отвернулся.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

«Дорогая Виктория, я, твой Джемми, снова подаю свой голос из этой непохожей ни на одно другое государство страны — России. Ты могла предполагать, что уже потеряла несчастного шотландского стрелка: так долго продолжалось его безмолвие. И твое предположение почти походило на правду. Джемми окружен опасностями, как слабосильный зайчик, травимый многочисленными охотниками.

Рана моя зажила, но меня бросили опять на фронт, в снега, в леса, в болота... Ты прошла бы мимо меня, не узнав, вот как изменился даже внешний вид Джемми. У меня борода, потому что я не располагаю досугом пользоваться моим бритвенным прибором, я не знаю, где проснусь завтра и буду ли я в состоянии спать, по суткам я не вижу кпятку, скитаясь в тайге. Твой Джемми стал походить на этих грязных и неряшливых русских. Теперь даже моя коротенькая борода сближает твоего мужа с ними.

Дорогая Виктория, здесь не только враждебно подстерегают нас люди, но нас могут растерзать и дикие звери. Ровно две недели назад Джемми подвергся такой большой беде. Спина моя забьет при воспоминании об этом. Я дрожу в настоящий момент, когда намереваюсь описать тебе, как это случилось. Я, близок к солнечному закату, отошел от нашей стоянки шагов за двести. Меня изнуряла унылая тоска по тебе, по родине и по всей нашей довоенной жизни в Англии. Как мы были алчны и несправедливы тогда к нашему счастью! Мы хотели бурь в нашей тихой квартире, шума, веселья, мы смели даже испытывать скуку!

И вот бури пришли!!! Стоянка наша была в лесу. Хотя на душе у меня скопилось хмурость, как дождливые тучи, но я не мог не заметить красоты заката. Голоногие от корней на несколько метров ввысь сосны точно горели багровым, но холодным пламенем. Елочки, уютные, как острокрышие шалаши, просвечивали красными огоньками. Они очень походили на чьи-то жилища, в которых зажгли

теплые домашние лампы. Я залюбовался силами природы. Утром мы сражались с партизанами в одном овраге. Убитые и раненые были с обеих сторон. А в настоящую минуту закат украшал землю и позволял любоваться нам, живым, также с обеих сторон, т.-е. и мне, и любому партизану.

Я задумался. И в задумчивости вышел на небольшую полянку. Поперек нее была протоптана нашими кашеварами дорожка. Они ходили в соседний овраг к незамерзающему ключу за водой. Моя задумчивость могла стоить мне жизни. Я шагнул... И тут услышал некий шорох. Я поднял глаза. И они у меня наверное никогда еще, в самые удивленные мгновения жизни, не раскрывались так широко.

В десяти метрах от Джемми, возле вересового куста, на тропинке, стоял огромный медведь с выгаращенными, как и у меня, глазами. Я не имел с собой винтовки. Вся жизнь моя пронеслась передо мной, как пролетела бы птица мимо узкого окна. Крылом махнула, — и нет ее.

Не знаю, сколько прошло мгновений, как мы, не шевелясь, глядели друг на друга. Я сразу вспомнил все повадки медведей, о которых мы читали в сокращенном издании «Жизнь животных» Брэма. Спасенья мне не было. Кинься я наутек, мишка догонит и растерзает. Кинуться мне на него не с чем. Закричать, чтобы услышали в лагере и спасли меня, показать медведю трусость? А это все равно, что ускорить смерть: медведь встанет на дыбы и снимет кожу с черепа.

В этом безвыходном и страшном положении я неожиданно для моего сознания вдруг так пронзительно взвизнул и почему-то захолопал в ладоши, будто я действительно потерял разум.

И что же произошло, дорогая Виктория? Неожиданно было появление медведя. Но еще неожиданнее его исчезновение. Медведь рывкнул на весь лес, подскочил на месте, перекатился через вересовый куст, и под медведем затрепещал непроходимый бор.

Товарищи сначала не поверили моему рассказу, хотя мое лицо ничем не отличалось от белизны снега. Но когда

все подробно разобрались, то пришли к выводу: медведя подняли из берлоги постоянная стрельба в лесу и ружейная, и артиллерийская, бродячие отряды партизан, мы сами... Напуганное животное вылезло на свет из темного своего жилья, повсюду животное тревожили, оно наткнулось на истинного виновника его беспокойства и обезумело от страха.

Дорогая Виктория, я лелеял мечту скоро увидеться с тобой, я радовался моей нетяжелой ране, я благословлял мои не слишком сильные страдания: лучше они, чем смерть на холодном снегу, в дикой и зловещей тайге, где даже птицам и зверям бесполезная война мешает спокойно жить.

Почему, почему мы должны умирать и переживать невыносимые лишения в этой России? Мы — иностранные солдаты? Где справедливость парламента и правительства Британии, о которой мы столько наслышаны с детства?

Здесь происходят такие противоречивые события, что они понемногу открывают нам глаза, и мы, слепые, начинаем прозревать.

В бытность мою в лазарете я был почти свидетелем одного из них. Я не был сам участником, но несколько товарищей американцев, которые участвовали, поделились со мной всеми подробностями. Первый архангелогородский полк из русских крестьян, призванных в армию, проходил военное обучение. Русский генерал Марушевский приказал две роты полка отправить на фронт. Солдаты получили превосходное обмундирование и вооружение. Так как между русскими простыми солдатами и командованием чувствуется постоянная вражда и взаимное недоверие, то генерал Марушевский в каждую роту назначил по 12 офицеров и по особому пулеметному взводу из проверенных и надежных людей.

В день отправки по русскому православному обычаю назначили служить молебен. Этот обычай не признают большевики: они отправляют своих солдат после зажигательных речей и с разнообразными возгласами в честь Красной армии.

Но молебен не удался. Священники приготовились, а солдаты не пошли мо-

литься. Вслед за отказом от молитвы они отказались выступить на фронт и самовольно расхватили по рукам оружие. Во всех ротах полка с решимостью умереть за неисполнение военного приказа начались горячие споры — зачем итти сражаться со своими русскими братьями? Солдаты-крестьяне не соглашались с политикой своего архангельского правительства.

Тогда генерал Марушевский приказал обстрелять пулеметной школе и бомбометной команде архангелогородские казармы. Раздались первые выстрелы бомбометов... Неопытные солдаты испугались, бросили оружие и побежали выстраиваться на казарменный плац. До того солдаты отказались вести всякие переговоры со своим начальством.

Генерал Марушевский восторжествовал над обезоруженными крестьянами. Он приказал выдать зачинщиков. Каждому десятому из солдат, стоявших в шеренгах, угрожал расстрел, если бы они не подчинились приказу.

Зачинщиков выдали. Полурота своего же полка расстреляла бедняг. Но генерал Марушевский уже не доверял своим подчиненным. Наш генерал Айронсайд вместе с русской полуротой послал два взвода английских и американских солдат.

Мы спрашиваем друг у друга, по какой причине русские архангельские солдаты или отказываются выступать против большевиков, или, если их гонят на фронт насильно, они переходят к своим соотечественникам — большевикам? Они даже поступают с хитрым коварством. Некоторые из них просят на фронт нарочно, чтобы как можно скорее повернуть оружие против нас. Мы неоднократно выдали таких в наших смешанных отрядах — иностранцев с русскими.

Русские здоровы, сильны, каждый мог бы взять на плечо ружье и отправиться на защиту своей страны от большевиков. Но странно: они почему-то не видят в этом необходимости и совершенно к этому не расположены.

От кого же и для кого же мы защищаем их страну? Для какой цели задумана нашим правительством эта неясная экспедиция? Американские и

английские солдаты дисциплинированы, они пока неспособны к мятежу, подобно русским, но наши командиры все чаще и чаще слышат от солдат неприятные вопросы и вполне осведомлены о недобром настроении армии.

Командование недавно имело некоторое предупреждение от одной американской части, которая пошла в бой после непродолжительного отказа. Она пошла по уставу, но не по совести.

Русские белые солдаты всячески избегают фронта и стараются задержаться в Архангельске около штаба. То же делают наши офицеры и более умные, ловкие и пронырливые из солдат. Дорогая Виктория, я не умею делать это, и я через силу, с болью в сердце и с тоской в глазах исполняю мой воинский долг. Но я изнемогаю, как загоняемая кляча. Я колеблюсь... Только полная уверенность в том, что мое письмо доставит тебе прямо в руки наш общий друг Маколей, отмороживший ноги в одном карауле и зато отсылаемый в Англию, освобождает меня от сдержанности в высказывании моих чувств и сомнений.

Дорогая Виктория, прости, но я обязан ничего не утаивать от тебя и, как бы тебе ни было тяжело, не пощадить твоего спокойствия. Слушай, ангел мой и голубка, самую трагическую и самую неожиданную по благополучной развязке историю с твоим верным Джемми.

Я познакомился... вблизи с большевиками. Знакомство мое произошло при самых мрачных предзнаменованиях. Полгода назад бесследно пропал большой американский отряд. Он был послан выполнить одну боевую задачу. По лесной тропе, известной местному крестьянину, отряд двинулся к своей цели. И никто не вернулся обратно. Исчез и проводник. Шотландские стрелки наткнулись наконец в лесу на остатки одежды. В тряпье нашли дневник о происходивших сражениях. Отряд погиб...

А через несколько дней после нашей находки, после упорного боя с большевиками, твой Джемми, поставленный в крайне невыгодное положение противником, уронил винтовку и поднял руки вверх. Он сдался на милость победите-

ля. Он считал секунды своей жизни. Его не заколол штыком маленький по росту большевик Каврилов — фамилию его я узнал в плену — исключительно из гуманных соображений. Он не позволил себе убить безоружного и беззащитного.

Но как бы он поступил, дорогая Виктория, не трудно понять, если бы он заметил большую вину перед собой, которую Джемми не имел права отрицать. А вина состояла в том, что я, оказавшись позади большевистской цепи, еще не видя перед собой Каврилова, хотел стрелять большевикам в спину. Горячка Каврилова, а от нее он не все видел хорошо глазами, спасла меня.

Бой кончился... Шотландские стрелки и американцы отступили. Джемми остался у большевиков. Я мысленно прощался с тобой, я прощался со всеми моими любимыми и дорогими друзьями, пока меня вели куда-то победители по морозной дороге.

А через час-полтора я не верил своему счастью. Меня посадили в теплый, хсты и грязный, барак. Меня не били и не истязали, чего должен ждать каждый узник, взятый большевиками с оружием в руках. Об этом нас постоянно предупреждало командование. Я конечно спасался, что все это так и будет.

Со мной сидели в бараке американец и француз. Они попали в плен за три дня до меня. Они уже привыкли и руководили первыми моими шагами.

От нашей охраны мы узнали, что красноармейцы кушали худший обед, чем пленные, и порция нашего обеда превышала почти вдвое порцию обеда большевиков. Нам выдали не махорку, как они выдают своим солдатам, а настоящий легкий табак в папиросах. Нам не позволили самим пользоваться бритвами, чтобы мы не имели холодного оружия и не покончили с собой или не причинили вреда часовым. Нас через день брил веселый и приятный, на редкость чистый большевик Семэн.

Он отличался большой ловкостью и добросовестным знанием порученного ему дела. Он нас даже пугал своим искусством, когда, наточив прибор и махнув им в воздухе, кидался на наши щеки и подбородки. Трое людей освобождая-

лись в короткие пять минут. И всегда без одного пореза и без всякого раздражения кожи. Такой работник дорого бы ценился и у нас в Англии. Наши лица сверкали, как сверкают полированные предметы сразу после отделки или как розовеет плешка у знакомого нам с тобой священника в Лондонском приходе.

Нам выдали игральные карты и решили коротать скучный досуг в плену. Через некоторое время в наше полное распоряжение поступило несколько потрепанных английских книг и даже английские и американские газеты. Откуда они их раздобыли?

Это вскоре не осталось от нас в тайне. Большевики через своих агентов, которые, как тени, проникают повсюду и незаметно переходят фронтовые линии, снабжаются газетами всего мира.

Когда мы немного обжились, в барак пришел мой победитель Каврилов и с ним его командир. Последний очень свободно говорил по-английски и по-французски. Он сказал нам, что большевики ни в чем не обвиняют иностранных солдат, считают нас братьями и добиваются только одного, чтобы мы это поняли, перестали убивать большевиков, сели на корабли и уехали домой. Правда, — сказал командир, — было бы лучше, чтобы мы обратили свое оружие против своего командования и помогли большевикам прогнать его, а вместе с этим помогли проучить русских помещиков, капиталистов и грабителей народа — купцов и богатых фермеров, называемых здесь кулаками. Но он мало надеялся на это.

Большевистский командир с негодованием объяснил нам, что во всех странах парламенты и правительства командуют несознательными рабочими и крестьянами и посылают своих рабов умирать в холодных тундрах, а сами сидят в мягких креслах далеко от опасности войны и смерти. Они чужими руками хотят умертвить Россию, в которой рабочие и крестьяне настолько поумнели, что желают сами управлять собой, и прогнали навсегда царя, помещиков и парламент.

Дорогая Виктория, это все те же слова, знакомые тебе из большевистских листов, посланных мною в первых пись-

мах. Но читать — одно, а слушать — другое.

Командир говорил очень убедительно и просто. Мы не могли с ним спорить. Когда он нас спрашивал, за что мы воюем, мы были не в состоянии ответить. Мы и действительно не знаем. И как мы ни добивались узнать от нашего командования, оно уклоняется в ответах.

А они, эти большевики, и не только большевики, а любой красноармеец, рабочий и крестьянин отвечают сразу: «Вы сражаетесь за интересы иностранных и русских богачей».

Командир преимущественно обвинял английское правительство. По его словам, это оно навязывает свою волю русскому народу, как оно навязывает ее в своих колониях — Индии, Египте и Южной Африке. Командир ручался, что, если спросить весь русский народ, как это бывает на выборах в европейских странах, он бы ответил: «Оставьте нас в покое».

Дорогая Виктория, а не правда ли все это? А не являются ли большевики настоящими друзьями бедных на всем земном шаре, как они не устают об этом повторять громко и открыто?

Мне невольно припоминается весь наш поход. Сколько раз мы слышали из неприятельских окопов, когда стояли на своих боевых линиях: «Товарищи! Слепые товарищи! Что вы делаете? Спросите у своих угнетателей-командиров, зачем они привезли вас сюда? Они вам не скажут. Они боятся сказать, потому что вы тогда бросите оружие и не станете защищать чужие интересы, не станете проливать свою кровь за их капиталы, дворцы, фабрики и заводы, за банки и чины. Они вас боятся и надевают на вас ярмо, которое называется военным долгом. Нет у вас никакого долга перед разбойниками, кроме борьбы с ними. У вас один общий долг с нами перед бедными всего мира — соединиться и уничтожить разбойников!»

Дорогая Виктория, мы жадно слушали ораторов, но наше командование хмурилось и приказывало открывать огонь, чтобы заглушить неприятные речи. Большевики верят в то, что говорят.

Я много раз наблюдал, как они умирали, пойманные нами в плен. Они умирали, проклиная наших офицеров и посылая нам братские приветия. В продолжение всего похода мы только от них узнавали все новости из Европы. Они известили нас, когда было заключено перемирие с немцами на западном фронте, известили о мире, о конце войны, которую называли постыдной бойней народов...

Большевики заменяли нам отсутствующие и опаздывающие газеты с родины. Они знали наши нужды и печали так, что удивляли нас самих.

Дорогая Виктория, я был поражен, увидев смелого и свободного Каврилова в его отношениях со своим командиром. Каврилов нисколько не боялся командира. Они дружески смеялись, закуривали, обнимали друг друга и вели себя, как люди одного общества. Мы сделали вывод не в пользу нашего надменного, чопорного и несправедливого командования.

Спустя две недели вечером большевистский командир и Каврилов вывели меня из барака, и командир сказал:

— Товарищ Сноуден, вы свободны. Каврилов вас проводит до наших передовых линий и предупредит красноармейцев, чтобы они не стреляли, когда вы перейдете фронт. Идите к своим шотландцам и скажите им все, что слышали у нас.

Джемми пошатнулся и понял эти слова как свой приговор. Командир усмехнулся над моим подозрением.

— Я вас не принуждаю, — сказал он ласково, — вы можете отказаться. Тогда оставайтесь здесь. Но мы думаем, для нашего общего дела было бы полезнее вам вернуться к своим и рассказать о большевиках правду. Мы понимаем, что, вернувшись, вы снова будете сражаться с нами, но вы не виноваты, вы будете это делать не по своей воле. Решайте!

Джемми Сноуден решил испытать свою судьбу опять. И он дал согласие.

— Я вас должен предупредить, товарищ Сноуден, — заботливо и предусмотрительно напутствовал меня командир, — ваше начальство отнесется к вам

подозрительно, если вы скажете, что вас большевики выпустили сами. Вы дадите против себя оружие. Офицеры убедят солдат в коварстве и хитрости большевиков, которые нарочно выпускают некоторых пленных для разложения армии вместо того, чтобы убивать их. Командование постарается вас быстро устранить, посыл в самое безвыходное и опасное предприятие.

Дорогая Виктория, как они знают нравы и повадки наших офицеров! Джемми Сноуден тогда спросил у большевика:

— Как я должен поступить?

Командир взял меня под руку и без занипки научил:

— Очень просто. Вы позволите себе маленькую, но необходимую ложь. Вы обманули нашу охрану, вылезли в окошко барака и побежали... за вами гнались... в вас стреляли, но вы успели спастись... Каврилов вас пропустит через наши проволочные заграждения. Дальше начинается болото. Идите прямо. Оно проверено нами. Промерзло в кость. Две последних недели морозов высушили в нем последнюю воду. За болотом лес Километра на четыре, а... дальше—ваши владения. Весь этот путь вы уже опишете по-своему...

Дорогая Виктория, Джемми Сноуден и большевик обменялись крепким рукопожатием!

Я был бы лжецом перед самим собой и тобой, если бы я притворился спокойным и все понявшим человеком. Нет, к стыду моему, сознаюсь, я верил и не верил, я не старался побороть в моем мозгу засевавшую мысль о коварстве большевиков. Я с большой тревогой и страхом поглядывал на сверток в газетной бумаге подмышкой у Каврилова. Я, напуганный моим странным пленом и всеми тяжелыми переживаниями сердца, принял этот сверток за несколько ручных гранат.

Каврилов привел меня к месту и что-то сказал часовым, а те махнули рукой немного в сторону и собрались смотреть, как я пойду.

Тут Джемми задрожал, подобно пущинке на ветру. Последняя страшная дорога!..

Все часовые подали мне руки. Каврилов похлопал меня по плечу и внезапно сунул свой сверток... с гранатами.

Джемми был сам не свой. Красноармейцы подозрительно усмехались. И я решил.. они издевались надо мной перед последним моим часом, подавая мне руки и прощаясь со мной. Они должны были убить меня в затылок и обманывали меня и своим гостеприимством, и своим рукопожатием! Так, значит, верно говорили нам о бесчеловечном поведении этих русских варваров.

Я с трепетом принял от Каврилова сверток — так как не смел не принять— и сразу ощупал его. И я был опять сбит с толку. Сверток оказался мягким. Он не мог содержать ручные гранаты. Я почти без памяти взглянул на Каврилова, и он показал мне своим ртом, что в свертке находились мои дорожные съестные припасы. Я был не в состоянии удержать моих благодарных чувств, и мы стали обниматься и целоваться с Кавриловым.

Дорогая Виктория, я поступил так, как меня научил командир-большевик, и... меня представили к награде за доблесть!.. (Я сейчас усмехаюсь с хитрой усмешкой.) Но все товарищи догадываются об истинном положении дела. Они не выдадут. Нас соединили в одну семью полярные ночи, снега, дремучий лес, притеснения командиров, наши общие несчастья и неразрешенные мысли и думы о бесцельном и страшном походе в Россию, где нам ничего не надо, где шотландским стрелкам и американцам, и французам, и другим иностранцам приказано убивать русских крестьян и рабочих, жечь жалкие и нищие деревни, разрушать дороги, мосты, всякие сооружения по неизвестным причинам....

Мне тяжело после всего мною передуманного, а потом пережитого у большевиков поднимать на них винтовку. Но я же опять в походе... Я стараюсь направить мушку выше, чтобы моя пуля улетала через головы большевиков в поле. Так — я вижу и молчу — делают и другие...

Но война остается войной... Я еще буду вынужден убивать под строгим

надзором командиров, — и меня могут убить.

Дорогая Виктория, мы вернемся отсюда другими. Снова нас не пошлют так легко и просто, как в первый раз. Это неправое дело — мы все здесь думаем одинаково — окончится не в нашу пользу.

Если Джемми Сноудену не удастся с тобой поговорить на четыре глаза, это письмо пусть заменит тебе свидание со мной. Ты передай моим близким товарищам, чтобы они глубже разобрались в нашем ледяном походе и не позволяли в дальнейшем обманывать себя. Я надеюсь, ты будешь согласна с твоим измученным Джемми Сноуденом».

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Всю предыдущую неделю перед второй годовщиной Февральской революции микулкинская мастерская буквально ни на один час не оставалась без людей. Заказчики шли и шли. Вечером навивалась полная боковуша. Спорили и шумели так, точно до того промолчали всю жизнь, и теперь прорвалось. Микулкин еще никогда не переживал подобной занятости.

— Ага! — бормотал он с большим удовольствием. — Жизнь поднимается на градус выше! Добре, ребятки! Р-раскачивайся, лодочка, на быстрой воде! — и вдруг предупредил самым недобрым голосом. — Только... больно слов у всех много... быдто через Двину ехали на пароме мужики да бабы, на самой серединке оборвался канат, паром сносит, а народ тут.. в беспамятную суету!.. Нельзя так! Поскромней, ребята! Причасти надо соломку на случай. И... упадешь, а мягко!

Шум послушно стихал, но ненадолго. Казалось, не успеть всего сделать, не подготовиться к достойной встрече с рабочими на фабриках и заводах, где уже тайком назначены были митинги. И действительно, работников можно было пересчитать по пальцам. Крохотная боковуша переполнилась, но зато вместились в ней все выступающие товарищи. Каждый получал столько нагрузок, что едва успевал запоминать перечень их.

Не обошлось без помощи и самого Микулкина. В деревянном ящике, разделенном двойным дном на больший и меньший, где сверху лежали сапожные колодки, Микулкин ревниво хранил свежую и пахучую стопку только-что отпечатанной прокламации. Он скупно, торгуясь, раздавал ее маленькими порциями нескольким особо назначенным расклейщикам.

— Други, други, — жадно говорил он, — не хватайте взаглот! Добра у нас мало. Лучше трижды придете, а возьмете понемногу. Всякая бумажка на счету! Попадетесь в чужие лапы, не папуша пропадет, а пустячок. Лепи с толком, на самом юру, глазастро, чтобы ни одна буква не оставалась в тени!

Он и сам ходил расклеивать и тоже брал малую щепоть листков.

Полковник Торнхилл и граф Люберсак получили известие о прокламациях, когда они уже висели повсюду в Архангельске, Маймаксе, Соломбале, на Быку, дразня вызывающей печатью «Архангельский исполнительный комитет коммунистической партии (большевик)». Нашлись добровольцы, которые занесли листки в солдатские казармы, к матросам на пароходы, к мужикам в ближайшие деревни.

Микулкин торжествовал. Он весело твердил:

— Стрижи летают, людей оплетают! Мы им в дупло горячего подложили! Загорится!

Британская главная квартира и контрразведка почуяли эту подготовку. После довольно продолжительного спокойствия среди гражданского населения, которое на взгляд добродушно и чистосердечно принимало «союзников», теперь произошли в нем ренеприятные явления. Будто на стриженной под гребенку голове отросли неожиданные вихры. Тревога поколебала иноземные штыки.

Вспышки неумелых солдатских бунтов, никем не руководимых, легко и просто гасли. Волнение в тылу отнимало лишние силы, а их было и так в обрез. Фронт и тыл смыкались в опасной перекличке.

Тревога интервентов передалась временному правительству. А оно, подобно

ртути в градуснике, тем и занималось, что своевременно отмечало все колебания температуры.

Хозяйское недовольство конечно не могло остаться без сочувствия! Временное правительство, в котором бывший царский опричник генерал Миллер командовал единолично, как командовал бы он взводом солдат на казарменном плацу, немедленно запретило всякие собрания.

Монархический генерал считал непростительным дурачеством воспоминание о революции! Кто же мог помешать ему? Петр Юльевич Зубов, бессменный секретарь всех архангельских правительств, захудалый из захудалых министров задулолого министерства, разоренный революцией барин, кадет с монархической кровеносной системой, единственный из непрогнанных Миллером министров старого состава правительства? Или этот единственный бородач, «социалист», клоун с прекраснодушным характером, народнический недотепа из недотеп, глава временного правительства — Николай Васильевич Чайковский? Но его же генерал Миллер еще в январе сплавил в Париж на прогулку.

Правда, его присутствие и не имело значения: что в Архангельске, что в Париже Николай Васильевич Чайковский был опасен только себе самому, он всегда голосовал за чье-нибудь предложение и никогда не позволил неприличной вольности внести свое. «Бородатая икона» не могла стоять на пути крутого нравом генерала: она могла висеть на божнице в углу в горнице временного правительства и там даже приносить пользу как защита от маловерных.

Генерал Миллер топнул по-военному ногой и приказал... Но невиданные дела творятся на земле! Те, министры-обыденки, меньшевики и эсеры, призванные заморские войска, подготовители и пестуны ретивого генерала Миллера, не под-чи-ни-лись! Они решили отказаться от собственного вывода! Совет профессиональных союзов и восстановленная англичанами городская дума пошли наперерез временному правительству. Митинги должны были состояться.

Накануне юбилейного дня Микулкин труженически сидел на своем лукошке и кропал «срочные» заплаты. Посторонний человек, глядя на этого низко нагнувшегося к маленькому верстачку мастерового с пестрым и рябым лицом, с простодушным и туповатым по виду выражением, не мог бы поверить, что этот старик о чем-либо думал другом, кроме того, как ловчее и крепче подбить каблук и подшить подметку.

А Микулкина охватили тяжелые и грустные заботы. Он знал, что враги пока были сильнее, они не дремали, они рыскали по городу, точно всюду проникающие крысы, враги ловили товарищей по самым незаметным и ухоронным местам, враги готовились обрушиться на товарищей еще более беспощадно и вернее, и надежнее после завтрашних собраний. Вне всякого сомнения, враги завтра на митингах подглядят каждого в лицо, — они пойдут за товарищами следом, как идет за человеком собственная гень в лунную ночь.

Старик бедовал. Он ничего не придумал, чтобы отвести эти предстоящие удары. Заводы и фабрики казались ему такими же возмущенными, как и он, всем, что творилось в Архангельске в угоду одним богатым. Заводы и фабрики, тысячи рабочих нашли повод громко и открыто закричать о своей боли. Против этого святого и справедливого гнева как же можно было возражать или препятствовать ему?

Микулкин оказался не в состоянии отделить себя от тысяч товарищей. Воля их поглощала его одинокую, маленькую волю. Старик считал себя в праве только горевать о неизбежных потерях и готовиться к ним.

Была середина дня. Борис Лавдовский ходил по боковуше, засунув руки в карманы курточки и опустив голову. По дробному и поспешному шагу его нельзя было бы ошибиться, что Лавдовский переживал не меньшее волнение и беспокойство, чем старик Микулкин.

Лицо у Лавдовского болезненно сжалось, и резкая гримаса дернула губы, когда вдруг Микулкин в подмогу своим невеселым думам или в рассеяние их

явственно и дрябло, по-стариковски начал тянуть канючую песню:

Уж ты, сад, ты, мой сад,
Сад зелененький...

Голос перемежался с ударами молотка, вбивавшего гвозди в колодку:

Ах зачем ты, сад, рано цвeтeшь,
Осыпaeшьcя!

Лавдовский заходил под песню еще быстрее. Он воспринимал каждое слово песни с какой-то новой и особенной углубленностью, словно эти много раз слышанные слова никогда раньше так не понимались и не казались такими значительными. Каждое слово было к месту, оно задевало и бередило самые заветные чувства. Слушать их грустное чередование даже стало невмоготу...

Лавдовский приоткрыл дверь, поедлил, подумал одну секунду, охватил взглядом всю согбенную фигуру Микулкина, который сидел почти так, как поднимают людей корчажкой, и просительно сказал:

— Эй, привратник, ты меня в гроб вонизишь! Я сейчас ей-ей заплачу!

Микулкин, не оглядываясь, отмахнулся от него.

— А ты не слушай! Ты своим делом занимайся! Больно стали чувствительные! Рано... петь веселые песни!..

Старик утомленно передохнул, облокотился на верстак и, почему-то сдаваясь, продолжал:

— Уважу, уважу тебя! Так и быть! Раз песня не по нутру, значит, не по нутру!.. А мне она как-раз вокурат! Я ее потихоньку стану... одолевать!..

Тогда с детским дырявым башмачком и пришла Ирина Евгеньевна. Микулкин отпер двери в крыльце и оглядел ее.

— Твердая теперь?—серьезно спросил он.—Взяла себя в руки? Не как давече?

— Он... здесь?—вместо ответа спросила Ирина Евгеньевна.—Пришел?

— Здесь... Пришел... Проходи!..

Ирина Евгеньевна почти пробежала мимо Микулкина и скрылась в боковуше.

— Ты что, ты что?—заботливо спросил Лавдовский, замечая ту крайнюю степень волнения, в котором находилась жена и которое, казалось, должно было непременно разрешиться неудержимыми слезами.—Почему ты... так не в себе? Что случилось? Ты... сядь!

Лавдовский подставил ей одной рукой табуретку, а в другую руку взял тусклую лампочку и осветил жену.

Ирина Евгеньевна неловко опустилась на табуретку, не сводила с мужа пристальных глаз,—в глубине их уже сверкали отдельные слезинки,—и вдруг она крепко охватила Бориса поперек тела и, легко всхлипнув, спрятала свое лицо у него на груди.

— Ах, как это тяжело!—недовольно воскликнул он.—Ирина, надо же владеть собой! Подожди, я поставлю лампочку. А то я ее уроню!

Ирина Евгеньевна послушно разжала руки. Покуда он совал лампочку на лавку, взял другую табуретку и сел рядом с женой, обнимая ее за плечи, она смахнула слезы и с немалой выдержкой в голосе прошептала:

— Пустяки! Прошло! Я ничего! Это так... некстати! Я тебя не видала три месяца!..

Лавдовский не замечал, что, несмотря на внешнее спокойствие, жена внутренне вся содрогалась, с диким ужасом раскрывала глаза на пискучую лампочку-ночник и даже отвертывалась от нее. Порой Ирина Евгеньевна так глубоко задумывалась и забывалась, точно не слышала, что ей говорил муж. А он был полон своего, он жил завтрашним, волновался, предугадывал, готовился..

— За три месяца все страшно изменилось,—горячо говорил он,—работих не узнать! Так шагаем вперед, что не снится. Глупые иллюзии изживают скорее, чем их нажили. Мы хорошо поработали за это время! Нам приходится сдерживать массы. Не мы их, а они нас подталкивают. Прямо... какой-то ледоход!.. Ни суды, ни каторга, ни расстрелы не помогут белым! Товарищи гибнут в контрразведке, а их заменяют сейчас же в работе другие. Скоро, скоро мы будем свободны. Мы погоним интервентов за море! Мы постараемся испортить им пу-

тешестве. Мы добьемся весьма... го-ропливой посадки на суда, если даже в ней будет надобность.. если они успеют! А собственная белая... шваль.. одна... это несерьезное препятствие! Это... разряженные снаряды! Ее выметем, как скверный сор! Ее унесет одним порывом революционного ветра!

Лавдовский горячо и тепло прижимал к себе жену, целовал ее в щеку, гладил вздрагивающие женины руки и с удивлением спрашивал:

— Ирина, ты, кажется, не радуешься? Почему ты молчишь! И... вообще какая-то странная!

Ирина Евгеньевна поспешно делала к нему движение и старалась рассеять подозрение.

— Да, нет же! Я... я... очень буду счастлива! Только бы скорее... все это... кончилось!

— Ты не веришь? Ты, думаешь, я преувеличиваю?

— Не думаю.

— Это было бы... даже обидно! Ты знаешь, я всегда осторожен. Я от тебя ничего не скрываю.

Последняя фраза вывела Ирину Евгеньевну из оцепенения. Женщина обхватила крепко за шею мужа, привлекла к себе и с трудом и с какой-то ужасной обидой прошептала:

— Я... тоже... ничего... не скрываю!..

Микулкин выходил на крыльцо и возвращался, гремел колодками, громко вбивал гвозди, свистел дратвой и тихонечко тянул свою песню.

Теперь уже не Лавдовский, а Ирина Евгеньевна напряженно, не разбирая слов, вслушалась. Песня была так тиха, что сначала женщина не могла определить, откуда она достигала сюда и кто ее пел. Она проверила себя.

— Ты слышишь?—шептала Ирина Евгеньевна мужу.

— А?—спросил он беспокойно. — Что? Где?

— Кто-то поет?

— Это Микулкин. Всегда подпекает во время работы. Разные песни. До тебя пел чуть не на весь свой «дворец трудящихся». Сейчас тянет в волосинку: старается не мшгать нам.

— Какой грустный мотив!—вдохнула Ирина Евгеньевна.

— Старик сегодня ошалел. Привязался к одной песне и повторяет ее, как дьячок сорок раз «господи, помилуй»: «Уж ты, сад, ты, мой сад.. и зачем рано цветешь...»

«Рано цветешь, осыпаешься»—неясно донеслось из мастерской, скорее мысленно сама докончила Ирина Евгеньевна, зажала лицо руками и горько заплакала

Микулкин закашлялся, перестал петь, перестал стучать. Когда женщина овладела собой, в мастерской затаилась подчеркнутая тишина, точно из мастерской Микулкин ушел или уснул там. А он, прикусив губу, качал головой и шептал: «Ох, ты, забывчивость! Ведь нельзя! Ведь бабка-то... здесь! Намек ей».

— Что у тебя,—с нескрываемым удовольствием и даже с насмешкой сказал Лавдовский, — мрачные... предчувствия!—И более мягко, жалеючи, добавил:—Ты, ты совсем... измучилась! Нельзя так поддаваться... насгроениям! Пойми, теперь же виден конец беде. Мы скоро заживем с тобой опять по-прежнему... поедем в Приречное... Игорь будет бегать по песку, купаться и весело кричать. Хорошо?

У Ирины Евгеньевны жалко дрожали губы, она было задохнулась, но встряхнула резко головой и с необычайной грустью, после каждого слова останавливаясь, сказала:

— Да... да... Весь-то... мой... милый мальчик... припадался... когда... в... прошлом... году... бегал в... Приречном... на отмени... совсем... не умел... бегать...

Лавдовский смотрел на жену, не узнавал ее и с теплым вниманием утешал:

— Успокойся, Ирина, ты совсем извелась! Скажи себе: не буду, не буду, больше не буду! Это помогает. У тебя же всегда была раньше воля!.. Сделай это для меня и для Игоря!

— Хорошо!—прошептала она. — Я.. уже сделала!

— Ты должна быть всегда... крепкой. Ты же знаешь, что женой революционера быть нелегко и... опасно! — Лавдовский запнулся, с некоторой рас-

терянностью провел по своим волосам и по-настоящему смутился—Извини... я совсем не то хотел сказать... Мне самому не до глупых нравоучений! Они тебе не нужны... Но, но, понимаешь, какая это поддержка, когда близкий человек... ну, что ли.. находчив... и предусмотрителен... Вот, вот я вспомнил, с чем хотел сравнить,—оживился радостно он,—мы с тобой не видались с тех пор... Ты меня так замечательно выручила... Я натолкнулся на вас... Игорь закричал: «Папа, папа»—и уцепился за мной, а ты его удержала и остановила. Мальчишка из любви мог погубить меня...

Ирина Евгеньевна, не мигая, мучительно глядела на огонь.

— Что ты привязалась к этой копилке?—передернул плечами муж.— Не сводишь с нее глаз и... только раздражаешь... глаза!

— Она очень походит на наш ночник,—с каким-то недосказанным смыслом произнесла Ирина Евгеньевна,—кровати... Игоря.

— Да, ты мне скажи, — любопытно спросил муж.—Игорь поверил, что он ошибся и видел чужого... дядю, а не меня?

— Не поверил,—подумав, ответила Ирина Евгеньевна.

— Он долго вспоминал об этом случае?

— Д-долго.

— И теперь вспоминает?

Она чуть кивнула головой и скрыла свои глаза.

Свидание было тягостно для обоих. Они не находили нужных слов, часто молчали, отвечали друг другу невпопад—и с каждой минутой больше и больше страдали.

Ирина Евгеньевна первая встала и, едва сдерживаясь от рыданий, надолго прижалась к его губам. Борис чувствовал, как все в ней клокотало от безысходной муки.

— Я хочу,—жалобно пробормотала Ирина Евгеньевна,—видеть... теперь... тебя чаще! Ты... узнаешь от Микулкина... когда я буду приходить...

— Хорошо... конечно... хорошо,—суетился Лавдовский,—ты... будешь... только.. осторожна...

Микулкин вышел за ней на крыльцо, плотно закрыв двери в мастерскую.

— Стой-ка, — отечески удержал он Ирину Евгеньевну. — Разнюнилась! Нельзя на улицу в слезах! Не поверяя, что тебя сапожник обидел. Из-за сапогов да еще из-за рваных не бывает слез. Учил тебя давече,—не помогло? Иринушка, нукося выпрями спинку! Жена нашему брату нужна строгая и гордая: не ломалась бы от всякого ветру, будто сухостойное дерево!

Ирина Евгеньевна припала на плечо к Микулкину, тихо всплакнула и ласково прошептала ему:

— Дедушка, не притворяйся, знаю, ты вместе со мной... жалеешь!.. Так тяжело и.. пусто!

— Иди, иди,—пробурчал через силу Микулкин,—вместе, вместе! Нашла себе компаньона, мокрое ты место! Одна пчела немного меду натаскает! И комар лошадь свалит, коли волк пособит!..

Он ее осторожно выпроводил. Через раскрытые двери в боковушу Микулкин увидел Лавдовского, тот, опустив голову, уныло сидел на табуретке.

— Чего бабу не утешил?—крикнул старик.—Уменья нету? Видишь, баба слезой исходит. Ты бы ей одну ласку за другой... и так, и этак. Злая баба, и та под лаской добреет. А твоя Ирина и.. взыграла бы!

Лавдовский беспомощно развел руками.

— Она удивительно.. сегодня странная!..—тоскливо воскликнул он.—Я... даже... начинаю бояться! Она не похожа на себя!

Микулкин уверенно махнул рукой:

— Ничего. Я с ней дружу. Я ее подхвачу подсилки, ежи повалится! Не бойсь! Тебе самому надобно грудь направить. Завтра бык на быка пойдут, а ты носом по полу шарить! Еще с табуретки свалишься... от чувств горести!

Лавдовский с недоумением взглянул на сердитое и вместе с тем заигрывающее выражение глаз Микулкина. А он уже усаживался на свое лукошко, сунул между колен сапог и начал ссучивать дражду.

Борис заходил по комнате. Через некоторое время он вынул часы из кармана и, словно спрашивая у Микулкина, сказал:

— Пора! Ирина наверное ушла уже далеко!

Он остановился у верстака.

— Далеко, не далеко, а иди по задворкам, — промолвил Микулкин. — Сегодня, поди, стерегут пуще других дней. Эт нам ничего не будет! — улыбнулся насмешливо старик. — Чево с нас, с сапожников, возьмешь? Хорошее наше дело — сапоги тачать! Верно?

— Пожалуй, верно.

— И не мудреное дело?

— Как сказать!

— А ты напрямки скажи.

— Что ж! Не мудреное.. Выучиться можно.

— Выучиться всему можно, — Микулкин задирчиво усмехнулся и добавил: — А нет, не всему. Пока другие не скажут, не выучишься никак. Я вот тебе загадаю загадку: шла свинья сквозь быка, по железню следку, хвост смелевой. Понял чево-нибудь?

Лавдовский подумал и отрицательно покачал головой.

— То-то, а слывешь умницей! — хитрил старик. — Попробуй другую взять разумом. Сквозь лошадь и корову свинью и лён волокут. Обмозговал?

— Нет. А к чему это ты говоришь?

— Загадки всегда говорятя от нечего делать.

— Что же они значат?

— Обе одно и то же. Вот! — Микулкин ударил правой рукой по сапогу и показал конец дратвы. — Отгадка — тачанье сапогов. Хе-хе!

Лавдовский как-то сразу повеселел и даже засмеялся.

— Видишь, пользу ты и получил от моего балагурства! — лукаво усмехнулся Микулкин. — Я тебя и подковал на хороший лад!

Борис Лавдовский, выбравшись через задворки на улицу, действительно вспомнил бодрое и неунывающее лицо Микулкина, сложные и занимательные его загадки и понес в душе приятное чувство какого-то освобождения от тяже-

сти, накопленной при свидании с женой.

Он не знал, что за три дня, об эту же пору, в его старой квартире, Ирина Евгеньевна пережила неустрашимое приближение ужаса. Игорь метался в своей кровати, бредил, звал отца, в бреду разговаривал с ним, смеялся, вспоминал Приречное, идущие мимо пароходы, вздрагивал весь, словно бы окунывался с разбегу в холодную приреченскую воду и от холода выскакивал на желтую отмель. Потом мальчик уснул и обнажил мать.

А ночью, сторожа сон сына у ночника, прикрытого вязаным колпачком. Ирина Евгеньевна поняла свою ошибку. Мальчик внезапно приподнялся, закричал и цепко схватился ручонками за постель...

Молодого доктора, лечившего мальчика, в ту ночь не оказалось дома. Так это бывает в жизни. Доктор хотел жить и свободно располагать своим временем! Ирина Евгеньевна оставила у постели мальчика соседку по квартире и пошла искать помощь.

В темном и спящем городе женщина бросилась на первые же огни, мелькавшие в военном лазарете.

Через полчаса Ефим Петрович Черногубов, разбуженный после отчаянных просьб матери, сонно поднимался по скрипучей деревянной лесенке в квартиру Лавдовских.

Игорь уже смотрел безумевшими глазами и задыхался. Ефим Петрович снял вязаный колпачок с ночника и поднял огонь высоко над головой мальчика. Короткий осмотр был бесполезен.

— Воспаление легких, — равнодушно шамкнул Ефим Петрович, — мой коллега определил правильно. Кризис. Плохой кризис...

— Значит? — прошептала Ирина Евгеньевна, схватывая доктора за руку, когда они перешли в соседнюю комнату.

Ефим Петрович беспомощно взглянул на нее.

— Бывают случаи, — привычно, нехотя, уклонился доктор, — но в данных условиях.. Все меры... очень сомнительны...

Должно быть, несчастное лицо матери вызвало в Ефиме Петровиче самое обыкновенное человеческое сочувствие. Он хотел сказать какие-то ободряющие слова и не нашел других, кроме тысячи раз им повторяемых каждый день, истасканных и заурядных:

— Вы чем занимаетесь?

Ирина Евгеньевна механически ответила:

— Я—учительница.

— Ваша фамилия?

— Лавдовская.

— Вы вдова... или у мальчика есть отец?

— Да, я... вдова, — не сразу удовлетворила женщина ненужное любопытство старика. Она только в этот момент заметила на докторе военную английскую форму.

Ефим Петрович неожиданно разжалобился и захотел еще раз осмотреть мальчика, скорее для успокоения матери, которой несомненно было приятно и дорого внимание к больному.

Он заставил мать так же высоко светить себе ночником, как делал сам, и принялся осторожно выслушивать и перевертывать мальчика.

Ефим Петрович старательно проделал все, что он умел, и даже выпрямился после осмотра с потным лбом. Тут он при случайном повороте к стене, в пятне света, упавшем от ночника, узнал фотографию мальчика и рядом с ним Бориса Лавдовского, Ефим Петрович забылся.

— Кто это?—с заблестевшими интересом глазами спросил доктор.

— Отец мальчика,—сухо и подозрительно ответила Ирина Евгеньевна. — Доктор... как?..—но Ефим Петрович забыл обо всем и не отрывался от фотографии, а поэтому женщина уже с начинавшимся возмущением закончила:— Он... пропал бесследно. Вы, доктор, может быть... Ваш второй осмотр?..

Ефим Петрович опомнился и заспешил к выходу с непонятной рассеянностью.

— Все то же... все то же!—бормотал он.—Не хочу лгать! Агония!..

«Неужели это он? — с холодком в сердце подумала Ирина Евгеньевна,

когда Игорь вскоре умер и она села у него в ногах. — Папиловский доктор?»

Ефим Петрович так разволновался, что долго бродил по городу и разговаривал сам с собой. «Странные, странные встречи у меня с этим человеком,— неловко и неприязненно думал старик, — сталкиваюсь при самых неожиданных обстоятельствах!»

На этот раз Ефим Петрович никому не сказал о смутившей его встрече.

Ирина Евгеньевна, подавленная и растерзанная, пришла к Микулкину. Старик охнул.

Но он устроил ей свидание с мужем не раньше, чем она перестала настаивать на нем.

— Ты... ему, matka, не говори ничего! Ни-ни!—просил и требовал Микулкин.—У нас начинается главная заваруха! Испортишь нам дело! По мальчонке... жалко мне его...—старик тяжело насупился,—поминки опосля... Ты нам... не сделаешь по-иному!

Мать обещала и сдержала слово.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Судоремонтный завод в Соломбале, называемый ныне «Красная кузница», воспользовался удобным поводом. Двенадцатого марта, в ознаменование второй годовщины Февральской революции, на заводе было назначено торжественное заседание рабочих. Заседание происходило днем.

Раньше назначенного срока все уже были в сборе. Пришло более тысячи человек и заполнило каждый вершок заводской столовой. Столько же осталось на улице. В отличие от обыкновенного порядка, который неискоренимо завелся у нас непременно опаздывать с началом, сегодня открыли заседание из минуты в минуту.

Густо разбросанные в городе и в окрестностях завода белогвардейские наблюдатели, а также и свободно проникшие внутрь помещения без особой сообразительности и наблюдательности могли понять, что эти было присмирившие на семь месяцев рабочие находились ныне в чрезвычайном подеме.

Они торопливо и громкоголосо двинулись к заводу большими кучками. На всем пути ожесточенно размахивали руками, задирали прохожих и звали с собой. Достигнув завода и слившись с товарищами, они усиливали общее неудержимое бурление. Так накапливается быстро идущая летняя буря: стремительно толкуются в небе черные облака, молнии черкают их вдоль и поперек, точно городят частый плетень, безмолвный гром ворчит и накатывается, будто огромный каменный ком, покуда он не разорвется сплошным грохотом и тучи не обвалятся на землю сминающим вихрем, сухой пылью и свистящим ливнем.

Судоремонтный завод переживал такой явный и открытый гнев, что каждый чужой соглядатай, враг, влезший на заседание, обязан был притворяться своим, согласно кричать и делать поддельное сочувствующее лицо.

Масса кипела, как пламя пожара, схватившего густой высохший бор. Как будто тысяча людей кричала разногласо и бестолково, нарушала необходимую и полезную очередность, но общий гул ее был един: гнев.

— Живем, пока мышь головы не отъела!

— Кряхтя, живем!

— Ночь во сне, день во зле!

— Смерть нахрапом берет!

— Каждый день несут гостя до погоста: хозяин новой земляночки!

— Восьмой месяц!

— Охай, не охай, а вези до уаду! Не хотим! Будет обмана и надругательства!

— Продали по сходной цене!

— Свалили своих генералов и купцов, из-за моря нам выписали этого добра целую флотилию!

— Воскресли собственные волки! Из капканов их вынули и выпустили снова на нас!

— Ходили раньше, как слепые по пряслу!

— Далась на крючок, дураки!

За длинным столом тесно сжался президиум. Эти обычно скучающие от безделья люди, выставленные на всеобщее обозрение, сегодня были встревожены

не только сами по себе, но еще и буйным настроением толпы.

Худенький и тощенький председатель меньшевик Курочкин с растерянной и снисходительной улыбочкой безустали звенел карандашом по чайному стакану, заменявшему колокольчик, и с хрипотцой призывал к спокойствию. Толпа не унималась.

— Верно страшали нас большевики накануне захвата Архангельска: будет вам житьишко, — масленица! Завоете! Вот и завыли!

— Отдохнуть не успели от самодержавия, а навалилось новое!

— Хуже и гаже!

— Николаевскую форму сменили на новую!

— Иностранцы обосновываются навсегда! Оседлость приобретают!

Курочкин так и не сядил. Одной рукой он продолжал трезвонить карандашом по стакану, так что последний даже неловко кувальнул и упал, услужливо подхваченный зампредом, а в другой руке Курочкин держал продолговатый листок бумаги и потрясал им над своей головой.

— Товарищи! Товарищи! Вот все здесь записаны! Успокойтесь! Всех выпустим! Все успеют сказать! Сошлись, так наговоримся вдосталь!

Стихийная ярость толпы нарастала.

— Где и кто заботится о рабочих? Все отнято: хлеб, свобода, отдых! Батраками сделали! Не Россия, а колония! Скоро начнут клеймить своими штемпелями! Сидим в иностранном застенке! Спихнули свою буржуазию с шеи, чужая нога свесила! А разве это не одно и то же? Что клюква, что брусника—обе кислые!

— Никого и ничего не спихнули, а посадили обеих! Монархисты нами правят!

— Это эсеры и меньшевики накликали беду!

— Это они снюхались с иностранными капиталистами! На них работали!

— Это они нам свихнули мозги!

— О тебе, о тебе, Курочкин, говорим! О всем президиуме! Нечего ерзать на стульях! Нечего привскакивать и махать головками!

— Вспомнишь большевиков: говорили нам!

— Сделали свое подлое дело соглашателей, а им хозяин пинка дал! Не нужны больше!

— Курочкин, Вавилов, Семенкин, не бывать вам боле министрами! Те не возьмут, а мы не выберем, когда придется выбирать!

Президиум изнемогал уже от жары. Лица покраснели. Теперь не только Курочкин нещадно звенел о стакан. Вскочили другие члены президиума, протягивали руки во все стороны, что-то вопили и шикали. С толпой не было сладу.

— Временное правительство—смех и грех!

— Какое там смех? Палачи там сидят! Пешки! Игрушки заводные!

— По найму работают! Прикрывают разбой и захват России!

— Оторвали нас от Москвы! От всех рабочих! Там—нам свои, а здесь—мы в плену!

— Довольно терпеть! Довольно гнуть спину! За шиворот всю шайку — и в Двину!

— Контрреволюция под видом революции!

— Кусачками нам рвут сердце!

Решимость толпы нарастала, точно она с каждым новым выкриком становилась сильнее, крепло объединение, все для всех было ясно и неопровержимо, как морозное солнце, ударившее в окна алой кровью.

Вот тогда-то, из осторожности по одному, проникли на завод подпольщики. Они разбрелись в разные углы и оттуда наблюдали за бушующим собранием. Комитет, опасаясь всяких неожиданностей со стороны контрразведки, вплоть до ареста или избияния рабочих, отрядил сюда только ораторов—Лавдовского, Угольского, Тесанова и Первушина. Остальные комитетчики остались по домам.

— Четыре добрых коня заменят хорошую конницу, — подсмеивался Микулкин накануне.—Пошто всех пускать на бега? Надо на развод оставить! Негорво—тройка да одиночка зашибут ногу! И... в книжку. поди.. добрые люди... всех перепишу! А добрые люди

там беспременно будут! Без них ни один праздник не в праздник! Как бы сам полковник Торнкिला да граф Любойсак не пожаловали! Хе-хе! Одежку найдут рабочую, рожу подмажут грязьдой и... явятся!

Шум и крики толпы понемногу оскудели. Правда, они то и делъ взрывались снова, но собрание уже могло ити по известному правильному руслу. Негодование и ненависть рабочих к интервентам и временному правительству сказались с такой неприкрытой откровенностью в тысячах выкриков, в том ожесточенном гуле, который потрясал здание после всякого удачного и резкого слова ораторов, что меньшевики и эсеры поняли бесплодность всяких попыток изменить обстановку. Толпа явно прозрела и осуждала их вредное соглашательство, которое способствовало появлению в Архангельске монархического правительства с генералом-диктатором во главе.

Эсеро-меньшевистский союз профессиональных союзов, наполовину сидевший в президиуме собрания, уже достаточно наслушался горьких и справедливых возгласов по своему адресу, чтобы они не подействовали на его поведение.

Один за другим меньшевистские и эсеровские ораторы пытались угодить разбушевавшимся слушателям. Но ораторы срывались. Лавдовский с мучительным страданием на лице слушал и Курочкина, и Вавилова, и Семенкина, а за ними и других, и третьих. Они плели ту же нехитрую, хотя и запутанную, вязь о своей вражде к монархистам и крупной, торгово-промышленной буржуазии и... не договаривали, не признавали своих сознательных ошибок, не открывали свое двойное лицо. Но толпа сама разоблачала их.

— Стой! Стой!—раздавались бешеные вопли! — А кто «союзников» привел сюда? Кто их посадил на трон? Кто получал из их ручек министерские портфели?

— Кто уничтожил все рабочее законодательство и отменил все декреты советской власти о рабочих? А?

— Кто отдал все заводы и фабрики обратно хозяевам?

— Не отпирайтесь! Не юлите! На них до поту лица трудились.

— Кто старые флаги развесил?

— Кто загнал на Мудюг и в разные тюрьмы тысячи народу.

— Подавайте, что обещали, когда на спину к нам помогали влезать верховым — англичанам и доморощенным русским монархистам! Не ходи на пятый, неверные души!

— Говори прямо: советская власть — единственная заступница интересов рабочего класса!

И меньшевики, и эсеры с оговорками, с отступлениями говорили это, туманно признавались в необходимости по-иному оценивать то, что произошло несколько месяцев назад.

— Отказывайтесь начистую! — требовало собрание. — Долой поддержку интервентов! И явную, и тайную! С большевиками, а не против большевиков!

— Довольно торганаули рабочими! Довольно вам, как купцам, выворачивать шубу! Раз обманули, другой не попадемся!

— Не верим вам! Не подлезайте опять под крылышко! Власть интервентов — ваша власть! С ними или с нами! Какие там еще подкатываете турысы на колесах!

— Нашкодили и сухими хотите вылезти!

Лавдовский чувствовал радостное удовлетворение. Он видел по лицам и жестам рабочих, окружавших его горячей и взволнованной кучей, по их нетерпению и насмешливым улыбкам во время речей соглашателей, что рабочие правильно понимали и оценивали события.

Масса далеко ушла вперед, оставив в хвосте вчерашних своих вождей. Они догоняли ее и уже не могли угадать в шаг.

Председатель союза транспортников Теснанов обрубил тонкие ниточки, которыми эсеры и меньшевики торопились связаться с рабочими.

— Нечего заигрывать с нами! — крикнул он, держась за стол президиума сбочку. — Нас не проймешь дешевой революционностью! Поздно! Где вы были раньше? Почему вы тащили наши суда

назад, обрывали снасти, причалы, якоря бросали на неполюженном месте? Вами дорогие «союзнички» натешились, все через вас получили сполна, выкинули вас на улицу, и стали вы беспризорными! Ага! Чувствуете, что с вами и за вами нынче никого нет! Побежали в притруску! И какое-то подобие порядочности хотите соблюсти? Уходите и не мешайте! Вам нельзя верить! Вчера вы душили рабочий класс, сегодня вы хотите веревочку малость ослобонить! К чорту! Мы эту веревку разрываем и сбрасываем с шеи! Бороться, так бороться! Побеждает только тот, кто революционно и мыслит, и действует!

Лавдовский дал выступить Первушину, Угольскому. Товарищи в возбуждении говорили часто и не то, что нужно, сбивались, путались, их злорадно поддевали меньшевики и эсеры, которым было слишком трудно и жалко оставить поле сражения, где еще недавно они казались себе непобедимыми, но накаленное собрание недружелюбно обрывало соглашателей и заставляло покорно смиряться.

— Верно! Правильно! — бушевала толпа.

— На борьбу! Поддержать Красную армию! Она — наша защитница! Только от нее мы и можем ожидать освобождения!

— Выгнать интервентов в три шеи! Свернуть голову временному правительству вместе с диктатором Миллером!

— Долой дурачка Чайковского! Послать ему в Париж телеграмму, чтобы не вздумал обратно приезжать! Не езд, дядя, не надо! Без тебя управимся!

— Да здравствует советская власть!

— Выйти всем на улицу и ударить по угнетателям!

— Разделаться с ними!

— Мы не звали их! Кто звал, те пускай с ними и остаются!

Толпа заражала. Ее волнение перешло уже нужные пределы. Лавдовский уже чувствовал нависающую над ней опасность.

— Товарищи, — насколько было возможно спокойнее сказал он, — вы на собственном опыте убедились в правоте большевиков. Они до оккупации края

говорили вам, чем оккупация может грозить. Вы не послушались большевиков. Вас предали все, кроме большевиков. Соглашатели выступили на борьбу против советской власти. Но они одни — бессильны. Тогда они пошли на величайшую подлость и наняли иностранных штыки. Почему они нашли охотников убивать рабочих и крестьян России? Потому что они обратились к капиталистам. А нет больших врагов на свете, как трудящиеся рабочие и крестьяне и нетрудящиеся, капиталисты. Это борьба за власть. Или они, или мы! Вместе мы не можем. Вот почему соглашателей мы и называем приспешниками капиталистов. Теперь настало похмелье. Но не будьте же... пьяными!

Толпа зашевелилась.

— Вы шагнули так, что любо,— продолжал с радостным подъемом Лавдовский,— вас уже никто не собьет с правильного пути. Да и не только вы раскрыли глаза. Раскрыла их и наша деревня. Враг топчется на месте. Он не может продвинуться на одну лишнюю версту. Деревня выбрасывает один за одним партизанские отряды. В белых казармах — неблагополучно. Восстают насильно забранные солдаты. Отказываются идти на фронт. Военные заговоры были даже среди офицерства. Интервенты их расстреливают. Но нельзя расстрелять всю армию, тогда кто же будет сражаться с большевиками? Пожалуй, большевики с одними генералами справились бы скоро и показали бы им настоящее их место на земле!

Толпа согласно рукоплескала.

— Враг... в конце концов... будет сломлен, — уверенно и громко говорил Лавдовский. — Красная армия недалеко от Архангельска. Она уже вдолбила один клин в белогвардейский фронт! Клиничик такой, какой, видимо, выбить трудно! Вы же знаете, что красные два месяца назад отняли у интервентов Шенкурск и... сидят там.. Неплохо!

Толпа разразилась долго несмолкавшими рукоплесканьями. Куручкин и члены президиума с некоторой опаской поглядывали на двери, и все сразу утихомиривали толпу.

Полковник Торнхилл и граф Люберсак, точно по цепи из вестовых, расставленной от судоремонтного завода до контрразведки, время от времени получали самые точные сведения, что происходило на собрании. С некоторым опозданием получили они извещение и об этом радостном восторге толпы.

— Товарищи! — горячо восклицал Лавдовский — Наши силы растут и будут расти. Это — закон. Мы и сами стараемся ускорить набор, но на нас работает беспримерный по тяжести, наглый, кровожадный разгул белогвардейщины и «союзников». Они... в конце концов... помогают нам! Жертвы страшные.. Но это так! Враг ослабевает. Мобилизованные солдаты не внушают ему доверия. И правильно! Они втайне уже идут с рабочими. Враг отправляет на фронт американцев и шотландских стрелков-инвалидов. Резервы у интервентов... в лазаретах! Но не пьяните, товарищи! Наше выступление сейчас было бы на-руку врагу. Он нас все же сильнее. Мы еще безоружны. Он нас разобьет по частям — и будет торжествовать. Долой, долой всякие преждевременные действия! Они пагубны! Все силы, все внимание надо бросить на лучшую организацию сил. Не торопитесь, как бы ни кипело на сердце! Ждите сигнала от большевиков! Он будет!..

Торжественное заседание пошло более мерно и сдержанно.

Однако оно затянулось почти до огней, чтобы еще позже, вечером, возобновиться в городской думе с меньшим количеством людей, но с новыми и теми же ораторами и с теми же результатами, как на судоремонтном заводе.

Празднование второй годовщины Февральской революции явилось подтверждением огромного скачка в сознании рабочих, что почти все комитетчики, охваченные горделивыми и радостными чувствами и без необходимой осторожности, понемногу сошлись у Милушкина глубочайшей ночью.

В боковуше еще никогда не было такого бодрого оживления.

(Продолжение следует).

В мир

ПЕТР ОРЕШИН

Я ухожу из дома,
Чтобы с ним
Порвать
Наследственные связи.
Я разлюбил
Отцовский грим,
Тяжелый грим
Благообразий.

Мир столь хорош
И столь велик,
И многоумен,
И бескраен,
Что никакой
Цветной язык
Воспеть не в силах
Всех окраин!

И я
Почувствовал себя
Свободным
От былых привычек,
Что и любил я,
Не любя,
И помнил
Только из приличья!

Я не был
Собственником в днях,
И жил
Без всякого призора,

Мечтал,
Носясь на парусах
Земного
Ясного простора.

И мне ль теперь
Жалеть о том,
Что я навек
Ушел из дома,
И все сильнее
С каждым днем
Влюбляюсь,
Что мне незнакомо!

Сегодня здесь,
А завтра там.
Сегодня счастлив,
Завтра тоже...
Пусть враг
Мне шепчет по ночам:
— И до чего ж
Ты, милый, дожил!

Но где ж врагу
Понять, чем я
Дышу
В просторах мирозданья, —
Свободный в жизни,
Как ладья,
И беспокойный,
Как исканье!

ЕДИНСТВО

Роман

ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ

(Продолжение ¹)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Потом, когда человек остается один и часы отдыха неожиданно тяжки, приходят воспоминания, и, хотя следы уже стерты и потускнели в памяти голоса, все же высокие крыши и трубы, как пики, и переплеты окон, за которыми дышат машины, сумеют рассказать о многом.

Рыхлые облака июльской ночи разрезаны лучами прожекторов, белоголовая луна, поскользнувшись, упала за облачные бугры, и тотчас же взревели гудки, извещающая рабочих о третьей смене. Шмыгнул по переулку большеглазый автомобиль, ветер лизнул холодным языком блестящую лысину инженера, ветер упал к ногам рабочих, смыкавшихся у заводских ворот, ветер лег у стен корпусов.



— С этого часа говорю я только по-русски.

Кондрат Шабалин неуклюже кланяется инженеру Эйхгорну.

— Для меня это будет большим облегчением, Фридрих Карлович, и я очень вас благодарю.

Шабалин еще раз кланяется, и вся семья Эйхгорнов отвечает Шабалину улыбкой и дружественными кивками. Старый Иоганн берет чемоданы и шаркающей походкой идет к дверям. Тогда

все встают, и фрау Эйхгорн немножко плачет на плече мужа, а сын Готлиб торопится помочь старому слуге вынести тяжелые чемоданы.

— О, будьте милостивы, позвольте мне, позвольте мне!—говорит Иоганн и выпрямляет спину, чтобы показать, как еще он силен и какие пустяки для него отнести чемоданы и уложить их в автомобиль. Ведь это последняя тяжелая ноша, и уже наверно герр Эйхгорн больше не будет нуждаться в услугах старого Иоганна.

— Ах, времена, времена! Матерь божия, какие времена!—скорбно вздыхает Иоганн.

Шабалин еще раз повторил слова благодарности, с особой тщательностью, чтобы все могли понять его, как следует, и старый Эйхгорн сказал, что русская речь —наполовину его родная. Да, он прожил в Петербурге восемь лет, это он точно запомнил; за этот срок инженер Эйхгорн выстроил и оборудовал три завода для старой, царской России.

— Теперь существует новая Россия? Да, не правда ли?

— СССР.—привычно подсказал Шабалин.

Девять часов июньского вечера. Все выходят на улицу неторопливым шагом поживших людей, да и времени еще много. Кондрат Шабалин, по старой российской привычке, явился к Эйхгорну за три часа до отхода поезда, и думал он приблизительно так: «Чорт его

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 1 и 2 с. г.

знает! А вдруг поезд отправится не по расписанию. Это ведь не прежняя пунктуальная Германия».

Своей национальной недоверчивостью к железнодорожным расписаниям и расписаниям вообще Шабалин на этот раз не был огорчен. Он кое-что понаблюдал и кое-что услышал. Добрая немецкая семья крупного инженера машиностроительных заводов претерпевала материальные затруднения, буржуазная семья не привыкла жить так, чтобы отказываться. Фрау Эйхгорн была особенно огорчена, и она успела многое рассказать Шабалину, и при этом лицо ее выражало большую скорбь, и фрау Эйхгорн часто прикладывала к потускневшим глазам тончайший платок.

— Иметь пятьдесят марок в неделю, жалкие пятьдесят марок пособия инженеру Эйхгорну! Боже праведный, мы должны отказывать себе во всем. Наш Готлиб, наш мальчик (мальчику минуло двадцать восемь лет), получал больше, гораздо больше на карманные расходы... Инженер Эйхгорн не нужен, заводы остановились. Что будет с народом и с несчастной, поработанной страной! Вы не знаете, что происходит в нашей стране, что происходит в душе каждого немца, и вы не знаете, как говорит наш мальчик, наш Готлиб. Он говорит: «Мама, теперь я желаю быть революционером».

Эйхгорн хочет пройти от квартиры до вокзала пешком, он приказал Иоганну приехать к вокзалу за пять минут до отхода поезда.

Улица лежит в фиолетовых сумерках, город мягко шумит, кварталы вычерчены по угольнику, и густой просинью тянутся рассеченные кварталами бульвары посредине улиц. И на кафельных стенах, и на граните, и на белом камне домов застыли тщательно подстриженные тени деревьев.

Эйхгорн шел впереди, учебным шагом отставного сержанта, и так как в этом городе совсем не было встречных и все двигались, держась указанной стороны, то можно было заключить, что Эйхгорн шествует впереди своего взвода, выдерживая равнение. Фридрих Эйхгорн как будто ощупывал глазами каждый встре-

чающийся по пути предмет, и кончики его нафабранных усов, слегка вздрагивая, кололи рыхлую припухлость щек, но голова держалась смело, и спина была прямой, и плечи еще не обвисли под тяжестью шестидесяти лет. Перед конной статуей Оттона Великого инженер остановился. Он бормотнул что-то невнятное по-немецки, позабыв, видимо, свое обещание говорить только по-русски. Голубые глаза его подернулись тонким налетом мутноватой печали. Задержка была пятисекундной. Плечи инженера стали еще прямее, голова гордо поднялась, шаги тверже.

— Боже праведный!—зашептала на ухо Шабалину фрау Эйхгорн.—Фридрих прощается с родиной, и он так грустен, и мне уже кажется, что это его последнее прощание.

Шабалин сочувственно гмыкнул, не разобрав, как следует, картавых слов фрау Шабалину нужно было отправить срочную телеграмму в Советский Союз. Он сочинял эту телеграмму, потеряв глаза в чистоплотных улицах Магдебурга. Ему казалось, что он заблудился среди чудесно расписанных декораций театра. Он шел рядом с фрау Эйхгорн, неотступно следуя за сыном Эйхгорна. Этот сын инженера, чуть белобрысый и такой же вытянутый и сухой, в точности подражая отцу, крепко отбивал ногами шаг: левой, левой, левой!

Кулисы театра неожиданно раздались, и длинная темносиняя тень собора Маврикия и Екатерины легла под ноги,—и снова невнятное бормотание старого инженера и пятисекундная задержка. Все минуют площадь в благоговейном молчании.

«Вот черт! Не намеревается ли этот ученый муж обойти весь город? Как-раз опоздаешь еще!»—пугается Шабалин. Он с тревогой посматривает на часы, и, наконец успокоившись, замечает, что они идут уже ровными кварталами среди широких корпусов старинных железоделательных заводов Магдебурга. Они идут ореди гулкой тишины. Здесь такая же чистота, как и в центре города. Это чистота покойницкой, где по сторонам лежат только-что омытые, готовые к погребению трупы. Эйхгорн замедляет

шаг, как того требует обстановка мертвецкой. Так они проходят два километра, и Шабалин уже свыкается с обстановкой, она хорошо напоминает ему старорусские сектантские кладбища.

— Вот всё, что имеет на нынешний день Германия,—неожиданно говорит Готлиб, обращаясь к Шабалину и косясь на спину отца, который уронил теперь гордую голову и опустил плечи.

Вдруг (это именно было вдруг) Шабалин почувствовал прикосновение чужьей руки, легкое, но настойчивое.

— Господин, добрый господин! Может быть, вы возьмете коробку спичек. Лучшие спички!

Шабалин, не оглядываясь, сунул десять пфеннигов в протянутую сухую руку в перчатке.

Гордая голова Эйхгорна опускается еще ниже. Впереди уже идет старик, много кое-чего повидавший на свете, и шаг его потерял свою отчетливость.

— Боже милостивый, — закатывает глаза фрау Эйхгорн, — зачем нужно было идти именно здесь?

Шабалин озирается. Он видит маленькие домики, точно консервные банки; тощие деревца плещутся в густой синеве и в тягостном молчании.

Еще полквартила—и Шабалин оплачивает новые десять пфеннигов за черную сигару, похожую на мертвый палец. Так же протягивается длинная рука, и в руке соломенная круглая шляпа, и под шейей тщательно повязанный галстук.

— Фридрих!—стонет фрау Эйхгорн.

— Нет, они еще достаточно приличны, наши нищие,—говорит Готлиб и повторяет со вздохом: — Наши нищие, мама!

— Господин Эйхгорн!—доносится из густоты сумерек придушенный голос.— Господин Эйхгорн!

— Что такое?

— Господин Эйхгорн, вы знаете меня, я — старый машинист, я работал тридцать пять лет... Ах, господин Эйхгорн! Я совсем не думал о том, что мне придется выйти на улицу... Десять марок! О, благодарю вас, господин Эйхгорн!

Эти консервные банки тянутся без конца. Тут живут рабочие—рабочие,

посылавшие своих детей умирать за Германию во время мировой войны. Теперь, когда умерли сыновья и когда умирает вся страна, этим рабочим негде жить, и они строят себе маленькие шалаши, чтобы иметь крышу, где можно спрятаться от непогоды. Неизвестно, как они будут жить зимой. Их выгнали из привычных, удобных и чистых квартир. Старый машинист вышел на улицу и продает дрянные сигары и спички, и никто не хочет покупать. Вдруг все стало беспокойными, такими, которые думают только о себе. Машинист уже не может рассчитывать на помощь своих товарищей, хотя они все тут налицо. Господин Эйхгорн может встретить их на углу любой улицы, они что-то продают, и есть между ними такие, которые отлично знают, что продают их жены и дочери.

Шабалин не узнает инженера Эйхгорна. Он шагает впереди так, как будто в грудь его бьет ветер, а лицо сечет дождь; руки глубоко в карманах, за выгнутой спиной не видно головы. В наступившей темноте, которую еле пробивал немощный свет электрических лампочек, мелькали уродливые обрывки размашистых теней, и нищие преграждали дорогу и становились назойливей, выскакивая из прикритий.

— Где Германия? Боже праведный, где Германия?!—всхлипывала фрау Эйхгорн, ища защиты под широким плечом Шабалина.

Улица выносится к городскому парку. Сотни зрелых электрических лун отягощают ветви деревьев, и поют скрипки, насыщая парк сочной мягкостью звуков. Шабалин следит за Эйхгорном, голова инженера выросла очень высоко, но плечи стали неожиданно робкими.

Фрау Эйхгорн продолжает говорить, и старый инженер слышит слова жены:

— Они танцуют фокстрот! Скажите же, зачем я отдала старшего сына под пули врага? Эбергард умер для того, чтобы они танцовали потом на его могиле фокстрот!

Эйхгорн пересекает парк, но звуки скрипок долго еще преследуют его. Шабалин бормочет совсем ему не свой-

ственные слова сожаления, и думает он о том, что иногда неплохо бывает убедиться на опыте в жестком внимании жизни. Правда, у него не убили на войне сына, но ведь это потому, что у него не было никого, кто считал бы его виновником своей жизни. Но случилось, его убивали самого. Он отлеживался, и сам шел убивать других. Ему не приходилось высматривать из-за угла добрых господ, чтобы выпросить на кусок хлеба, но голодал он, случилось, по месяцам. Его не выгоняли из удобной квартиры—и опять-таки потому только, что квартиры у него не было.

Слава богу, фрау Эйхгорн замолчала, не то, пожалуй, он рассказал бы ей кое-что о жизни, в которой нельзя было ни плакать, ни жаловаться.

Они подошли к станции как-раз вовремя, и заключительные слова сказал Готлиб. Он произнес их угрожающе-торжественно.

— Германия—кайзер, Германия—первоклассная армия, Германия — Крупп. Нет Германии!

— И очень хорошо!—буркнул Шабалин.—Будет новая Германия.

«Чорт его знает, о какой Германии мечтает этот молодой человек,—подумал он, спешно сочиняя спешную телеграмму.—О чем жалеет он: о Круппе или о кайзере?»

Показалась в окне узкая рука и приняла телеграмму. И немец-радист с большим удовольствием выстукал телеграмму, потому что телеграмма посылалась в Россию, в неведомый СССР.

Радиоволны перемахнули границу, пронеслись необозримыми равнинами, над зачарованными лесами, над широкими реками и глубокими озерами.

Советский почтовик промчался на мотоцикле кривыми улицами единственного в мире города, где свободно делали свободу. Он примчался в Наркомтяжпром и передал телеграмму по назначению, и тот, кто получил ее, отметил час и минуты получения.

— Ого!

— Отказался?

— Как-раз наоборот, Климентий Станиславич.

Арысь оттирает лицо и удовлетворенно улыбается.

— Что важно, я могу уже отправляться.

— Не хотите слушать моего доклада?

— Если я знаком с планом...

Кривов, набирая по автомату нужный номер телефона, говорит:

— Ну, что ж, торопитесь, они могут быть на месте через две недели... (В трубку.) Да, да... Добрый день, товарищ Сухотин. Хочу порадовать... Что? А вот послушайте: «Эйхгорн согласен известных условиях. Договор подписан. Выезжаем седьмого одиннадцать вечера». Я был прав тогда... Как вы говорите? Ну, еще бы я не знал, каково им теперь. Ха! Что ж, товарищ Сухотин, я думаю, так будет удобнее... Ну да, я хочу сказать, пусть понюхает.

Кривов кладет трубку, в седую бороду осыпается мелкий смехок с отчетливо выраженной мужицкой хитрецей и некоторой таинственностью.

Сидя у окна на сквозняке, Климентий Арысь разглядывал хорошо знакомую бороду Кривова. Теперь эта борода была чуть подстрижена и подбрита, обнажив свежие щеки с едва заметными стрелками морщин от глаз к вискам. Голос инженера Кривова приобрел некую округлость, а борода вместо прежнего растрепанного помела лежала теперь на груди, как расписанное серебром свидетельство о солидности, приобретенной тут, вот в этом обширном и прекрасно обставленном кабинете Наркомтяжпрома.

В горах и степях Урала Арысь мылся всю зиму. Работа, морозы и лишения подтянули пухлые щеки и растрясали брюхо, и очень хорошее чувство носил в сердце своем инженер Климентий Арысь, разработав проект железнодорожного сообщения Кузбасс—Магнитная через Юргу, Новосибирск, Омск, Челябинск, Троицк, Карталы. Сто поездов, сто длиннохвостых вагонных составов будут мчаться в сторону Магнитной, чтобы успеть насытить прожорливое чрево коксовых печей углем. Миллионы тонн угля и миллионы тонн чугуна!

Знает ли об этом инженер Артем Кривов?

«Нет,—думает Арысь,—эта борода, что важно, нравилась мне, когда была растрепанной и не такой солидной, и не говорила борода с товарищами из Цека».

— Вам придется поторопиться, Климентий Станиславич. Инженер Эйлгорн будет на месте раньше срока, гораздо раньше.

Арысь поспешно поднялся со стула, изъявляя таким образом свою готовность отправиться в любой момент, но Кривов приветливо мотнул бородой, позволил и велел подать два стакана чаю и пригласил сестр ближе к письменному столу, который упирался в длинный покрытый темносиним сукном стол особо деловых заседаний. Рукой очень зачерствелой Арысь погладил ласковое сукно стола и, соблазнившись чаем и прохладной тишиной кабинета, сел.

«Все-таки он чуточку карьерист,— решил Арысь, наблюдая за спокойными движениями Кривова.— Или обстановка, что важно, или...»

Чай был хорошим, ароматным чаем, не такой бурдой из походного котелка, которую приходилось пить Арысю там, на Урале.

— Может быть, инженер Арысь пересядет сюда? Это легко сделать, если Климентий Станиславич изъяснит к тому свое желание, — говорит Кривов.— Помнится, вы мечтали об отдыхе, о жизни в городе с той женщиной... позабыл, как вы ее звали тогда...

— Как вы скажете, я тоже позабыл, Артем Ильич! Позабыл, пане Кривов, верьте честному слову, и совсем не имею желания пересаживаться.

Они еще разговаривают с полчаса, делясь воспоминаниями, до тех пор, пока Кривов не убеждает, что перетаскать Арыся в центр не удастся, что Арысь—тоже карьерист, потому что его самого, то-есть его работу замечают и всегда отмечают. «Ну, что же, карьера, связанная с карьерой всей страны,— неплохая карьера».

Арысь прощается с Кривовым с чувством большого удовлетворения. Теперь он едет в автомобиле улицами города,

как по лабиринтам муравейника, который в деловитой торопливости сбежался на площади, запрудил все закоулки, облепил трамвай, и Арысь совсем не подозревает, что где-то под землей, по кабельным перевивам, перегоняя деловитую торопливость людей и машин, бегут слова в тонкострунных сплетениях телефонного провода. Слова выполняют служебное назначение. Коммутатор Цека партии сомкнулся с коммутатором аэродрома.

— Ваше высокоблагородие!—кричит Сухотин, насмешливо повышенным тоном.—Сергей Андреевич, господин капитан!

— Ну, ну, пошел к чорту! Говори, в чем дело,—отвечает Казарин добродушно лающим баритоном.

— Нужно важную, чрезвычайно ученую инженерную силу перебросить в Магнитогорск. Ты меня слышишь? Перебросить со всем шиком и комфортом. Пусть чувствует!

— Ага!

— Ну, вот и всё. Вели приготовить аэроплан, биплан, триплан и вообще воздушный снаряд. Срок—утро двенадцатого сего июня месяца. Отметил?

— Отметил.

— Желаю счастья и благополучия вашему высокоблагородию!

— Убирайся к чорту!

Автомобиль мчится за город. Где-то когда-то Арысь познакомился с Навалихиным. (Помнится выжженная солнцем степь, длинные морщины песку и безнебая пустота над степью.) Шоссейная дорога до Серебряного бора покрыта седой пылью. Как и когда узнал Навалихин о пребывании Арыся в Москве, ведают телефонные провода.

«Товарищ Арысь, вы непременно должны побывать у меня. Мы все-таки старые знакомые. Я пришлю за вами машину».

— Очень хорошо, если вас знают в ВСНХ,—сказал Кривов, услышав о приглашении. — Обратите внимание: Навалихин — человек деловой, даром он приглашать не будет. Приготовьтесь к большому разговору.

— А ежели я, Артем Ильич, что важно, не захочу поехать?

— Гхы!—гулко прокашлялся Кривов.—Вот этого я не посоветую вам делать. Вы обязательно должны захотеть поехать.

И Арысь едет в блестящем «Лянчиа» и созерцает замусоренную природу от Ваганьковского кладбища до Серебряного бора. И вдруг—высокие сосны, Москва-река, прохлада и вирликанье птиц...

— Вот, Ольга, тот самый товарищ инженер, строитель социализма, Климентий Станиславич. Целиком наш. Вы прекрасно сделали, Климентий Станиславич, что приехали... Познакомьтесь: моя жена, мой товарищ, Ольга Никитична.

Арысь кланяется, как умеет. Он видит женщину неопишуемой выхоленности, стройную, хорошего для женщины роста, с неторопливыми, строго рассчитанными движениями, как будто Ольга Никитична ходила между разграфленных линий, и лицо было похоже на только-что принявшее тихую молитву лицо Иисусовой матери. Арысь в растерянности хотел было ткнуться усами в протянутую руку, но, встретив крепкое рукопожатие, поклонился лишний раз и прошел за женщиной на широкую террасу, где за столом, рядом с моложавой старушкой в роговых очках, сидел мальчик десятилетнего возраста в изящном костюмчике, с пионерским галстуком под широким воротничком, и старушка через каждые пять минут с непоколебимой строгостью говорила:

— Толя, тише! Толя, не капризничай,—пионеры не капризничают! Толя, кушай,—пионеры должны хорошо кушать, тогда они будут сильными, крепкими бойцами за коммунизм.

Толя покорно кушал и старался не капризничать, и над головой Толи, в той стороне стола, где он, должно быть, всегда сидел со своей наставницей, висел большой портрет Ильича в детском возрасте.

Моложавая старушка, как только заметила вошедшего Арыся, сию же минуту сказала:

— Толя, нам пора гулять.

Старушка поднялась и прошла с мальчиком в сад, и Ольга Никитична уведомила своего сына Толю, что он не должен слишком долго гулять, в особенности около реки, чтобы не простудиться и не заболеть.

— Зинаида Пална, пожалуйста, не разрешайте Толе усиленных движений.

Тут Ольга Никитична все свое внимание перекинула на гостя. Перед гостем, другой старушкой, постарше первой, были расставлены закуски, и каждая тарелка—на особую гарусную подстилочку. Бутылки с вином и графин с водкой стояли особо.

Сидел Арысь от хозяйки слева, а Навалихин—справа, и над головой Навалихина в строгих рамках веер вождей, кругом же производственные пейзажи, где густо дымили трубы заводов, пылали в огнях литейные цехи, высились пузатые домны и фонтанировали нефтяные скважины.

«Да, он действительно-таки деловой, что важно»—подумал Арысь, припомнив слова Кривова, и захотелось инженеру выпить.

За террасой на листья сирени и лип, на клумбы и дорожки осыпалось солнце, парусиновые занавески плескались под легким дуновением ветра, прудь хозяйки дышала умиротворенно, голубые глаза излучали к мужу (вправо) любовь, к гостю (слева) — благосклонное внимание, и Арысь выпил водки вторую полную рюмку. Тогда глаза его, чуть выветренные, отыскали на лице хозяйки знакомые Арысю черточки и тени, но мысль уткнулась в какое-то затемненное сознание и не могла восстановить другого схожего лица; к тому же Навалихин заговорил, чем окончательно выбил всякое воспоминание. Он сказал сначала: «Да!» — после чего все его слова складывались, как спичечные палочки в спичечный коробок.

— Энтузиазм трудящихся масс. Широкий размах строительства. Победа обеспечена. Главные трудности пройдены... Я с нетерпением жду вашего рассказа о происходящих работах. Мы, непосредственные участники состроительства, несем все трудности. Однако у нас нет и не должно быть места сомнениям

или колебаниям. Не правда ли, Климентий Станиславич?

Арысь выпил третью рюмку и собрался было ответить, и уже взбил усы, но слова Навалихина, полные непоколебимой уверенности, слова—биллиардные шары, падающие в лузы под ударами блестящего игрока,—продолжали обильно осыпаться, не оставляя места для посторонних замечаний.

— Вероятно вы уже осведомлены, Климентий Станиславич, что нами принят и утвержден пятилетний вариант Магнитогорского комбината. Чтобы вы имели представление о выгодах пятилетнего варианта против семилетнего, я позволю себе обратиться к финансово-сметной части проекта. Возьмем цифры. Цифры, как и факты, — весьма упрямая вещь, дорогой товарищ Арысь. Вот не угодно ли убедиться и признать, что мы умеем экономить и силу, и средства нашего Союза...

Навалихин сделал еле заметный знак, и за его спиной встала жена, Ольга Никитична, с разноцветными лапками дел, встала, как исполнительный секретарь, зачарованный речью председателя.

«Слава богу, ежели мне, что важно, совсем не попребуется говорить» — втайне порадовался Арысь, следя за отчетливыми движениями Навалихина.

— У меня все цифры, — продолжает Навалихин. — Общая часть данного варианта по сравнению с семилетним строительным планом в своих основах и наконец в цифровых величинах, по данным проекта, остается без изменения, но (это главное, главное!) мы ускорим темпы строительства, вследствие чего (подай, Ольга, папку номер второй) по настоящему пятилетнему варианту стоимость комбината дает понижение на триста двадцать одну тысячу рублей... Надеюсь, вам не скучно слушать? Нет? Очень хорошо! Вы — прекрасный собеседник (надо было сказать: слушатель)! Обратите внимание на первую группу. А. Завод. Первое: подготовительные работы — 13.563. Второе: здания и сооружения — 45.818. Третье: импортное оборудование — 34.964. И четвертое: наше отечественное оборудование — 38.809. Дальше идет рудник и по-

селок. О! Мы умеем работать. Я хочу развернуть перед вами грандиознейшие планы, и это будет настоящая поэма. Вот где воплощается лозунг «догнать и перегнать!» (Ольга, пожалуйста, стаканчик нарзану.)

Навалихин выпивает большими глотками нарзан и отирает проступивший на лбу пот. Арысь отдувается и потихоньку сопит; он радуется тому, что просидел за беседой около двух часов молчком.

Сад за террасой медленно погружается в глубину густосиних теней, насыщенных влажностью. Ольга Никитична начинает беспокоиться и наконец не выдерживает и принимается кричать. Кричит она приятным трудным голосом:

— Анатолий, Толя, Толик!..

Навалихин чуточку морщится, потом, откинувшись в плетеное кресло, говорит тоном человека, измотанного до предела.

— Ах, дорогой Климентий Станиславич, если бы вы могли представить, как много хороших, дельных работников свихнуло мозги на этой работе! Мы недосыпаем ночей, мы в горячую пору проводили по три, по четыре заседания в день. Мне очень неловко говорить о себе, но (Ольга, подойди сюда) жена может засвидетельствовать, что я часто в изнеможении засыпал прямо за рабочим столом... И знаете что? Я все-таки доволен. Мои докладчики всегда проблемны, мои речи заражают энтузиазмом многотысячные армии трудящихся. Правда, в ВСНХ у меня имеются завистники, но ведь честного, исполнительного работника трудно скомпрометировать. Я всегда на страже интересов трудящихся. Пусть только прикажут, пусть только крикнут: «Будь готов!» — и я в любое время дня и ночи отвечу бодро, вот так же, как мой сын пионер: «Всегда готов!»

Так они беседовали, а рядом стояла (или сидела) жена Ольга Никитична. Ее обязанностью было восхищаться всем, о чем говорил муж, сочувственно или утвердительно моргать и оказывать мелкие услуги человеку, который, недосыпая ночей, строил социализм. Вечером, когда уже нужно было уезжать

(о чем с воодушевлением подумывал Арысь), Навалихин был как-раз на середине своих проблемных разговоров. Он гулял по дорожкам сада и красочно иллюстрировал цифровые таблицы, которые он показывал Арысью днем.

Над Москвой-рекой, над Хорошевским бором показалась луна и остановилась на стыке трех дорог, где была конечная станция автобуса номер четвертый. Чуть потянуло сырým холодком от реки. Подвыпившим это было нипочем, а людям трезвого рассудка внушило тревогу. Ольга Никитична укрыла пухлые плечи пухлой шалью. Она вышла на террасу, в руках у нее было пальто, и она позвала мужа.

— Одну минутку, Климентий Станиславич. Ничего не поделаешь, жена беспокоится о муже...

Навалихин свернул в сторону дачи, чтобы взять пальто, а инженер Арысь свернул в сторону калитки.

— Что важно,—весело буркнул он,— человек не должен упускать счастливого момента в своей жизни.

Он перебежал на другую сторону улицы, в тень лип. Сделав первый поворот за угол, Арысь угодил к стоянке автобуса и очень обрадовался, когда молоденькая кондукторша дала отправление и тяжелый автобус, побряхтывая, выбрался на шоссе, и еще было хорошо сидеть на упругой скамье, обитой кожей, и наблюдать, как ветер подбрасывает вверх встречные огоньки фонарей. Тысячеглазый город то открывает, то закрывает сонливые веки, где-то кричит в двойную глотку паровоз, а облачное небо бесшумно перелистывает звездные страницы. Так инженер Арысь приехал на Театральную площадь, вышел из автобуса и направился в гостиницу. В своем номере, укладываясь в постель, он немножко посмеялся, вспомнив о Навалихине и его прекрасной машине марки «Лянчи».

Утром зазвонил телефон. Инженер Кривов вызывал инженера Арыся на свидание, чтобы дать последнее наставление.

— Матерь божия, теперь начнется вольнка!—горестно улыбнулся Арысь. Но вольнки не случилось. Серебря-

ная борода Кривова была спокойна, глаза добродушно-насмешливы.

— Как поживает ваша «Августа», Климентий Станиславич?

— Я простился с нею, что важно, вчера в Хорошевском бору.

— Что же случилось?

— Не сошлись характерами, дорогой Артем Ильич,—с законченной грустью произнес Арысь.

— Вы понимаете, о чем я спрашиваю вас, Климентий Станиславич?

— Прекрасно-с, дорогой Артем Ильич.

— Тогда расскажите. Это ведь может быть очень серьезно, «Августа» не простит отвергнутой любви.

— Увы, что важно, любовь отвергнута.

— То-есть?

— Я сбежал-с, Артем Ильич.

— Ну, знаете, это чорт знает чем кончится,—забеспокоился Кривов.

— Не знаю, как вы скажете, но я не выдержал,—развел руками Арысь.— Все было прекрасно и весьма любезно, Артем Ильич, и на свидание я прибыл, как граф,—на блестящей такой машине. И был обед хороший. И был серьезный разговор по позднему вечера.

— И..?

— И всё!

Климентий Арысь взбил усы, потом запечалился, и, расхаживая по обширному кабинету Кривова, заговорил, будто зачитал:

— Совсем не понимаю, для чего человек затрачивает такое количество мозговой энергии, когда стоит только протянуть руку, чтобы иметь необходимое. В природе, пане Кривов, все рассчитано математически точно. Беда только в том, что важно, человек с момента своего появления на земле не знал об этом и сбился с правильного пути и терпит за то жесточайшее наказание в борьбе с природой, а природа вовсе не собиралась бороться с человеком и, совершенно наоборот-с, хотела всем своим солнечным сердцем служить человеку.

— Ой, товарищ Арысь,—затряс бородой Кривов,—вы могли бы прекрасно играть на сцене! Вы умеете неподражимо притворяться.

— Что важно, пане Кривов, вы не знаете, что произошло потом,—не слыша замечания Кривова, продолжает Арысь.—Природа оказалась мстительной. «Ах, так!—обиделась она, обнаружив воинственные действия человека.—Ну, так я же тебе покажу!» И с той поры (сколько этому миллион лет, я не знаю) человек, чтобы жить, стал мошенничать,—не трудиться, а мошенничать, чтобы меньше трудиться: лакейничать, лизать пятки и другие прочие места сильному, подхалимничать, подлизывать, убивать, воровать, притворяться и даже не любить в любви своей.

— Одним словом..?

— Одним словом, Артем Ильич, этот Навалихин (о нем именно и говорили инженеры) напрасно затрачивает такое количество энергии. Ничего не выйдет-с, что важно.

— Да, пожалуй, ничего не выйдет,—совершенно серьезно подтвердил Кривов.—На этот раз, Климентий Станиславич, ваша философия имеет оправдание, но все-таки вам, пожалуй, лучше незамедлительно уехать. Вы обидели «Августу» своим невниманием, хотя, говоря по чистой правде, ваше поведение мне начинает нравиться...

Арысь поклонился со всей доступной ему грацией.

— ... И вы заслуживаете партбилет.

— Именно-с, что важно,—еще раз поклонился Арысь, и на этот раз поклон его был торжественно-серьезен.

Арысь даже выгнулся во фронт, потом обежал письменный стол и подошел вплотную к инженеру Кривову.

— Слушаю, Климентий Станиславич,—сказал Кривов.

— Слушайте, Артем Ильич!

Арысь захватил тяжелую руку Кривова и положил на свою массивную грудь.

— Хорошее сердце,—засвидетельствовал Кривов.

— Вот,—широко вздохнул Арысь, — настоящий и живой, что важно, партбилет! В тысяча девятьсот пятом году на этом билете было написано: ненависть! Слава богу, надпись не стерта и не сотрется. Я работаю, чтобы победить, работаю потому, что ненавижу

врагов, и, как вы скажете, когда враг будет побит, я перепишу то слово. Я, что важно, напишу тогда: независимость! Слышите, товарищ Кривов? Независимость!

Арысь отступил и поднял голову, и Кривов спросил его, понизив голос до шопота:

— Вы за что же, товарищ Арысь?

— Я — за человека в строительстве и, что важно, за строительство в человеке, товарищ Кривов.

Рабочий день, день разговоров, заседаний и докладов подходил к концу, и по коридорам суетливой, и щелкают пишущие машинки все бойчее, и бегают курьеры снизу вверх и сверху вниз то-ропливей.

Арысь разглядывает планы, карты диаграмм; он отмечает все, что нужно, он переписывает цифры и все точки, нанесенные на карту пунктиром, переносит за сотни и тысячи километров и переносится сам на места работ. Вот здесь будут рассечены горы, влево (масштаб: в сантиметре десять километров) пойдут отвалы и разрезы рудников, вправо от рудников потекут рельсы Магнитная—Карталы, влево Белорецкий завод—Вязовая.

Карандаш в руке Арыся покрывает лист бумаги замысловатой сетью кривых линий.

Духота и пыль. Вьются над головой столбики мошкары, поскрипывает, шатаясь из стороны в сторону, рассохшееся колесо на намазаной оси, падит удушливой зеленью перезревшая лебеда, пахнет сырой зарослью крапивы и сухим ветром, стоят в долинах кривобокие березки, корявые и печальные, и высоко, под самым солнцем, прилепился к облаку коршун, а на земле, в отвалах и разрезах, фыркание лошадей и человечья ругань на разноречьи. И когда проходит мимо очень утомленный (доклады, бумаги, сметы и отчеты утомляют тягостней) Кривов, Арысь удивляется его появлению, смахивает рукавом блузы пот с лица и спрашивает:

— Вы как сюда, пане Кривов? — и, не дожидаясь ответа, замахал руками, забегал вдоль стен, догадавшись

наконец, что он в комиссариате тяжелой промышленности, что Урал, Магнитогорск и все остальное прочее живет от Москвы за сотни, за тысячи километров.

— Сейчас пять тридцать,—говорит Кривов.— В восемь у меня заседание. Инструкции вы получили, ассигнования—тоже, дальнейшие наметки работ вам известны. До вашего отъезда мы не увидимся.

Кривов подумал с полминуты и, что-то решив, добавил:

— Я знаю Эйхгорна с давних пор. Это—старый, очень умный и необщительный человек. У него огромная эрудиция. Надо уметь использовать этого человека, но...

— Я, что важно, умею быть осторожным, Артем Ильич.

— ... но,—продолжает Кривов,—человек этот—все-таки чужой человек, и чорт их знает вообще... Мы ему платим тысячу рублей золотом, и его голова... вы меня понимаете, Климентий Станиславич?.. его голова плюс ваши глаза, голова, руки, ваш опыт и... Желаю вам всего хорошего!

В девять тридцать вечера Арысь сидел в купе вагона. За окном спервоначалу брели, чуть подпрыгивая, станционные постройки, потом побежали, все ускоряя бег свой, пригородные домики, обреченные на снос, дальше закружились дачные поселки, и наконец в бешеном танце завертелись леса, деревеньки, вспаханные и неспаханные поля.

Инженер Арысь любил поспать, если ему не была помехой работа, и любил выпить, если выпадало пустое время. Впереди как-раз было семьдесят два часа пустых. Инженер Арысь выпил стопку водки, закусил сырым яйцом. В окне вагона продолжали вертеться в вихревом танце деревни, леса и луга. Паровоз дружески и обнадеживающе пошвыстывал, а по сторонам поезда лежали земли, по которым в дни мытарств своих Арысь колесил не однажды вдоль и поперек. И Арысь завалился спать.

За Уфой, когда поезд мчался под уклон, от станции Сулея к Златоусту (это

уже на третьей сутки), над поездом через горы, цепляясь за перистые облака, прожужжал шестиместный «Юнкерс». Фридрих Эйхгорн, если считать с главного берлинского вокзала «Фридрихштрассе-Бангоф» до Казани в СССР, сказал не больше трех десятков слов. Минувя станцию Столбцы, он брезгливо бросил пяток слов польским таможенным чиновникам и польским жандармам. Это была горькая необходимость объяснения. Задержавшись на станции Негорелое, он снисходительно кивнул красноармейцам и сказал на правильном русском языке: «Здравствуйте». Потом обратился к Шабалину:

— Я приехал в Россию и жил в России, как человек-хозяин. С этого дня кто я такой?

— У нас все одинаковы, Фридрих Карлович, и всех расценивают по их способностям и по участию в работе,—ответил Шабалин и настороженно ждал новых слов и вопросов, но так и не дождался.

Больше всего слов было израсходовано при встрече с инженером Кривовым. Фридрих Эйхгорн выразил свое удовольствие по случаю встречи с человеком, которого знал с тысяча девятьсот второго года. Долго тряс руку Кривова, потом, поклонившись, сел в глубокое кресло.

— Страна та очень счастливая, которая ценить умеет талант, такой, как ваш, по достоинству. И я счастлив очень.

И поклонился инженер Кривов инженеру Эйхгорну и ответил ему на чистейшем немецком языке, что он также счастлив, весьма доволен и рад поработать с таким высоким ученым специалистом, каким является Фридрих Карлович Эйхгорн.

Эйхгорн ни одного лишнего часа задерживаться не хотел, считая себя с момента встречи с Кривовым на службе в Союзе Советских Социалистических Республик.

Фридрих Эйхгорн хорошо отдохнул и, когда нужно, мог не спать по двое суток. Тогда его голубые глаза становились мутными, а кончики усов торчали тонкими косточками, точно клычки, проколовшие щеки. Сейчас, выбравшись

из воздушной ямы, аэроплан плыл под крышей прозрачного облака. Отдохнувшие глаза Эйхгорна видели в ложбинах гор белые гривы тумана и горы как будто под зеленым колпаком.

«Конечно, это не Баварские Альпы, — размышлял Эйхгорн, — и не Арденские горы, это скорее необозримая россыпь Везерских холмов». Он поглядел в сторону мучимого тошнотой и дремотой Шабалина, заметил его безразличие и чуточку позавидовал этому хозяину этой страны, где уляжется среди Уральских гор и степей не одна Германия. Вдруг зеленый колпак взорвался, и ударило солнце, горы неожиданно выросли. Далеко внизу, у подножья Таганая¹⁾ извивался поезд. Скалы гор оголились, и в момент падения в воздушную яму аппарат, казалось, должен был непременно споткнуться, черкнув по ребру Откликного гребня.

— Златоуст! — крикнул Казарин, и Фридрих Эйхгорн в ту же секунду сделал отметку на карте и понимающе кивнул головой.

Шабалин оторвался от бумажной мешочек, выбросил его озлобленно на величественную природу, выпил полстакана нарзана и передал Казарину записку.

«Чорт меня дернул согласиться лететь! Облюю весь твой аппарат. Тошнит, и ноют кишки. Никогда не летал и больше не полечу сроду, даже с тобой».

«Врешь, полетишь» — ответил Казарин.

Эйхгорн заметил извивающийся среди гор поезд. Этот поезд был похож на оторвавшийся хвост ручья, который метался по ущельям в поисках реки. В поезде из окна вагона кто-то, задрав голову, увидел аэроплан, и все бросились к окнам и долго потом разговаривали об авиации, пили чай и прикидывали, у кого больше аэропланов — у Франции, Англии или у Америки, и все решили, что больше всего летательных аппаратов конечно у американцев, но и мы тоже не подкачаем. И тотчас

же кто-то с весьма солидной физиономией шепнул, что у нас не меньше десяти тысяч аппаратов, это уже так точно, только тут большая военная тайна. Тогда началось неутвержденное организацией соревнование, кто больше всех знает тайн, и все поглядывали на инженера Арысь, на его объемистый портфель. Арысь зевал, оглаживая небритые щеки, и боялся только одного, что за время вынужденного безделья в дороге он расплывется в теле. Он втайне посмеивался над своими спутниками, над их желанием щегольнуть своей ответственностью, над пышными фразами и усиленно серьезными разговорами, и все это ему основательно наскучило.

За станцией Челябинск Арысь сидел в пустом купе и был несказанно рад тому, что его не одолевали опортфельные люди пустыми разговорами. Утром была видна из окна тихая степь, и уже казалось, что никакой Москвы не было, и звенит знакомая степь праздничными перезвонами привычного труда. Теперь не нужно было держать себя в постоянной подтянутости, ожидать тонких вопросов и давать дипломатические ответы. Еще издали увидел Арысь знакомые увалы и учуял знакомые запахи.

В тот же день, выкупавшись в бойких водах реки Урала, он бегал с юношеской легкостью среди отвалов и рудничных разрезов, и все знали, что приехал из далекого центра, нагруженный указаниями и инструкциями, инженер Климентий Арысь.

У подножья горы Дальней встретил его помощник директора по технической части — Страпп. Страпп сбивал длинной лозинкой головки репейника, глотал насыщенные запахами трав пустоту и пел арию из оперы «Хованщина» хорошим баритоном вполголоса.

— Куда спешишь ты, путник, запоздалый? — пропел он, завидев Арысь, и вовсе не удивился его неожиданному появлению.

— Замечательный голос у вас, Рудольф Эдуардович! В оперу вам, что важно, в оперу! — сердито огрызнулся Арысь, оглаживая выхоленное лицо Страппа, черную бороду, как петлю, ниже подбородка, глаза с постоянной

¹⁾ Таганай — самая высокая точка Уральских гор близ Златоуста.

неизменной веселостью, такой сытой веселостью, что Арысь стало тошно.

«Матерь божия, до чего же вылощенная морда! — подумал он, обходя Страппа. — Где только произрастают такие люди, на какой почве, что важно?»

— Я не думаю, чтобы наша обстановка способствовала индивидуальным наклонностям, Климентий Станиславич. Таланты в загоне, это стало обычным явлением... Имею честь кланяться, Климентий Станиславич. Кажется, я задержал вас? Простите бога ради! Вас там ожидают.

Страпп махнул лозинкой в сторону валунов магнитного железняка на вершине горы Дальней и козырнул Арысь, приложив два пальца к форменной своей фуражке инженера.

Взбираясь по каменистой россыпи, проросшей репейником и полынью, Арысь заметил среди валунов Эйхгорна. Высокий, с прямыми плечами, с развернутой грудью, Эйхгорн стоял, как дозорный, обозревающий лагерь неприятеля. Острые усы его мертво застыли под скулами, руки в перчатках были заброшены назад. Директор Магнитогорского металлургического завода Виктор Андреевич Луганин долбил молотком по ребру камня. Он отбивал кусочки магнитного железняка, внимательно разглядывал их и, отобрав нужные, передавал сухонькому старичку, горному инженеру Ардатову. Старичок, сдобрительно попискивая, рассовывал кусочки по карманам.

— Глубина залегания руд, если считать в среднем, — мелко трещал старичок, — будет равняться семидесяти метрам. Что же касается западного склона горы Атач, то в некоторых ее точках глубину рудного залегания мы определяем от ста до ста пятнадцати метров. Химические анализы характеризуют эти руды. Я сужу по скважинам гор Узьяны, Ежовки, северной части горы Атач и наконец горы Дальней, то-есть как раз той, на которой мы находимся... Так вот, химический анализ дал среднее содержание пятьдесят восемь и три десятых процента. Наиболее чистые и богатые руды — мартит, — находясь бли-

же к поверхности и даже выходя на поверхность, дают среднее содержание около шестидесяти четырех и пяти десятых процента железа. Принимая во внимание, что запасы железных руд горы Магнитной выражаются в триста двадцать пять миллионов тонн, мы можем рассчитывать на пятьдесят лет обеспеченности питания металлургии Сибири рудой, но это, разумеется, нас не устраивает. Вы конечно прекрасно понимаете, Фридрих Карлович, что наша страна, наш Союз Советских Социалистических Республик, шестая часть мира, ставит определенные задачи — выйти на...

Эйхгорн обернулся в сторону Луганина. Делая синтаксические погрешности, он сказал:

— Лекции не нужно говорить, которые сейчас. Прошу я практические давать соображения ваши.

— Геннадий Павлович, — укоризненно произнес Луганин, — ведь я просил вас...

Старичок сконфуженно замигал и тут же затрепал снова:

— Позвольте, дорогой Леонтий Александрович, работая горным инженером в течение тридцати с лишним лет, я полагаю своим священным долгом...

— Ах, священным долгом! — отмахнулся Луганин. — Какие высокие слова, ей-богу! Ненужные слова, Геннадий Павлович.

Сопя и отдуваясь, показался из-за груды валунов Арысь.

— Что важно, вы меня опередили, господин Эйхгорн, — сказал он по-немецки.

Острые усы Эйхгорна чуть дрогнули, но приветливой улыбки не получилось.

— Путьец-инженер, не ошибаюсь если? — отозвался Эйхгорн по-русски. — Летели мы в Магнитогорск, сюда, из Москвы, оттуда, очень комфортабельно и быстро очень. Здравствуйте! Ваше называли мне уже имя. Что думаете вы? Так грандиозно это!

— Я думаю о подъездных путях, — кратко ответил Арысь.

— Так, — кивнул Эйхгорн.

— Все это, что важно, должно быть переброшено туда.

— Так, — подтвердил Эйхгорн. и молча стал разглядывать сколотый магнитный кусок породы, и прошло долгих пять минут в молчании, и тогда только сказал Эйхгорн, отыскав сконфуженного старичка: — Инженер горный, вы не ошиблись в шестидесяти четырех процентах Феггит, хотя есть более несколько на поверхности.

Старичок, просияв, вытащил из кармана кусочек породы и положил в протянутую руку Эйхгорна и тотчас же затараторил:

— Я не берусь спорить с таким авторитетом, как профессор Заворицкий, боже меня сохрани! Но мой многолетний опыт дает мне право внести некоторое дополнение к его научным исследованиям, и я говорю: я, горный инженер Ардатов, беру на себя смелость утверждать, что цифра запаса железных руд горы Магнитной выше трехсот двадцати пяти миллионов тонн, гораздо выше!

Ардатов поднял руку с вытянутым указательным пальцем и вытянулся сам, и оглядел всех торжествуя.

— Я определяю, то-есть беру на себя смелость назвать другую цифру. Она будет равна четыремстам пятидесяти миллионам тонн. Простите великодушно старика, но... пожалуйста, Леонтий Александрович, не надо смеяться... Я не увлекаюсь, и я в соответствии с этим полагаю обеспеченность на семьдесят лет, и мы еще поживем-увидим. Да, да, мы еще поживем-увидим.

— Ну, что важно, — ухмыльнулся Арьсь, — вы скоро будете прибавлять, Геннадий Павлович, в геометрической прогрессии, и, значит, мне нужно торпиться.

Арьсь махнул рукой, он побежал вниз, в противоположную сторону, разыскивать бригадира Прикусова Ксенофонта.

— Не забывайте агломерирования¹⁾ рудной мелочи! — кричал Ардатов. — Настоятельно прошу вас! Это очень существенно в моем дополнении к научным исследованиям глубокоуважаемого

профессора Заворицкого и вообще, если мы обратимся...

«Убедительный старичок, что важно» — смеялся Арьсь, не интересуясь продолжением речи говорливого инженера.

С горы была видна площадка завода, где люди копошились в пыли, разрыхляя и выравнивая почву. От горы Атач подувал ветер, нанося густые запахи встревоженной земли, поднятой взрывами, перевернутой лопатами, разметанной экскаваторами. Солнце лениво перебирало верхушки одиноких берез, разливаясь в пышных зарослях поляны, богородской травы и репейника. Потрепанный фордик прыгал по бездорожью, увозя Арься через холмы Ежовки к горе Узьянке, к разрезам опробования месторождения руд. Отсюда к далекой площадке шла лента узкой насыпи. Эта насыпь опоясывала горы Атач, Узьянку, Березовую и Дальнюю. Арьсь трясся на сиденьи автомобиля, до боли чувствуя обнажившиеся пружины.

«Как вы скажете, — немо злился Арьсь, оглядывая холмы и еще не выравненную насыпь, — подведут, дьябл их задери, непременно подведут. Ничего же не работают, дьябл их задери!»

— Ксюшка! И гей, гей, Ксенофонт! Арьсь дернул шофера за блузу. Машина застопорила, ткнувшись с разбегу в заросли поляны.

— Слышал? — спросил Арьсь. — Ка-тай туда!

— За ним сам черт не угонится, Климентий Станиславич. Он во всех местах ругается, ей-богу так, — отозвался шофер. — И обратите внимание, Климентий Станиславич, местность больно подозрительная, как-раз в шурф угодишь. Какая-никакая, а все-таки, значит, машина, и я в ответе.

Арьсь насторожился. Он услышал голос своего помощника Перекатова позади, за холмами, куда вливалась узкая полоска насыпи. Арьсь ожесточенно плюнул и выпрыгнул, не открывая двери, из автомобиля. Он сразу утонул в травяной заросли и потерял направление.

¹⁾ Агломерирование — спекание.

— Чортова голова, кол тебе в дышло, ты у тещи на именинах или на работе?

— Ага, — улыбнулся Арысь, — сейчас мы его изловим. — И, не разбирая дороги, он бросился в самую гущу репейника. Он одолевал холмы с барсучьей цепкостью, он прыгал с камня на камень, он проваливался в рыгвины — и он увидел наконец техника Перекатова, который орал с вершины отвала вниз, приложив ладони рук ко рту.

По откоосу отвала карабкался длинноногий мужик с рыжей щетиной на щеках и с рыжими глазами.

— Скотина ты, и больше ни черта! — орал Перекатов. — Ты мне скажи, что мне с тобой делать: морду набить или профсоюз уведомить?

Длинноногий мужик выбрался на вершину отвала, отряхнул руки и принялся сморкаться. Он сморкался долго, собираясь с мыслями, потом заговорил дьячковским тенорком и все заикался, а заметив Арыся, перешел в плачущий распев и размахивал руками.

«Ага, вот это самое главное, — подумал Арысь, — и самое знакомое, что важно».

Отдуваясь, он остановился и с любопытством поглядел на перекошенный рот мужика.

— И а-а понапрасну только к-кричите, — оправдывался Прикусов Ксенофонт (Ксюша), — и-и страсть к-как обидно, С-семен Семеныч, моему сердцу, и даже думаю: г-господи, язви тебя, за што т-такая н-напасть, когда и-и всё сделано по форме и-и мужики-ребята стараются до поту...

Арысь послушал, потом повернул Прикусова и, легонько подтачивая в загорбок, стал спускаться вниз, к месту путевых работ.

— Ты, что важно, товарищ Прикусов, поменьше потей и побольше работай мозгами, если таковые имеются. Что ты делаешь тут — дорожку в помещичьем парке или железную дорогу, как ты скажешь?

— Так ведь я ему, чорту, неделю назад говорил, — кричал позади Перекатов: — Укладывай, Ксюшка, времянку, способней будет материал подавать.

Так нет, нагнал мужиков, и всё своих, и все кумовья, и вообще чорт его разберет, что он тут делает!

— З-знаю, существенную дорогу, — пел Ксенофонт, — и-и и-не первый год роблю.

Поскрипывали немазаные оси телег, и сопели лошади, курилась вверху пыль, выбитая в колеях переплетенных дорог — от отвалов к железнодорожной насыпи, убедительно ругались коновозчики, понукая заморенных лошадей. А лошади шли мертвой дорогой привычной поступью и отмахивались хвостами от надоедливых слепней. Коновозчики выдергивали боковые щиты телег, сбрасывая песок, и лошади снова тянулись гуськом к отвалам.

— Да, — раздумчиво произнес Арысь. — Что вы скажете, Семен Семеныч?

— Построим под'ездные пути к морковкину загонью, Климентий Станиславич. Эх, не расейский тут народ! И вообще там уже расчищают место для дома (Перекатов ткнул в сторону), там зажгут домны, Климентий Станиславич, там закипит вдохновенный труд, и там...

— Вы, дьябл вас задери, — выругался Арысь, — примите соответствующую позу, приложите руку к сердцу, что важно, и начните декламировать. Почему же? Громкие слова требуют картинности, Праздничный вы человек, Семен Семеныч, а работу организуете побудничному. Поняли-с?

— Помилуйте, Климентий Станиславич! Если бы в моем распоряжении были чистокровные пролетарии, строящие социализм и понимающие высокие задачи коммунистической партии, то, несомненно, я сумел бы пойти развернутым фронтом на те высоты, которые предусмотрены генеральным планом строительства Магнитогорского металлургического завода, но, принимая во внимание...

— Василий, товарищ Елишин! — завизжал в испуге Арысь и побежал к шоферу, дремавшему у руля машины.

— Странно, весьма странно! — бормотал разобиженный техник, и ему уже

казалось, что инженер Арысь чуждый в социалистическом строительстве человек. «Кто же позволит себе морщиться, пожимать плечами и даже издеваться, когда речь заходит о величайших задачах, намеченных партией» — додумал свою мысль техник Перекагов, глядя вслед удалявшемуся автомобилю.

В глубину холмов, дымящихся в мареве, бежали рельсы пути Магнитогорск—Карталы, штабеля старых шпал и ржавых рельс прорастали травой. Арысь пробежался от заводской площадки к холмам, измерил расстояние глазами.

— Сто, двести, триста рельсовых звеньев, что важно, — подсчитывал инженер вслух и искал глазами в небе, как в потолке, будто там было обозначено точное решение задачи. И вдруг вспомнил Страппа, помощника директора по технической части, Рудольфа Страппа. Арысь махнул рукой, отпуская шофера: — Нет, мне машина не понадобится. К дьяблу машину, когда именуются ноги!

Арысь воинственно взбивал пушистые усы, минуя бараки и каркасные дома. Он шел мимо строительства цехов, он шагал, перелезая через груды разбросанного леса, обходил с опаской известковые ямы, он проклинал расейское разгильдяйство и расточительность. Горы щепы, битого кирпича, толя и кровельного железа были навалены где попало и как попало. Увязая в мусоре и пыли, Арысь выбрался к заводууправлению.

— Очень хорошо! — улыбнулся Арысь.

Длинные деревянные бараки шли приступом на три корпуса дестраивающегося заводууправления. Это было величественное здание в три этажа с четырехэтажными башнями. Главный угловой подъезд от башни до башни выпирал широкой грудью, и в груди помещался вестибюль, и туда ныряли маляры, штукатуры, обойщики и весь художественный народ, занятый внутренней отделкой.

— Очень хорошо! — еще раз похвалил Арысь здание заводууправления,

как будто рассчитывал занять там квартиру.

А инженер Страпп уже сидел в правом корпусе во временном кабинете и с беспечностью человека, уверенного в собственной непогрешимости, отдавал распоряжения и всех, кто бы ни приходил к нему, просил не шуметь и не волноваться.

Арысь волновался. Опершись о стол, за которым сидел Страпп, он говорил:

— Разрешите, Рудольф Эдуардович, указать вам, что важно, на бесхозяйственность в строительстве.

— Указывайте, мой дорогой друг, — беспечно улыбнулся Страпп. — Садитесь сюда вот, в это кресло (прекрасное кресло, не правда ли?) и в порядке существующей самокритики указывайте. Я слушаю вас весьма внимательно.

— Вы портите строительные материалы!

— Боже праведный! Как это может быть?

— Вы валите все без учета и разбора, и площадь завода стала мусорной кучей.

— Помилуй бог, какие страсти! — поднял брови Страпп. — А не находите ли вы, Климентий Станиславич, что во время стройки указанные вами беспорядки неизбежны?

— Гниют штабеля шпал, рельсы разбросаны по всему строительству. Мои рабочие занимаются тем, что разбирают мусор, засыпают известковые ямы, растаскивают строительный материал и не могут пробиться туда, где должны лечь подъездные пути. Не угодно ли взглянуть на схемочку расположения внутризаводских железнодорожных путей?.. Ах, она вам знакома!

Арысь перегнулся через стол и оглядел лицо Страппа, увидел насмешливо-беспечную улыбку, оттолкнулся от стола и, сбывчившись, разбежался по огромному кабинету.

В дверях стоял Эйхгорн. Он держал в руках фуражку, как старый солдат на молитве.

Страпп поднялся, шагнул навстречу и очень почтительно приветствовал Эйхгорна одним наклоном головы.

— Порядок есть условие первое в работе. Вы, господин Арысь, правы, — не замечая Страппа, проговорил Эйхгорн. — Учет материала есть дисциплина. Вы богаты очень и неэкономны очень... Здравствуйте, господин Страпп. Прикажите совещание собрать на восемь часов сегодня по распоряжению директора. До свидания, господин Страпп.

Эйхгорн круто повернулся и только за дверью кабинета надел фуражку. Он был доволен сегодняшним днем и считал его законченным к четырем часам.

— Я распоряжусь, Климентий Станиславич, — сказал Страпп уходившему Арысю. — Не надо волноваться, и все будет хорошо.

Часы показывали пять минут четвертого, и Страпп тоже считал, что рабочий день закончен, но, вздохнув, он сел за стол и потянулся к бумагам и еще долго работал: вызывал главного металлурга, звонил директору, беседовал с начальниками цехов — и все это делал так, как будто управлял оркестром, в котором фальшивили валторны, неистовствовали скрипки и надрывалась виолончель. Но дирижер был опытен, он предупреждающе стучал палочкой о пюпитр и успокаивающе улыбался в сторону публики. «Не волнуйтесь, сейчас сыграет» — хотел сказать он.

В форточку широкого окна сыпалась, вызолоченная на солнце пыль. Духота давила на голову, звенело в ушах, и было скучно. Тогда Страпп взял телефонную трубку и позвонил в квартиру директора, и тотчас же ответил ему молодой и бесконечно жизнерадостный девичий голос.

— Слава богу, ты одна! — сказал Страпп.

— Почему «слава богу», свинья ты такая? Что тебе сделал худого дядя? — с притворным негодованием прокричал девичий голос.

— Дорогая моя, — нежно выговорил Страпп, — сейчас половина седьмого, ты слышишь? До заседания — всего один единственный веселый час.

— Ох, опять заседание!

— Ну, конечно же! Приехал ученый немец, осмотрел наше строительство и

сегодня объявил о своем желании разговаривать. Так вот, моя милая Инка, я кладу трубку и бегу к тебе. Ты меня покормишь, дашь чаю, и, глубоко благодарный, я спою тебе любой идеологически невыдержанный романс.

Страпп швырнул телефонную трубку. «Ему было тридцать восемь, а ей всего лишь двадцать лет, — мелькнула игривая мысль, — и они любили друг друга...»

— Приготовь к восьми часам зал заседаний, товарищ Ершов, — распорядился Страпп, проходя мимо курьерской.

Гремел котельный цех мелкими взрывами стальных молотков, гудел глухим и однообразным рокотом механический, ревели дисковые пилы в деревообделочной.

«Арысь, пожалуй, не далек от истины, — размышлял Страпп, спотыкаясь и перелезая через груды разбросанного теса, козел, подмостей и обрезков железа. — Как этот немец сказал сегодня? «Порядок есть условие первое в работе. Вы богаты очень и неэкономны очень...» Ах, чорт его возьми!»

Около каркасного домика кто-то пытался устроить цветочные клумбы (все-таки тут была квартира директора), но клумбы покрылись песком, известковой и цементной пылью. Пролил дождь, и вся цветочная затея покрылась плотной корой, чахоточные березки мертво обронили ветви, жирный подорожник настойчиво пробивался к ступеням крыльца.

«Привет тебе, приют священный» — тихо замурлыкал Страпп, тыча пальцем в кнопку звонка. И когда открылась дверь и вошел он в небольшую столовую, он сказал, поклонившись со всей учтивостью рыцаря тринадцатого столетия:

— Позволь мне, прекрасная Инка, поцеловать твою руку.

— Не валяй дурака, Рудольф, целуй в губы! Ты счастлив, потому что тетка уехала в Крым... ну, да, в Крым, в Алушту... а дядя очень обрадовался и целыми днями пропадает на работе... Вот тебе чай, садись и пей. Я веду кружок текущей политики в механическом

и деревообделочном цехах и работаю по расписанию.

Инна, сложив губы, поднялась на носках и поцеловала Страппа.

— Ты и на любовь свою имеешь расписание, Инна?

— Ах, сделай милость, не смейся! И сбрей ты пожалуйста англо-американскую бороду. Очень противно!

— Кружок текущей политики, расписание, англо-американская борода, не валяй дурака... — бормотал Страпп, повторяя слова Инны. — Ей-богу, я шел сюда с тайным намерением пожить часок далекой жизнью средневековья, ну, знаешь, просто так, чтобы чуточку рассеяться. В голове у меня цифры, планы, расчеты и строительство социализма...

— Ну?

— Ну, и, по-моему, собственная жизнь бывает особенно хороша, когда в нее угодишь с разбегу, например из феодализма в капитализм или из капитализма в социализм, но если все это утаиваешь сам...

— Ты мне хочешь рассказать историю знаменитого повара, который приготавливал вкуснейшие блюда? — подозрительно покосилась Инна.

— Вот-вот! — кивнул Страпп. — Повар тот не мог есть приготовленных им кушаний. Ты знаешь ли об этом?

— Товарищ Страпп, — загорячилась Инна, — ты — прирожденный сибарит, ты...

— Ты барин, ты эгоист, ты деклассированный тип, ты партаристократ! — развеселился Страпп. — Видишь, Инна, я все эпитеты знаю. Но ведь это скучно, Инна!

— Ах, тебе уже скучно со мной!

«Женщина сердится» — догадывается Страпп и, посмеиваясь, длинно рассуждает о женщинах, дурачась и дразня комсомолку Инну, и, покуда он рассуждал, прошел час и затрещал телефон.

— Нет, нет, понятия не имею, Леонтий Александрович! — прокричала Инна в телефонную трубку. — Конечно, конечно, если зайдет, я скажу...

— Вот здравствуйте вам, благородный рыцарь средневековья! Вас раз-

искивают, а вы изволите разводить философию.

— Разводить философию! Ой, Инка, ты меня убьешь! — издевался Страпп. Он поднимается, идет к пианино, берет два-три аккорда, поет без слов неведомую песню, скучно улыбается, берет Инку за руки, целует и молча уходит. Инка оправляет взбитые волосы, раскладывает газетные вырезки по всему столу и наконец читает:

«Захватническая политика Японии вызывает недовольство САСШ. Япония, действуя с присущей ее дипломатии осторожностью, стремится подчинить своему влиянию...»

Читает до конца и выписывает из статьи наиболее значительные места. Записки пухнут справа небольшой стопкой.

«Милый мой, хороший мой Рудик! — думает Инка. — Он, должно быть, очень устает».

Инка рассеянно перебирает вырезки, забывая читать их. В сердце Инки много женской нежности, и томит неизрасходованная нежность Инкину грудь, и бывает с нею так, что в самый разгар большой работы вдруг затоскует и начинает метаться, и не знает сама, отчего с нею такое.

У Инки были отчетливые глаза, будто только-что вставленные, еще не успевшие запылиться и потускнеть, и над глазами чуточку удивленные брови. У Инки розоватой смуглости лицо с мягкой припухлостью под подбородком. Хочет Инка казаться серьезной — и ничего не выходит, и если сурово сложены губы, так смеются брови, и если нахмурены брови, выдают зазорно подергивающиеся губы. Пожалев Страппа, она тотчас же обругала его разложением, а себя дурой и размазней и деловито собрала весь заготовленный материал для работы в кружках. Она долго шла между строениями, которые только еще сбрасывали леса и выглядывали оттуда, как огромные гнезда из прошлого года мусора; она шла и всё никак не могла сладить со своим лицом. Инке казалось веселой картина лесных и каменных нагромождений. На ноги и платье оседала известковая пыль, ветер

терebil короткие волосы, дым и копоть плавали над площадью завода. Звон железа, грохот стройки и далекие взрывы и близкая, очень крутая ругань рабочих, их смех и переключки волновали Инку, подобно барабанному бою перед сражением.

Размеренный рокот механической казался сонливо-тихим, и мягкая прохлада, насыщенная железом, нефтью и керосином, удивительно приятной. Инка идет вдоль длинных рядов токарных, строгальных и фрезерных станков, и за каждым станком знакомые лица рабочих.

— Здорово невеста!

— Чья, товарищ Взлягин?

— Ну вот, чья! — смеется старый токарь Взлягин. — Смотри, сколь молодцов! Любого выбирай.

Инка хохочет. У Взлягина веселые слезинки на глазах от собственной шутки.

— Ты на меня гляди, на меня! — кричит он вслед Инке. — Ежели бы мне годиков тридцать стряхнуть, так я бы держи, а то вырвусь! Ей, господи, чистое дело.

— Хороша Маша, да не наша, — прищуриваясь, говорит мастер Томилин Демид Ионыч, и его сморщенное, точно печеное яблоко, лицо подергивается.

— Слыхал, Егор Иваныч, новое начальство прибыло?

— Где тут услышишь! Видал, как гоним, — сердито отмахнулся Взлягин. — Ты стараешься, дыхнуть не дашь.

— Я что! Не во мне причина.

Взлягин хитро подмигивает и крутит головой.

— Знаю, чистое дело, не в тебе. А что касемо начальства, так нам, Димоныч, все едино людей-то кормить.

— Ты сперва спроси, откуда начальство.

— Ну, из Москвы.

— Из самой немецкой земли, вот, брат, откуда, по фамилии Эйхгорнов.

— Для, значит, полного интернационалу? В роде у наших-то голова с из'яном.

— Как хошь думай.

Воздушный блок, жужжа, пронесит над их головами коленчатый вал. Вверху кто-то кричит:

— Васька, принимай!

— Теперь чистое дело, — бурчит Взлягин, — принимай, Васьки, Петьки, Гришки, все, что небушко пошлет, аль, бишь, господин товарищ.

— А ты как соображаешь, Егор Иваныч?

— Да ведь как соображаю? Может, совсем никак. Что ты, Димоныч, допытываешься больно? При царе мы действительно соображали, а нынче, сам знаешь, успевай только соглашаться. Товарищи соображают.

— Так, так, — не скрывая своего удовольствия, смеется Томилин. — Плохая мы, дорогой друг, опора существующей власти.

— Была опора у забора, Димоныч. Понял? Годочки наши не те, чтобы подпираться. Мы сами глядим, на кого бы опереться.

— Хитер ты, товарищ Взлягин!

— Да и ты не больно прост, товарищ Томилин.

— Хо-хо!

— Хе-хе!

— И у него, понимаешь ты, военная фуражка, в роде как у отставного гусара.

— У кого это?

— Ах ты, господи! Да у Эйхгорнова. Довольный беседой, старый мастер Демид Ионыч (Димоныч) идет в свою конторку. В конторке сидят рабочие первой смены, и у стола, просматривая выписки по вопросам текущей политики, ораторствует Инка. Через полчаса она обращается к собранию:

— Есть вопросы, товарищи?

Восемнадцать человек из двадцати трех кружковцев думают.

— Может быть, есть желающие высказаться?

— Позвольте мне по-стариковски, ежели можно.

— Пожалуйста. Кому угодно можно.

Мастер Томилин проходит от двери к столу, снимает фуражку, приглаживает редешные волосы.

— Я, товарищи, говорить не мастак, я больше на практике, руками доказы-

ваю. Может, у меня и несладко что получится, так уж вы поправьте по-свойски, как полагается между товарищами. Вот я стоял там, у дверей-то, и слушал, как, значит, наш молодой товарищ Луганина объясняла насчет политики нашей советской власти. Конечно, я говорить не умею, но скажу: политика идет как нельзя лучше, правильная. Вот я сорок восьмой год заканчиваю моей трудовой жизни и должен так вам заявить со всей душевной откровенностью, что жили мы прежде каждый сам по себе, и каждый на особицу свою жизнь ладил, и ничего хорошего в том не было, кроме всеобщего раздора, поэтому каждый норовил приобрести себе и не помнил о других. А теперь все по-иному, теперь полная солидарность и братская дружба, товарищи, и всё кругом наше, и рабочий как есть настоящий хозяин при существующей дисциплине, какая установлена... Теперь насчет нашего крестьянства, об чем говорила товарищ Луганина и за что мы должны драться, как тому дают пример большевики, то-есть за коллективизацию в сельском хозяйстве и уничтожение кулака. Богатая мысль насчет объединения крестьянских хозяйств должна получить полную с нашей стороны поддержку, и мы должны усилить, товарищи, в ответ на это нашу работу по строительству, за что я и голосую, как преданный рабочий с малых лет.

Томилин конфузится и отходит к сторонке. Он как будто взволнован, и все одобряют старого мастера и возгласами, и аплодисментами. В особенности довольна Инка, что ее речь разбредила-таки сердце старого мастера, и очень хорошо, что он выступил, — сразу видно, что человек защищает и за что готов бороться. Вот у кого должен учиться Рудольф Страпп, вот где живет уверенность в победе.

Инка поспешно собирает вырезки газет, тезисы своего доклада и бежит, очень довольная, счастливая и улыбающаяся, на следующее собрание в деревообделочный цех.

Душный вечер тяжело привалился к заводским корпусам, пахнет слежавшейся пылью и свежераспиленными сосно-

выми бревнами. Далеко в стороне, на местах экскаваторных работ, облака подняты заревом от прожекторов. Облака грузно выползают из темноты и, угодив в широкий разлив огня, вскипают и пенятся, а внизу, в полынных зарослях и в буйных, еще не выжженных солнцем травах потрескивают полые сверчки. За горой Ай-Дарлы идут увалы, и в увалах, и по ту сторону горы Магнитной улеглась настороженная тишина, как длинношерстный и ожиревший зверь, утоляющий жажду из реки Урала. Жужжат электромоторы. Жужжание переходит в высокий напевный звон. С горы медленно сползают под тридцатиградусный уклон нагруженные рудой десятивагонные составы.

В деревообделочном цехе с ноющим воем, врезаясь в податливое дерево, работают дисковые пилы. С дребезгом и треском лезут под крупную насечку валов строгальных станков сырые бревна.

К оглушенной и несколько растерянной Инке подходит седой от древесной пыли мастер Раздоров. Он передвигает широкие очки на лоб. Глаза обнажаются и блестят неистощимой молодостью запаса тысяча девятьсот семнадцатого, памятного на всю историю человечества, года.

— Играй обратно! — кричит Раздоров.

— Не слышу!..

— Ах ты! — Раздоров повертывает Инку к двери, его широкие ладони ложатся на плечи Инки, как чугунные коромысла. — Усвистали твои ребята в полном составе, — говорит он.

— Как усвистали? Куда усвистали?

— На кудыкину гору! — смеется Раздоров. — На комсомольскую домну леса устанавливать.

По правде, комсомолке Инне Луганиной, племяннице директора Магнитогорского металлургического завода, сухомытца политзанятий здорово накутила, и она напрасно сурово складывает губы, брови весело лезут вверх.

— Ну, это — непорядок, товарищ Раздоров. Ведь я предупредила вас...

— Хы! Это, как говорится, было бы приказано, а позабыть всегда можно.

— Ничего смешного, товарищ Раздоров!

— Я и не смеюсь. Ты пойми, ученая голова. «Мы, — говорят, — пойдем строить текущую политику на практике». Вот они какие у меня ребята своеобразные. Им хоть кол на голове теши, никакой дисциплины! — притворно горюет Раздоров.

Веселая снисходительность Раздорова злит Инку. Она хочет рассердиться и не может совладать с лицом своим и уходит раздосадованная.

Часы показывают девять с половиной. Инка вспоминает о деловом совещании в заводууправлении. Можно или не можно пойти туда? И что скажет потом Страпп? И как посмотрит на это дядя?

Курьер, дремлющий около дверей, завидев ее, вскакивает и, усленно раздирая отяжелевшие веки, почтительно кланяется ей, и проходит Инка с независимым видом делового человека, который, собственно, не особенно польщен тем, что его пригласили на ответственное и весьма важное заседание, но ничего не поделаешь, — заставляет службу. Инка держит у груди слева портфель, проходит полным шагом до двери в зал заседаний, и вдруг шаги ее мельчают, она задерживается, глубоко дышит, чтобы чуточку унять сердце, и тихо, очень тихо приоткрывает массивную дверь. Инка видит затылки, упорные и неподвижные, и никто не обращает внимания на вошедшую Инку. Она крадется к последнему ряду стульев и садится позади всех. Теперь она видит своего дядю. Директор сидит в конце зала за огромным рабочим столом, а чуть ниже, у другого стола справа, Рудольф Страпп с беспечной улыбкой, окруженный колбами с образцами почвы и кусками руды, и на столе аптекарские весы и свертки диаграмм. Впереди столов стоит Эйхгорн. Он передает собранию свои впечатления, он делает выводы и разрешает себе давать некоторые указания. Он прибыл сюда работать с этими людьми над величайшим произведением техники — того искусства, которое в конце концов определяет политику государств, экономику

стран, благосостояние народов и степень их культуры.

Директор внимательно изучает собрание, он следит за действием слов Эйхгорна и делает торопливые пометки в блокноте. Страпп играет карандашом и смотрит в неопределенную точку в потолке; его англо-американская борода горчит, как черный галстук, развязавшийся у горла.

Слова Эйхгорна четко-отчетливы и потрясающи по своей ясности:

— Россия страна есть в прошлом дикая. Мир удивлен очень переворотом, в стране происшедшим, он скептически настроен был, что понятно. Вот идут годы, Россия — снаряд, развивающий поступательную энергию, и все видят: возможности есть неисчерпаемые. Производительность завода годовая, при условии расширения цеха доменного, равна миллиону тремстам двенадцати тысячам тонн, — это есть первое место в мире подобного металлургического завода. Коксовальный цех, батарей восемь, шестьдесят девять печей каждая. Колоссально! Второе место после Питсбурга. Россия есть страна перспектив незамкнутых, но налицо еще имеется прошлое, которому название лень, неповоротливость, нераспорядительность, недисциплинированность и неподвижность ума, что мне простят присутствующие здесь, с которыми работать приехал я, Фридрих Эйхгорн. Завод есть механизм отчетливости строгой, механизм тот, который требует ухода, аккуратности и учета до единого винтика. Расточительность, нечистота недопустимы совершенно, — так привык работать Фридрих Эйхгорн.

Страпп улыбался. Это казалось Инке большой наглостью. Она любила Страппа особой, неподчиненной любовью свободной женщины, и оттого, пожалуй, они постоянно спорили, каждый отстаивал свою самостоятельность мысли и независимость, и это было трудно обоим и в то же время заставляло искать встреч.

Была ночь, хлопотливая, как и отошедший день. Инженеры, мастера цехов, парт- и профработники торопились

покинуть зал заседаний, чтобы успеть наверстать упущенное за день. Горный инженер Ардатов, взволнованно бормоча, семенил к месту экскаваторных работ.

— Удивительно-с! Прекрасно-с, — сыпал он невязно. — Какая самоуверенность! Что произошло, я вас спрашиваю? Умные головы! Ах, черт возьми! У вас — традиции, у нас — быт, привычный быт-с. Восемьдесят миллионов пудов... Нет, будьте так добры не подсчитывать, а работать. И мы еще посмотрим! Страна перспективы-с! Нежные комплименты-с! Без вас знае-с!

Встретив производителя работ, он прочитал ему длиннейшую лекцию насчет того, как нужно вести разрезы в рудоносной породе и расчищать старые буровые скважины. Ардатов успокоился к часу ночи, но тогда же и вспомнил, что он еще раз должен будет проверить карту разведывательных работ, и опять забормотал что-то, возвращаясь в свою комнату во временном общежитии персонала.

Климентий Арьс поймал Страппа и еще раз напомнил ему, что он, инженер Арьс, был прав, объясняясь по поводу беспорядков.

Раздоров был вполне согласен с Эйхгорном насчет российского наследственного разгильдяйства.

Мастер механического цеха Томилиן самодовольно и хитренько посмеивался, припоминая свою речь на кружке текущей политики.

Страпп, провожая Инку, доказывал, что Эйхгорн совсем не знает русской природы.

— Ты не имел права смеяться! — кипятилась Инка. — Я видела, как ты смеялся. Очень глупо!

— Ты ничего не понимаешь, Инка. Смеялся не я, — смеялся Эйхгорн. Говорить то, что говорил он, — значит смеяться над нами.

— Ты скептик, Рудольф.

— Что значит лень, неповоротливость, неподвижность ума, недисциплинированность, нечистота. Эйхгорн хотел, должно быть, сказать о нашей «расейской» черяшливости... Ах, ты при-

знаешь это? Ну, и я тоже удостоверюсь, и в этом, если хочешь, таятся все наши беды и несчастья, и называется это одним словом — дикость.

— Пожалуйста определенной, — попросила Инка, волнуясь и заранее подыскивая возражение.

Страпп остановился, черные глаза его насмешливо и снисходительно скользнули по лицу Инки. Приятная и милая собеседница оказалась бестолковой. «Женщина есть женщина, — подумал он. — Или я ошибаюсь, или она хитрит со мной».

— Сделай одолжение, могу определенной, — сказал он, хотя ему было трудно быть с ней серьезным, — припоминалась разница лет. Подумав, он взял наставительно-лепкомысленный тон: — Россия пребывала в особых географических условиях. Надо было пройти тысячи верст, чтобы соприкоснуться с другим, более культурным народом. Россия воспиталась на суевории, на сказках, на примерах порождения человека человеком. Хел! Ведь у нас, если разобраться как следует, даже так называемые освободительные идеи, возникнув, упирались впоследствии непременно в какой-нибудь особый вид рабства, и, по совести, историю России следует разбирать по линии кулацко-хамской.

Инка выронила портфель, до того показалось нелепым рассуждение Страппа, она задохнулась от обилия мыслей, противных страпповским.

— Продолжение следует? — спросила она.

Подняв портфель, Страпп с подчеркнуто низким поклоном передал его Инке.

— Продолжение следует, — улыбнулся Страпп, — и в продолжении том вся суть. Или лучше отложить до завтра? Время за полночь, комсомолка Инна Луганина, утомленная партнагрузкой, спешит на квартиру, — весело издевался он, — инженер Рудольф Страпп, занятый строительством социализма (не чего-нибудь, а социализма!), жаждет отдыха, чтобы завтра с обновленными силами успешнее работать.

— Продолжение, продолжение! — настойчиво требовала Инка.

— Итак, продолжение!

Страпп глубоко вздохнул и вдруг, вспомнив что-то, захохотал раскатисто и отчетливо, как хохочут артисты на сцене.

— Однажды в Англии, не помню где именно, в Шеффилде или Бирмингаме, я прочитал у входа в парк предупреждающую табличку: «Сорить, топтать клумбы и ломать деревья воспрещается». Замечательная такая табличка на эмалированной дощечке, и забавнее всего то, что предупреждение это было написано на русском языке, — не на каком другом, а на русском. Вы понимаете, товарищ Луганина, в чем тут дело?.. Ну, если вам это понятно, я весьма рад. Продолжение же будет такое. В тысяча девятьсот семнадцатом мы сделали революцию — революцию физическую, то-есть взяли в руки оружие и спихнули всю рухлядь прошлого к черту.

— Ты радуешься или смеешься? — не поняла Инка.

— Радуюсь, Инка, и торжествую, ибо сам принимал участие в спихивании... Итак, мы сделали революцию физического порядка. Мы взяли власть в свои руки, мы организовали свое, социалистическое государство, мы перечеркнули старую историю и творим новую. Мы перестраиваем нашу страну и собираемся перестроить весь мир...

— Правильно, Рудольф! Молодец, товарищ Страпп! — похвалила Инка.

— ... но, — продолжает Страпп, — мы позабыли о революции психологической, о сердцевине революции.

— Сердцевина революции, сердцевина революции!.. — повторила Инка. — Погоди, а как же мы могли драться на фронтах гражданской войны, бить Колчака, Деникина, Врангеля? Как мы деремся сейчас за каждый кирпич в нашей стройке, не имея сердцевины?.. Нет, ты еще успеешь высказаться, Рудольф. Мне важно знать, как ты думаешь, ты, которому я хочу верить.

Страпп лениво улыбался и лениво целовал руку Инны. Она долго ждала ответа, и глаза ее постепенно налива-

лись мутью еще не угаданной ненависти к этому человеку, который хотел видеть в ней в меру умную женщину, не очень скучную и не очень надоедливую.

Инка вырвала руку. Страпп шутовски помахал фуражкой вслед, — только и всего, как будто они и не любили друг друга. Но было это совсем не так, и неизвестно, для чего рассказывал Страпп о российской истории, — или знание истории было необходимым условием в их любовных отношениях? Страпп слишком долго жил и не мог уже просто любить, и ему нужно было настроение. С непокрытой головой, играя фуражкой, он шел по лабиринтам стройки и бесечно веселился оттого, что в его квартире (он знал это наверное) ждала другая женщина, жена Томилина, мастера механического цеха, Васена.

В квартире была тишина и прохлада, плотные суконные шторы закрывали окна. Страпп увидел хорошо убранный стол и женщину, брэнчавшую на гитаре. Васена, откинувшись на кожаную подушку дивана, служившего Страппу постелью, полузакрыв глаза, пела. Голос у Васены был степной, большой раздумчивости, и, видимо, женщина умела владеть им.

А-ах, ни одна во поле дороженька про...

Высокие, чуть открытые груди лежали на деке гитары, тонкие, хорошей формы пальцы перебирали струны. Лицо белое, губы пухлые, чистый лоб и полные голубые глаза под прямыми длинными бровями. Женщина отшвырнула гитару и упругим движением выбросила руки вперед и, неожиданно обвиснув на шее Страппа, повалила его на диван.

— Ольф, ты хороший любовник, ты щедрый человек, сильный мужчина. Плюнь, милый, на свое директорское кресло, и давай удерем отсюда.

— Погоди, как это? Куда удерем?

— Ну, я не знаю, куда-нибудь подалее, где можно хорошо повеселиться. Ах, и опротивели же разговоры деловые, слова скучные!

— Чего же ты хочешь?

— Чего я хочу? А чорт его знает чего! Я так много хочу, что даже дух захватывает! Музыка хочу, хмельного хочу, больших снежных сугробов, песен и немножечко усталости.

Страпп молчит и морщит лоб. Наконец он говорит:

— Музыка можно. Хмельного... (Он обыскал глазами комнату.) И хмельного можно. Насчет снежных сугробов — придется обождать. Песен — сколько угодно. Что же касается усталости, так сделай одолжение, могу порекомендовать тебя Арысю на земляные работы.

Страпп достает из книжного шкафа бутылку коньяку, разливает в стаканы.

— Когда мы выпьем, Василиса, ты будешь плясать под гитару, потом выпьем еще и споем, и тогда придет все, чего только ты захочешь. Чорт меня возьми, я ведь еще молод, Василиса!

Василиса любовно заглядывает в глаза Страппа и соглашается с ним.

— Да, ты очень молод, Ольф! Давай выпьем еще... Как поживает твоя возлюбленная, твоя девочка Инна? Ха-ха! Что будет, если она забеременеет? Ты знаешь, женщина в двадцать лет сильно расположена к этому... Почему? Очень просто, мой милый; в эту пору сила требует разрядки.

Страпп наполняет стаканы в третий раз, беззаботно смеется и выпивает свою порцию в один прием.

— Ты городишь чепуху, Васена! У Инны есть кое-что посерьезнее деторождения.

Он хотел продолжать, как неожиданно затрещал телефон, и Страпп услышал голос Инны:

— Спокойной ночи, Рудольф! Я все-таки с тобой несогласна. Слышишь?

Он вздохнул с насмешливой печалью и, обнимая Василису, сказал:

— Это просто удивительно, все женщины со мной не согласны, и все ужасные спорщицы... О чем ты говорила, Васена, и надо ли говорить?

Васена взобралась на колени Страппа. Она была чуточку пьяна, и ей хотелось быть еще пьянее. Она потянулась к стакану с коньяком, отпила половину и другую половину заставила выпить Страппа. Потом они целова-

лись, как целуются влюбленные после долгой разлуки, и Васена, прижимаясь к сильной груди Страппа, шепнула ему на ухо, точно девочка, которая стыдилась за свои желания:

— Я останусь у тебя, Ольф. Можно мне остаться?

И когда он кивнул захмелевшей головой, она бойко прыгнула на пол, бросила свой темновинный шелковый шарф на электрическую настольную лампу и приказала:

— Играй, Ольф! Я хочу плясать.

И Рудольф Страпп заиграл. Шестиструнная испанская гитара певучим звуком заполнила всё, подмывающий перебор выговаривал слова старорусской плясовой песни.

По комнате идет женщина, она идет бойкой походкой беззаботной семнадцатилетней девушки. Девушка лукаво поглядывает через плечо, полузакрыв лицо концом расшитого крупными цветами платка. Постукивают каблучками башмаки, чуть позванивают на коромысле пустые ведра. Вдруг девица слышит голос, такой мягкий и настойчивый, что невольно останавливается и уже открыто смотрит из-под руки. А голос все ближе, ближе... И девушка, зачерпнув воды, бежит, задорно посмеиваясь, а тяжелые ведра на коромысле давят на плечи. Тогда девушка, задыхаясь, замедляет бег свой. Еще минута — она останавливается и падает на руки того, кто так настойчиво звал ее.

— Молодец, Васена! Люблю тебя, Васена! — говорит Страпп, подбросив женщину на вытянутых руках к потолку. Потом он слушает, как бьется ее сердце. Наконец они допивают остатки коньяку и потихоньку поют приволжские песни...

... И они мчались по степи в широких санях, и зеленый месяц тонул в глубоких сугробах, тянулся в стороне тонкой полдской лес, встречались одинокие березы, бурашили вверх снежинки...

Вспотевшая междугорная заря раздёрнула облака, запахло богородской травой и шалфеем, к пяти часам солнце

перекатилось через Ай-Дарлы и упало в заводской пруд. На середине «зеркала», в полкилометре от берега, плыл Рудольф Страпп. Он отталкивался широкими взмахами рук, он гогогал и жрякал от удовольствия, отчетливо ощущая прикосновение воды к разгоряченному телу. Он увидел бултыхавшегося у самого берега Арысь, поплыл к нему, нырнул и выскочил, потрясая бородой около инженера.

— Климентий Станиславич, откуда вы?

— Все оттуда же, что важно, — буркнул Арысь, приседая на мели и растирая ладонями шухлую грудь. — Не понимаю, чего вам не спится!

Страпп выбрался на берег, гукнул и принялся скакать и прыгать вдоль берега.

— Утренняя зарядка, товарищ Арысь, необходима каждому.

— Зарядка? На какой чорт нужна вам зарядка, кабинетному работнику, как вы скажете?

— Мне она нужна больше, чем кому бы то ни было, — смеялся Страпп, припоминая проведенную ночь. — В моем ведении, как вам известно, производство всего завода.

— Слава богу, что я не в вашем ведении, что важно.

— Ай, какой вы задира, дорогой Климентий Станиславич! Что же, со мной нельзя работать, хотите вы сказать? Да говорите же! Что вы мямлите?

Страпп натянул сапоги и присел на краю берега, с любопытством разглядывая тучное тело Арыся, и ему казалось странным, что этот тяжелый на вид человек может развивать бешеную энергию и что и именно ему, беспартийному инженеру, передано особое полномочие НКПС и Наркомтяжпрома по строительству внутренних и внешних путей сообщения и разработка проекта линий протяжением в тысячу с лишним километров, линий, которые свяжут Карталы — Магнитная и Троицк — Орск.

— Работать с вами? — переспросил Арысь. — Видите ли, Рудольф Эдуар-

дович, я, что важно, привык работать с ними.

Арысь вылез на берег и указал в сторону барачков, где помещались коновозчики, укладчики и костыльщики.

— Я слышал, вы и живете с ними?

— Я живу, где мне удобнее, товарищ Страпп, — нелюдимо покосился Арысь и, одевшись, пошел к барачкам.

«Чорт его знает, почему он не влюбил меня?» — размышляя Страпп и вдруг рассмеялся.

Груды досок, цементных бочек, обрезков железа и битого кирпича загромождали всю площадь завода.

— Ах, вот в чем штука, — пробормотал Страпп. — Ну, что же, дело поправимое...

Часы показывали шесть с половиной утра. Привыкший к точности Страпп курьер открыл двери кабинета и подал стакан крепко настоенного чая.

Прихлебывая горячий чай и обжигаясь, Страпп просматривал рапортчики начальников шести главных цехов завода: доменного, сталелитейного, прокатного, коксовального, чугунолитейного и керамических. В рапортчиках кратко сообщалось о произведенных за прошедший день работах. Страпп, делая отметки жирным синим карандашом, гмыкал и морщился, глаза его потеряли свое обычное выражение беспечности, но улыбка была презрительно-снисходительной. Страпп сделал цифровую выборку из рапортчиков, занес в специальный свой журнал и подсчитал процент произведенных за неделю работ по строительству. Карандаш скакал по рапортчикам, оставляя после себя злые восклицательные и насмешливые вопросительные знаки. Отодвинув пустой стакан, Рудольф Страпп произнес речь. Имея перед глазами рапортчики, он выбирал из них наиболее подозрительную в смысле достигнутых результатов и, держа между пальцами, говорил. Вначале слова его были бессвязны, в форме неожиданных вопросов:

— В чем же дело? Вы говорите — вас это удивляет. Ах, так! Вы это утверждаете?

Через минуту слова складывались в осмысленную речь:

— Я вас спрашиваю, как это случилось, что обе транспортные ленты имеют угол наклона не восемнадцать, а двадцать градусов? Вы полагаете, дорогой Евгений Павлович, что это не имеет большого значения, что никакой осыпки угля не произойдет? Вы очевидно рассчитываете на быстроту движения ленты? Очень замечательно! Но ведь уголь имеет вес, и наклон ленты в восемнадцать градусов рассчитан применительно к весу. Простите меня, мне, разумеется, неприятно разъяснять азбучные истины такому компетентному в своем деле человеку, каким являетесь вы, Евгений Павлович... Ну-с, а теперь, если позволите, мы перейдем к дробилкам. Вы изволили уведомить меня (Страпп играл рапортничкой перед носом воображаемого начальника коксового цеха), что первая дробилка была установлена неделю назад. Благодарите убедиться: вот число и вот ваша подпись, а вчера вы сообщаете о работе над подвижным бункером для этой же дробилки. Я далек от мысли, что вы, дорогой Евгений Павлович, втираете мне очки, но вы же должны понимать, что я не такой уж профан, чтобы мне... что бы я... гм!.. мог проглядеть вышеуказанные недочеты...

Курьер Кузьма Ершов цыкал в это время на каждого проходящего к Страппу.

— Не шумите, — говорил он, махая обеими руками, — товарищ Штраппов деловой разговор имеет.

Наговорившись, Страпп неожиданно вскакивал, брал в руки лозинку и, уже беспечно улыбаясь, покидал кабинет.

Било восемь часов. Площадь завода в сто пятьдесят восемь с половиной гектаров пыла в сизо-дымчатой мгле! Строящийся социалистический город поднимался от долины реки Урала к горе Ай-Дарлы. Высоко на мачтах и лесах стройки трепетали, точно огненные птицы, красные флаги. Штабеля бревен и досок, горы песку и щебня, камня и кирпича заполняли всё, оставляя неширокие путаные проходы. Страпп при-

вычно воспринимал грохот молотков, вой и свист пара. Казалось, что недра земли, взбунтовавшись, выбросили на поверхность эти труднопроходимые горы материалов. Три башни силоса шлебушились в лесах, набирая свою сорокаметровую высоту, подъемные машины с бетоном медленно ползли в путанице лесов. Переклички сотен и тысяч человеческих голосов, ругань, треск отдираемых досок, тяжелое уханье копров и звон железа сливались в один потрясающий грохот. Страпп следил за людьми. Они работали около стен коксовой батареи, покачиваясь в люльках, они карабкались по железным переплетам устоев, бегали по настилам эстакад, они, почерневшие от солнца и ветра, облепили стройку, как черные шмели, упавшие с неба, и они гудели глухим гулом воинственного остервенения.

Страпп шагал размеренным шагом полковника, вышедшего лично руководить развернутым фронтом шестидесятитысячной армии, участвующей в ожесточенном бою. В этой армии были храбрецы, были смелые, но расчетливые бойцы, были раздумчивые рядовые и водились обычные, доморощенные лентяи, и хоронились за прикрытиями труссы.

— Эй, ребята, бросай курить, Штраф идти!

— Штраф!

— Штраф!!

— Штраф идти!!!

Храбрецы, ободренные присутствием начальника, самозабвенно бросались вперед, расчетливые бойцы забывали о своей расчетливости, раздумчивые рядовые напрягали мускулы, лентяи торопливо бежали на приступ, труссы конфузливо подбирали оружие.

Гудели моторы бетономешалок, предупреждающе крякали грузовые автомобили, позванивали шпинтонами подталкиваемые задыхающимся паровозом платформы, груженные камнем и песком, вспыхивали под ударами лома днища цементных бочек, трещали собачки лебедек, и повизгивали блоки.

Страпп шел по линии газоотводов, растянувшихся толстым телом, в тысячу семьсот пятьдесят миллиметров в

диаметре. Он заглянул внутрь газоотводов и проверил толщину футеровки.

— Штраф!

— Штраф!!

— Штраф идти!!!

— Здравствуйте, товарищ Страпп!

Прораб Ашмарин вытянулся и замер, готовый выслушать указания и принять к исполнению приказание.

Страпп поднял лозину, и за кончиком лозины побежали глаза прораба.

— Метр, — сказал Страпп, очертив футеровку.

Прораб подал складной метр.

— Строжайше слежу, товарищ Страпп, ни на один миллиметр отступления, хотя кирпич, должен вам сказать, не совсем отвечает своему назначению, трудно соблюсти...

— Ет ежели в настоящую пригонку, — подмигнул кладчик Чуфаров своему помощнику, — дык поденщину не оправдаешь.

Ашмарин покраснел от злости. Страпп произвел промер. Толщина футеровки оказалась в сто десять миллиметров. Страпп, беспечно улыбаясь, возвратил складной метр прорабу.

— Товарищ Ашмарин, я, к сожалению, не имею возможности ежедневно проверять футеровку газоотводов.

Страпп, заложив лозину за спину, удалился. Прораб Ашмарин проводил его, конфузливо улыбаясь, и, как только Страпп скрылся, саданул сквозным матом кладчика Чуфарова.

Коксовая батарея сбрасывала леса. Груды досок и бревен, залитых цементным раствором, загромаждали доступ к фасаду коксового цеха с машинной стороны, пыль вихрила над неохватным сооружением, и только вершины семидесятипятиметровых труб коксовых батарей пробивались к облакам. Черная англо-американская борода Страппа посерела, острые глаза слезились. Инженер продирался вперед, к дробильному отделению, вихри пыли остались позади. В двухэтажном железобетонном здании шла установка второй молотковой дробилки, шахло сыростью цементного раствора, механики хлопотали над сборкой моторов. Тут была молчаливо-сосредоточенная работа, и не поднима-

лись пугливо головы, и не разгибались спины при появлении Страппа, не провожали настороженные глаза.

«Очень хорошо!» — подумал Страпп и медленно, как будто крадучись, прошел к одиноко стоящему в дверях подвального помещения человеку. Страпп встал рядом с ним, высокий и прямой, с беспечной улыбкой в глазах, и человек, заметив Страппа, передернулся и смешно засуетился, бегая из угла в угол, спотыкаясь о шестерни и передаточные валы и кронштейны.

— Дорогой, Евгений Павлович, — мягко проговорил Страпп, — я очень счастлив приветствовать вас.

Тут он гмыкнул, повернулся спиной к начальнику коксового цеха Щукину и, слегка играя тонкой лозиной, направился к выходу, и шаги его были тверды, как шаги часового, идущего на караул, а человек с будничным лицом и утомленными глазами семенил за ним, часто перебирая короткими ногами, будто ехал на велосипеде с малой передачей.

Часовая стрелка передвинулась к десяти, и около заводууправления в вестибюле и в приемной слышен был шепоток:

— Страпп!

— Страпп!!

— Страпп!!!

И наконец последний предупреждающий и почтительно-торжественный голос курьера Кузьмы Ершова:

— Тишей, товарищи! Товарищ Штраппов идет!

И в кабинете Рудольф Страпп (в прошлой ночи Рудик и Ольф) принимает начальников главных цехов. В таинственной книге с неведомыми записями он делает пометки и говорит с улыбкой, рассеянной и беспечной, начальнику коксового цеха:

— Сделайте милость, Евгений Павлович, садитесь. Мне очень прискорбно, верьте честному слову, но я буду вынужден объявить вам строжайший выговор за неточное донесение о текущих работах по дробильному отделению... Ах, что вы, Евгений Павлович! Зачем извиняться? Я обещаю вам... гм!.. что «Магнитогорский комсомолец»

не будет заниматься разбором ваших упущений. Да, да... «Магнитогорский комсомолец» покуда обойдет молчанием этот вопрос. Имею честь кланяться, желаю вам успеха...

Через минуту:

— Ах, Яков Данилович! Я уже и не помню, когда мы в последний раз виделись.

Начальник доменного цеха Герштейн настороженно вытягивает длинную шею и поправляет вязаную ленточку цветного галстука.

— Как-то не случается, Рудольф Эдуардович, не случается...

— Ну, я рад нынешнему счастью-моу случаю. Что имеете сообщить, товарищ Герштейн?

— Спрашивайте.

— Доменные котлованы?

— Есть, для домны номер второй.

— Закладка фундамента?

— Домна номер первый...

— Благоволите сообщить профиль доменной печи.

Герштейн потянулся к галстуку, как будто в тонкой ленте заключалась загадливая мысль: «Пожалуйста, дорогой товарищ Страпп, экзаменуйте». Он чуть раздвинул тонкие губы, сделав попытку улыбнуться, и голос его был несколько скучающим, хотя ответы быстры.

— Диаметр горня — шесть тысяч двести миллиметров.

— Так.

— Высота горна — три тысячи миллиметров.

— Правильно.

— Угол наклона заплечиков около восьмидесяти двух градусов.

— Совершенно точно.

— Диаметр распара...

— Благодарю вас, дорогой Яков Данилович. Очень жаль, что мы так редко встречаемся, вы — приятный собеседник. Жму вашу руку, Яков Данилович.

Короткая минута роздыха. Широко открывается дверь.

— Приветствую вас, уважаемый Викентий Карпович! Разрешите осведомиться о вашем здоровье!

Начальник чугунолитейного цеха Сизов, огромный и жилистый, болезненно охнув, садится в кресло. На могучей

груди его не сходятся пуговицы пиджака.

— Благодарю вас, Рудольф Эдуардович, сегодня как будто бы получше.

— Что говорит врач?

— Помилуйте, — гудит Сизов, — какие же у нас врачи! Легкая парфюмерия, доложу вам, и не более. Не могут определить болезни. Мучаюсь, Рудольф Эдуардович.

— Ай, ай! Очень и очень сочувствую!

Страпп, шурясь, поглядывал на мощные руки Сизова, горестно покачивая головой.

— Итак, Викентий Карпович?

— Не слажу с землекопами, Рудольф Эдуардович, прямо горе мое. Мордва, чуваша, украинцы, башкиры, наши ручачки — полное смешение племен и наречий.

— И что же?

— Извольте ли видеть, чугунолитейный цех, как вам ведомо, будет иметь пять отделений: отделение изложниц, почвенного и тяжелого опочного чугунолитья, опять же опочного чугунолитья весом до одной тонны в штуке, затем стального фасонного литья и, ну те-с, меднолитейная.

— Совершенно верно, — подтверждает Страпп одобрительным кивком.

— И вот-с, — продолжает Сизов, — принимая во внимание, что работы в вышеперечисленных отделениях будут происходить независимо друг от друга, я затруднен вопросом об установке вагранок, и, кроме того, длина здания в сто тридцать метров едва ли позволит мне развернуть работу сверх намеченного плана, а тут еще болезнь, и вот артель Шарофутдинова или Насреддинова, чорт их разберет, провозилась с земляными работами под фундамент лишних три с половиною дня, да еще не приняли в расчет некоторых отделений, а тут проклятое недомогание и...

— То-есть у вас прорыв? Ах, Викентий Карпович, и вы, оказывается, подвержены припадкам этой модной и шумной болезни! — зло смеется Страпп.

— Помилуйте, ведь эти доктора, — защищается Сизов, — как я вам уже докладывал...

— Позвольте, Викентий Карпович, я о прорывах!

— Ах, так, так! Простите больного человека! Вот еще беда, — недослышу за последнее время.

— Скорблю, Викентий Карпович, но «Магнитогорский комсомолец», если не ошибаюсь, тиснул-таки заметочку о ваших болезнях. Весьма и весьма неприятно, однако помочь вам едва ли сумею. Сердитый народ комсомольцы!

— Проклятая болезнь! — уныло вздыхает Сизов. — Проклятая болезнь!

— Поправляйтесь, Викентий Карпович, поправляйтесь. Желаю вам полного успеха!

Часы показывают двенадцать. Проходят пять, десять, двадцать минут, из-под руки Страппа летят мелко испианные листики блокнота. В открытые форточки вползает упругий и неравномерный гул. Пахнет выжженной на солнце краской и заплесневелыми чернилами. Страпп, откинувшись на спинку кресла, кричит голосом широким и веселым:

— Ершов, Кузьма Семеныч!

— Здесь, Радольф Игардыч!

— Гости?

— Вымелись, Радольф Игардыч.

— Ну, что же, Кузьма Семеныч, будем соображать насчет закусонов?

— А закусоны готовы, Радольф Игардыч.

— Молодец ты, Кузьма Семеныч!

— Да уже, ежели бы не был молодцом, Акулиной звали...

В начале шестого Ершов провожает инженера Страппа, запирает двери кабинета на ключ и уходит следом за начальником, и фуражка у Кузьмы Ер-

шова сидит набекрень, как у ад'ютанта, который блестяще выиграл вместе с полководцем тактическое сражение. Кузьму Ершова веселила бесхозяйственность в строительстве. «Эка наворочили, идолы! — удивлялся он, плутая между брошенных вагонеток, опрокинутых бутовых ковшов, ржавеющих машин, водопроводных колен, труб и вентиляй.—Эт-ба у хорошего хозяина за такую штуку рыло на сторону своротили! Причтется Радольфу Игардычу доложить». И Ершов тут же, присев на валявшийся цилиндр, записывает, и глаза его заговорщицки поблескивают:

«Без глазу имучество и без убору валяитси на воле, которое имучество ест ржа, которое углубилось в землю и за-бурьянило, об чем докладать тов. Штрапову. Ершов Кузьма».

Он проходит вдоль осевших в землю барачков, отмечая номера: пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Где-то пиликает гармоника, пиликает надсадно одно и то же:

Гарна-тыр, гарна-тыр, гарна-тыр.

Уборщица Ульяна, тугая, лет двадцати пяти девка, выплеснув помой на барачную завалинку, бьет в опорожненное ведро палкой. Она, приплясывая, трясет разбухшими грудями и передергивает бедрами. Голос Ульяны с визгливым прихлебыванием.

Сыпь, сыпь, камушки,
Не боюсь мамушки,
Боюсь мужа-дурака, —
Наколотит мне бока.

«Идишь ты, — отмечает про себя Ершов, — како веселье у бабов».

(Окончание следует)

Бурса

А. ВОРОНСКИЙ

(Продолжение¹)

Туги-душители

На десятом году я принят был в бурсу. В бурсе у меня отнимали деревенские гостинцы, я исполнял унижительные поручения старших бурсаков: бегал за кипятком, в соседнюю лавку, расправлялся по приказу со сверстниками слабее меня, выносил и сам частые побои. Уроки мне давались легко. Я шел вторым учеником. Тимоха Саврасов однажды похвалил меня и даже погладил по голове. Но на третьем месяце бурсацкого житья-бытья приключилась беда: я украл книгу.

У «приходящего» одноклассника Критского я украл роман Жюль Верна «Восемьдесят тысяч верст под водой», подарок отца, состоятельного городского священника. Туповатый Критский едва ли прочитал книгу, он принес ее похвалиться золотым тиснением букв на корешке и прельстительным рисунком на обложке: подводный корабль лежал в зеленых морских пучинах среди диковинных кораллов и водорослей, осьминогов и рыб. Я просил роман Жюль Верна, обещая за прочтение общую тетрадь и полдюжины перьев. Критский в просьбе отказал. Тогда я украл книгу из парты. В слезах Критский доложил о покраже Тимохе. Роман я спрятал в сундук. К тому времени я успел обзавестись на свои карманные деньги небольшой библиотекой. В сундуке хранились: «Тарас Бульба», «Страшная

мечь», «Дубровский», «Юрий Милославский», «Житие Серафима Саровского», лубочный песенник, беседы садовника, книга о стекольном заводе. Украл Жюль Верна, я уверял себя, что взял роман на несколько дней, после прочтения я его подкину. Скорее всего я себя обманывал.

В уборной я забрался на бак и там в пыли и паутине, вдыхая запахи кала и мочи, погрузился в роман, как погрузился Наутилус на дно морское. Черное вольное знамя, знамя бунта и смерти угрюмо и одиноко реяло над океанскими просторами. Капитан Немо заслонил мужиков-разбойников, доморощенных Кудяров и Чуркиных. Впервые я преодолевал родную ограниченность, оставляя прошлому топор, кирку и вилы. Они выглядели жалко рядом со стальным чародем-мстителем. Бесшабашная повольщина, разгулы, добродушная распушенность, покорность судьбе-кручине, готовность кинуть под ноги «жисть» свою за полушку, обреченность теряли свое обаяние. Я отдавал предпочтение несокрушимому упорству капитана-анархиста, его страстям, охлажденным волей и мыслью. Очарование было непобедимое. А вечером, в часы занятий, ко мне подошел Тимоха Саврасов и повелительно молвил: «Иди за мной!»

Я пошел за Тимохой. В коридоре он объявил, что должен осмотреть мой сундук. Непослушными руками надел я пальто и, когда шел за Саврасовым в

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 1 и 2 с. г.

вертеп Магдалины через двор, с отчаянием оглядывался по сторонам: куда бы скрыться.

В вертепе я открыл сундук. Тимоха порывался в нем и из пачки книг без затруднений извлек роман Жюль Верна. Шопотом Тимоха спросил:

— Это твоя книга?

— Это моя книга, — ответил я тоже шопотом, не запинаясь и не глядя на Саврасова. Тимоха указал толстым, красным пальцем на подпись Критского. Удивительная беспечность! Я не стер этой подписи. На указание Тимохи я поспешно ответил:

— Я нашел книгу за шкафом после обеда.

— ... За шкафом после обеда, — передразнил Тимоха. — Почему же чужую книгу ты не принес дежурному надзирателю?

— Я хотел ее сначала прочитать.

Тимоха покачал головой, вновь наклонился над сундуком, пятерней зараз захватил всю мою библиотеку и просмотрел заглавия книг.

— Тебя, видно, занимает также садоводство, производство стекла и Житие преподобного Серафима?

— Занимает, — пролепетал я, прощаясь взглядом с книгами. Тимоха перелистывал их. Как жалко, что я не капитан Немо! Взять бы Тимоху в плен, бросить бы его в холодные, скользкие объятия спрута, или оставить добычей свирепым команчам, — да, это было бы совсем недурно!.. И смотреть со стороны, скрестив спокойно руки на кровавую потеху. По бледному его челу струились беспощадные морщины, и адская усмешка кривила его тонкие, бескровные губы...

— Книгу я нашел под шкафом.

Тимоха с пачкой книг подмышкой оттащил меня от сундука к божнице.

— Перекрестись, что ты не воровал.

Я истово перекрестился, пристально глядя на икону Николая Мирликийского. Тимоха отступил на шаг и стал рассматривать меня, точно я был впервые перед ним.

— Да ты, дружище, настоящий лапчатый гусь! И презираемый! Мало того, что вор, еще и бога обманываешь... —

Тимоха долго и нудно поучал меня о вреде кражи, о том, что надувать бога и его святых — черный грех; я безмолвно, не шевелясь, слушал его. Напоследок Тимоха смягчился: он знает, что я способный, иду вторым учеником и до сих пор вел себя с надлежащим послушанием. Учитывая это, он, Тимоха, дает срок до утра одуматься. Если же я и завтра стану упорствовать, придется ославить меня воришкой на все училище. С пачкой книг, с моей библиотекой, Тимоха торжественно направился к выходу. Я побежал за ним следом.

— Тимофей Алексеич, Тимофей Алексеич!..

Саврасов покосился на меня через грузное плечо.

— Отдайте мои книги! Тимофей Алексеич!..

Тимоха издал носом непередаваемый трубный звук, презрительно промямлил:

— Может быть, они тоже краденые.

Я закрыл лицо руками...

... Вечер прошел в томлениях и темных предчувствиях. Завтра я буду опозорен, завтра на меня обрушатся насмешки, издевательства, пинки, Тимоха выведет тройку по поведению. О краже узнают мать, Ляля, родные. Признаваться, однако, в проступке я и не думал. Казалось бы, чего проще, но мной овладело ожесточение. С тоской и иступлением твердил я себе: «И пусть, и пусть! Буду воришкой, сделаюсь последним учеником, сделаюсь отпетым! Не крад я ничего, книгу я взял прочитать...»

... На другой день Тимоха опять меня вызвал. Увещание продолжалось около часа. Я слушал инспектора с тупым видом, под конец еле держался на ногах, но твердо заявил: «Книга найдена за шкафом». Тимоха вытолкнул меня из учительской.

После молитвы перед уроками он произнес поучение. Среди питомцев бурсы есть некоторые тихони. Они прилежны, они иногда даже идут вторыми учениками. (Красный стыд опалил мое лицо.) Эти тихони, эти вторые ученики, случается, надежд не оправдывают. Хуже того: они бывают подобны ехиднам и василискам. Напрасно они вооб-

ражают себя учеными. У них есть книги по садоводству и по производству стекла, они прикидываются святошами, читают «Житие Серафима Саровского». Это не мешает им, однако, забираться тайком в чужие карманы и парты, ни сколько не мешает. Они, ничтоже сумняшеся, тащат все, что подвернется под руку, даже подарки родителей, приобретаемые на скромные, возможно, последние трудовые сбережения. Да, такие уроды, такие паршивцы, такие овцы в волчьих шкурах, к вящему сожалению, есть в стенах нашего училища. Больше того: в этих стенах есть даже клятвопреступники и обманщики духа святого. Здесь Тимоха назвал меня. Я вышел по его приказанию из рядов.

— Вот он, вор, стоит пред вами. Он украл книгу у Критского и обманул бога и свое начальство... — Тимоха это сказал с притворным ужасом, указуя на меня тяжелым пальцем.

Позор отягощал мне веки. Бурсацкие ряды качались и плыли в тумане. Чьи-то рыжие сапоги с задранными сверху носками нагло лезли в глаза. К подошве правого сапога прилипла грязная бумажка. Куда деть руки? Куда деть красные руки? Я казался себе совсем чужим. И одежда была не моя, она была липкая и все пухла и пухла, и я тоже весь распухал. Голос Саврасова звучал в отдалении и будто за стеной.

— ... Думаешь, если ты второй ученик, то тебе позволительно воровать книги! А о том ты не подумал, что это еще хуже; люди скажут: «У них воры даже лучшие воспитанники...»

Тимоха говорил и говорил. Я стоял перед бурсаками, не поднимая век, и пришел в себя, когда церковь почти опустела. Вокруг меня был очерчен порочный круг...

... После ужина я забрался на дворе в узкие пролеты между штабелями дров и уселся на мерзлых березовых поленицах. Ночь шла в черном бархате, в могучем звездном блистании. Млечный путь, тропа небес, терялся в неизяснимых безмерностях. Пахло опилками, березовой корой. Бурса громоздилась впереди безликим, грузным чудовищем. В

темных оконных провалах угрюмо и зловеще мерцали желтые огни, они не разгоняли мрака, а лишь сгущали его. Мерзлая земля угнетала неприютностью. Я пропал в позоре и в одиночестве. Все было во мне смято и уничтожено. За день я испытал столько унижений, сколько никогда не выпадало мне раньше. Меня разрушали обида, тоска, бесильная ненависть, глухое ожесточение. Я очутился на самом глубоком дне. Бурса была отвержена родной страной, городом; я был отвержен бурсой. В ушах завязли бурсацкие глумления: «Ворище!.. Ворище!.. Ширмач!.. Скажите, кто это вчера спер книжку у Критского, друзья?! Украдохом, упирахом, утаскохом!..» В висках стучали молотки, в пальцах гнездились нестерпимый зуд, я тихо ломал руки... За мной ходили ватаги бурсаков. Во след мне свистали, улюлюкали, шпыняли меня, щипали, задирали, давали мне тумаков. Когда я к кому-нибудь приближался, меня отгоняли прочь: «Отчаливай, отчаливай, брат! Еще что-нибудь сбондишь...» Приятели и друзья перестали со мной «водиться», «отшили» меня и вместе с другими издевались надо мной. Сосед по парте, Никольский, с кем я делился гостинцами и мбслями, объявил, что он от меня пересядет; на это в классе ему ответили, никто не согласится со мной сидеть. Свой праздник праздновали и завистники, те, кого обгонял я в четверках и пятерках, кто видел во мне соперника. Мою фамилию с позорными кличками, с непристойными словами писали на доске, на стенах, в раздевальной, в уборной. Я начинал понимать, что означает идти впереди других и оступиться. Даже наиболее забытые на мне отомщали свои обиды и унижения. Старшие бурсаки приставали, требуя подробностей, как украл я книгу у Критского. Преподаватели заставляли отвечать урок и в заключение говорили: «Урок знаешь, но зачем ты слямзил книгу у товарища? Нехорошо, брат, совсем нехорошо! Непохвально!.. А еще второй ученик!..» Перед обедом в класс вошел Халдей. Он долго и неподвижно сидел на подоконнике, потом поднялся, уставился на меня оловянными глазами.

Я с'ёжился, будто не замечая его взгляда. Халдей медленно приблизился, грубо схватил меня за подбородок, запрокинул кверху мою голову, заставил глядеть ему в глаза. Я глядел не мигая и ничего не видел. Халдей глухо крикнул и, уходя, врезал мне в глаза свою противную и мертвую спину. Только тогда я опаматовался и сделал судорожное движение горлом.

Хуже всего было встречаться с Критским. Непереносен был его взгляд, пренебрежительный и снисходительный, его перешептывание с приятелями, его скрытое злорачество. Я презирал его и был им презираем! Это было хуже всего!!!

... Наутилус, анархист-мститель Немо, острова, напоенные синью небес, синь океана, тропические сумрачные леса, кокосовые пальмы, охота в блаженных степях, смелость и мужество трапперов — все от меня отступилось!.. Был разгонял миражи!..

... Небо горело славой созвездий. В торжественных высотах творилась своя, равнодушная, холодная и мне недоступная правда. Кристаллы снежинок в слабых зеленых мерцаниях отражали свет нездешних, незнаемых миров. Я прищип щекой к мерзлому, корявому полюну. В меня влилась успокоительная прохлада. А бурса все нависала впереди неотвратимым темным роком. Да, меня окружает нечто тупое, прязное, окаянное, вконец одичалое, — и все это безмерно далеко и от звездных россыпей, и от мерцающего снега, и от какой-то другой, настоящей жизни. Бурса ко мне бесплощадна. И тогда я решил драться, биться из последних сил, решил всем своим жизненным трепетом. Я уже твердо знал: поддамся, не выдержу — бурса меня сломит.

Так укреплялась во мне отвага.

Мороз щипал колена. Прозвонили ко сну. Ночью я долго метался на жесткой койке. Приснилось мне, будто я хоронюсь от Халдея и Тимохи Саврасова на задворках, где-то в чужих домах, в садах, на базаре, за амбарами. Едва успеваю я спрятаться, как неизвестно откуда появляются Халдей и Тимоха. Я вырываюсь из рук у них, хоронюсь, но

уже уверен: куда ни спрятаться, Халдей и Тимоха все равно меня найдут. Сначала я никак не могу понять, отчего мне от них не уйти, но потом догадываюсь: Халдеев—чортова дюжина и чортова дюжина тоже и Тимох. Тоска сильнее всякого ужаса сжимает сердце, я не могу тронуться с места, но тут почему-то все Тимохи набрасываются на Халдеев, начинают гоняться друг за другом. Тимохи взбираются на Халдеев, подгоняют их кнутами и скачут на них. Это очень смешно. Я хохочу все сильнее и сильнее, смех душит меня, я не могу его сдержать и вот уже захлебываюсь, кричу и от своего крика пробуждаюсь...

Тимоха возвратил книгу Критскому, хотя Жюль Верн и считался запрещенным. В последнюю перемену роман опять исчез из парты Критского. В классе произошел переполох. Критский растер глаза кулаками и ходил жаловаться Тимохе. Я со злорачеством следил за Критским. Искали виновника. Тимоха обыскал мой сундук. Я с готовностью помогал ему в осмотре. Тимоха рылся в вещах молча.

... Книгу похитил я. Сделал я это из мести и от озорства. Непонятно, как ухитрился я стащить ее на глазах бурсаков и остаться незамеченным. Моя смелость на этот раз превосходила мои способности. Должно быть я действовал с ловкостью лунатика. Томило искушение дочитать роман, узнать о судьбе морского отшельника, но читать было негде. Я разордал роман на мелкие клочья, бросил их в нужник. Полагаю, я был в тот момент собой доволен. Некоторые бурсаки догадывались о виновнике второй кражи, но, странное дело, подозрение пошло мне даже на пользу. Кое-кто стал ко мне относиться с большим уважением. Однако, другие, их было большинство, продолжали травить меня. Бурса поощряла воровство на стороне, но преследовала посягателей на бурсацкую собственность. Преподаватели тоже не миловали меня, и хотя уроки я отвечал толково, журнальные отметки теперь мне неуклонно снижались. Я изменил поведение. Лучше прикинуться, будто ничего не случилось:

стащил и стащил. Быль молодцу не в укор. Я старался превратить кражу в некое молодецкое действие. Подходили бурсаки из старших классов, дергали за ухо, либо хватали за шиворот.

— Сбондил, братишка, книжку?

— Сбондил, — отвечал я с напускной развязностью и охотно рассказывал о краже. Получалось лихо; не успел Критский отвернуться, а я уж тут как тут: книгу — под полу, только меня и видели. Рассказы украшались небылицами. В угоду бурсакам я издевался над собой, а после, ночью, на койке плотно закрывался одеялом с головой, чтобы соседи не услышали моих всхлипываний.

— Что ж, ты и потом будешь тигр брить? — спрашивали меня бурсаки.

— Ничего не стоит. — Так укреплял я за собой славу заправского ворюшки, заклиная себя никогда и ничего больше не красть. Самая мысль о воровстве вызывала во мне отвращение.

Перед началом я попрежнему упорствовал. При встречах Тимоха иногда задерживал меня.

— Ученый муж, ничего еще не спер?

Я упрямо отмалчивался, либо озирался по сторонам и невнятно бормотал:

— Я — ничего; я учу уроки.

— То-то — уроки, — насмешничал Тимоха. — А в твоих уроках не сказано, как стащил ты книгу у Критского?

— Я ее не тащил...

— Она сама к тебе в сундук забралась. Сундук, не иначе, у тебя волшебный.

Я забивался в какой-нибудь угол и с испуганием обрушивал козьи на бурсацкое начальство и на сверстников

Мной овладели набожность и суеверие. Мир сказочных видений переплетался с замогильными призраками. С трепетом вышепывал я из начатков: «Камо пойду от духа твоего и от лица твоего камо бегу, аще взвяду на небо, ты тамо еси, аще сниду во ад, ты тамо еси...» Я усердно молился, чаще всего обращаясь к божьей матери: она казалась всех милосердней и человечней: приобрел ее обра-

зок и приладил его на внутренней стороне сундучной крышки. Перед сном я старательно ограждал крестными знаменьями койку, опасаясь нечистой силы. Прилежное чтение Ветхого и Нового заветов сделало меня лучшим учеником по священной истории. Учитель Кадомцев, рыхлый, с отеками, слушая мои ответы, поощрительно мычал, выводил в журнале четверку и нараспев в нос говорил: «Весьма... но предосудительно, что нечист на руку...»

Я садился с видом, точно меня хлыстнули бичом.

Любимым писателем в те дни сделался Гоголь. Я испытывал болезненное очарование. Представлялся Ивась, бедное дитя, со склоненной головой, сзади его гремел Басаврюк, и безвинная кровь младенца брызгала Петро в очи... Парубок Левко видел в серебряном тумане хороводы утопленниц, у них были прозрачные тела, но у одной, у ведьмы, внутри что-то чернело... На могилах шатались кресты, перед Данилой Бурульбашем и Катериной поднимались мертвецы с ногами до самой земли: — душно мне!.. Где-то мерещился неведомый колдун... Бурсак Хома не мог отвести взора от красавицы панны в гробу: — рубины уст ее, казалось, прикипали кровью к самому сердцу... — Хома чертил в церкви волшебный круг, а мертвая панна уже стояла на черте, уже расставляла руки, посиная, она ударяла зубами и открывала стеклянные очи свои...

Мир населялся ведьмами, утопленницами, нежитью. Красота была страшная, пронзительная, мертвая, я переживал что-то колдовское, какой-то сладкий ужас. Замирая, ждал неведомых свершений. За жизнью, за зримым чудилось тухлое, тленное, смертное, и самый Гоголь казался чудодеем и колдуном со своим острым, пронзительным лицом...

... А бурсацкая жизнь шла своим обычным чередом... Кругом все было грязное, затхлое, вымороченное подлое... Труднее всего было просыпаться, когда еще темно и холодно, когда вспоминаешь захарканые полы, подвал, решетки на окнах, Тимохины окрики, про-

пыленные классы, пустынный двор, забор с гвоздями, низкие серые облака, унылое карканье ворон и галок, шелудивых собак на улицах, обывателей, надоевших и самим себе, и друг другу... А вставать надо... Иначе Кривой стянет одеяло, оставит без булки...

... Ждали рождественских каникул. На классных досках жирно писалось: **Роспуск!!! Роспуск!!!** Преподаватели приходили с опозданиями, уроков не спрашивали, читали «светские книги». В каникулы роспусков между бурсаками сводились главные счета. Если бурсак хотел расправиться с недругом, он угрожал: «Придет роспуск, — я покажу тебе!» В роспуск ни под каким видом нельзя было жаловаться начальству. Надзиратели, Тимоха, Халдей тогда не решались появляться: чего доброго, угостят кирпичом, досыта доотвала наслушаешься всякой всячины, вспомнят всех предков, даже до десятого колена, оболгут, освистят, чего возьмешь с бурсы в роспуск.

... Бурсацкий разгул начался после обеда. Вечером бурса улюлюкала, орала, волила, гремела. Ватаги и шайки бурсаков носились по коридорам, по классам, по двору с лихими выкриками, с воем, с рычанием, с дичайшим ржанием; звенели, дребезжали стекла, тряслись половицы, хлопали двери... Можно было подумать: бурса спятила с ума, либо подвергнулась нашествию и разгрому вражеских орд. На улицах обыватели с удивлением прислушивались к бурсацкому неистовству, таращили глаза, спешили обойти опасное место. Во втором классе успели исполосовать гвоздями и ножами стены: куски штукатурки забелили пол. Рядом, в третьем классе, разворотили несколько парт. В раздевальной состязались, кто дальше плюнет, в нужниках мочились прямо на асфальт, стояли парные лужи. Группа бурсаков, матерно ругаясь, открыто занималась онанизмом. В вертепе Магдалины разгромили несколько шкафов. Составили оркестр: одни дубасили по столам поленями и палками, другие барабанили руками, третьи захватски свистели, четвертые выводили

немыслимые рулады, пятые бесчинствовали, наполняя столовую сероводородом. На дворе дрались, ошупывали синяки, шишки, кровоподтеки. Мимоходом лупцевали приготовишек. Наушника Неведова накрыли пальто и так измолотили, что он даже не мог говорить, у другого ябедника, Васильевского, утащили учебники, тетради и порванными листами покрыли пол. Четвертоклассники пьянствовали на кухне со сторожами, туда никого, кроме «своих», не пустили.

Я не знал, куда, к кому пристать. Каникулы меня не радовали. Утром должна была приехать мама. От надзирателей или от Тимохи она узнает о краже, и тогда какими глазами взгляну я на нее. В сундучной одноклассник, Петя Хорошавский, укладывал в дорожный мешок белье и вещи. Я не дружил с Петей, но и обид от него не видал. Хорошавский уступал мне в силе. Я подошел к нему и пнул его ногой. Петя поднялся с пола и с недоумением на меня поглядел.

— Ты зачем дразнил меня? — задирая, спросил я Петю.

Петя отодвинулся от меня.

— Неправда, я никогда тебя не дразнил.

— Нет, ты меня дразнил вчера после ужина...

Я шагнул с Хорошавскому и ударил его в грудь. Петя выставил правую руку, в глазах у него показались слезы. Я пришел в бешенство и стал бить Петю куда попало, в голову, подлобочку, по рукам. Я притиснул его к стене, он вырвался и отскочил за сундук. Задыхаясь, он прошептал:

— Что ты раскопляешься надо мной! Попробовал бы побить Критского, он бы тебе показал...

Я разом опустил руки. Теперь я нашел, что томило меня весь вечер. Хотелось посчитаться с Критским, но желание было темное, да Критский и не жил в бурсе. Едва я все это понял, исчезло глухое раздражение. Я пробормотал, отступая:

— Завтра непременно изуродую Критского! А ты не дразни меня больше.

Петя Хорошавский наклонился над сундуком, худенькие плечи его вздрагивали.

— Ты на меня не обижайся, — сказал я глухо и примирительно, глотая слюну. — В отпуск все дерутся. Хочешь, я помогу собрать тебе вещи? Завтра я взбукетню Критского... — Я потянулся к мешку, Петя молча оттолкнул меня и вытер наскоро слезы.

— Меня тоже, брат, избивали. Меня так, брат, избивали, — глал я Пете, — так меня отчихвостили, я прямо еле ноги унес, ей-богу!

— Уходи от меня! — прошептал Петя. После продолжительного молчания я заявил:

— Если тебя кто-нибудь будет обижать, ты только кликни меня, я его разлимону, до свадьбы не заживет.

Тут я порылся в карманах и вынул перочинный нож.

— На, бери мой ножик. Дома у меня есть другой, еще вострей, ей-богу!

Никакого ножа у меня дома не было. Было жалко дарить Пете ножик завьяловской стали, но очень хотелось задобрить Петю. Петя поднял на меня длинные, мокрые ресницы, подарка не взял... Я положил ножик на мешок и поспешно отошел от Пети. С этого и началась наша продолжительная и верная дружба. Остаток вечера я дебоширичал: в умывальной, присоединившись к другим бурсакам, наполнял жестянки водой и лил ее со второго этажа на головы поднимающихся по лестницам, после дрался на кулачки и был изрядно побит.

На другой день я искал Критского, но он не пришел в класс, вероятно, к лучшему: едва ли я бы с ним справился. Приехала мама; мы не виделись четыре месяца, она приглядывалась ко мне с испугом. Односложно и рассеянно я отвечал на ее расспросы о бурсацком житье-бытье. Я не жаловался на него и очень боялся, как бы она не узнала, за что мне выведена четверка с минусом по поведению. Мне повезло; когда мама получала отпускной билет у Кривого, в приемной толпилось много бурсаков и их родителей, и маме не удалось пого-

ворить с надзирателем. Плохую отметку она увидела уже в раздеальной; несвязно я объяснил: четверку мне поставили за драки с товарищами и за шалости в классе. Мама спросила, где живет инспектор. К счастью, Тимоха отлучился в город, а нам надо было спешить к поезду.

Дома я изолгался. Я хвалился, будто пою на правом клиросе альтом, выступал солистом и скоро сделаюсь исполтителем. Подробно я рассказывал Ляле, какой на мне будет стихарь во время архиерейской службы, я выйду на середину церкви, и тут все затихнет, слушая мой дивный голос. Ляля тоже хотела послушать мой дивный голос, но я боялся застудить горло. Это очень нежная вещь — первый альт. Он требует за собой ухода да ухода. Регент строго-настрого запретил мне петь на стороне, — так бережет он мой голос. Нет, уж пускай Ляля лучше потерпит.

Дальше я поведал ей замысловатую историю. Шел я однажды по Большой улице и встретил карету. Из кареты выглянул важнецкий гладкий барин в лириках и в соболях. Барин спросил, где Покровская улица. Я указал ее. Гладкий барин полюбопытствовал, как меня зовут, и, когда я назвал себя, он внимательно на меня посмотрел. «Не помнишь ли твоего крестного отца?» «Мой крестный отец — сын генерала Унковского.» — «Я и есть сын генерала Унковского. Здравствуй, здравствуй, дорогой крестник!» Понятно, он меня расцеловал, и, понятно, он посадил меня к себе в карету, и, понятно, на тройке воровных мы подкатили к «Гранд-Отелю», лучшей гостинице в городе. Роскошные ковры, люстры, умопомрачительные зеркала, картины, лакеи в золоте и в серебре... Я отобедал у сына генерала Унковского, моего крестного. На прощанье он хотел навязать мне золотой, но я отказался от золотого. Крестный в карете доставил меня в училище, это видела вся бурса. Меня засыпали расспросами. Да, да, это мой крестный, сын всемирно известного генерала Унковского, того самого, который держал знаменитую шапку над Владимиром Мономахом, когда свершалось помазание ны-

нешнего царя на царство. С крестным я могу побывать запросто у губернатора или у архиерея. Карета в моем распоряжении.

Слушая эти мои сказания, Ляля раскрывала милый и непорочный свой рот и лишь один единственный раз отметила с недоумением противоречие: повторыя поучительную и пышную историю об Унковском, я великодушно согласился принять золотой и на славу угостил бурсаков, то-то пир был горой. Покутили порядком. Здесь Ляля несмело заметила:

— В прошлый раз ты говорил, что денег у крестного папы ты не брал, а сейчас говоришь, что взял у него денег.

— Какая ты недогадливая, Ляля! — ответил я сестре без малейшего смущения. — В прошлый раз мама в кухне высеивала муку и могла услышать, что я прокутил целый золотой. Она не должна об этом знать, не правда ли? — Да, это истинная правда, мама не должна знать о прешках своего непутевого сына.

Не поскупился я на слова и перед деревенскими ребятами. Соседу Ваньке Пасхину я дотошно объяснял, насколько трудно изучать греческий язык и латынь, дальновидно умолчав, что изучают их в бурсе со второго класса. Ванька с остолбенением слушал мои таинственные выкрикивания: антропос, целум, стелла. Он даже забывал во время рукой провести под носом. Рассказывал я также о городе, о домах в двенадцать этажей, о пальмах в городском саду, об архиерее, о зверинце. В зверинце я не успел побывать и только на афишах видел страшных полосатых тигров, похожих, впрочем, больше на наших отечественных коров, но подобные мелочи отнюдь меня не смущали. Утверждал я также, что воспитанникам духовного училища «воспрещается» (именно так я и говорил — воспрещается) водиться с Ваньками и Таньками, потому что им, питомцам, приурочован путь злачный и отличней от Ванькиной и Танькиной деревенщины, и, доведись Тимохе Саврасову увидеть меня вместе, например, с Пасхиным, не посмотрел бы неукоснительный инспектор на каникулы и уж

сумел бы расправиться с ослушником. Тут я пугливо осматривался по сторонам, и вместе со мной оглядывался и тарашил глаза и Ванька Пасхин.

Надо было сохранить меру в гиперболах. Я не сохранил ее, и дня за два до отъезда мама с грустью промолвила:

— Смотрю я на тебя и не узнаю: точно подменили тебя. Чужой стал, начал, лгать научился. И что только делают с вами в вашей бурсе? Не будь ты сиротой, а я — прс форней, и одного дня не продержала бы тебя в этом училище. Ты должен помнить: надеяться нам не на кого, нужно самому выбиваться в люди, а то что же это будет: не успел полгода проучиться, а уж получил плохую отметку по поведению. И дома пред родными, тебя слушая, делается прямо стыдно.

В свое оправдание могу сказать лишь одно: при всей своей оголтелости я часто размышлял о жизни-мачехе и о своих незадачах...

В бурсе я нашел покровителей в старших классах. Я слонялся меж партами и кланчил почитать книги. Бурсаки заметили, что я знаю отрывки из «Демона», «Мцыри», баллады Жуковского и даже оды Державина. Меня причислили к «башковитым». «Башковитых» бурса уважала, пожалуй, даже больше, чем силачей и отчаянных. Это может показаться странным для бурсацкого быта, но это так именно и было. По-своему бурса оберегала «башковитых», ими гордилась, их поощряла, и не этим ли между прочим долею объясняется, что как-никак из мутных бурсацких недр повыбивалось много славных разночинцев, революционеров, писателей, критиков, публицистов, ученых.

Мне помог четвертокласник Чапуров, ученик больше старательный, чем одаренный. Он брал для меня книги из библиотеки для великовозрастных, защищал от обид, насмешек и колотушек, зазывал в четвертый класс и заставлял читать стихи. Сверстники чапуровы ко мне тоже сделали снисходительными, а потому и в младших классах меня меньше стали дразнить.

Перед масляной неделей Тимоха вновь поймал меня с недозволенной книгой.

Среди книжного хлама у букиниста, су-кого, степенного старика, я нашел книгу рассказов Короленко. Книга сильно заплесневела у корешка, пахла затхло и кислотовато. Я прочитал повесть о девочке, погибшей среди каменных развалин. о бродяге Тибурции. Повесть увлекала меня, и я втихомолку даже плакал над ней. Я проходил с книгой однажды по коридору, неожиданно на меня надвинулся Тимоха Саврасов, и не успел я моргнуть глазом, как он уже выхватил у меня Короленко.

— Откуда взял?

— Нашел в столовой под шкафом...

— Так-так... — Тимоха корешком ударил меня в плечо.— Жюль Верна нашел под шкафом, Короленко нашел под шкафом... Придумал бы что-нибудь позабористей.

Я не хотел придумать что-нибудь позабористей; хотелось позлить Тимоху.

Тимоха скривил губы и небрежно перелистал книгу.

— За такие книги, братец ты мой, за такие запрещенные книги безо всякого выгоняют вон из училища. Будешь читать этих Короленок, собирайся лучше к мамаше на полати.

Я отсидел в карцере и опять получил четверку по поведению. Тимоха прозвал меня господином Короленко и писателем. К этим прозвищам он прибавлял разные позорные клички. «Эй, ты, господин писатель, Короленко, тать нош-ной и дневной! Ничего еще не сбондил?.. А что там написано у господина писателя Короленко про тех, у кого чешутся руки на чужое добро?..»

Ах, навязло в зубах тогда это чужое добро!

В первый класс я перешел седьмым по разряду, а учился вторым.

Проступок мой бурсой забывался...

... Новые огорчения пережил я во втором классе. Прибавились древние языки, трудней стало и с другими предметами. Четверки и пятерки сменились тройками, тройки пошли вперемежку и с двойками. Халдей, Тимоха, преподаватели сначала надоедали внушениями, но скоро им пришлось сажать меня в карцер, оставлять без обеда, без ужина, лишать отпусков на праздники к мате-

ри. Мама к тому времени перебралась в город. Она пристроилась учительницей рукоделья в женском епархиальном училище. По воскресным дням я приходил к ней, жадно уничтожал сдобные пирожки, выслушивал сетования по поводу моих троек и двоек, отмалчивался, либо залихватски разделявал начальство.

Бурса, карцеры, двойки, попреки вко-нец опостытели, и я все больше и больше стал увлекаться Майн-Ридом, Жюль Верном, Фенимором Купером, Луи Буссенаром. Читать их приходилось в отхожих местах, между шкафами, на чердаках, за сараями. Читая, надо было следить, не заглянет ли в потайное место Кривой, Красавчик или сам Тимоха. И все же — самозабвение было неизяснимое. В вольных необозримостях распахи-вались пампасы и прерии, золотой чешуей сверкали Миссури и Миссисипи, вставали несокрушимой стеной тропиче-ские леса. Ветер степей кружил голову. С высот низвергалась южная ночь, таившая отравленные стрелы, копыта, томагавки, ягуаров, пантер. У костра чутко отдыхал благородный Соколиный Глаз, он же Кожаный Чулок, он же Следопыт, Длинноствольная Винтовка. Раздвигая гигантские сплетения лиан, неслышно появлялись последние дети Ленаппа: неустрашимый Чинхгахгук и его смелый сын Ункас. Нежная Юдифь обещала ласку, любовь, страсть, страшные и обольстительные, как смерть; верный Эль-Соль со своей сестрой мелькали в просветах зеленой чащи; я хотел обладать спасителем-конем, конем-другом Моро, добивался верности Разбуа и Хо-зе, делался ползуном по скалам, испанским гверильясом, ямайским марроном. Позже, в зрелые годы, искусство откры-ло мне новые миры обольщений, правдоискательства, страстей, смеха и горя. возмущения и надежд. Я научился испытывать радость, когда в слове слышится ритм вселенной, когда художник учит по-иному, по-новому видеть привычное, повседневное, срывает покровы с будущего или когда испытываешь гордость за человеческий гений и чувствуешь бесконечность неустанного движения жизни; но никогда не читал я

книги с таким самозабвением, какое я пережил в пору бурсацкого моего отрочества. Очень трудно последовательно рассказать, как человек делается революционером; внутренняя наша жизнь подчинена общему закону: она развивается не только путем постепенных изменений, сплошь и рядом ей свойственны внезапные перемены; такие перемены подготавливаются в потемках нашего духа и потом сразу себя обнаруживают; но для меня несомненно: в том, что я стал в революционные ряды, помимо остального, повинны также Следопыт и Эль-Соль, Разбуа и Хозе, делаверы и дакоты. Судьбы книг прихотливы. По выражению Тютчева, «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». Творцы Эль-Солей и Зверобоев оправдывали грабительские действия своих «бледнолицых братьев»; эти братья порохом и железом, обманом и предательством истребляли племена «краснокожих», спаивали их огненной водой, заражали дурными болезнями. Об этих подвигах в тех книгах обычно не писалось. Наоборот, бледнолицые братья изображались доблестными и справедливыми, защитниками лучших достижений ума человеческого, делаверы же и дакоты награждались свирепостью, низостью, коварством. И все же мы, подростки, играли всего чаще в «индейцев», мы украшали головные уборы перьями птиц, учились испускать горланные боевые кличи, метать копья, бумеранги и томагавки, мы складывали вигвамы, охотились за мушкадазами-глухарками. Правда, Зверобои происходили от бледнолицых, но, в сущности, они мало чем отличались от индейцев. Увлекаясь ими, мы отрицали бурсу, меццанство, тогдашний «тихий и мирный» уклад. В индейцах мы утверждали права человека, пусть отвлеченные, но для того времени по-своему смелые. «Индийской» являлась и наша деревенская Русь. И вправду, разве мужики для хозяев той жизни не были краснокожими делаверами и команчами, людьми другой, низшей породы и расы? И разве Русь не разделялась на бледнолицых и краснокожих?..

... Я забросил скучные учебники, по-

купал романы приключений, выпрашивал их у приятелей и знакомых и даже сел однажды сам писать повесть из жизни гурунов. Повесть начиналась так: «При свете луны страшно сверкнул разбойничий нож мельника...» Очевидно, я безжалостно ломал навыки русских писателей, равнодушных к сюжету и к занимательности. К сожалению, повесть дальше не подвинулась и не обогатила читателя сюжетными новшествами. В то же самое время тройки и двойки сменились двойками и единицами. Вновь собрал я правдами и неправдами библиотеку; опять Тимоха делал набеги на мой сундук и опять отбирал книги, и опять я пополнял свою библиотеку. Тимоха приказал надзирателям следить, чтобы я занимался только учебниками. Кривой и Красавчик не сводили с меня глаз. Я решил укрыться от них в больницу. У меня нашли малокровие. В больнице я ловко обманывал и доктора, и фельдшера, сумел пролежать семь недель. Тимоха неоднократно требовал, чтоб меня выпустили, но обнаруживалась снова высокая температура (набивал градусник), либо отнимались ноги, и я не мог даже сойти с койки в присутствии больничного начальства. Тимоха угрожал, даже бушевал, читал проповеди, но угрозами и отчитываниями болезни не изгоняются. По выходе из больницы я удачно вошел за нос преподавателей; когда меня спрашивали, я отвечал: «Отстал и догоняю». Мне верили, и я еще несколько недель не заглядывал в учебники. Обман обнаружился сразу. Видимо, по взаимному уговору преподаватели в один и тот же день проверили мои познания. Ответы были неутешительны, и я получил ровно пять единиц. Я оправдывался, на мой взгляд, довольно красноречиво и даже заплакал. Тимоха Саврасов поднял меня насмех и отправил в карцер. Вызвали маму. Мама на рождественские каникулы не отпустила меня к Николаю Ивановичу, а пригласила репетитора, шестиклассника-семинариста. От него пахло луком и заносенным бельем, к тому же он сильно рыгал. Я возненавидел его, заставлял дважды и трижды повторять одно и то же, спокой-

но говорил, что ничего не понял. Семинарист-богослов ерошил волосы, потел, еще более дурно пахнул, смотрел на меня с яростью, жаловался матери; я подавлял их тупым упорством, занятый любимыми героями и их судьбами.

После рождества Кривой поймал меня опять за чтением «недозволенных книг», и после одной утренней молитвы Тимоха Саврасов довел до всеобщего сведения поучительное решение училищного совета:

— Училищный совет, принимая во внимание позорную и неуклонно возрастающую малочисленность имя рек воспитанника, — принимая далее во внимание, что пресудительная малоуспешность объясняется пагубным увлечением упомянутого воспитанника светскими книгами, — определяет: означенному шитому бурсы воспретить чтение каких бы то ни было книг впредь до полного исправления. Надзирателям вменяется в обязанность неусыпно следить за безоговорочным выполнением настоящего решения.

— Я покажу тебе прерии, льяносы и пампасы, лодырь! — заключил Тимоха свое веское вразумление.

Я продолжал получать новые единицы, за что подвергался карцеру и другим наказаниям. Почти ежедневно маялся я «столбом», а в праздничные дни меня совсем не пускали больше к матери. Книжки читать удавалось изредка. Я нашел выход, долею он заменил мне чтение: стал устно сочинять были-небылицы; сочинительство показалось делом привлекательным; кроме того, оно было недостижимым для бурсацкого начальства. Рассказывая об удивительных приключениях, я воодушевлялся и часто много выдумывал неожиданного даже и для себя.

От недоедания, от карцеров, от единиц и окриков я вытянулся и похудел. По неделям я не умывался, ходил в рваных тужурке и брюках. Я усвоил вполне бурсацкий жаргон, лихо на нем объяснялся, выдумывал и сам разные залихватские и забубенные словечки; измывался над малышами, обирал и избивал их, травил прохожих, разбивал лотки у торговков, возвращаясь из Покровских бань, задирав гимназистов, реали-

стов и учеников ремесленного училища. Порой, случайно взглянув на себя в зеркало, я с удивлением созерцал шалое лицо худого, бледного подростка, в желтых пятнах с озорными, беспокойными глазами; у меня недурно вились волосы, но в бурсе стригли кое-как, и я, калган, больше походил теперь на арстанта. Пожалуй, лишь одни губы — за них меня дразнили губошлепом — сохраняли еще детское простодушие. Я находил удовольствие казаться не тем, кем был на самом деле. Напускная удалость, наигранное молодчество были мне свойственны даже больше, чем другим бурсакам. Хотелось прослыть «заядлым», «отчаянным», «отпетым». Я «бил на увольнение», ломал, насилывал себя, защищая мысли и мнения, заведомо ложные, теряя чувство меры, легко впадал в преувеличение; искаженными глазами глядел я на мир и на людей. Сознывал ли я, что со мной делалось?.. Иногда я приходил в себя, но на короткое только мгновения...

Тогда-то и было положено начало тайному сообществу тугов-душителей. Название мы взяли из романа Луи Буссенара, где действовала таинственная секта игогов. Туги-душители возвели бурсацкое озорство в героическое дело и в подвиг. Слава Трунцева не давала нам покоя. Руководителем тугов-душителей я избрал самого себя. Сообщество требовало от членов беспрекословного повиновения. Клятву верности мы держали на петле душегуба. В сообщество, кроме меня, вступили сверстники: Костюшка Трубчевский, Николай Любвин, Витька Богоявленский, Петя Хорошавский и Серега Орясинов.

Всего непонятней казалось вступление в сообщество тугов Пети Хорошавского. Петя, тихоня и скромник, отличался примерным поведением. После случая, когда я избил Петю, а после подарил ему завьяловский нож, наша дружба все крепла и крепла. Во втором классе мы вместе увлекались Зверобоем и Ункасом; однако, Петя Хорошавский продолжал итти в первом разряде. Петя мало чем напоминал бурсака. По воскресным дням к нему приходила сестра-

гимназистка, года на два старше его. Они сидели в приемной, оба прехорошенькие, оба опустив длинные ресницы, дабы не видеть бурсацкой скверны, оба приветливые. Петя хранил печать сообщества из березы с выдолбленными словами: «Черные туги-душители», — внизу веревка и череп. Хорошавскому доверили печать, потому что из нас он был самым аккуратным.

Николай Любвин среди тугов-душителей слыл главным силачом; глядел он всегда внушительно, исподлобья; глаза в красных веках у него слезились. Любвину не хватало казенного пайка, и он подкреплялся увесистыми ломтями черного хлеба, круто посоленного и обильно смазанного горчицей. Горчицу воровал у повара. Подобно Пете, Любвин тоже чаще всего молчал, но если его сильно раздражали, он мгновенно покрывался багровыми пятнами, надувался, потел, без предупреждения бросался на обидчика и свирепо тузил его крепкими кулачищами Сирота и закоренелый бурсак, Любвин и каникулы коротал обычно в бурсе. Летом его брали к себе в деревню дальние родственники, дьячок и дьячиха. Дьячок приходил за ним пешком, сделав конец в добрые двести верст. Домой возвращались, питаюсь христовым именем. Любвин отличался выносливостью и упрямством, наказания переносил с грубой надменностью. Был он склонен к размышлениям, но думал медленно и часто поражал нас неожиданными умозаключениями. Молчит-молчит, да и брякнет ни с того, ни с сего: «А мне знакомый семинар недавно сказал, что человечьи души после смерти переселяются в животных...» «Ну, и что же?» — спрашивали приятели. Любвин загадочно глядел, мрачно отвечал: «Если наши души переселяются в животных, то и души животных переселяются в нас. Значит, человек есть животное. И в Сереге например, живет душа бегемота...» Серега спокойно смотрел на Любвина. «Этого не может быть, я, брат, воды не уважаю, а вот в тебя уж, наверно, вселилась душа зеленого осла...» Любвин деловито спрашивал: «Почему зеленого?» — будто он усомнился только в

окраске. Серега пояснял: «Зеленые осла — самые большие идиоты». Любвин надувался, жевал губами и отходил, скрестив руки, как бы удерживал их через силу. Он огорашивал нас вопросами: «Скажите, как надо отправлять службу, если вознесенье случится в воскресенье?» — «Шут его знает!» — беспечно отвечал Костюшка Трубчевский. «Вознесенье не может случиться в воскресенье, оно бывает всегда в четверг» — поучал нас Любвин. «Ну, и что же?» — «Ничего». Однажды Коринский заставил Любвина прочитать наизусть пушкинского «Пророка». Любвин дошел до строк: «И шестикрылый серафим на перепутьи мне явился, — перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он...» Тут Любвин оборвал чтение, решительно заявил:

— Это неверно...

— Что неверно? — спросил удивленный Коринский.

— У серафимов нет ни рук, ни ног, а только голова и крылья. Серафим не мог коснуться зениц.

В классе наступила тишина. Коринский потянулся было рукой к правому своему уху, но почему-то до уха ее не донес и стал теревить борты вицмундира.

— Подразумеваются духовные, а не телесные персты, — разъяснил он наконец после изрядной паузы. — У ангелов, архангелов, у серафимов тел нету. Понял?

— Нет, не понял, — твердо ответил Любвин. — Ангелы, когда им надо являться людям, принимают телесный вид. У серафимов нет перстов.

— Верно, ей-ей, — прошептал кто-то восхищенно на весь класс с задних парт. Коринский злобно запустил на камчатку глаза, но опять сдержал себя и вновь стал объяснять, что персты серафима надо понимать «в духовном смысле». Любвин стоял на своем. Возникло дело о Любвине, новом ересиархе. Коринский требовал отречения от ереси и смирения, Любвин не отрекался и не смирялся. Коринский давным-давно расправился бы с Любвиным и «заколдовал» его, но распря приняла широкую огласку. Вопрос разрешался всей бурсой. Бурса распалась на два лагеря: на отрицателей

перстов у серафима и на допускающих помянутые персты. Спор принимал ожесточенный характер, сея заведомые соблазны, потрясая бурсацкие устои. Дело доходило до рукоприкладства и даже до побоев. Любвин ходил знаменитостью и не сдавался. Халдей и Тимохя неоднократно вызывали еретика для внушений и просветлений, но он не просветлялся. Его сажали в карцер, опять вразумляли, лишали пищи, Любвин был неукоснителен. В конце всех концов Халдей распорядился дело о перстах решительно прекратить. Бурса учла это распоряжение как победу Любвина. Правда, вопрошаемые бурсаки по требованию начальства отвечали, что серафимы бывают разных ипостасей, в том числе и с перстами, но, с другой стороны, Любвина из стен бursы не выгнали, и втихомолку бурсаки его считали правым. И то отмечалось, что Коринский не осмелился его заколдовать. Любвина прославляли. К чести нашего приятеля надо сказать, он нисколько не возгордился и попрежнему ходил среди бурсаков сосредоточенный и хмурый.

Терпеть не мог Любвин разговоров о женщинах. Слушая такие разговоры, он делался еще мрачнее и к тому же тяжело сопел. В епархиальном у него училась двоюродная сестра. Изредка Любвин навещал ее, но держал это от бурсаков в строжайшей тайне. Вызвав кузину в приемную, Любвин отводил ее в угол потемней и там либо тупо молчал, надутый и красный, пучил глаза, либо отрывисто и грубо спрашивал ее: «Двойки есть?.. Кормежка сытная? Гулять пускают?..» Сестрица робко отвечала суровому братцу. Братец долго не задерживался. «Пора в бурсу» — бубнил он себе под нос и уходил, ни на сестрицу, ни на других епархиялок даже не взглянув. Перед вступлением в сообщество тугов-душителей Любвин стал злоупотреблять цитатами от священного писания...

В прямую противоположность Любвину Костюшка Трубчевский был весельчак, балагур, проказник, беспечный пройдоха и сумасброд. Подолгу он ни над чем не задумывался, решения принимал сразу, по вдохновению. Изнури-

тельные блуждания в отвлеченностях его натуре были чужды. Мир его отличался ясностью и простотой. В знаменитом споре о перстах серафима он участия не принял и уверял, будто изыскания Любвина о серафимах годны лишь кошке под хвост. Урокам он времени много не уделял, они давались ему легко: суть дела он схватывал на лету. Обладал Трубчевский еще одним качеством, полезным для тугов-душителей: ловкостью и увертливостью; чудесно он лазал по деревьям, по столбам, по заборам и крышам. К тому же он никогда не унывал, и, когда мы попадали в положение затруднительное, он ободрял нас шутками и прибаутками, веселым прищуром глаз, потешными вывертами, уверенностью, что все сойдет с рук и «ничего не будет». Примкнул Трубчевский к тугам-душителям из-за своей непоседливости.

... Витька Богоявленский, превеликий ворчун и ругатель, вскипал часто попустому, но так же быстро и остывал. Выражался Витька сильно, изощренно и до такой степени непотребно, что даже мы, виды выдавшие бурсаки, с изумлением глядели на приятеля, а сторожа и служители даже и умиались. Витька с завидной откровенностью и во всех подробностях, понятно под секретом, рассказывал о необыкновенных своих любовных похождениях, изображая себя развратником и знатоком любострастия во всех его видах. Он посвящал нас в тайны пола; хладнокровно учил он нас, как скорее обольстить и победить женщину. Витькиным рассказам я, признаться, немало дивился. Ничего, даже отдаленно схожего, со мной не случилось. Я не одержал еще ни одной самой скромной победы. Тем более казались удивительными Витькины одоления, что его наружность отнюдь не отличалась обольстительными свойствами. Витька имел склонность к полноте, обладал к тому же тонкими и кривыми ногами; ими он гордился и называл их «кавалерийскими». Лицо Вити сомнительно украшал крупный нос, с загогулиной и с двумя «пипками». Похвалиться приятель мог только глазами, темными, «бархатными», влажными и

подвижными. Они часто неистово загорались, но порой в них теплилось что-то мягкое, хотя Витька больше всего, по его словам, ненавидел всякие «нежности». Оценивая неважно Витькину наружность, я не раз готов был подвергнуть сомнению и его рассказы, но всегда меня покорила мастерские подробности; на них Витька воистину не скупился. Да и ругался Витька, повторяю, залихватски. Сокрушительный мат уничтожал сомнения. Витька ценил дружбу и не щадил отступников. Он ревниво наблюдал, чтобы туги-душители не болтали лишнего, не доверялись кому не следует. На врагов Витька имел нюх, и нужно было только на него посмотреть, когда он за кем-нибудь следил или что-нибудь проверял! Витька походил тогда на лягаша во время стойки, он застывал, и даже уши его приподнимались торчком, между тем как глаза неотрывно вперились в исследуемое и проникали насквозь. Людей Витька определял больше чутьем и суждения свои о них составлял скоропалительно. Он рано лишился отца и матери; каникулы проводил у дяди, сельского учителя. Дядю он, видимо, любил и не позволял нам о нем злословить.

Член сообщества Серега Орясинов подвергал нас порой многообразным испытаниям. Он любил замешкаться, когда приходилось во весь дух улетепывать от преследователей. Легко запоминалось его широкое, корявое лицо увальня, выпяченные губы, родимое пятно на правой щеке величиной с пятиалтынный. «Бог шельму метит» — говаривал про это пятно Витька. Ленивый, неповоротливый, всегда как бы спростонья, Серега Орясинов иногда неожиданно для приятелей, а возможно и для себя, вдруг обнаруживал и ловкость, и сметку, и проказливость, при чем престранно улыбался. Свершив очередное озорство, Серега опять погружался в сонную одурь. Он добродушно сносил над собой всякие шутки и только почесывал за ухом, когда Богоявленский награждал его сверхчувственными загибами. В полном и совершенном несоответствии с этими и подобными свойствами, Серега имел склонность к франтовству, делал не-

лепейшие начесы на правое ухо. Бурса таким наклонностям не потакала, да и средства у Сереги были ничтожные; волей-неволей приходилось смиряться, и, помимо зачесов, Серега время от времени начищал сапоги казенной едкой ваксой до умопомрачительного блеска да еще за чаем оттопыривал мизинец, подобно уездной барышне.

О себе должен прибавить: я наречен был Верховным Тугом-Душителем, являлся в известном роде идеологом и даже вождем. Обыденным и даже пакостным действиям я придавал черты возвышенные и фантастичные, гасил сомнения, укреплял веру.

Сообщество тугов-душителей писанного устава не имело, а устав неписанный отличался суровостью. Туги-душители объявили войну не на живот, а на-смерть бурсацкому начальству, преподавателям, фискалам, городским обывателям, будочникам. Для приема в общество нового члена требовалось единоедушное согласие. Решения принимались по большинству голосов, подчинялись им беспрекословно. За измену, за болтливость, за раскрытие тайн полагалась позорная смерть. Сходиться, видиться на глазах бурсацков членам общества запрещалось. Николай Любвин пытался придать тугам оттенок мистический: туги-душители хранят в потайном месте черный камень. Черный камень знаменует ночь, когда свершаются ногами главные подвиги. Камень нельзя никому лицезреть, ниже касаться его. Дважды в месяц вокруг камня происходят радения. Душители поют священные свои гимны, дают страшные клятвы и зароки, целуют и едят землю, орошенную жертвенной кровью. Мистические предложения любомудра были отвергнуты, при чем Витька ему заявил: «Ну, и лопай грязь, если охота, на то ты и есть стоеросовая дубина!» Обиженный мистик надулся, запыхтел и невнятно пробурчал, что дубины не лопают...

... Время изобразить посылно назидательные деяния тугов-душителей, таинственной секты, из далекой Индии волей непонятных судеб занесенной в один из вертоградов российских...

... Скучный ужин не развлекает бурсаков; жилистые куски мяса, черствый хлеб, гречневая каша с прогорклым маслом. А тугам-душителям и совсем не до еды: предстоит опасное дело. Они многозначительно переглядываются через головы бурсаков.

Собираются туги на заднем дворе за кухней.

— Взята ли печать? — деловито осведомляется Верховный Душитель. Хранитель Печати показывает ее из кармана. Верховный Душитель совещается с Главным Начальником, он же Витька Богоявленский.

— И «Франция» был их пароль, и лозунг: «Святая Елена», — неизвестно к чему напыщенно возглашает Трубчевский, Черная Пантера¹⁾. Пальто у него растянуто; собрав его за спиной обеими руками, Трубчевский махает фалдами, точно хвостом.

— Убью, аспид! — свирепствует Главный Начальник. — Балда распратаковская!.. — Понятно, Начальник назвал Черную Пантеру не распратаковской, а полными, звучными русскими словами, но да будет заранее ведомо: звучных и вдохновенных выражений Начальника не вытерпит никакая, а тем более советская бумага, и остается лишь пожалеть, что неувековеченным остается несравненная их живописность.

— Хвалите, отроцы, господа, хвалите имя господне, — изрекает Любвин. Он присвоил себе диковинное имя: Стальное Тело с Чугунным Гашником.

Верховный Душитель глухим и прощипованным голосом призывает тугов держать клятву верности. Июги образуют круг, рука с рукой: «... Отрекаются от бабушки и от матушки, от отца и от родни своей, от сестер своих и от братьев своих. Отрекаются от звезды полночной и от моря синего-океяна. Отдаю живот свой тугам-душителям до гробовой доски тесовой. Лопни мои

¹⁾ Индейские прозвища иногда не соответствуют индусскому обществу: сообщество было организовано позже увлечения индейцами; бурсаки, наделившие себя раньше разными именами, не соглашались их менять.

глаза, покройся мой рот сукровицей, прилипни язык мой к гортани моей, возьми меня Вельзевул с шерстью огненной, еще свершу измену тугам-душителям... Гроб всем и крышка, веревка и саван!..»

Клятву верности сочинил Верховный Душитель, но ее подвергли значительным исправлениям и дополнениям. Клятва вышептывается истово: июги верят в магию слов. Стальное Тело дополняет клятву:

— Призри, господи, с небеси и виждь и посети вертоград сей, его же насади десница твоя! Амины!..

Июги-душители перелезают через забор на улицу, крадутся по набережной мимо Покровской церкви, около семинарии хоронятся за углами домов. Проходит четверть часа. Черная Пантера, главный лазутчик, наконец, подает знак приготовиться. На улице два гимназиста, они еще далеко. Улица пустынна, темна, лишь одна семинария освещена ярко. Она нависла белыми колоннами, крышами, тяжелым куполом. Гимназисты поровнялись с домом зубного врача. Пронзительный свист Главного Начальника вьется тонкой стальной стружкой. Туги-душители срываются с мест, мигом окружают гимназистов. Гимназисты добротню одеты, в длинных серых шинелях: ребята растут, одежда шьется с запасом и впрок. У одного из ребят фуражка с серебряной кокардой даже слишком велика, надвинулась на уши. Он держит подмышками пачку книг и тетрадей. Другой, повыше, — со свертком.

— Quo vadis? Камо грядеши, синяя говядина? — премит Главный Начальник. Говядина и без окрика понимает, встреча с бурсаками поздним вечером не предвещает ничего отрадного: вражда между кутейниками и гимназистами давнишняя. Паренек повыше растерянно глядит на ватагу, с дрожью в голосе, еле слышно выговаривает:

— А вам какое дело?

Пленники бледны; они озираются, не покажется ли прохожий и не выручит ли их из беды.

— Смерти или живота? — Стальное Тело со зловецинкой наступает на гим-

назистов. Который помоложе, фальшивым дискантом пищит:

— Мы вас не трогаем, мы к вам не лезем, и вы нас не трогайте, и вы к нам не лезьте!

— Папуле с мамулей доложите, — издевается Витька. — А папуля с мамулей молочком попоят, яичком покормят, спать в теплую постельку уложат.

— Мы к вам не лезем, — продолжает пищать младший.

— Бардадым и фалька! — вещает Черная Пантера.

— Омега и ипсилон! — вторит ему Витька.

— Твари едомстии! Овцы заколения!

— Трепещите языци! Яко с нами бог!..

— Карамба! Сакраменто! — покрывает всех Верховный Душитель, подавая гем самым сигнал к действию.

Стальное Тело с Чугунным Гашником хватает гимназиста помоложе, вырывает учебники, кидает их на снег. Быстро, опытный, понаторавший в деле, он обнажает у жертвы руку. Жертва пытается безуспешно вырваться, между гем Хорошавский поспешно и старательно накладывает на руку, выше кисти, круглый отгиск: «Черные туги-душители». Внизу веревка и череп. Гимназист повыше делает более сильную попытку к обороне, но и с ним справляются без промедлений.

Действо именуется священным клеймением. Смысл его Верховный Душитель в том полагал, что оно, клеймение, должно было укреплять венценосную славу и отменную доблесть игово-индусов. Пусть знает мир о могущественной секте, пусть воссияет звезда ее отныне и до века, пусть трепещут и содрогаются враги-супротивники. Туги повсюду, они всегда бодрствуют.

Главный Начальник со свирепостью, возможно частью даже и напускной, предупреждает клейменных:

— Три дня и три ночи не должны смываться печати. Иначе — веревка!

— Карамба! Сакраменто!

— Бардарым и фалька!

— Томагавком в череп!.. Зубы грешника сокрушу!..

Рысью туги-душители возвращаются в бурсу, не замечая, что с ними нет их собрата Сереги Орясинова, вождя гурунов и дакотов, Бурого Медведя. Вождь диких дакотов присоединяется к тугам уже около забора.

— Почему отстали от нас, краснокожий наш брат! — не без строгости вопрошает дакота Верховный Душитель. Гурон ухмыляется, оттопыривает верхнюю губу.

— Провожал этих чертей до дому. Прихажу, — Бурый Медведь растягивает слова и гозорит на «а», — прихажу до ихнего дому, двери открывает человек в бородах, должно их папашка. Я и говорю папашке в бородах: «Туги-душители наказали сдать вам вот этих мальцев: больно пужливы!» Чертянята цоп меня за пальто, орут: «Он избил нас!» Насилу от них вырвался. Папашка — за мной; без шапки до самых бань गयाлся.

— Краснокожий брат наш, вождь гурунов и делаверов, Бурый Медведь! — внушает Верховный Душитель, худо скрывая восхищение пред несравненным поведением иго-душителя. — Самовольные выступления караются сурово. Прощаю вам нарушение правил, но в другой раз подвергну вас примерному наказанию!

— Тише вы, дьяволы! — шипит вдруг Главный Начальник. Он сделал стойку лягаша, приник к заборной щели. Он помавает пальцем: быть на чеку! «Тимоха!» — шепчет Начальник еле слышно. Туги-душители припадают к забору. Посередине двора, облитый серебряным туманом, в шубе до пят — Тимоха Саврасов. Он насторожился, задрал кверху голову, водит направо и налево носом, принюхивается и прислушивается. Видимо, до него смутно дошел наш говор, и он жаждет «накрыть». Мы не шелохнемся. В заборных щелях от дыхания, кажется, слышно, как тают корки снега. Где-то на окраине длинно и одиноко воеет пес. Тимоха стоит томительно долго. На дворе никого нет. В Саврасове при лунном свете, при собачьем подвывании — что-то гипнотическое, замороженное, страховитое. Наконец, медленно Тимоха движет-

ся к своей квартире. Под его преогромными кожаными галошами жестко хрустит снег.

— Кикимора долгохвостая!.. Чорт осьмирогий!..

С предосторожностями лезем мы через забор. Вождь диких дакотов и делаверов повисает на гвоздях. Витька Богоявленский с силой отдирает дакота от забора, не слишком считаясь, что станется с брюками гурона, а Стальное Тело мрачно и злорадно изрекает: «Посаженные на кол просят о воде». Дакот и делавер пыхтит. Клок казинетовых брюк остается гвоздям на поживу. Треклятый забор! Сколько лишней работы доставляет он нашей смирной и тихой старушке-экономке! Многократно сбивали мы гвозди, дабы не рвали онц бурсацкой одежды, но всевидящее око Тимохино всегда примечало отсутствие гвоздей и опять вновь сторожа украшали ими наш забор!

Когда мы были уже готовы разойтись, Трубчевский присвистнул.

— А задачки синяя говядина решает тоже по Евтушевскому! Я заглянул в ихние книги, недалеко ушли от нашего брата.

— Нам с ними не сравняться, — заметил угрюмо Стальное Тело с Чугунным Гашником, — Они в университет поступят, а мы дальше сельского попа не пойдем.

— Лучше зарежусь, а в попы не пойду, — объявил Трубчевский, Черная Пантера, и взмахнул фалдами пальто, точно хвостом.

— Я тоже не пойду в попы, — подержал его Хранитель Печати, Петя Хорошавский, и почему-то покраснел.

— Друзья! — промолвил ободряюще Верховный Душителъ. — О запахах и речи быть не может. Нам нужен целый мир.

→ Но мы-то не нужны миру, — загробным голосом изрек Стальное Тело.

— Ты прав, мой бледнолицый брат, — сказал Серега, он же гурон, он же делавер и дакот, он же Бурый Медведь, он же Орясинов. Сказал и потрогал разодранное место, будто хотел лишний раз убедиться в печальном происшествии...

Туги-душители приумолкли.

... Нечаянно нам посчастливилось выбрать удачный район, около семинарии. Родители заклеянных, естественно, заподозрели не нас, а семинаристов. Семинарское начальство по жалобам произвело безуспешное дознание. Вечерами около семинарии взад и вперед слонялись караульщики. Клеймить стало труднее, да и надоело оно уже нам. Решили свершить новые, более громкие подвиги. Верховный Душителъ приказал изготовить дальнобойные рогатки. Рогатки вышли на славу.

... Темной, безлунной ночью туги-душители разместились на бурсацком дворе: попрятались в дровах, примостились у конюшен, за сараями. Впереди дряхло оседал в снежные сугробы классный корпус. Колкий ветер забирался в рукава, под полы; но туги-душители не замечали ни красных рук, ни посинелых губ своих. Прошел надзиратель Кривой, он кутался и прятал голову в поднытий воротник мешковатого пальто. Из классов в вертеп Магдалины протопала группа бурсаков. Меднолицый повар Михеич вышел из кухни, докурил цыгарку, крикнул от холода, ушел обратно. На задах ночной сторож лениво, с большими промежутками, бил в колотушку.

Главный Начальник первым натянул рогатку. В одном из средних окон классного корпуса жалобно и гудко звякнуло и осыпалось стекло. Наступило зловещее затишье. Потом стекла стали лопаться сразу в разных местах. Окна дрожали в мелком и звонком дребезге, будто ляскали зубами, стонали и охали. Лопачущиеся звуки рассыпались мелкими колючками, свивались, сбивались в кучу, вновь буйно раскидывались и расплескивались. Черных дыр в окнах делалось все больше. Мы спешили. Костюшка бил почти без промаха. Прикусив до крови нижнюю губу, он ловко оттягивал упругую резину. Глаза у него светились. Стальное Тело пускал заряды с колена, тяжело сопел и даже хрюкал при попаданиях. Петя Хорошавский шептал: «Опять я, кажется, не попал». Он старался, точно готовил уроки накануне спроса. Вождь де-

лаверов, лежал на брюхе, резину натягивал, высовывая язык, и при удаче любовался вышибленным окном. Эстет! Горячее всех работал Главный Начальник: запуская камень, он свирепо выкатывал глаза и, если не попадал, невнятно ругался. Несмотря на ветер, он покрывался крупными каплями пота.

... Каким упоительным неистовством, каким чудесным безумием наполняет человека безрассудная стихия. Она хлещет горячими, огненными взметами! Будто раскалывается стеснительная оболочка, и освобожденный человек по-новому сливается с миром. Откуда столько неожиданной силы, и сила кажется неисчерпаемой? Ум, чувство подчинены чему-то темному, первородному, между ними нет разлада, все слилось, часть и целое едины! Пан! Все! И уже нет ничего невозможного, все доступно. Мысль претворяется в дело, и дело рождает мысль. Зрение обострено, члены делаются легкими, подвижными. Ни опасений, ни страха! Сколько отваги! Восторг потрясает человека! Необычайное ощущение свободы, полная и совершенная непроизвольность! И уже не всплески, а бешеный вихрь вокруг и в человеке. Есть непередаваемое мгновение: вселенная, все чувства и помыслы сливаются в одну внепространственную точку, и в ней — боль, упоение, нечто всепоглощающее, пронзительное и ослепительное! Дальше нет ничего и ничего не может быть! Бытие — не бытие, жизнь и смерть в полном слиянии!..

... Первым приходит в себя Главный Начальник: на нем — ответственность за оперативные действия тугов-душителей.

— Прячь рогатки! — Витька толкает и дергает нас за рукава, перебегая от одного к другому. На дворе еще никого нет, но вот-вот покажутся бурсаки, сторожа, надзиратели, Тимоха, начнется облава. — Бросай! Изувечу! — Витька подбегает к делаверу, дает ему здорового тумака. Мы приходим в себя и, на ходу хороня рогатки, отступаем. Из столовой вываливаются люди, спешит Кривой, он что-то кричит. Мы отступаем к саду помещика Романовского. Витька Богоявленский задерживает-

ся на заборе по уговору. «О-го-го, жеребьяча порода! О-го-го!» Это он наводит преследователей на ложные предположения. За нами несутся сторожа, но уже позади и романовский сад, и еще забор, и еще сад; мы уже выбрались на набережную и отсюда тихонько и легонько возвратились на бурсацкий двор; здесь, где ползком, где крадучись, спустились по темным лестницам в вертеп Магдалины.

В бурсе уверены: стекла побиты не бурсаками, а всего скорее учениками ремесленного училища. Такие налеты производились и раньше. Туги-душители тоже не дремали и распускали досужие слухи, отводившие от них подозрения. Один из служителей уверял, будто собственными глазами видел: через забор «сигал» здоровенный парень в овчинном полушубке и в серых валенках. Да, не он ли и орал о жеребьячей породе? Эти и подобные утверждения начальство, скрепя сердце, принимало: было выбито более полусотни стекол; это походило на погром; злодейство выгоднее свалить на посторонних. Тимоха произнес поучение о порче современных светских нравов; питомцы бурсы не должны следовать пагубным примерам. Наоборот, среди общего упадка благочиния и добронравия эти питомцы обязаны стать надежным оплотом смиренного мудрия; свет и во тьме светит, и тьме его не объять. Туги-душители набожное Тимохино слово слушали с видом проникновенным: Витька Богоявленский даже облизывался, между тем Стальное Тело с Чугунным Гашником тяжело вздыхал и пыхтел, только у Черной Пантеры лицо отливало лукавством и легкомыслием.

— Хорошая речь! — сказал Витька, когда мы после молитвы сходили с лестницы в класс.

— Знаменитая речь, — сказал я в ответ и поглядел Витьке в переносицу.

— Преславная речь, — согласился Стальное Тело.

Забыл упомянуть об одном случае, на первый взгляд незначительном, но с весьма заметными последствиями. Вечером того самого дня, когда мы повышибли стекла, между Главным Началь-

ником и вождем делаверов, Бурым Медведем, произошла в вертепе размолвка. Прославленный делавер подошел к Начальнику и лениво вымолвил:

— А я тебе, Витька, морду набью!

— Это за что же ты набьешь мне морду?! — с недоумением спросил Главный Начальник, спросил миролюбиво, но на всякий случай воинственно повел плечами.

— А ты зачем вдарил меня ногой, когда я стрелял из рогатки? У меня даже синяк здоровенный вскочил.

Главный Начальник цветисто «обложил» делавера и пожалел, что не переломал ему тогда ребер. Делавер обнаружил на этот раз несвойственную ему строптивость и отвечал Начальнику в решительных выражениях. Распря угрожала членовредительством. В дело пришлось вмешаться Верховному Душителю. Он смирил страсти, но полного успокоения не достигнул. Вождь делаверов и гуронов в побоище с Начальником не вступил, но с отменным упорством объявил:

— Вот увидишь, Витька, я тебе сделаю какую-нибудь мерзопакость, лопни мои глаза!..

... Спустя дней десять бурса горела. Занялся один из сараев. Бурсаки ужинали, и, когда побросали ложки и выбежали во двор, пламя уже озорно бушевало и страстно изгибалось рыжими космами. Багрово отражаясь на лицах, в зрачках, оно наполняло веселым хмелем; люди делались невольными огнепоклонниками, и было трудно, невозможно отвести взора от этой самой извечной стихии. Для бурсаков пожар являлся непредвиденным праздником. Они охотно помогали пожарной команде, качали воду, выносили рухлядь, раскидывали бревна и тес. Помогали не потому, что хотели потушить пожар, наоборот, когда пламя перекинулось с сарая на конюшню, бурсаки восхищенно заурчали, но происшествие вносило бодрую и свежую сумятицу. Старик брендмейстер, проспиритованный с голобы до пят, хвалил бурсаков за усердие, и даже Тимоха прогундосил нечто поощрительное. Только один Халдей торчал у себя на крыльце истука-

ном с красными оттопыренными ушами в прожилках.

Я сошелся с делавером у пожарнища, хотя тугам-душителям и запрещалось это делать на людях. Исключительность события заставила забыть о предосторожностях. Вождь гурунов, глядя на огонь, вспомнил «Охотников за скальпами»:

— «Осгрый, удушливый дым наполнял пещеру...» А здорово горит: прямо геенна огненная.

— Горит на пять с плюсом...

— Пожалуй, сарай-то не отстоят.

— Пожалуй, не отстоят, — согласился я вполне рассудительно.

Вождь делаверов вдруг раскрыл рот, развесил губы, осклабился и легонько толкнул меня локтем.

— Ты чего? — спросил я с недоумением дакота.

— Ловко, — обронил он, весьма довольный, и опять толкнул меня в бок.

— Ты чего? — переспросил я дакота уже с неудовольствием.

— Ловко! — обронил он опять... Помолчав, наклонился и прошептал: — А ведь сарай-то, пожалуй, я поджег!..

— Врешь! — протяжно крикнул я ошеломленный.

— Перед ужином собрал в сарае тряпья, облил керосином и подпалил. Смотри, как полыхает! Хорошо полыхает!..

Молчание...

— Зачем ты поджег сарай, не спрившись тугов-душителей и без нас вдобавок?

— Обиделся на Витьку. А он за что вдарил меня каблучищем тогда и посадил синяк? Он будет лупцевать меня куда попало, а я должен терпеть. Я же при тебе дал слово ему припомнить. Я, брат, своему слову — верный человек.

— Вот ты гусь какой! — промолвил я, тараща на Серегу глаза.

— Да, я вот такой гусь! — согласился делавер, нимадо не смущаясь. — Пусть не задается... Смотри, смотри, конюшня заанимается. Пожалуй, тоже сгорит!..

— Придется, брат, с тобой посчитать-ся, — заявил я с угрозой и покинул дакота. Пожар продолжался далеко за полночь. Сарай сгорел до дна. Конюшню

отстояли с грехом пополам. Поиски, отчего случился пожар, ни к чему не привели; предполагали: кто-нибудь из стброжей бросил в хлам недокуренную цыгарку или спичку.

Вечером на задах состоялось агора, народное собрание игогов-душителей. Я поведал: один из собратьев наших решил отомстить члену сообщества и не нашел ничего лучше, как подпалить бурсу. Трепетное волнение охватило тугов. «Беда, однако, не в том,—продолжал я обличенье,— не в том беда, что поджогом наш боевой соратник мстил своему другому соратнику, а в том она, что сделал он это самовольно, в одиночку. Туги-душители могли бы поджечь не один только сарай, но и другие бурсацкие здания. Тем самым они вписали бы свои имена в историю настоящими огненными буквами, избавив себя и товарищей от ненавистного плена на год, а возможно, и на более длительный срок покуда не достроили бы новое здание». Здесь я назвал преступника. Туги-душители были ошарашены неслыханными разоблачениями. «Недаром я саданул его тогда в бок» — молвил Главный Начальник, гневным взглядом приглашая нас поддержать негодование. Стальное Тело с Чугунным Гашником пыхтел, издавая носом таинственные звуки. Черная Пантера загавкал, он выражал недовольство. Хранитель Печати смотрел на делавера и на всех нас растерянно, точно нечаянно попал в шайку кровавых бандитов. Один лишь делавер, обвиняемый, хранил завидное и нерушимое спокойствие. Его спросили, что может он сказать в свою защиту? Он может многое сказать в свою защиту. Синяк требует возмездия. Это несомненно. Но что подумать о нашем Верховном Душителе? Ему была доверена страшная тайна. И он эту страшную тайну открыл другим. Правда, эти другие — славные туги-душители, но тайна священна, тайна неприкосновенна, подобно ковчегу завету, в скинии. Судить надо не его, делавера, дакота и гуруна, а самого Верховного Душителя. Дхи...

— Ты на фырок и на попа не запрапляй, так и этак! — яростно перебил его

Главный Начальник. Горячий тон его, искреннее возмущение, оглушительные народные выражения, видимо, повлияли даже и на упрямого Бурого Медведя, и он промямлил:

— А ты зачем pinaешься?

— Бездельник!.. Негодяй!.. Вельзевул длинношерстый! — гремел Начальник, еще сильнее напирая на народные выражения. Тут выступил Стальное Тело с Чугунным Гашником.

— Дело можно поправить, — ободрил он нас глубокомысленно и многозначительно.

— Можно ли поправить дело,—с издевкой спросил Черная Пантера,—ежели от сарая остались одни головешки?

— Дело можно поправить,—еще тверже еще многозначительнее об'явил Стальное Тело с Чугунным Гашником.

Туги-душители молча воззрились на собрата. Тогда в тишине раздался замогильный голос, подобный гласу чревоушателя.

— Надо поджечь всю бурсу, со всем барахлом. И никому не будет обидно, и все станут довольны, и не о чем будет спорить...

Туги-душители смотрели на Чугунный Гашник, не в силах ни слова проронить. Простота и гениальность предложения их потрясла.

— Как же это так?—пролепетал Хранитель Печати, Петя Хорошавский.

— А вот так... возьмем и сдальм всю бурсу, неумолимо отражал сомнения Чугунный Гашник.

Даже делавер, дикий, и он был сбит с понталыку; он помотал буйной головой и пощупал свой нос, точно желал убедиться, наяву или во сне все это происходит. У Главного Начальника народное выражение застряло в горле, и он долгое время не в состоянии был его исторгнуть и только, почтенно помедляя наконец, выглотнул жалкий недоносок, потерявший всю силу и крепость.

Хуже всех досталось мне, Верховному Душителю. В обвинительной речи я пожалел, что бурса не поглощена вся пламенем. Я сказал это, дабы разоблачить вождя делаверов и гурунов; однако, Стальное Тело с Чугунным Гашником

не понял всей тонкости и условности моего выступления и без обиняков сделал немедленные выводы умопомрачительного свойства. Приходилось итти на попятную, что сделал я, прямо сказать, неискусно и даже дрянно: «Поджигать бурсу, — заявил я тугам, — преждевременно. Сбухты-барахты ничего делать нельзя. Надо все тщательно обдумать и взвесить. Я говорил о поджоге бурсы «вообще».

— Что значит «вообще»? — переспросил не без ехидства вождь делаверов.

Я притворился, будто не расслышал вопроса.

— Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, — заметил Стальное Тело и мрачно усмехнулся, отчего я даже растерялся и умолк.

— Но почему мы должны поджигать бурсу? — вступился Трубчевский, Черная Пантера. — Витька дал пинка Сереге, а мы из-за этого должны жечь бурсу. Чепухенция!!!

— В самом деле, — подхватил я разумное слово приятеля... Оно, это слово, прозвучало вполне убедительно.

— Играй назад!..

— Клянусь мустангом и лассо ковбоя, я согласен с Черной Пантерой!

— Аминь, кедры ливанские и скимны рыкающие!..

Бурсу решили пощадить, но забыли обсудить поступок делавера. Один Главный Начальник отдаленно напомнил о первоначальной цели нашего собрания.

— Жалко, что не сделал я тебе мордуху, — объявил Витька, выразительно поглядывая на вождя гурунов.

— Не бывать скурлатому богатым, — ответил Бурый Медведь.

... После пожара туги-душители свершили несколько более мелких подвигов. Из них, пожалуй, следует отметить расправу с наушником Харузиным. Мы накрыли Харузина пальто в нужнике, когда он там облегался, вдавили его в сиденье, измазанное испражнениями. Харузин мычал, стонал. Оставили мы его полузадушенным. На другой день фискал слег в больницу. Скорее всего он догадался, кто с ним расправился. Мы

заметили, бурсацкое начальство стало усиленно за нами наблюдать.

Примкнул и был принят в сообщество третьеклассник, Шурка Елеонский, прозвищем Хамово Отродье. Прозвище это Шурка сам придумал себе и переменить его не пожелал, чем даже туги-душители были несколько обескуражены. Широкоплечий, низкорослый, сутулый, Шурка общительностью не отличался. Обладал незаурядными способностями в усвоении древних языков, знал наизусть много отрывков из Илиады и Одиссеи, но учился испрохвала, книг тоже читал мало и обычно любил гулять по коридору, либо по двору, где-нибудь на задах, заложив руки за спину и что-то обдумывая. Погуляет, погуляет, подойдет к группе бурсаков, прислушается, посмотрит острыми, «свинными» глазками, усмехнется про себя и, ни слова не говоря, отойдет. О чем он размышлял, было неизвестно. Но мы знали, Хамово Отродье не выдаст, от опасного дела не отступит и, потому не отказали ему, когда он попросился в наше сообщество.

Отношения наши с бурсаками складывались сложные. Мы старательно соблюдали тайну, но в бурсе, в закрытом учебном заведении, скрыть себя вполне от любопытного взгляда, понятно, невозможно. Многие догадывались, кто является настоящим виновником разных проделок. Одни нам сочувствовали, охотно, при случае, выгораживали нас, лжесвидетельствовали в нашу пользу, предупреждали о начальственных кознях и западнях, выручали на уроках. Но таких было меньшинство. Большинство сторонилось нас и обходило. Уклад бурсацкий, мрачный и непотребный, изуверски угнетал нас, но многие дорожили и этим укладом. «Выгонят — пойдешь под красную шапку!» — страшал бурсаков Тимоха солдатчиной. «Уволят — пропадешь ни за грош, — твердили домашние; — будешь век вековать на побегушках у лавочника, либо в подмастерьях». «Жизнь прожить — не поле перейти». «Против рожна не попрешь, плетью обуха не перешибешь, а сунешь нос куда не следует, — тебе покажут, где раки зимуют, будешь гол, как мосола, или попадешь туда, где черный ворон

кости православной не занашивал». И бурсаки видели: кругом многие из духовного звания нищенствовали либо торчали в консисториях, послушничали в монастырях, понамарничали, низкопоклонничали, спивались. «Пропадешь» — твердили кругом, и бурсаки, уже с отрочества набирались благоразумия, расчётливости, страха перед жизнью, рабского духа, готовые, однако, в любую удобную минуту своим «благодетелям» посылить навредить и напакостить.

Отношение к иогам большинства бурсаков было двойственное: исподтишка нам, возможно, и сочувствовали, но в то же время нас и боялись: а вдруг озорники накличут беду на всех, а вдруг из-за них посадят в карцер, выведут тройку по поведению, оставят на второй год, либо уволят. Больше всего косились на нас четвертоклассники: им оставалось несколько месяцев до окончания бурсы и до перехода в семинарию: понятно, они и опасались непредвиденных осложнений: дознаний, общих наказаний, временного закрытия бурсы, ревизоров от епархии и синода. Одноклассники тоже поглядывали на нас настороженно: как бы чего не вышло. Мы были одиноки. Мы жили обособленной жизнью, озорники, мечтатели, подростки-лиходеи, безотцовщина, закорузлые, очерствелые. Мы дрались прежде всего с начальством, но мы ненавидели, презирали и быт внутрибурсацкий, грязный, мелочный, затхлый, со всякими страхами. Правда, самим бурсакам обычно мы зла не делали, но и добра они от нас не видели. Жили вместе и жили врозь. Думали и мечтали о разном и на разное надеялись. Чувствуя свою силу, созданную единением, мы надо многими насмешничали. Нам платили отчуждением и даже враждебностью.

... Учебные дела мои шли все хуже и хуже. Мне налепили сплошных единиц и двоек. Изю дня в день я либо сидел теперь в карцере, либо — без обеда и ужина. Тимоха вызывал маму: если я не исправлюсь, буду лишен казенного содержания. Я равнодушно выслушивал мамини сетования. Я сделался заправским бурсаком и патриотом сообщества

тугов-душителей, я охранял бурсацкие заветы. О своем будущем я много тогда не размышлял, надеясь на мустангов, на винтовку, на льяносы и на пампасы.

Незадолго до пасхальных каникул училище посетил архиерей. Прибыл он неожиданно и зашел в наш класс. Шел урок русского языка. Мы пропели «Исполла эти деспота». Архиерей, высокий, дебелий старик, забыл сказать «садитесь», и мы долго стояли. Наконец, он догадался нас посадить, спросил о занятиях. Коринский дал суетливые объяснения. Архиерей, опираясь на посох и перебирая четки, обвел внимательными глазами класс.

— Кто самый нерадивый ученик?..

Коринский в замешательстве переглянулся с Тимохой и Халдеем. Взгляд его потом пал на меня, он опять перевел его на Тимоху, очевидно, спрашивая. Тимоха едва заметно кивнул головой. Коринский назвал меня; я поднялся. Архиерей сумрачно и долго разглядывал меня, отложил посох, взял с кафедры хрестоматию, перелистал ее, подошел к моей парте. От черной, шуршащей рясы пахло розовым маслом, ладаном, клобук был надвинут по самые кустообразные брови. Пухлым пальцем он указал на раскрытую хрестоматию.

— Стихи писателя Ажсакова «Всенощная в деревне» наизусть знаешь? Убери руки с парты. Приучайся к скромности и благообразию.

Я убрал с парты руки, откашлялся, прочитал:

Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный,
Звонят ко всенощной,
К молитве благостной.

И звон смиряющий
Всем в душу просится,
Окрест съзывающий,
В полях разносится.

Архиерей слушал, склонив голову набок и закрыв глаза. Когда я умолк, он взглянул на меня, пожевал мясистыми губами, мечтательно промолвил:

— И звон смиряющий, понимаешь, отроча младо? Звон... — он хотел еще

что-то сказать, но оборвал себя, спросил: — Еще какие стихи знаешь про звон?

Подумав, я назвал стихи Козлова.

Архиерей медленно полуобернулся к Тимохе и вопросительно на него поглядел: самый нерадивый ученик, а стихи знает. Тимоха поспешно объяснил, держа руки по швам:

— Ленив, ваше преосвященство, и озорует. Шел раньше в числе первых, но увлекся светскими книгами. Даже сочинения господина Короленко находили у него. Строптив, упрям, своеволен.

— А стихи о звоне произнес внятно, — заметил архиерей. — Кто у тебя родители? — Я ответил. Архиерейской похвалой я был польщен и сильно приободрился. Архиерей, как бы уже утомившись, взял опять в руки посох и, тяжело опершись на него обеими руками, скучно и серо произнес:

— Сирота должен отличаться примерным добронравием. Ты казеннокоштный?

— Я казеннокоштный, ваше преосвященство.

— Вот видишь: отечество и церковь о тебе заботятся, тратят средства, а ты, неблагодарный, этого не ценишь. — Он еще круче обернулся к Тимохе и к Халдею. — Надзирайте за этим воспитанником со всей строгостью, он...

Архиерей хотел еще что-то сказать, но неожиданно умолк, насторожился, приложил к уху ладонь, причмокнул губами...

— Не так... не так... совсем не так... — пробормотал он и сокрушенно покачал головой. Одним почудилось, что архиерей перебил и поправил вслух самого себя; Тимоха же и Халдей бросились к нему с немым вопросом: может быть, его преосвященство нашли новые непорядки и осуждают их? Архиерей, все еще качая головой, поспешно направился к дверям. Мы проводили его нестройным пением и недоуменными взглядами.

Недоумения разрешились позже. Архиерей слыл любителем и знатоком церковного звона. Видимо, и меня он не случайно заставил читать стихи о колокольном звоне. Свои преобразования в епархиях он начинал с нового подбора

колоколов. Он знал лучшие в России колокола, звонарей, мастеров своего дела, переманивал их из других губерний, не жалея на них средств. Купцам, богатыям, помещикам была известна архиерейская слабость и, когда требовалось задобрить, обычно делались пожертвования на колокола. При объездах архиереем епархии священники прежде всего заботились встретить владыку своевременным и благозвучным звоном, для чего за десятки верст высылались дозорные и перенимались друг у друга хорошие звонари. Во время богослужений архиерей иногда до того заслушивался перезвоном колоколов, что забывал подавать возгласы. Говорили также, будто его будят ото сна каждое раннее утро; на заре церковный звон по-особому чист; ухо архиерея улавливало малейшие оплошности и срывы. Будучи у нас на уроке, «владыко» услышал колокола Казанского собора, и замечание его: «Не так, совсем не так» — относилось к церковному звону.

Последствия удачного чтения стихов были совершенно для меня неутешительны. С уходом архиерея Коринский долго крутил ухо, вызвал меня к ответу, срезал и учинил мне единицу, а Тимоха вдобавок наградил меня карцером.

К пасхальным каникулам в отпуском билете значились пять голых единиц, три жалких двойки и четверка по поведению с убавлением.

Я решил: нет правды на земле, дел поправить нельзя, придется второгодничать, и почувствовал себя окончательно отпетым; я никого не любил, ничем не дорожил. Когда, после каникул, туги-душители вновь собрались, я подговорил их к новым подвигам.

Рядом с бурсой жили зауждалые дворяне Романовские. На реку выходил облезлый каменный дом с верхними пристройками, а к нашему двору примыкал сад, большой, пахучий, с соснами и елями, с яблонями и вишнями, с кустами малины, черной смородины и ежевики. Туги-душители решили сделать набег на романовские владения. Опасались мы дворника и огромного цепного пса. Мы собрались по обычаю после ужина на

задворках. Черная Пантера глухо рычал, делал кровожадные прыжки и когтил. Главный Начальник предупредил: «Предателям — смерть и могила!» В предупреждениях никто не нуждался, но Начальник полагал: напомнить лишний раз о суровых правилах игогов никогда не помеха. Стальное Тело молчал с испытанным и умудренным видом, но не преминул напомнить церковность.

— Вот люди, — сказал Чугунный Гашник, — у которых на уме беззаконие.

— Лассо тебе на шею! — оборвал его Главный Начальник. Верховный Душитель, тоже для порядка, устроил поименную переключку тугов: все были налицо, в том числе и вновь принятый собрат, Хамово Отродье. Хамово Отродье стоял с завидным спокойствием.

— Вперед за трофеями и славою веков! — Что ни говорите, а умел выражаться Верховный Душитель.

— А я не пойду за трофеями и за славою веков, — спросонья произнес Серега. — Вы забыли упомянуть вожди делаверов.

— Краснокожий и блистательный брат наш, неустрашимый вождь турунов! Ты нами не забыт, да будет благословенно имя твое!

— В таком разе Бурый Медведь с вами.

Первым перемахнул через забор Черная Пантера. Пантере поручилась разведка. Костюшка исчез меж кустами и деревьями. Прочие туги-душители сидели верхом на заборе и ждали вещей сигналов. Послышался трехкратный крик совы: гукал разведчик, надо признаться, очень жутко. Мы спустились с забора и ползком, с ножами в зубах (иначе нельзя!) проникли в глубину сада.

«При свете луны страшно сверкал разбойничий нож мельника» — вспомнил я пресловутое начало из своего романа, в коем, к сожалению, была написана всего-навсего одна глава, и то в одну единственную страницу. Я не обратил внимания на явные несообразности: нож сверкать не мог: луны не было и в помине; непонятно также, откуда, к чему, зачем появился мельник.

Размышлять и ловить себя в несооб-

разностях, впрочем, долге и не приходилось. По приказу Главного Начальника туги-душители стали крушить врага. Год назад Романовский сделал новые посадки яблонь, груш и слив. Ими и занялись прославленные и неутомимые игоги. Мы резали посадки, вырывали их с корнем, затыкали верхушки за пояс, по-нашему, снимали скальпы. Работали споро. Не обошлось и без потерь: Чугунный Гашник долго пыхтел над сливой, рассвирепел, нож соскользнул со ствола, вонзился ему в руку. Окровавленный Гашник вышел из строя, однако, не пожелал бить баклуши, но занял место дозорного, сменив Черную Пантеру. Слава героям! Дворник, должно быть, спал; спал и цепной пес в конуре.

Я украсил пояс не одним трофеем. В углу сада подвернулась молодая яблоня. Упругая, она холодила руку. Нож успел притупиться, и мне все не удавалось справиться с деревцем. Оно гнулось из стороны в сторону, трепетало, голая верхушка чертила небо; небо блистало звездными кучами и тоже трепетало от их сияния. Чувствуя у яблони последнее сопротивление, последнюю борьбу за жизнь, я ожесточенно стал резать и кромсать ствол; яблоня, уже не в силах сопротивляться, поникла и, наконец, срезанная, упала на землю. Я снял верхушку, разминая почки. Клейкие и пахучие, они пристали к пальцам. Они пахли весной, неапатрической свежестью. Под ногами чернела влажная, теплая земля. От нее несло винной прелью прошлогодних опавших листьев. Меж деревьев, в простенке, тускло блеснула узкой полоской река, и откуда-то широкой, теплой волной дожднула ночь. И тогда я точно на миг пробудился. Будто впервые после изнурительного и темного сна увидел я и сад во всей его весенней прелести, и торжественное, всегда таинственное, сияющее небо, и притомленный романовский дом, такой мирный, старенький, старенький дом. И все, что было предо мной, вдруг прошло в каком-то инобытии... Недели две назад я заметил здесь садовника; кривым ножом он подрезал ветви и подлогу стоял на солнце перед деревьями с непокрытой, седой головой. С ним рядом на неокреп-

ших ногах преважно переваливался карапуз с розовыми и пухлыми щеками. Он хватался за полы дедовского пальто, тянулся к ножу и что-то медленно жевал. Я вспомнил теперь и садовника, и малыша... Что же это я делаю?.. Зачем нужно уничтожать эти яблоньки? Ведь это ужасно, отвратительно!.. Бурса обволокла, окутала меня и моих сверстников душной морочкой, напоила тяжким хмелем. Пустая мечтательность, нелепые бреды, глупое молодчество, рожденное в убожестве от убожества, от меня окрыли жизнь и все дальше уведят по навью тропе. Я стал глухим, незрячим, отупел, опустошился. Я потерял свой мир. И вот в руках у меня нож, молодые, свежие посадки... Праздные силы... мерзость... Все это промелькнуло в одно короткое мгновение, но настолько сильно, что я тут же побросал, помню, свои трофеи и поспешно спрятал нож...

Мы возвращались уже с набега и лезли через забор, когда послышался крипкий собачий лай, и темная фигура дворника метнулась в нашу сторону. На бурсацком дворе Стальное Тело показал пальцы:

— И кровь наша падает на врагов наших и на потомков их даже до десятого колена.

Главный Начальник спросил меня:

— Но где же твои скальпы, наш беднолицый брат?

Я притворился, будто не слышал вопроса.

Хамово Отродье мечтательно заметил:

— Недурно бы домик почистить: пожива в нем есть.

Ночью долго не шли из головы узкая полоска реки, почки и, как я стоял в саду и не знал, что делать с собой.

Разгром романовского сада получил в бурсе громкую огласку. Дворник утверждал, что это — дело бурсаков: он видел, они лезли через забор. Притом же Петя по нашему настоянию прикрепил к одному дереву бумажку с печатью тугов-душителей; бесспорная оплошность. Бумажка попала в руки самому Романовскому. Итак, тугов-душителей надо искать в бурсе. Романовский жаловался Халдею и, по слухам,

обращался даже к самому «преосвященнейшему владыке». В своих обличениях Тимоха вопил о неслыханном позоре: в духовном училище, в этом питомнике пастырей, орудует шайка мародеров. Она присвоила себе богохульное название тугов-душителей. Душителю осмелиться у столбового дворянина уничтожить молодой сад. Напрасно, однако, эти поганцы думают, что они со всеми черными делами пребудут в тайне. Нет и нет! Все тайное делается явным. Дурную траву из поля вон!

Следствие повел сам Халдей. Он вызывал бурсаков в пустой класс и там подолгу пытал их. Из игогов-душителей Халдей подвергнул допросу Хамово Отродье, меня, Черную Пантеру и Главного Начальника. Глухим голосом Халдей мне объявил: ему все известно; он знает, кто вошел в банду; в банде, в числе иных прочих, состою и я; одно чистосердечное признание облегчит мне вину; в противном случае меня изгонят из бурсы с тройкой поведения. Я отвечал полным неведением. Халдей не сводил с меня оловянных глаз; оттопыренные, просвечивающие уши угнетали меня. Может быть, правда, они все слышали? Он долго страдал и даже проявил известное, ему несвойственное красноречие. Я не дрогнул. Остальные игоги тоже не поддались угрозам.

Очевидных улик против нас не было, но нас уже заподозрили. Положение осложнилось. Что же делать дальше? Мы разошлись во мнениях. Стальное Тело, Черная Пантера, Хранитель Печати находили нужным выступления покуда прекратить. Остальные настаивали на их геройском продолжении. Правда, я сильно поостыл, но скрывал это даже и от себя. Стальное Тело перешел на нашу сторону, а Черная Пантера объявил — ему все равно. Мы решили прикрыть себя новой славой веков. Мы вспомнили о священном клеймени. Главный Начальник предложил клеймить исключительно гимназисток. Туги-душители охотно согласились. Разногласия обозначились дальше. Витька настаивал, чтобы при священном клеймени гимназисткам непременно задирали юбки и клеймо накладывали не на руку,

а на ногу. Даже нас, испытанных туго-душителей, взяла оторопь, когда Бого-явленский изложил нам это свое дополнение. Мы смутились. Стальное Тело изрек: «По-моему, это не подвиг, а блуд». Другие — Черная Пантера, Вождь делаверов, я, Верховный Душитель, — возражая, может быть, и не совсем правдиво, говорили: «Стоит ли путаться с девчонками; приложил печать — и делу конец». Тогда Витька обрушил на нас отменную ругань. Он называл нас тухлятиной, кастратами, затронув тем самым мужскую нашу гордость. Этого стерпеть мы не смогли и согласились с дополнительным предложением Витьки; согласие было встречено адоким хохотом Хамова Отродья, после чего он умолк и сделался даже утрюмым. Наотрез отказался пропечатывать обнаженных гимназисток Петя Хорошавский. «Обойдемся и без тебя» — презрительно ответил ему Витька, сморщив нос вагоулиной.

... Темным часом туги-душители зашли в кустах на Варваринской площади, неподалеку от пожарной каланчи. Ждали минут двадцать. Гимназистка показалась со стороны церкви. По аллейке она пересекала площадь, — тонкая фигурка в коричневом платье, в переднике, в легком весеннем пальто и в берете с помпончиком. Держа пачку книг, стянутую ремнями, она спешила и, видимо, побаивалась. И площадь, и аллея были безлюдны. Мы ждали «сигнальных знаков от Главного Начальника, но Начальник почему-то замешкался. Сигнал он подал, когда гимназистка отошла от нас шагов на двадцать. На Витькин повист мы бросились к нашей жертве тоже с некоторым опозданием. Окружив гимназистку, мы стали нелепо топтаться. Она испуганно скинула на нас дрожащие ресницы. Из-под берета выбивался нежный локон, и две юных косы лежали на спине, туго заплетенные и с бантиками. Молчали мы. Молчала и наша жертва.

Сказал я первым:

— Карамба! Сакраменто!.. Мы — туги-душители... — Слова застряли в гортани...

— Пустите... — сказала пленница, беспомощно оглядываясь. Она сделала шаг вперед. Мы не тронулись с места.

Пленница вздрогнула узкими детскими плечами, лицо у ней распустилось, губы скривились, она закрылась рукой, что-то прошептала, но я не расслышал слов. Стальное Тело с Чугунным Гашником выдвинулся, грубовато пробубнил:

— Не бойтесь... не вздуем... ничего не будет...

— Карамба! Сакраменто! — пробормотал я через силу, глядя на обильные слезы жертвы.

— Где вы живете? — спросил пленницу не своим голосом Главный Начальник.

Пленница отняла руку от лица, всхлипывая, прошептала:

— Вон там. — Она указала локтем направо, где неясно выступал дом с мезонином и палисадником.

— Сволочи! — вдруг загремел сзади Хамово Отродье. Он стоял, сжимая кулаки за спиной и расставив ноги. Острые «свинные» глаза у него совсем ушли в глубь под орбиты, полные, корявые щеки дрожали.

— Сволочи! — прохрипел опять Хамово Отродье, шагнул, растолкал нас, схватил гимназистку за руку и с силой рванул ее к себе.

— С бабами вам только цацкаться, — прокричал он и опять рванул гимназистку.

— Ты!.. — задыхаясь, прохрипел Хамово Отродье, посинелый, вглядываясь ей в лицо.

Неизвестно, чем окончилось бы все это, но в конце аллеи показались два горожанина. Они приближались к нам. Мы врассыпную бросились с площади к бурсе.

Священное клеймение не удалось.

— ... Чертовски хорошенькая девчонка! — с наигранной беспечностью заявил Главный Начальник, когда мы немного отдышались на бурсацких задах. — Не девчонка, а прямо саронская роза, клянусь длинноствольной винтовкой дона Хозе.

— Но веселей молодецкая воля, — заметил я Начальнику. — Золото купит четыре жены, конь же лихой не имеет цены!..

— Почему же ты, Витька, не заклеил девчонку печатью, — спросил утрю-

мо Стальное Тело. — Собирался еще задирать юбки.

— Почему, почему! — вскипел Начальник с излишней горячностью и сверкнул глазами. — Потому, что ты — вислоухий идиот, вот почему! Тысячу чертей и пику всем в печенку! Туги-душители — рыцари, понимаешь ты это, подлый блинхovat! Если она, такая-сякая, сухая, намазаная, разнюнилась, в бок ей томагавком, что ж оставалось с ней поделаться?

Выступил Стальное Тело с Чугунным Гашником.

— Не говори, Витька, неправды. Ты сплоховал перед девчонкой.

— А ты первый оказал ей, что мы ее не вздуем. Все лупетки на нее вывернул, чуть-чуть не лопнули.

Стальное Тело надулся, запыхтел, оделался багровым, шагнул в Начальнику.

— Это я на нее все лупетки вывернул?

— Да, это ты на нее все лупетки вывернул! — закричал Начальник, встречая всей грудью Стальное Тело.

— Это я-то... — но тут Стальное Тело неожиданно осекся и отошел к дровам, невнятно себе выборматывая что-то под нос.

Главный Начальник презрительно поглядел ему вслед.

— Много наврал ты нам, Витька, про своих любовниц, — брякнул Серега Орясинов, Бурый Медведь. Он сидел на обрубке и строгал колышки.

— Это я-то наврал? — возмутился Начальник, испепеляя взглядом делавера.

— Наврал много, Витька, — подтвердил положительно гурон, продолжая спокойно стругать в темноте колышки.

Я хотел стать между собратями, дабы предупредить свалку, но Главный Начальник тоже неожиданно сник, сердито нахлобучил фуражку по самые глаза и даже сделал шаг в сторону, куда-то к дровам.

— Пику тебе в печенку! — пробормотал он без заметного под'ема. — Ха... девчонка! Подумаешь, невидаль какая! Захочу — окрочу разом вокруг пальца; подумаешь!..

Неудача со священным клеймением, замешательство Стального Тела, пустое хвастовство Главного Начальника повергли меня в смущение. Занимая ответственное место Верховного Душителя, я обязан был подтянуть друзей, подержать в них боевой пыл. Поэтому со всей решительностью я объявил:

— Карамба! Пусть поразит всех вас проказа, сифилис и бубонная чума, если мы, туги-душители, отступим перед передником и бантиками!.. Нам помешали более сильные враги. Только и всего.

— Ты разумно говоришь, наш старший брат, — глубокомысленно заметил повеселевший Главный Начальник.

— И разве вы не видели, друзья, что, кроме каких-то господ, от каланчи к нам приближались пожарные?

— Нет, этого я не видел, — признался делавер.

— А я видел, — горячо поддержал меня Главный Начальник.

— Как же, они бежали прямо на нас, — продолжал я уверять.

— Выжурим, братья, трубку мира! — предложил Начальник, набивая самодельную носогрейку березовой корой. Трубку мира курили в исключительных случаях.

Все молча по очереди пустили дым Поквамы.

Лишь один из нас, Хамово Отродье, не принял трубки. Он язвительно ухмылялся.

Я не решился его спросить, почему он не затянулся дымом Поквамы и почему он глядит на нас озорно и двусмысленно...

... Экзамены прекратили наши боевые действия. Дела мои не поправлялись. Я остался второгодничать. Впредь до исправления меня лишили казенного содержания. Вместе со мной в камчадалы попали Стальное Тело и Витька.

На каникулы я поехал к дяде Николаю Ивановичу. Родным я солгал, будто экзамены сданы мною успешно. Об отпусковом билете было сказано: «Он остался у мамы». Она замешкалась в городе и приехала месяц спустя. Обман обнаружился. Но с ожесточением я продолжал твердить, что перешел в тре-

тый класс, хотя это упорство было совсем нелепое. Меня посадили на хлеб и на воду, требуя раскаянья. Я вспомнил о привольных пампасах и льяносах, о прериях и краснокожих друзьях. Украл из амбара мешок, я наполнил его сухарями; взял еще куртку, сапоги, перочинный нож, преогромнейшую дубину и наличными тридцать колеек. Надо было пробраться к Стальному Телу и сманить его. Он жил в сорока верстах. Пешком достигнем мы Черного моря, схоронимся в трюме, а там — прощай-прости, негостеприимные родные края, там заплещутся в борта могучие океанские волны, а потом верный внук Эль-Соля приветливо поднимет полог вигвама.

Ушел из дома я ранним утром, оставив записку, что след мой отыщется в девственных американских степях и лесах.

Путь лежал мимо села, где жил другой мой дядя о. Иван. Голубели колеи железной дороги... Солнце... запах меда... свежая роса... отрочество. Справа, слева, куда ни хватал глаз, шуршала и колосилась рожь, белела гречиха, зеленели овсы, об'ятые нежным, молочно-голубым небом.

«Он шагал, помахая прозой дубиной, одинокий, покинутый всеми, готовый сесть повсюду ужас и опустошение!...»

Да... никакой пророк не приемлется в своем отечестве!..

Еще виднелось село наше в рощах, в дубравах. Высокий шпиль колокольни напоминал мачту корабля. Я погрозился дубиной.

Около полудня из-за холмов открылся приход дяди Ивана. Я притомился и спустился отдохнуть в овраг. Здесь встал перед моими глазами пышный дядюшкин сад. Уже созрела вишня, знаменитая на всю округу владимировка, сочная, темнокрасная. Я не преодолел искушения, спрятал в кустах мешок с сухарями, пробрался в сад. Вишни свисали пышными гроздьями. Ни Следопыт, ни Разбуа, ни Тобиас, ни Ункас не отказались бы на досуге ими полакомиться. Нет, мои друзья — не аскеты, не анахореты, отнюдь нет! Вместе с не-

поседливыми и болтливыми воробьями и скворцами, в окружении густой листвы, вдыхая несравненный запах разогретого солнцем вишневого клея, я беспечно подкреплялся и охлаждал свой рот. Уже успел я насытиться и измазать руки, губы и щеки пурпуром, когда увидел Федю, двоюродного брата. Сначала я от него прятался, но нехорошо быть человеку единому; я окликнул кузена. При виде меня он нимало подивился, но еще больше я его поразил, сообщив, что на веки вечные расстался я с родимым кровом и что в прельстительных пампасах меня ожидает неведомое и чудесное. Федя глазел, запустив глубоко в рот палец.

— Эй, байстрюк, вишь, забрался куда!..

... Квадриллион чертей и преисподняя!.. Внизу, под деревом у плетня, верхом на лошади, задира на меня голову работник Николая Ивановича, Кузьма.

Вишни сгубили меня.

— Слезай, слезай! Ужо пропишут тебе! Чего надумал!

Кузьма спрыгнул тяжело с лошади, неторопливо привязал ее к плетню, послал Федю за дядей Иваном.

Вишни сгубили меня... Как бы то ни было, Верховный Душителю защищает до последнего издыхания... Непростительная оплошность: великолетнюю дубину и нож булатный оставил я в овраге.

— Не слезешь, — тянул равнодушно Кузьма, — не надо. Не слезешь — пождем. Спешить некуда. — Он сел у плетня в тени и стал вертеть козью ножку. — Мать убивается, а ему хучь бы што. Никакого угомона нету.

Потное, рябое лицо Кузьмы расплывалось от жары. Закурив, он стал копать в ногах, в узловатых, грязных пальцах.

Чем-то он напоминал Халдея и Тимоху... Мелькнули тонкие, просвечивающие уши... Нет, уж плакать Верховному Душителю не пристало, не пристало, не пристало! Семи смертей не бывает, а одной не миновать!

Подошел дядя Иван с детьми, с курхаркой Степанидой и лавчиком Селезевым.

— Не ждал тебя, племянничек, в гости, не ждал! Ну, что же, сходи к нам сюда, мирком да ладком побеседуем...

Дядя Иван шурился на меня приторно и насмешливо.

— Сползай, сползай!

— Не слезу! — ответил я угрюмо. Смущало меня очень, что щеки мои и губы были в вишневом соку. Не дело это для туга-душителя, не дело! Ах, вишни, вишни!..

— И чему их учат там, в этих училищах? — вмешался в происшествие коротконогий лавочник. Он отер красным, грязным платком круглую, розовую плешь и жирную, открытую грудь в жестких волосах. — Одно баловство, деньгам перевод и боле ничего. От рук отбиваются, да вон еще какие пули отливает.

Год назад Селезнев единственного своего сына Петяшку пытался пустить «по образованной части», но Петяшка обнаружил себя лентяем и тупицей, лавочнику пришлось взять его обратно из городского училища; после этого Селезнев «об ученых» говорил с завистью и злобой.

Дядя Иван покосился на лавочника, засунул глубоко руки в карманы подрысника и, перебирая там пальцами, стал уговаривать меня. Я отмалчивался, сидя на суку.

— Нет, я бы вожжой наугощал его, это уж беспреренно, — равнодушно заявил Кузьма, почесывая ноги и разглядывая синие, уродливые ногти.

— Ррр!.. Ррр!.. — послышалось с дерева. — Ррр! Ррр! Гав! Гав!

Изгибаясь и крепко держась за сучья, я рычал, гавкал, раскачивая вишню. Семь бед — один ответ! Я решил избраться ягуара. Вишневый сок на губах и щеках уже казался мне запекшейся кровью растерзанной жертвы, и сам я готов был сделать хищный и погибельный прыжок. На меня воззрились с недоумением.

— Ишь, пащенок, что выделяет! — философически заметил Кузьма.

— Ах ты, бесстыжий!.. — укорила кухарка Степанида с косым и тугим брюхом.

Дядя Иван качал головой. Братцы и сестрицы тарашили глаза с неподдельным любопытством. Что-то будет!

— Нечего на него боле глядеть! — с неожиданной твердостью сказал, поднимаясь с земли, Кузьма и взялся за плетень.

Я отбивался, отбрыкивался и все метил Кузьме каблук в голову. Принесли лесенку. Кузьма, тяжело дыша, сволок меня, наконец, с дерева. Он крепко, до боли держал меня, и я с отращением вдыхал из его рта жаркое зловолие.

Меня заперли в темном амбаре. Я вспомнил ненавистную бурсу, арцеры, Халдея, убожество, грязь! Хорошо бы стать журавлем! Махать бы широкими крыльями над землей и слушать свое вольное курлыканье! Потом я тихо пел грустные песни и заснул, по правде говоря, как будто в слезах. На другой день братишка Костя выкрал перед обедом ключ и выпустил меня. Я спрятался в саду и не знал, что делать с собой. Воля моя к побегу в Америку была надломлена. Неподалеку, меж деревьями, за малинником, гудели пчелы на пасеке. Вдруг над одним из ульев взвился бурый клубок. Я забыл об огорчениях и что было мочи бросился к дому. В столовой обедали.

— Пчелы роятся! Ей богу!.. — выпалил я, едва переводя дух.

— Да откуда же ты взялся? — с удивлением спросила тетя Саня, жена дяди Ивана. Тут я только догадался: ведь я должен был сидеть под замком.

— Пчелы роятся! Около березы! Роище темный!.. — продолжал я докладывать.

Дядя Иван поспешно вытер усы, заткнул за пояс полы подрысника и, на ходу надевая сетку, скрылся в саду. Пчелы к тому времени повисли на липе.

— Ты хоть губы-то и щеки от вишен отмой, — примирительно молвила тетя Саня и пригласила меня к столу.

Вечером я возвратился к Николаю Ивановичу с повинной.

Неудачный побег в страну пампасов и льяносов я скрыл от тугов-душителей...

... Отдыхая в горах, получил я неожиданно, сложными, окольными путями письмо от профессора зоологии Константина Сергеевича Трубчевского. Летним досугом он прочитал мою книгу о прошлом и решил мне написать. Он напомнил, между прочим, и даже в подробностях, о проделках игогов.

«Друг мой, Верховный Душитель, — писал мне профессор зоологии, — от того времени отделяют нас десятилетия. Сед я стал, да и ты, — слухом земля полнится, — видно, не отстаешь от меня в этом. Есть у меня научные заслуги; о них знают даже за рубежом. Есть семья, взрослые, превосходные сын и дочь, есть слушатели моих курсов, братья — ученые. Не могу пожаловаться: меня ценят. Нашему поколению выпала редкая доля стать участниками и свидетелями удивительных событий. Припомнить их, начиная с девятьсот пятого года, — дух захватывает. Но почему же, скажи, почему, когда обращаешься к прошлому, — а делаю я это нередко, — в памяти всплывают прежде всего наши «подвиги». Ведь озорство,

дичь, грубо, неумно, а всплываешь чаще других, более разумных действий не только с отрадой, но даже и с восхищением. Помнишь из «Опавших листьев»: «Ужасно люблю гимназическую пору. И вечно хочется быть опять гимназистом. Ну ее к чорту, серьезную жизнь!»

К дому, где я живу, примыкает сад. Вечерами я люблю в нем гулять. Студенты, проходя мимо по двору, поглядывают за ограду. Понятно, они думают, что заслуженный профессор Трубчевский, шагая по дорожкам, решает великие научные вопросы. Вопросы — вопросами, но им, разумеется, невдомек, что иногда благомысленный муж науки, непреклонный с лица, вспоминает благодарно и грустно Черную Пантеру, Стальное Тело с Чугунным Гашником и как мы, бурсаки, клеймили гимназистов, подстерегали из-за угла с камнями Халдея, воровали с голоду морковь и бились на кулачки с ремесленниками. Ах, мои юные друзья! Не верьте глубокомысленному и многоопытному виду почтенных людей, не верьте им!..»

(Продолжение следует)

За рубежом

СМЕРТНОСТЬ, РОЖДАЕМОСТЬ, БРАКИ

Статья вторая ¹⁾

Л. Варшавский

Трагический призрак депопуляциии взволновал даже гитлеровцев, поспешивших выступить со своими «рационализаторскими» предложениями.

По словам венской буржуазной газеты «Нейе фрейе прессе» (апрель 1932 г.), суть этих предложений заключается в том, что нужно заставить женщин рожать как можно больше детей.

Развивая эту мысль, Артур Розенберг, один из виднейших идеологов национал-фашизма, в своей книге «Миф XX века» пишет, что бездетная женщина, безразлично, замужняя или нет, «не может считаться полноправным членом общества».

Бесплодие или нежелание иметь детей — это больше, чем грех, это преступление. «В виду этого, — заявляет он, — супружеская измена со стороны мужчины, следствием которой является рождение ребенка, не должна юридически рассматриваться как измена».

Амнистия по части измен на женщинах не распространяется. Г-н Розенберг очевидно уверен, что мужчины не могут быть бесплодными.

Но это — только «цветики» фашистских предложений. «Ягодки», куда более серьезные. Для усиления деторождения фашисты предлагают ряд законодательных мероприятий: виновные в предотвращении беременности должны карать-

ся как уголовные преступники. Параграф 218 Уголовного кодекса ¹⁾ должен быть изменен в сторону еще большего усиления наказаний. Должно быть создано особое государственное учреждение, имеющее право осмотра всех новорожденных и отбора наиболее слабых из них с целью уничтожения.

«Теоретическое» обоснование такого «евгенического избияния младенцев» дал «сам» Адольф Гитлер. В своей речи на нюрнбергском съезде национал-социалистической партии в августе 1929 г. он заявил:

«Если бы в Германии ежегодно рождался миллион детей и 700—800 тысяч наиболее физически слабых из них уничтожались, то в конце концов следствием этого было бы возможно даже усиление и укрепление страны» ²⁾.

На первый взгляд здесь некоторая «неувязка». Простая арифметика показывает, что если из 1.000.000 вычтеть 800 тысяч, то останется 200 тыс. Следовательно, народонаселение не только не вырастет, а, наоборот, уменьшится. Затем, к чему заставлять всех женщин рожать, если 70—80 проц. новорожденных будут уничтожены? Но эти недоуменные вопросы отпадают, коль скоро мы вспомним, что речь идет о физически слабых детях. А у кого же, как не у измученных нуждой и безра-

¹⁾ Карающий за производство аборта.

²⁾ См. «Фелькшер беобахтер» от 7 августа 1929 г.

ботицей, истощенных от голода пролетарских родителей рождаются слабые дети? Вот в чем гвоздь вопроса!

Как ставит Гитлер вопрос о регулировании рождаемости? В своей книге «Моя борьба» он пишет:

«Кто телесно и духовно (что значит «духовно», мы увидим дальше!—Л. В.) нездоров, не должен увековечивать своих болезней в своих детях... Государство должно выступить как страж будущих тысячелетий, перед которыми воля и особенности единиц — ничто... Государство должно для этой цели (борьбы с нежелательной рождаемостью) широко применять новейшие врачебные средства... Государство должно всех явно больных и наследственноотягченных объявить лишенными права иметь потомство».

«Требование, — пишет Гитлер, — чтобы для дефективных людей было сделано невозможным рождение такого же дефективного потомства, есть исключительно разумное требование и составляет при его планомерном осуществлении наиболее гуманное дело человечества (!!). Это мероприятие, — золотит он пилюлю, — спасет миллионы несчастных от заслуженных ими страданий и приведет в результате к все возрастающему всеобщему оздоровлению».

Итак, здесь речь идет уже о запрещении иметь потомство всем «дефективным людям». Кто же такое эти «дефективные люди»?

На это отвечает известный гигиенист, мюнхенский профессор Ленц, страстный поклонник Гитлера. В своей статье «Отношение национал-социализма к расовой гигиене», опубликованной в официальном органе Германского научного общества расовой гигиены¹⁾, проф. Ленц следующим образом комментирует это заявление Гитлера:

«То обстоятельство, что Гитлер говорит здесь о миллионах несчастных, обозначает, что он требует применения стерилизации не только в крайних случаях, что

было бы для общего оздоровления расы почти лишено значения, но что это требование распространяется на всю менее ценную часть населения».

А «менее ценная часть населения» — это миллионы безработных, миллионы пауперизированных крестьян, ряды которых все растут.

Выражение «безработные неправильно», — утверждает Гитлер¹⁾, — вернее было бы говорить: не имеющие права на существование — лишние люди.

Характерной чертой европейских наций является это появление известного процента населения, который статистическими данными можно определить, как совершенно излишний. Господа, неужели вы думаете, что если 7, 8 и даже 10 миллионов людей выведены из национального производственного процесса, то для этих миллионов большевистское мировоззрение может быть чем-нибудь иным, как логическим выводом из их повседневного экономического положения?»

Итак, «лишние люди», «не имеющие права на существование», — это безработные, во-первых, и, во-вторых, все классово-сознательные пролетарии, идущие за коммунистами.

В бешеном страхе перед революцией Гитлер требует их полного уничтожения, так как понимает, что никакими тюрьмами, ссылками и расстрелами нельзя остановить победного шествия коммунизма.

В развернутом и доведенном до логического конца виде программа фашистов такова: всех безработных и революционно настроенных рабочих как «дефективных» подвергнуть принудительной стерилизации. В то же время запретить аборт и принудить всех женщин рожать. Так как останется слишком

¹⁾ См. «Archiv für Rassen und Gesellschaft Biologie», октябрь 1931 г.

¹⁾ Речь в Дюссельдорфском клубе германских промышленников цитирую по Н. Корневу «Маршалы третьей империи». «Новый мир», кн. VI, 1932 г. Стр. 215—216.

мало «полноценных» мужчин, легализовать право господ буржуа брать себе столько девушек «из народа», сколько они найдут нужным. Наконец в целях контроля и забраковывания человеческой продукции ввести институт государственного принудительного осмотра новорожденных с целью уничтожения негодных. Этот каннибальский план не только находит одобрение ряда «ученых мужей», типа Ленца, Ланге, Киделя и др., но, видимо, в ближайшее время частично начнет проводиться в жизнь. В германских газетах от 6 февраля с. г. уже промелькнуло многозначительное сообщение о том, что на собрании партии националистов известный депутат рейхстага Фрейтаг фон-Лорингсфен заявил, что так называемый «расовый комитет» («Folkischer Ausschus») партии обратился к правительству с просьбой издать закон о принудительной стерилизации «неполноценных» людей и что правительство рейхсканцлера Гитлера весьма сочувственно (еще бы!) отнеслось к этому предложению. От режима воинствующей реакции и фашизма можно ожидать и не таких еще перлов варварства.



«Какой длинный ряд болезней создала эта отвратительная алчность буржуазии! Женщины лишаются способности рожать, калечатся дети, ослабляется организм мужчины, уродуются, увечатся члены тела, целые поколения гибнут, зараженные всевозможными болезнями, обесиленные, — и все это для того, чтобы набивать карманы буржуазии»

К. Маркс

Голод, нужда и лишения ведут к огромному росту заболеваемости во всех капиталистических странах.

«Безработица в Германии, — заявил недавно председатель ганноверского страхового управления Фронгольдт, — угрожающим образом действует на состояние здоровья низших слоев населения. Громадное число застрахованных рабочих и их детей, доставленных в лечебные учреждения, находится в таком ужасном физическом состоянии, какое напоминает худшие послевоенные годы».

Обследование¹⁾ состояния здоровья безработных, зарегистрированных на биржах труда Веддинга (рабочий район Берлина), установило, что 95 проц. безработных больны. При обследовании 13 пролетарских семей этого района оказалось, что из 25 взрослых здоровы всего трое!

Колоссально увеличилось заболевание туберкулезом. Смертность от него все возрастает. В Германии в 1927 г. от туберкулеза умирало 7 человек на 10 тыс. населения, а в 1931 г. в рабочих кварталах 20 проц. всего населения болело туберкулезом.

В Тюрингии, по словам проф. Черни, 35 проц. всех детей больны туберкулезом. В Берлине в 1932 г. было в среднем 657 новых заболеваний туберкулезом в месяц.

Кривая туберкулеза растет не только в городах, но и в деревнях.

«Местоко ширящийся туберкулез забирает немилосердно много жертв, особенно среди молодого поколения» — с тревогой отмечает бывший польский премьер Винцент Витос в своей статье о положении польской деревни²⁾.

Во Франции число ежегодно заболевающих туберкулезом в среднем составляет 400 тыс. человек; от туберкулеза умирает ежегодно 90 тыс. чел., — другими словами, смертность только от него равна 22,5 проц. В своем докладе во Французской медицинской академии (в феврале с. г.) проф. Бруардель, назвав туберкулез «настоящим бичом Франции», отметил, что процент заболеваний им во Франции вдвое выше, чем в соседних странах.

Повсюду растет число нервных и психических заболеваний. Так, в Англии за последние 5 лет количество душевнобольных в среднем возросло на 1.885 чел. в год. Официальный отчет приписывает это тяжелым материальным условиям, в которые кризис поставил трудящихся.

Германский журнал «Ди медицинише вельт» произвел анкетным путем опрос

¹⁾ Произведенное врачебной комиссией Межпарлама этой весной 1932 г.

²⁾ См. «Курьер варшавский» от 21 ноября 1932 г.

руководителей крупных больниц и госпиталей. Выяснилось, что в течение последних месяцев в больницах снова были зарегистрированы случаи кожного заболевания на почве голода (под кожей появляются водяные нарывы: эта болезнь была сильно распространена во время мировой войны 1914—1918 гг. и теперь возродилась снова).

Появились и другие болезни, которых Европа не знала уже десятки лет: холера, оспа, сыпной тиф, различные формы тифозных горячек и т. д. Условия для их распространения самые благоприятные. Недаром в своем докладе директор Института гигиены в Берлине проф. Фридберг пишет:

«Возникают опасения, что, несмотря на все достижения гигиены, подготавливается почва для такого распространения массовых эпидемий, какой не было уже в течение столетий».

Действительность полностью подтверждает слова проф. Фридберга. Так, в одном из ноябрьских номеров чехословацкая коммунистическая газета «Руде право» приводит ряд данных о распространении голодного тифа в городах и деревнях Закарпатской Украины. Эпидемией тифа здесь охвачены целые районы. В Косовской Поляне например за последние дни на почве голода заболели тифом 71 человек, из них умерло 12, в Лочевцах из 24 заболевших умерло 7, в Луту из 32 больных тифом умерло 5 чел., в Рагиде заболело 84 человека. Аналогичные факты зарегистрированы и в ряде других мест Закарпатской Украины. В некоторых селах, как в Великом и Малом Бычкове, эпидемия тифа приняла такие размеры, что пришлось закрыть школы. Даже в городах, как например в Мукачеве, есть целые улицы, где в каждом доме находятся больные тифом.

В Польше сильнейшая эпидемия дизентерии охватила Западную Украину, при чем с особой силой она свирепствует в округе Турка. Распространяется и эпидемия тифа.

Наступление зимы принесло новое обострение массовых заболеваний. С конца декабря 1932 г. сильнейшая эпидемия гриппа охватила всю Европу и

перебросилась даже в САСШ. Как указывают газеты, грипп проходит в очень тяжелой форме, унося много жертв. Так, по данным официальной статистики, за неделю с 24 по 31 декабря в крупных городах Англии умерло от гриппа 303 человека, а за неделю до того — 120 чел. Много жертв уносит эпидемия гриппа и в Германии. В САСШ в декабре гриппом переболело более 600 тыс. чел. В Стокгольме и Копенгагене в начале февраля нарушилась нормальная работа телефона и телеграфа, так как половина всех работников заболела гриппом. В Лондоне гриппом больны 55 проц. всех полицменов, к несению полицейской службы временно привлечены солдаты.

Во Франции эпидемия гриппа получила особенно широкое распространение; французская печать указывает, что по своим размерам она приближается к имевшей место в 1918 г. эпидемии испанки, от которой погибли тысячи человек. Исключительное распространение болезни объясняется, понятно, в первую голову ростом безработицы и нищеты рабочего класса. Подорванный голодом и нуждой, организм не в состоянии сопротивляться заболеванию: отсюда — огромный рост болезни.

Но особенно страдают дети, неокрепший организм которых совершенно бессилен противостоят болезням. Заболевания рахитом, детским параличом, туберкулезом золотухой и т. д. приняли массовый характер.

Достаточно сказать, что даже в Соединенных Штатах, по признанию президента Гувера, имеется более 10 миллионов больных детей. Из них—6 миллионов, страдающих от недоедания, 320 тыс. туберкулезных и 1 миллион больных острым малокровием. 80 проц. всех больных детей лишены какого бы то ни было ухода.

Важно отметить, что одновременно с ростом заболеваемости сеть больниц и лечебных учреждений непрерывно свертывается. Особенно это относится к тем из них, которые содержатся за счет госбюджета и бюджета городских муниципалитетов. В связи с массовым банкротством последних и сокращением

госбюджета на так называемые «социальные нужды» медицинская помощь населения резко ухудшилась во всех без исключения капиталистических странах.

Так, расходы на здравоохранение в прусском бюджете снижены со 165 млн.

Статьи расхода	Сумма ассигнований	
	В 1931 г.	В 1932 г.
На борьбу с эпидемиями	500 тыс марок	275 тыс марок
На борьбу с туберкулезом	760 тыс марок	150 тыс. марок
На борьбу с детской смертностью	600 тыс марок	177,5 тыс марок.
На борьбу с алкоголизмом	350 тыс марок	1 тыс марок
На расходы по попечению о молодежи	3 млн. марок	850 тыс марок
Итого	5 210 тыс. марок	1 453,5 тыс. марок

Между тем кривая заболеваемости резко идет вверх. По словам заведующего городским отделом здравоохранения г-на Касселя проф. Кединга, «значительно увеличилось туберкулезное заболевание, а также болезни, связанные с нечистоплотностью, как овшивение и проч.».

«Общее состояние питания, — заявил проф. Кединг, — настолько ухудшилось и с таким серьезным последствием для здоровья, что понадобится много лет серьезного ухода для ликвидации уже наступивших повреждений здоровья, если это вообще еще возможно».

Не менее печально, чем в Германии, обстоит дело в Англии, где, помимо резкого сокращения бюджетных ассигнований на здравоохранение, положение осложняется тем, что значительная часть больниц всецело зависит от частных пожертвований. В связи с кризисом поток пожертвований почти прекратился, и многочисленные лондонские и провинциальные больницы, содержащиеся за счет благотворительных взносов, очутились в катастрофическом положении. По словам «Дейли геральд», многим больницам грозит неминуемое закрытие, так как «десятки из них существуют при пустой кассе лишь потому, что не платят по счетам, а другие спасаются пока от краха только благодаря долготерпению кредиторов».

За последние два года закрылись десятки больниц, а сотни свернули свою работу, сократили число коек и уволили значительную часть медперсонала. В результате оставшимся сиделкам и се-

марок в 1931 г. до 44 млн. в 1932 г. т.-е. более, чем на 70 проц.

Снижение это представляется еще более разительным, если рассматривать его по отдельным важнейшим статьям расхода:

страм приходится систематически перерабатывать. В среднем их рабочий день возрос до 15—16 часов в сутки, что, понятно, отражается на качестве ухода за больными. В больницах и госпиталях Челси, Фунхолла, Кенсингтона, — районов Лондона, населенных главным образом беднотой, — на почве крайней эксплуатации низшего медперсонала вспыхнули стихийные стачки сестер и сиделок¹⁾.

А вот другие плоды пресловутой экономии. В Салфорде еще несколько лет тому назад в целях расширения местной окружной больницы «Норе Municipal Hospital» были выстроены 8 новых больших и просторных корпусов. Однако в эксплуатацию они не вошли, так как в октябре 1931 года местный муниципальный совет в целях экономии решил их законсервировать и закрыть кредиты на их оборудование и меблировку. Корпуса стоят заколоченными в то время, как старая больница, переполненная до отказа, вынуждена отказывать в приеме больных. В этой больнице, рассчитанной на 870 коек, в январе 1933 года было занято свыше 1.000 коек, при чем койки стоят во всех коридорах, в вестибюле, в столовой и даже на полу в сторожке. На прием к врачу и за получением лекарств люди часами стоят в очередях²⁾.

В Манчестере муниципалитет в одном 1932 году «сэкономил» 400 тыс. ф. ст. на том, что частью временно, частью

¹⁾ См. «Daily Worker» от 15 декабря 1932 г.

²⁾ См. «Daily Worker» от 4 января 1933 г.

совсем закрыл ряд госпиталей, больниц и здравниц. Немудрено, что кривая детской смертности и заболеваемости сразу же резко пошла вверх!

В особо тяжелом положении находится английская провинция, где ряд округов остался лишенным медицинской помощи. Резко ухудшилось и медицинское обслуживание застрахованных рабочих и служащих. По свидетельству сэра Вальтера Киннера, контролера департамента социального страхования министерства здравоохранения, в 1931 г. 2.700.000 женщин и 95.000 мужчин было отказано в лечении глаз и 1.300.000 женщин — в лечении зубов. Опубликованный в конце ноября 1932 г. доклад комиссии сэра Вильяма Рэя (назначенной правительством в июле 1931 г. для выработки программы в области местных финансов) сигнализирует о новой атаке на жизненный уровень английского пролетариата. В целях «экономии» доклад в числе прочих мер предлагает сократить срок пребывания выздоравливающих больных в госпиталях, сократить прием больных в доме умалишенных, сократить расходы на дезинфекцию домов после обнаружения в них заразных больных (это в то время, как в стране свирепствуют эпидемии тифа, паратифа и дифтерита!) и с «большим выбором», т. е. в меньших размерах, оказывать помощь туберкулезным и роженицам (кстати сказать, по смертности рожениц Англия стоит на одном из первых мест в мире — 4 чел. на тысячу¹⁾) и т. д.

Предложения комиссии Рэя, которые сейчас проводится в жизнь, резко ухудшают медицинское обслуживание масс.

Миллионы трудящихся остаются без врачебной помощи, их здоровье быстро разрушается, и все это только потому, что буржуазия, тратящая миллионы золотом на подготовку новых войн, на вооружение своего полицейского аппарата, экономит гроши ценой жизни трудящихся. Наглядным примером этого является муниципальный бюджет Пари-

жа. В то время, как на содержание парижской полиции ассигнована огромная сумма в 546 млн. франков, ассигнования на содержание всех больниц, домов призрения, медицинской помощи и пр. составляют всего 340 млн. франков. В результате все начатые в Париже постройки больниц приостановлены, больницы «уплотнены», снабжение их уменьшено по сравнению с довоенным временем вдвое.

Таково положение в передовых странах Западной Европы.

Еще хуже обстоит дело в таких странах, как Югославии, Венгрии, Болгарии, Польше и Румынии. Развал здравоохранения в них зашел так далеко, что даже «благонамеренная» буржуазная пресса забила тревогу.

Очень показательна в этом отношении Румыния. На одном из заседаний сената в октябре 1932 г. национал-царанист Бадару — директор больницы в старорумынском городе Роман — нарисовал мрачную картину развала здравоохранения. По его словам, правительство без ведома парламента использовало суммы бюджета министерства социального обеспечения и здравоохранения на уплату задержанного в течение многих месяцев жалования государственным чиновникам, учителям и т. д. В результате повсеместно сократилась сеть медицинских учреждений и резко ухудшилось положение еще функционирующих больниц и госпиталей.

Отвечая в конце декабря 1932 г. в парламенте на запрос о состоянии больниц и медпомощи в Бухаресте и в провинции, министр социального обеспечения Иоаницеску заявил, что он лично посетил большую часть больниц и нашел их состояние «очень печальным». Он видел больных, «единственную одежду которых составляли перевязки». «Никакого белья в больницах нет и в помине» — заявил он далее. Бюджет министерства был предусмотрен на 1932 г. в размере 300 млн. лей, однако до середины декабря в распоряжение министерства не поступило и 10 проц. названной суммы. «Чему удивляться, — закончил свою речь министр, — что больницы у нас под угрозой закрытия?»

¹⁾ В Англии ежегодно при родах умирает 5 тыс. женщин. Причина — антигигиенические условия в домах, где они живут и рожают» — пишет «Daily Worker» от 15 декабря 1932 г.

Хуже всего обстоит дело в колонии румынского империализма—Бессарабии. «В Бессарабии,—пишет д-р Смаду¹⁾,—вследствие отсутствия средств закрылись в текущем году 25 больниц. Врачебный персонал в некоторых уездах не получал жалованья в течение 6—8 месяцев. Поставщики продуктов и дров для больницы не получили в текущем году ни одного лея. В Оргеевском уезде закрылись 15 больниц; в самом городе Оргееве функционирует всего лишь одна больница, которая тоже находится накануне закрытия. В Бендерском уезде закрылись больницы в Таламазах, Бульбеках и Тараклии. В Сорокском уезде закрыто 5 больниц, остальные 4 превращены в амбулаторные пункты для приходящих больных. В Хотинском, Измаильском, Кагульском и Лапушнейском уездах все больницы функционируют только благодаря тому, что медицинский персонал работает без жалованья, а поставщики дают продукты в кредит. Ни одна из больниц Бессарабии не запаслась дровами на зиму, и если, министерство не примет мер, то больницы останутся без дров».

Комментируя отчет д-ра Смаду, бессарабская газета «Наша речь» пишет:

«Чуть ли не ежедневно вы слышите жалобы на то, что в Бессарабии закрываются больницы или что в существующих больницах нечем лечиться. Эпидемии одолевают деревни. При отсутствии медицинской помощи и при легкости, с которой в деревнях распространяются всякие болезни, мы рискуем поставить бессарабскую деревню в очень тяжелое положение. Неизбежно скажутся губительные последствия туберкулеза, сифилиса, малярии и т. д.

Мы имеем все основания бить серьезную тревогу.

Больная, изможденная деревня теряет моральную и политическую устойчивость, в этом—главная опасность».

Итак, «главная» опасность не в том, что бессарабской деревне грозит вырождение от голода и болезней, а в угрозе «потери ее политической устойчивости».

¹⁾ Доклад доктора Смаду министерству социального обеспечения напечатан в газете «Бессарабская почта» осенью 1932 г.

Страх—единственный мотив, заставляющий волноваться господ буржуа.

Даже в столице Бессарабии—Кишиневе—положение более чем печальное. В январе 1933 г. за отсутствием средств у городского самоуправления закрылась детская больница и резко урезаны расходы по содержанию заразной больницы. Между тем в Кишиневе, как и во всей Бессарабии, свирепствуют различные эпидемии. Так, в г. Бендерах, на почве нищеты и тяжелых бытовых условий развилась повальная эпидемия чесотки, особенно распространившаяся в населенных бедной окраинах и в школах. Растет и число заболеваний сыпным тифом.

Условия, в которых находятся румынские больницы в деле медицинского обслуживания, вызывают крайнее возмущение населения, в первую очередь больных. Последние месяцы отмечены рядом крупных демонстраций против возмутительного отношения правительства к делу народного здравоохранения.

Некоторые из этих демонстраций носили настолько необычный характер, что на них стоит остановиться.

Так например летом 1932 года из лепрозория Сирфилешти (округа Тульча) бежали интернированные там прокаженные. Их появление в ближайшем городе Изакче вызвало форменную панику среди населения. Прокаженные, одетые в лохмотья, полуживые, в язвах, одним своим видом представляли жуткую демонстрацию против отношения к больным в поселке прокаженных. На допросе выяснилась картина полной заброшенности прокаженных. Директор лепрозория умер больше месяца назад. Больные, отрезанные от всего мира, остались без пищи и медицинской помощи. Умиравшие от голода прокаженные решили послать в Бухарест делегацию в 25 человек с требованием помощи. Выяснилось также, что лепрозорий систематически недополучал средства и продукты. Полиции с трудом удалось водворить прокаженных обратно.

Огромное сокращение лечебной сети идет и в Польше, при чем наиболее пострадавшими оказываются крупные индустриальные центры и районы (Лодзь,

Домброво), а также и деревня. Особенно плохо приходится так называемым «окраинным крессам» — Западной Украине и Западной Белоруссии.

«В Брацлавском уезде сыпняк, — лаконично констатирует газета «Экспресс Поранний» (от 3 февраля 1933 г.). — Государство и общественность лечебной помощи не оказывают. Вызов доктора из ближайшего городка стоит от 5 до 7 злотых. Врача заменяет колдун, ветеринара — коновал, акушерку — деревенская бабка...»

Немудрено, что смертность в польской деревне все растет.

Ухудшилось медобслуживание и в САСШ. Об этом говорит следующий факт: 40 проц. всех умерших в 1932 г. больных в 18 районах штата Кентукки не получили врачебной помощи. В то же время повсеместно на почве голода наблюдается непрерывный рост заболеванй и большая смертность.

Из-за отсутствия средств больницы не имеют самых необходимых медикаментов. Корреспондент «Нью-Йорк таймс», обездивший зимой 1931 г. районы штата Арканзас, одного из 21 штатов, охваченных голодом, приводит совершенно беспримечный случай:

«В одном городке этого штата, — пишет он, — бешеная собака искусила несколько детей. Сделать прививку оказалось невозможным, так как у местных властей не было денег на покупку сыворотки. «Неужели же вы можете допустить, чтобы эти дети умерли от бешенства?» — спросил у местного чиновника представитель Красного креста. «Но поймите же, у нас в кассе нет ни одного цента» — последовал ответ».

Кредитный и денежный кризис, разразившийся в марте с. г. в САСШ, губительно отразился на положении здравоохранения. Телеграммы из различных городов и штатов в один голос говорят о резком сокращении медицинского обслуживания. Так, в Детройте сразу же возникли большие денежные затруднения. Для санитарных автомобилей не хватает бензина. Две тысячи больных в местных санаториях остались обеспеченными продовольствием только на не-

сколько дней и т. д. Еще хуже положение в сельских районах.

В свете всех этих мутных фактов особенно разительны грандиозные успехи Советского Союза в деле народного здравоохранения, достигнутые в течение первой пятилетки. Достаточно сказать, что число коек только на курортах РСФСР увеличилось более, чем на 30 тысяч, а в туберкулезных санаториях — на 100 тысяч. По всему Союзу коечная сеть выросла с 303,2 тыс. в 1928 г. до 519,6 тыс. в 1932 г. Сеть одних здравпунктов на предприятиях за один лишь год — с 1931 г. по 1932 г. — увеличилась с 1.900 до 3.000. Бюджет содстраха в 1932 г. превысил 4 миллиарда рублей. Во всех городах и крупнейших сельскохозяйственных центрах идет огромное больничное, санитарное и курортное строительство. Это строительство, возможное только в стране победившего пролетариата, никогда не снилось ни юдой буржуазной стране.

Но вернемся к «культурному» Западу. Массовое свертывание лечебной сети, резкое сокращение бюджетных расходов на здравоохранение и сокращение частной практики в силу бедственного материального положения пациентов поставили многотысячную армию врачей и медработников в крайне тяжелое положение.

По данным союза германских врачей, 72 проц. врачей не зарабатывают даже прожиточного минимума.

«Общественность, — пишет Эрвин Гертс¹⁾, — не осведомлена полностью о голодном существовании врачей в больших городах».

Еще хуже положение врачей в сельских местностях — Тюрингии, Шварцвальде, Померании — или в таких индустриальных районах, как Рур, Бармен-Эльберфельд, Верхняя Саксония и т. д., буквально опустошенных кризисом.

На всерумынском съезде врачей, недавно состоявшемся в Бухаресте, докладчик доктор Альфандри сообщил, что «в огромном большинстве случаев врач

¹⁾ См. журнал «Die Pat», № 1, 1933 г., статья Э. Гертса — «Борьба за место в жизни».

поставлен в такие условия, что требовать от него серьезного отношения к своим обязанностям нельзя». «В городах и местечках,—добавляет он,—многие врачи просто не находят применения своему труду. Население до того обнищало, что не обращается к врачу даже в серьезных случаях».

Тысячи врачей бросают свою профессию и в поисках куска хлеба берут первую попавшуюся работу.

«Кризис заставил 20 докторов в Бруклине (часть Нью-Йорка) взять места шоферов»—читаем мы в американской газете «Дейли уоркер».

Еще хуже положение врачей в Польше.

«Из живущих в гор. Лодзи 600 врачей более половины находятся без работы и средств к существованию»¹⁾.

На собрании врачей в Львове докладчик д-р Эксельбрит заявил: «80 проц. польских врачей живут в жестокой нужде. Много врачей совершенно не имеют практики. Зарегистрирован ряд случаев, когда врачи в поисках средств к существованию продают на улицах газеты».

Докладчик подчеркнул, что под влиянием кризиса население все реже обращается к врачам, вследствие чего частная практика резко сократилась. Он отметил, что на этой почве между врачами обострилась борьба за каждого пациента. Любопытный штрих: в целях расширения своей практики многие врачи нанимают специальных агентов, которые вербуют больных.

Кривая безработицы среди врачей неуклонно подымается вверх как в Европе, так и в Америке, в то время как рост заболеваемости принимает все большие размеры. Выход из этого типичного для капиталистического строя противоречия буржуазия ищет в искусственном сокращении числа врачей.

Именно эту точку зрения отстаивает известный немецкий ученый, профессор Ленгоф, в своей статье в газете «Фосшше дейтунг», красноречиво озаглавленной «Врачи без пациентов».

Причину всех зол он видит в якобы существующем в Германии «перепроизводстве врачей», хотя сам вынужден признать, что 52.000 врачей, имеющих в Германии, не могут обслужить полностью нужды страны, особенно принимая во внимание рост населения, усложнение методов лечения и рост заболеваемости.

«Но,—пишет Ленгоф,—в ближайшие годы в связи с финансовыми затруднениями уменьшится спрос на больничных муниципальных и других врачей, состоящих на государственной и общественной службе. Надо также принять во внимание, что растущее обеднение состоятельных слоев населения уменьшает частную практику, а, с другой стороны, меры экономии в больничных кассах существенно сократили и практику, оплачиваемую этими кассами».

В результате уже в 1935—36 гг., по вычислениям проф. Ленгофа, число новых врачей, выпущенных медицинскими вузами, будет «вдвое или втрое больше потребного» и для тысяч из них «будут закрыты возможности работы и жизни».

Отсюда и вывод, который делает Ленгоф: немедленно, в законодательном порядке, ограничить выпуск новых врачей, введя разверстку по вузам.

Самое печальное то, что это нелепое, частично уже проводимое в жизнь предложение энергично поддерживается значительной частью врачебного мира Германии, обеспокоенного своим будущим.

Экономический кризис, с беспощадной резкостью вскрывающий многочисленные язвы прогнившей капиталистической системы, сорвал завесу и с предельной буржуазной «врачебной этики».

Мы не говорим уже о том, что в Германии, Австрии, Англии, САСШ и др. странах много врачей, в большинстве случаев лишенных своей обычной практики и клиентуры из чисто материальных соображений, кинулись на всякого рода подпольные заработки—производство запрещенных законом абортных и обеспложивающих мужжин, торговлю наркотиками и т. д. Это стало настолько обыденным явлением, что не привлекает больше ничего внимания. Мы приведем только два примера, пока-

¹⁾ См. «Наш Пшеглонд» от 10 января 1933 г.

зывающих, как далеко зашел процесс морального разложения врачей.

Осенью 1932 г. берлинское «Общество дерматологии» внесло в муниципалитет запрос, поддержанный союзом берлинских врачей, в котором оно предлагает немедленно отменить бесплатное лечение, осуществляемое сетью принадлежащих магистрату венерических амбулаторий и диспансеров. Проведение этого предложения в жизнь означало бы огромный рост заболеваний и оставление без всякой медицинской помощи десятков тысяч безработных, так как последние не имеют средств на платное лечение.

По существу ту же мысль, только более откровенно, проводит в своей недавно опубликованной книге вышеупомянутый мюнхенский профессор Ленц. Отмечая, что в настоящее время сифилис теоретически вполне излечим, проф. Ленц пишет:

«Следует однако пораздумать, какое число врачей, и без того ведущих трудную борьбу за существование, потерпело бы жестокий убыток (каков термин! — А. В.) в своей практике, если бы в один несчастный день (?) исчезли половые заболевания».

Даже привычная ко всему буржуазная пресса сочла себя вынужденной возмутиться и одернуть зарвавшегося профессора.

Но, пожалуй, ярче и нагляднее всего глубочайший маразм буржуазной культуры виден в культе знахарства. Возьмем Германию — страну, давшую миру Р. Вирхова, П. Эрлиха, Р. Коха, Вассермана и других корифеев медицины. Казалось бы, что здесь больше, чем где бы то ни было, знахарство давно уже изгнано из обихода. И вот такова диалектика развития капитализма — оказывается, что именно в Германии знахарство не только расцветает пышным цветом, но прозит самому существованию медицины. Число знахарей в Германии уже сейчас фактически превышает число врачей: 52 тыс. врачей и свыше 50 тыс. одних только официально зарегистрированных знахарей, из них 7 тыс. — в одном Берлине. Число же незарегистрированных знахарей — «кустарей-одино-

чек» — измеряется десятками тысяч. Недаром один из крупнейших германских медицинских авторитетов, известный ученый, проф. Мух, с тревогой отмечает, что «свыше половины больных по всей стране пользуются услугами не врачей, а знахарей, авторитет которых, по его словам, возрастает «с угрожающей быстротой».

Достаточно сказать, что в то время, как тысячи врачей голодают, не имея пациентов, только у одного из знахарей, некоего Цайлеса, бывает ежедневно до 3 тысяч больных. Предприятие Цайлеса поставлено на крупную ногу. Больных, съезжающих к нему со всех концов Германии и из-за границы, он принимает только группами по 130 чел. в каждой. 25 групп ежедневно, — такова пропускная способность этого магического эскулапа, и так изо дня в день.

«Чудотворец из Гальспаха», уютно обосновавшийся в старинном замке близ Линца, «исцеляет» с помощью своего «светящегося жезла» от туберкулеза и рака, сифилиса и диабета, язвы желудка и артериосклероза.

Самое интересное однако, что врачи в большинстве своем не только не облачают его, не только не дают отпора, а, наоборот, рекомендуют и аттестуют его с самой лучшей стороны. «Целитель больного человечества», «человек, беспримерно обогативший наше диагностическое и терапевтическое вооружение» — так характеризовали Цайлеса многие крупные медики на инсбрукской конференции врачей.

Но дело не в Цайлесе, а в том, что врачи вообще не ведут борьбы со знахарством, и, больше того, сами усиленно перекавалифицируются «на знахаря». За последние 2—3 года изданы сотни «научных трудов», одни названия которых дают достаточно яркое представление об их содержании.

Таковы работы тубингенского проф. Отфрида Мюллера: «Знание и вера в медицине» (1929 г.), д-ра Карла Швейцера: «Болезнь и грех», данцигского хирурга проф. Эрвина Лика: «Чудо в медицине» (1930 г.) и т. д. Во всех этих книгах доказывается, что спасение меди-

цинской науки лежит в повороте ее к «иррациональному, метафизическому, к тому, что выше жалкой эмпирики и грубого материализма».

«Болезнь является не чем иным, как результатом греха, и победа над болезнями лежит на пути победы над человеческой греховностью».

Этот глубокомысленный «тезис» Карла Швейцера поднят на щит всеми врачами, тесно сомкнувшими свой фронт с поповщиной, мракобесием и реакцией. Так, проф. Эрвин Лик пишет:

«Нам нужен бог, больше всего он нужен врачу»¹⁾.

А д-р Карл Гумпер, доказывающий, что «здоровье души—это познание бога», призывает к созданию «вспомогательной науки—пасторской медицины»²⁾.

Подобные высказывания, понятно, отнюдь не характеризуют настроений огромного большинства врачей, как и вообще трудовой интеллигенции Западной Европы. Среди последней сейчас происходит интенсивный процесс классового расслоения. Уже сегодня мы видим значительное полевение основной массы врачей, радикализацию, растущую по мере обострения и углубления классов-

вой борьбы, по мере нарастания революционного кризиса.

Достаточно вспомнить хотя бы антивоенную международную конференцию врачей, состоявшуюся одновременно с Амстердамским антивоенным конгрессом в августе 1932 года.

Известные деятели медицины—проф. Канторович (Боннский университет), д-р Макс Гирш, проф. Зигмунд Фрейд (Вена), д-р Тулецкий, проф. Пик (Кенигсберг), проф. Гулин (Париж), проф. Артур Бидл (Прага), проф. Маранон (Мадрид), д-р Лейнах (Копенгаген) и д-р Бруннбахер (Цюрих)—опубликовали воззвание, в котором призывали к борьбе против угрозы новой империалистической войны и к поддержке антивоенного конгресса. Это воззвание произвело большое впечатление в медицинском мире и вызвало ряд оживленных откликов. Более пятидесяти врачей приняло участие в специальной конференции, обсуждавшей задачи работников медицины в борьбе против войны.

Тупоголовые буржуа типа Ленгофа и Ленца, в бешеном страхе перед грядущей революцией тщетно пробуют повернуть вспять колесо истории. Лучшие представители интеллектуального Запада все яснее начинают сознавать, что только победоносная пролетарская революция сможет спасти человечество от катастрофы и гибели, от «морлокизации», которую готовит ему прогнившая капиталистическая система.

¹⁾ См. Ervin Liek «Das Wunder in der Heilkunde». Мюнхен, 1930 г., стр. 26.

²⁾ См. его книгу «Psychotherapie und religiöse Kulthandlungen».

Литературный архив

ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ О КАРЛЕ МАРКСЕ

Н. Пясанов

(По архивным текстам)

1

В сентябрьской книге «Вестника Европы» за 1877 год появилась обширная статья Ю. Жуковского: «Карл Маркс и его книга о капитале». Буржуазный экономист придирчиво, поверхностно и высокомерно трактовал воззрения Маркса, извращая самое существо этих воззрений.

Пристрастность и извращения, допущенные Жуковским, были столь велики, что сейчас же вызвали сопротивление. В «Отечественных записках» за тот же год, в октябрьской книге, была напечатана ответная статья: «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского». Она была подписана буквами: Н. М., и за ними скрывался Н. К. Михайловский. Отдавая должное «редкой логической силе и громадной эрудиции» Маркса, Михайловский метко и едко критиковал Жуковского. Но и сам, будучи теоретиком народничества, не удержался от искажений взглядов Маркса.

В следующей же, ноябрьской книге тех же «Отечественных записок» выступил другой критик Жуковского, Н. И. Зибер, со статьей: «Несколько замечаний по поводу статьи г. Ю. Жуковского «Карл Маркс и его книга о капитале»». Один из ранних русских марксистов, Н. И. Зибер основательно опровергает Жуковского, устанавливая, что «все возражения Жуковского имеют несчастье бить мимо цели».

Эта полемика стала известна самому ее виновнику, Карлу Марксу, и притом не в переводах, а в подлиннике. Оказалось, что Маркс следил за русской литературой, что он, чтобы судить об экономическом развитии современной России, выучился по-русски и изучал русские официальные и другие издания. Точно неизвестно, читал ли Маркс все три названные выше статьи. Но одну из них, а именно статью Михайловского, он прочел и признал необходимым выступить с возражениями. Он написал (в конце 1877 г., по-французски) письмо к редактору «Отечественных записок», опровергая критику Михайловского в той части, какая относится к главе о «первоначальном накоплении» в «Капитале».

Письмо однако осталось не отправленным и было найдено в бумагах Маркса уже после его смерти. Десять лет спустя в русском переводе оно было напечатано в № 5 «Вестника народной воли» за 1886 год, а потом, еще через год, перепечатано в России, в «Юридическом вестнике» (1888 г., № 10).

Вторая перепечатка обратила на себя внимание, и из «Юридического вестника» письмо Маркса было воспроизведено в нескольких периодических изданиях

2

Среди читателей письма Маркса оказался и Глеб Иванович Успенский.

Письмо взволновало Успенского.

Он пропагандирует письмо-статью Маркса среди литераторов. Повидимому, первым он осведомляет самого Н. К. Михайловского о ней. Посылает ее для прочтения профессору литературы О. Ф. Миллеру, и тот, возвращая Успенскому книжку «Юридического вестника», в сопроводительном письме соглашается, что статья Маркса интересна. В конце октября 1888 г. Успенский пишет редактору «Русских ведомостей» В. М. Соболевскому: «Что это вы не сделаете извлечения из «Письма Карла Маркса», напечатанного в «Юридич. Вестн.» 7 октября. Это — письмо к Михайловскому. Маркс выражает обиду, что Михайловский позволил себе заподозрить его в том, что он, Маркс, считает «железные законы развития капитализма» неизбежными для наций, не имеющих ничего похожего в истории экономических порядков с европейскими. Вот что он пишет:

«Чтобы судить со знанием дела об экономическом развитии современной России, я выучился по-русски и затем в течение долгих лет изучал официальные и другие издания, имеющие отношение к этому предмету. Я пришел к такому выводу: если Россия будет продолжать идти по тому же пути, по которому она шла с 1861 года, то она лишится самого прекрасного случая, который когда-либо предоставляла народу история, чтобы избежать всех перипетий капиталистического строя» (271 стр., октябрь).

«Ведь это смертный приговор! Положительно необходимо вам перепечатать это в сокращении. Вот тут-то и было наше дело — да сплыло. Теперь одни — самохвалы, из статистических данных извлекают одни прелести жизни народа, великое будущее, выбрасывая всю мерзость запустения, а другие — Марксы Карлики, выбрасывают из этих же данных все, что еще живо оригинальностью, конечно, случайно, — и повелевают покориться всем перипетиям. А таких слов, великих и простых, которые говорит Маркс и которые требуют ог-

ромного дела, — мы не говорим, — и по этому делу не делаем никакого. Как это письмо меня тронуло!..»

Но всего этого Успенскому мало. Он пишет особую статью по поводу письма Маркса.

Статья эта, как и статья самого Маркса, не увидела света при жизни автора. В своем подлинном, полном виде она появляется только теперь, в 1933 году, через 45 лет со дня написания. Она имела своеобразную судьбу.

Написана была статья в декабре 1888 года, не позже 25-го числа. Именно около 25 декабря Успенский посылает одно письмо, печатаемое ниже, в котором упоминает свою статью для «Русских ведомостей», посланную, но еще не напечатанную. Письмо это Успенский адресовал в Казань В. Н. Поляку, заведывавшему тогда редакцией «Волжского вестника». Летом 1888 года Успенский проезжал через Казань, был в редакции газеты и познакомился с В. Н. Поляком. Тот просил его сотрудничества в газете, и этим объясняется, что Успенский именно в «Волжский вестник» направил и свою статью, и сопроводительное письмо. Оно публикуется впервые. (Успенский именует Владимира Николаевича Поляка Владимиром Львовичем).

«Многоуважаемый
Владимир Львович!

Прилагаю при сем маленькую статью, но опасаясь, что она не придется Вам по вкусу. Ничего иного я не мог до сих пор послать Вам, потому, что положительно утомлен и хотел бы не работать хоть полгода. Но работать надо на свою погибель.

«В этой статьеке есть цитата из Рус. Вед. Она вошла в один рассказ: «Не знаешь, где найдешь», который должен быть там напечатан. Может быть, ред. и выбросит из него ту вставку, которую я перенес в эту заметку. Когда выйдет № Р. В., можно просмотреть его, и если там нет того, что приведено здесь, тогда просто нужно зачеркнуть строчки о том, что это вставка. При первой возможности я напишу Вам рассказ, а теперь простите.

«Позвольте мне просить Вас сообщить мне имя и отеч. Г-жи Подосеновой и Загоскина. Я хочу прислать Вам, г. Загоскину и Г-же Подосеновой мое новое издание.

Преданный Вам

Г. Успенский,

Вас. Остр. 7 линия, д. № 6, кв. 4».

В «Волжском вестнике» статья Успенского не была напечатана. В. Н. Поляк уведомлял потом автора письмом, что статья не пропущена цензурой. Этого и следовало ожидать, как увидим из самого текста статьи и как узнаем из другой попытки провести статью в печать. Именно месяца через два вторую попытку напечатать сделал известный беллетрист А. И. Эртель, живший тогда в Воронеже. В начале 1889 года он затевал издать литературный сборник в пользу Воронежской публичной библиотеки и просил участвовать видных столичных литераторов. В семейном архиве Успенских сохранилось письмо Эртеля к Глебу Ивановичу от 10 марта 1889 года. Эртель писал:

«Начинаю с Вас и с Н. К. Михайловского. Знаю, что вам может быть затруднительно исполнить эту просьбу, но если ничего не можете написать (хотя бы пол-листа!), отдайте вашу заметку о письме К. Маркса к Н. К-чу. Положим, что цензура в Казани посмотрела на эту заметку свирепым оком, но авось Воронежцу посчастливится?»

Воронежу не посчастливилось, и статья Успенского опять не была напечатана.

Но ее текст-автограф, посланный В. Н. Поляку в Казань, сберегался в его личном архиве. В 1902 году в «Саратовском листке» (№ 74) Поляк поместил статью: «Из воспоминаний о Гл. Ив. Успенском». Здесь он рассказывает кратко о своем знакомстве с Успенским, о попытке напечатать его статью и здесь же публикует и текст этой статьи, носившей название «Горький упрек».

Однако текст статьи воспроизведен весьма неудовлетворительно. Не говоря уже о неточностях транскрипции, в публикации было допущено целых три

крупных пропуска, из коих два были оговорены Поляком, а третий, самый важный, прошел безо всяких оговорок, незаметно для читателей. В общем, пропущено оказалось около трети всего текста.

Но и эта ущербная публикация затеялась в провинциальной газете, никогда не перепечатывалась и оставалась неизвестна даже специалистам-литературоведам.

Только в 1929 году, т.-е. через 27 лет, ее извлек из забвения исследователь Успенского В. В. Буш и перепечатал в журнале «На литературном посту» (впрочем, еще раньше, в 1927 г., В. В. Буш кратко излагал ее в своей книжке: «Литературная деятельность Гл. Успенского»; из этой книжки в дальнейшем изложении берутся некоторые цитаты из черновых набросков Успенского).

Не располагая подлинником, В. В. Буш воспроизвел статью Успенского со всеми теми дефектами, какие имелись в публикации «Саратовского листка».

Теперь я могу дать полный текст статьи по автографу, хранившемуся у В. Н. Поляка и потом в его семье, а позднее переданному мне через Р. С. Мандельштам.

3

Ставя своей основной задачей воспроизведение полного и точного текста статьи Успенского о Марксе¹⁾, я не могу здесь подробно анализировать ни статей Жуковского, Михайловского и Зиберы, ни письма Маркса, ни даже статьи самого Успенского. На статью Жуковского достаточно полно отвечал в свое время Зибер. Суждения Михайловского о Марксе стали объектом блестящей, сокрушительной полемики В. И. Ленина еще в его ранней работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» (1894). В этой работе Ленин касается и эпизода с письмом Маркса. «Как трансформизм,—пишет здесь Ленин,—претендует

¹⁾ Впрочем оговариваюсь: воспроизвожу только окончательный текст статьи, минуя детали черновой работы Успенского.

совсем не на то, чтобы объяснить «всю» историю образования видов, а только на то, чтобы поставить приемы этого объяснения на настоящую высоту, точно так же и материализм в истории никогда не претендовал на то, чтобы все объяснить, а только на то, чтобы указать «единственно научный», по выражению Маркса («Капитал»), прием объяснения истории. Можно судить поэтому, какие остроумные, серьезные и приличные приемы полемики употребляет г. Михайловский, когда он сначала перевирает Маркса, приписывая материализму в истории вздорные претензии «все объяснить», «найти ключ ко всем историческим замкам» (претензии, сразу же конечно и в очень ядовитой форме отвергнутые Марксом в его «письме» по поводу статей Михайловского), затем ломается над этими, им же самим сочиненными претензиями».

Сам Маркс в своем письме говорит о Михайловском так: «Теперь спрашивается, какое же приращение к России может извлечь мой критик из моего краткого исторического очерка? Только следующее: если Россия стремится стать нацией капиталистической по образцу западно-европейских наций,—а в течение последних лет она наделала себе в этом смысле много вреда,—она не достигнет этого, не преобразовав предварительно доброй доли своих крестьян в пролетариев, а после этого, приведенная раз на лоно капиталистического строя, она подпадет под власть его неумолимых законов, как и всякая другая непосвященная (profane) нация. Вот и все! Но этого слишком мало для моего критика». Для нас этого достаточно.

Что касается статьи самого Успенского, то ее полный исторический анализ потребовал бы обширного экскурса в историю его мирозерцания, — чему здесь тоже не место.

Для общего осознания публикуемого текста довольно будет нескольких указаний.

Опубликование в 1888 году письма Маркса взволновало Успенского потому, что отвечало на самые глубокие его сомнения и искания.

В ноябре 1887 года Глеб Иванович

писал В. М. Соболевскому: «Мне теперь хочется до страсти писать ряд очерков: Власть капитала». «Это будет не трескучая, но дельная работа. Я именно рад, что это будет дело. Если «Власть капитала» название не подойдет, то я назову «Очерки влияния капитала». Влияния эти определены, неотразимы, ощущаются в жизни неминуемыми явлениями. Теперь эти явления изображаются цифрами,—у меня же будут цифры и дроби превращены в людей. Эта тема ставит меня на твердую почву, теперь я перестая мучиться случайными муками, которыми меня может мучить начальство сумбурное, глупое, — словом, начальство, которое мудрит по неведомым для меня соображениям. Мало ли что оно выдумает? Я устал его ругать и не понимать. Пусть это делают более меня молодые писатели. Я же теперь возьмусь за такие явления жизни, которые не зависят ни от каких капризов правительств, а неминуемы и ужасны. Уверен, что ужасность их будет понята читателями, когда статистические дроби придут к ним в виде людей, изуродованных и искалеченных».

Успенский мучился неминуемостью и ужасностью надвигающихся «явлений жизни». Как-раз в те дни, когда он писал свою статью о Марксе, в «Русской мысли» печатался (1888, № 12) его очерк «Грехи тяжкие», где одна из глав называлась: «Пришествие господина Купона». В очерке Успенский писал: «Порядок, надвигающийся между прочими народами и на нас, не знает различия между какими то ни было нациями. Не имеет он никакого отношения к идеалу этих наций и вообще не желает оказывать ни малейшего внимания к нравственной духовной жизни человечества. Человек, живущий на экваторе или на полюсе, русский ли мужик, или индеец, китаец, папуас, араб, туркмен,—все эти человеческие разновидности и особенности их самобытной духовной жизни ничего не значат для грозного порядка, который идет на всех с одинаковым желанием переломать весь строй этой разнообразнейшей самобытности на свой однообразный и бездушный образец. Это идет капитализм, меркантилизм или

просто-напросто господин Купон, а по мужицкому разумению—прямо Антихрист».

Впрочем и раньше Успенский начал думать в том же направлении. Около 1885—1886 гг. он набрасывал в рукописи очерк: «Машина и человек». Здесь читаем: «Успех буржуа, капитала, со всеми ужасами попирания им человека—вот что выросло над всеми правовыми порядками культурного общества... Это мрачное течение до такой степени ужасно в настоящем, таинственно в будущем и в то же время так немолимо в непрерывности своего повсеместного распространения, что и в нашей русской жизни тягота впечатления пришествия машины и попирания человека, несмотря на то, что это трудное дело у нас лишь только начинается, смело может быть названо первенствующим среди собственных наших неисчислимых бессмыслиц».

Успенский полон скорбных предощущений пришествия г. Купона, т.-е. капитализма. Он чувствует и знает, чем это ознаменуется: «статистические дробы придут в виде людей изуродованных и искалеченных». В архиве Успенских сохранился набросок темы предполагаемой литературной работы: «Капитал. Очерки современной жизни. О ж и в а ю щ е е ж е л е з о и у м и р а ю щ и й ч е л о в е к». В другом отрывке-автографе семейного архива, относящемся к тому же 1888 году, Успенский пишет не без иронии: «Увы, люди вполне сведующие утверждают, что светлые дни придут не иначе, как после того, как весь белый свет будет закутан черными тучами фабричного дыма, и когда весь земной шар со всеми его недрами будет сожжен на фабриках. Зрелище прискорбное. Но что делать! Фабрика, ведь, к тому только и стремится, чтобы обобществить труд».

«Люди вполне сведующие» — это марксисты, русские марксисты. В 1888 г. Успенский уже знает их и своею мыслью постоянно возвращается к их взглядам и прогнозам. Следует учесть, что именно в 1888 году появилась известная статья об Успенском Г. В. Плеханова, — первая его марксистская литературно-критическая статья.

Со своей поразительной чуткостью Успенский предугадывал «неминуемость» развития капитализма в России. Но «больная совесть» писателя пугалась «ужасности» нового порядка. Успенскому больше дорог был «человек», живая человеческая личность. И он терзался при мысли о тех страданиях, какими угрожает «человеку», прежде всего русскому крестьянину, развитие капитализма. И порой Успенскому казалось, что в своих прогнозах ошибаются и русские марксисты, и сам он, что горькая чаша капитализма минует Россию, что правы окажутся народники с их верой в особые пути развития русского общества.

И вот при чтении письма-статьи основоположника марксизма Успенскому показалось, что эти его сомнения и надежды подтверждаются.

4

Тогда Успенский пишет взволнованную, горячую статью «Горький упрек»

Он довольно усердно обрабатывал текст статьи. В семейном архиве Успенских сохранились три листка черновых набросков статьи. И в самом автографе, посланном Успенским Поляку для печати, много следов внимательной обработки текста. Однако и в окончательной редакции имеются некоторые мелкие шероховатости и те излишества-отступления, публицистические отклики на злобу дня, какие обычны в писаниях Успенского. Таково например отступление-цитата из собственной газетной статьи о «карактере» исправников, о капризной уездной статистике и о преступности горбатовских крестьян. Таково примечание в конце статьи о молебствии в театре Нюметти.

Но есть отступления в статье, которые придают ей остроту и которые наверно и были причиной цензурного запрещения. Таковы несколько строк, посвященных Успенским воспоминанию о посещении Парижа вскоре после дней Коммуны. Злодейская расправа с коммунарами поразила Успенского. Она отобразилась в рассказе «Больная совесть» («Отечественные записки», 1873, №№ 2 и 4). В архиве Успенских сохра-

нился набросок с воспоминанием о пребывании в Париже (в 1872), близкий к тексту «Горького упрека», но с существенным вариантом о логике классово-вой борьбы: «Когда тотчас после Коммуны мне пришлось быть в Париже и посещать версальские суды, я, положительно потрясенный неумолимым злодейством, все-таки не мог не видеть в этой комедии суда настоящей подлинной необходимости в истреблении этих сапожников и портных, взятых с оружием в руках, потому что «известный строй жизни» должен и не может не карать своих нарушителей». «И надобно было истребить, убить в количестве 23 тысяч человек, так как иначе невозможно было бы не подорвать основной организации всего купонного строя жизни».

Другим острым высказыванием в статье является абзац о российской «системе личной и общественной морали» и о «европейском зле» — капиталистической фабрике, вызывающей «рабочий вопрос», «стачки», «сопровождающиеся столкновениями с войсками» и т. д., при чем у нас, в России, «всякое европейское зло приемлемо», а «европейский против зла крик неприемлем». Именно этот абзац был «неприемлем» не только в 1888 году, но в 1902-м: он пропущен — и безо всякой оговорки — и в публикации «Саратовского листка».

Не менее замечательны высказывания о трудах Маркса и Энгельса. В упомянутой выше статье Плеханов советовал Успенскому ознакомиться с работами Маркса: «исторические идеи Маркса внесли бы много стройности в мирозерцание Гл. Успенского». Но вот оказывается, что Глеб Иванович был знаком с идеями и книгами Маркса. В. В. Буш отмечает, что ранние упоминания о Марксе в произведениях Успенского относятся к 1881—1882 гг. («Деревенские неурядицы»). В статье 1888 года Успенский говорит о «Капитале» как о книге, давно ему знакомой. Он высокого мнения об этой книге: «Несколькими строками, написанными так, как написана каждая строка в его «Капитале», т.-е. с безукоризненной точностью и беспристрастием, К. Маркс осветил весь ход нашей экономической

жизни, начиная с 61 г.». Глеб Иванович знает и кратко излагает и другую работу Маркса—вместе с Энгельсом—о гражданской войне во Франции в 1871 году. Здесь замечательно, что Успенский четко выделяет единение правящих классов Франции и Германии «относительно взаимного участия в подавлении этого восстания, так как это—продукт общеевропейского капиталистического строя, одинаково тревожащего обе страны».

5

Знакомство Успенского с «Капиталом» Маркса, с брошюрой Маркса-Энгельса и—надо предполагать—с некоторыми их другими работами, сочувственный его отзыв о «Капитале» и вообще о достоинствах исследований Маркса, сопоставление этих данных с новым поворотом мысли и творчества Успенского к проблеме «власти капитала» склоняли литературоведов к заключению, что в конце восьмидесятых годов наблюдается отход Успенского от народничества в направлении к марксизму. П. Н. Сакулин полагал, что в письме Маркса Успенский «находит поддержку для своей борьбы с народническим оптимизмом». В. В. Буш утверждал, что «во второй половине 80-х годов Успенский явно и определенно отходит от народнических иллюзий. Он осознает, что промышленный капитализм неизбежно разрушит народнические утопии, и перед всеильным натиском господина Купона, как он выражается, не устоит народническая власть земли. Ее заменит власть капитала».

Что Успенский с болезненной чуткостью и четкостью воспринимал наступление на Россию «господина Купона», т.-е. капитализма, что он не разделял многих народнических иллюзий, — это бесспорно. В этом отношении он далеко опередил многих народников, особенно из среды литераторов-беллетристов. Но не следует торопиться с дальнейшими выводами.

Чтение и даже изучение, и даже высокие оценки Маркса еще не говорят за то, что Успенский склоняется к марксизму. Во второй половине восьмидеся-

тых годов народники уделяли много внимания вопросам экономики и хозяйственного развития России. Они выдвинули ряд видных экономистов и статистиков. Переводчиками Маркса были Даниельсон и Г. Лопатин. Нельзя отказать Н. К. Михайловскому в знании Маркса. Поэтому не удивительно, если Успенский обнаруживает знакомство с работами Маркса и Энгельса, если он отчетливо видит власть капитала на Западе и признает его начинающееся наступление на Россию. Все дело в том, удастся ли России, русскому обществу, русским революционерам приостановить это наступление, повернуть развитие страны на иной, особый путь, имеют ли законы, установленные Марксом, значение универсальное или только локальное—для Западной Европы.

Поклонник и ученик Михайловского, Успенский знал, изучал и помнил его сочинения. В «Горьком упреке» он приводит обширную цитату из статьи Михайловского о Жуковском и вполне присоединяется к выводу своего авторитета: теория Маркса требует поправок и ограничений; она неприменима ко «всем народам». С Михайловским Успенский постоянно сближался в своих произведениях. Так, в статье о Жуковском мы читаем у Михайловского: «Не трудно видеть, как должен с своей точки зрения относиться Маркс к попыткам русских людей найти для своего отечества путь развития, отличный от того, которым шла и идет Западная Европа». Но — «трудно нам обойтись без подобных попыток». «В самом деле, русскому народу и без того выпала слишком не легкая доля, чтобы набавлять еще к этому итогу указываемые Марксом способы «подкапывания под человеческую расу». Выходка Маркса, разумеется, чисто ироническая. Он вполне уверен, что для обновления Европы не понадобятся никакие посторонние средства, ибо к обновлению ее приведет внутренний процесс ее собственного развития путем обобществления труда. И ему хорошо иронизировать, когда значительная и тягчайшая часть этого процесса уже совершилась; но ведь мы в ином совсем положении. Все эти «калечения незрелых и женских

организмов» и проч. нам еще предстоит, и мы, с точки зрения исторической теории Маркса, не только не должны протестовать против этих калечений, что значило бы прать против рожна, но даже радоваться им, как необходимым, хотя и крутым ступеням, ведущим в храм счастья.

К этим рассуждениям близко подходят мысли Успенского, изложенные в одном наброске 1885—1886 гг.: «Та самая машина, которая стучит и дымит, и сушит человека, который ей «подвержен», точь-в-точь, как она стучит, дымит и сушит человека в Европе, на деле—не одно и то же для Европы и для нас в нравственном отношении. Мы не потратили на нее ни капли нашей мысли, мы не пережили изо дня в день, как переживала Европа, все последствия, которые она вносила в жизнь, наша же жизнь не обсуждала этих последствий, не заглядывала в будущее, не стремилась к обороне от зла, которое она внесла, завтрашний день, после того, как мелькнула мысль при виде пара, исходящего из чайника, завтрашний день после изобретения станка и е б ы л и з в е с т е н н и изобретателям, ни обществу; неожиданное изобретение вносило неожиданные осложнения, страдания, волнения».

Отметим одну общую черту у обоих единомышленников: тревогу за «калечение», за «страдания» живых людей при наступлении капитала.

Михайловский ставил вопрос: «Надо же доподлинно знать, что исторический процесс, действительно, неизбежно таков, каким его рисует Маркс». Михайловский думал, что не таков. Он выдвигал свои собственные соображения. Он брался, еще в 1877 году, показать, «какие поправки к теории можно заимствовать у самого Маркса».

И вот, когда появилось через одиннадцать лет, в 1888 году, письмо Маркса в редакцию «Отечественных записок», Глебу Ивановичу Успенскому показалось, что сам Маркс вносит в свою теорию новую и крупнейшую поправку и что, приняв эту поправку, русские общественники должны твердо стать на том базисе, что Россия может «избежать

всех перипетий капиталистического строя».

Итак, Маркс — «не марксист», его теория не фатальна, особый путь развития России не отвергнут, и хотя многие русские деятели впадали в прискорбную ошибку, но дело еще поправимо, надо только широко популяризировать письмо Маркса, укрепиться в народнических позициях и возобновить действия; иначе «мы лишаемся самого прекрасного случая, который когда-либо предоставляла народу история, чтобы не переживать всех перипетий европейского зла», иначе будет справедлив «горький упрек» Маркса.

Таков последний смысл «Горького упрека».

Но не таков был смысл письма Маркса. Там было сказано: «Если Россия стремится стать нацией капиталистической по образцу западно-европейских на-

ций», «она не достигнет этого, не преобразовав предварительно доброй доли своих крестьян в пролетариев, а после этого, приведенная раз на лоно капиталистического строя, она подпадет под власть его неумолимых законов». «Вот и все!»

Россия восьмидесятых годов стремилась стать капиталистической, она уже преобразовывала своих крестьян в пролетариев, она уже подпала под власть капиталистического строя, и одним из результатов такого развития оказался рост русского марксизма, на глазах у Успенского, сменявшего русское народничество и в лице Плеханова уже критиковавшего и творчество самого Успенского.

Публикуемый документ является ценнейшим и красноречивым свидетельством кризиса русского народничества.

Горький упрек

(Письмо Карла Маркса. «Юридический вестник», 1888 г., № 9)

Письмо это, найденное в бумагах К. Маркса после его смерти, заслуживает самого глубокого внимания всякого русского человека, которого крепко и искренно заботят судьбы русского народа. Несколькоми строками, написанными так, как написана каждая строка в его «Капитале», т.-е. с безукоризненной точностью и беспристрастием, К. Маркс осветил весь ход нашей экономической жизни, начиная с 61 г. Без малейшего колебания в понимании подлинной сущности фактов нашей действительности, без малейшего снисхождения к нашим экономическим бессмыслицам он посылает нам из-за могилы грозный и горький упрек в том великом грехе, который русское общество совершает против самого же себя.

Этот горький и грозный упрек необходимо слышать всякому русскому человеку, чтобы, так сказать, «опомниться», «очувствоваться» в понимании своих личных и общественных обязанностей. Строгий, беспристрастный взгляд такого человека, как К. Маркс, на «нас, русских», на наш русский народ, на его

экономические особенности и на его истине с в я щ е н н ы е о б я з а н н о с т и к самому себе,—такой взгляд не может не заслуживать самого глубочайшего внимания, потому что он не затуманен никакими «временными веяниями», никакими не подлежащими определению (а иногда даже и пониманию) случайностями русской жизни, которые играют в условиях нашей жизни несомненно значительную роль и не дают возможности, даже и в литературе, судить о ней с полным беспристрастием. «Кому из российских обывателей не известно, — писал я недавно в одной газете, касаясь вопросов, подходящих к настоящей заметке¹⁾, — что иногда статистические «данные» о благосостоянии или неблагосостоянии того или другого угла могут изменяться до неузнаваемости единственно только от «карактера» г. исправника? У одного исправника характер жосткий, горячий, да и жена у него франтоватая, любящая

¹⁾ «Русские ведомости» [примечание Г И Успенского]

иметь в обществе «значение»,—и вот он, чтобы получить повышение или денежную награду к празднику, начинает «выбивать» подати безо всякого милосердия и в такое время, когда все хозяйственные продукты не имеют настоящей цены, когда продавать их значит прямо разориться на весь будущий год; он конечно взыщет, представит раньше прочих, отличится и награду получит, но народ отощает, изболеет, измается, и, таким образом, статистические таблицы обогатятся цифрами смертности и болезненности? Другой же исправник, добрый, мягкий и холостой, повременит, даст мужикам время продать продукт подороже и не только не разорит, а, напротив, улучшает положение крестьян, расстроенных «энергическим» предшественником, и обогатит цифрами столбцы не смертности и болезненности, а столбцы прибыли и прироста. Но ведь среди цифр нельзя упомянуть, что в разорении крестьян д. Палкиной виноват «караκτηр» исправника Ароматова? И нельзя также сказать, что прирост населения произошел потому, что новый исправник человек добрый, что он даже музыкант, полискивает на флейте, да и под фисгармонию подпекает? Без этого же объяснения разноречивые цифры из одной и той же местности на пространстве времени двух-трех лет не могут дать точных указаний ни о процветании, ни о упадке и невольно ставят исследователя в недоумение».

Да простят мне читатели эту не совсем подходящую к делу шутку: я просто желал обратить его внимание на огромное значение в условиях нашей жизни такого рода «данных», которые никоим образом не могут быть объясняемы при посредстве строго научных приемов. Подлежат ли каким-либо достоверным научным выводам, положим, статистические данные о преступности по тем деревням Горбатовского уезда Нижегородской губ., крестьяне которых (бывшие шереметьевские) до сих пор с 61 года, кажется, не имеют даже утвержденных уставных грамот и владенных записей? Дела о «сопротивлении властям» идут в этих шереметьевских дерев-

нях постоянно. Из одной этой местности несколько лет под ряд препровождалось под суд и в тюрьмы немалое количество народа. Можно ли взять цифру «горбатовской преступности» в общую сумму преступности в России и делать на этом основании какие-нибудь общие выводы о падении народной нравственности? Кто наконец не слышал этой характернейшей фразы: «Нет! При Михаиле Петровиче порядки были не те! Куда!». А как этот нонешний чорт приехал,—все и пошло шиворот навыворот!» Всякий слышал эти слова, и всякий должен знать, что именно за «данными», которыми наполняют статистику «караκτηры» большего и меньшего размера, трудно видеть подлинное положение дела, трудно вывести заключения, не подлежащие сомнению. В виду такой посторонней примеси к подлинным данным—огромный статистический материал, накопившийся в настоящее время,—при разработке его большею частью невольно заставляет исследователя оставлять без объяснения цифры, не поддающиеся ясному определению, устранять их и придавать своему исследованию несколько односторонний оттенок. Среди зловещих цифр, рисующих известное явление народной жизни в самом безнадежном виде, нежданно-негаданно (добрый исправник), и тут же рядом стоят такие цветы лазоревые, такие идут от этих цветов благоухания, что, оглядывая то и другое, остается только руками развести! Мы до настоящего времени не имеем ясного представления хоть бы о том, что творится с нашей крестьянской общиной: то она распалась, в конце развратилась и разложилась, изворовалась, разбрелась и исчахла, то, напротив, оказывается, что она процветает, плодится, множится, крепнет, умнеет, добреет и полнеет. Все это сказано на основании точных, не подлежащих сомнению «данных», — и все-таки, несмотря на обилие такого рода исследований, мы решительно не можем иметь определенного понятия о том, что именно творится в нашем народе?

В виду такой неясности в понимании действительного положения страны нам не может не быть дорого беспристраст-

ное слово такого человека, как Маркс, не разделяющего явлений нашей жизни на отрадные и безотрадные, но берущего их в полном объеме и извлекающего из них ничем не прикрытую, подлинную сущность. Письмо К. М. прежде всего поражает читателя именно желанием его показать своим почитателям и противникам, что он вовсе, так сказать... не марксист... как об нем полагают те и другие, и что его «теория» будто бы фатальна для всех народов. Нападая на Н. К. Михайловского, которому и предназначалось это загробное письмо¹⁾, он за один только легкий намек нашего писателя на то, что теория Маркса может подлежать сомнению, обрушивается на него с таким жестким упреком: «Ему (Н. К. М.) надобно преобразить мой очерк («Капитал») происхождения капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию общего хода развития, в теорию, которой фатально должны подчиниться все народы, каковы бы ни были исторические условия, в которых они находятся, чтоб в конце концов притти к такому экономическому строю, который обеспечивает наибольшую свободу проявления производительных способностей общественно-труда и всестороннего развития человека». Определив этими словами собственную свою теорию так, как ее понимают его противники и почитатели, он тут же заявляет и даже довольно грубо, что такое понимание его деятельности он считает бесчестьем для него (honte) (стр. 273).

Я обращаю внимание читателя именно на этот порыв гнева, против возможности только подозревать его, К. Маркса, в создании такой теории, потому что Н. К. Михайловский в самой статье своей цитирует того же самого Маркса именно для доказательства той самой мысли, которую выражает в своем гневном и сам Маркс: то-есть, что «история происхождения капитализма в

Европе» не дает основания для «теории, которой фатально должны подчиняться все народы». Именно это и говорится в статье Н. К. Михайловского, и в доказательство этого Н. К. берет материалы из той же книги Капитал, о которой идет речь.

«Поправки к теории Маркса можно заимствовать у самого Маркса» — говорит Н. К. Михайловский в той же статье. «В предисловии к «Капиталу» читаем: в Англии процесс преобразования очевиден до осязательности. Дойдя до известной высоты развития, он должен отразиться на континенте. В каких формах проявится он там, в грубых или гуманных, это совершенно зависит от степени развития самих работников. Следовательно, независимо от высших мотивов собственный интерес самих господствующих классов требует устранения путем закона всех препятствий, мешающих развитию рабочих классов». «Одна нация может и должна учиться у другой. Спросим, какого же рода урок можем получить мы (Маркс говорит о Германии) из истории экономических отношений в Англии? И с особенным вниманием отнесится к английскому фабричному законодательству, т.-е. к тому, насколько в Англии подвинулся вопрос о правительственном вмешательстве в регулировании рабочего дня, женского и детского труда. Здесь, — говорит Н. К. Михайловский, — именно лежат те поправки к фатальной неприкосновенности исторического процесса, которые могут быть заимствованы у самого Маркса»¹⁾. И далее: «С этими поправками, заимствованными у того же Маркса, его теория, как видим, оказывается уж не такою, чтобы опускать руки и приветствовать и испровержение ее зачатков собственного иде-

¹⁾ Написано по поводу статьи Н. К. Михайловского «К. Маркс перед судом Ю. Жуковского».

¹⁾ Статья Н. К. Михайловского вошла в II том его Сочинений.

а ла» (в той же статье Н. К. Михайловского).

Из всего этого читатель видит, чем именно задела «за живое» К. Маркса статья Н. К. Михайловского: несколько раз в ней употреблено слово «теория», тогда как сам Маркс считает свой труд только «очерком происхождения капитализма в Э. Европе» и вовсе не возводит в теорию, да еще фатальную, всех язв капиталистического строя жизни. На глазах всего света, в недавние от нас времена весь Париж был созжен коммунарами, и прекращение этого «фазиса» капиталистического строя жизни потребовало истребления 23 тысяч воспитанных этим же строем его врагов. Я сам видел живые следы этого «фазиса», приехав в Париж в скором времени после подавления восстания, когда военные версальские суды непрерывно, в десятках отдельных судебных камер (sic) приговаривали виноватых по два, по три человека на каждую камеру в течение одного часа. Можно ли предположить, даже принимая произведение Маркса за теорию, фатальную для всех народов, чтобы такие ужасы могли быть признаваемы им за обязательные даже для тех народов, которые не имеют «никаких оснований ниспровергать зачатки своего собственного идеала». В брошюре, написанной вместе с Энгельсом специально для выяснения этой кровавой парижской бойни, вполне выяснено шущуканье Франции с Германией относительно взаимного участия в подавлении этого восстания, так как это продукт общеевропейского капиталистического строя, одинаково тревожащего обе эти страны. В то же время как «нации» они были врагами и покалывали друг у друга солдат под стенами Парижа, главным образом «для газет» и для соблюдения дипломатических формальностей. Признавая труд Маркса за теорию, надобно признать и неизбежность всех этих ужасов. Но Маркс и писал свою брошюру в поучение нациям, еще не дожившим до этих ужасов, веруя, что одна нация «должна учиться у другой». Все это вполне совпадает с тем, что написано в статье Н. К. Михайловского, а Маркс

все-таки «осерчал» на него и единственно за то, что он мог говорить ему о том самом, что он и сам исповедует.

Но не довольствуясь доказательствами того, что он вовсе не проповедник «фатальной теории», ссылками, заимствованными из его же книги «Капитал», и из дополнений и примечаний к последующим новым изданиям этой книги, он наконец прямо и просто с полным беспристрастием высказывает свое мнение и об экономическом положении России, страны, которая вовсе не входила до сих пор в его «очерк происхождения капитализма»,—и вот тут-то мы слышим глубоко поучительные и в то же время неоспоримо укоризненные для всех нас слова:

«Так как я не люблю оставлять *quelque chose à deviner*, то выскажусь без обиняков: чтобы иметь возможность судить с знанием дела об экономическом развитии современной России, я выучился по-русски и затем в течение долгих лет изучал официальные и другие издания, имеющие отношение к этому предмету. Я пришел к такому выводу: если Россия будет продолжать идти по тому же пути, по которому она шла с 1861 года, то она лишится самого прекрасного случая, который когда-либо предоставила народу история, чтобы избежать всех перипетий капиталистического строя». («Юрвестн.» № 9, стр. 271.)

Нет! Это не московский «патриот своего отечества», вопиющий о поощрении «производства» средствами казначейства, это не «народник» с искреннею любовью к прекрасному, тщательно собирающий цветочки радующих (sic) душу действительно благообразнейших явлений нашей народной жизни, это и не «марксист», полагающий, что цветочки, собираемые народниками, должны все-таки погибнуть в виду фатальности теории капитализма. Это именно самая подлинная, самая светлая и самая горькая правда обо всем настроении всей нашей жизни во всех отношениях. Несомненно, в наших руках есть не-

мало и очень немало оправдательных документов, о которых даже и К. М. не мог бы иметь даже и понятия. Но, имея их в руках, мы все-таки не можем не видеть «сущей правды» нашей жизни именно в этом глубоко горьком упреке К. Маркса: мы лишаемся самого прекрасного случая, который когда-либо предоставляла народу история, чтобы не переживать в сeкx перипетий европейского зла¹.

О чем же он жалеет и скорбит, говоря такие слова, касающиеся только ошибок в экономическом развитии? Я думаю, что он скорбит о личности человеческой, которая непременно должна быть жертвой этих ошибок. Для обороны этой личности в Европе он особенно тщательно изучил и развитие капитализма в Англии. Интересуясь участью нравственного развития русского человека и общества, он изучил и экономическое положение России. И если мы примем его характеристику нашего положения без разделения явлений нашей жизни на отрядные и безотрядные, а только в том виде, как его понимает К. Маркс, то-есть в виде соединения в каждой отдельной личности здоровья и гнили, отрядного и безотрядного,—то мы можем с достаточной ясностью объяснить себе, почему вся наша жизнь во всех своих проявлениях представляется нам самим то как бы одним сплошным упадком во всех отношениях, то, напротив, едва приметным, но могучим развитием самобытных форм жизни.

На самом же деле любовь к купону и желание, чтобы эта любовь не имела неразрывно связанных с купоном последствий, предлагают нашему обществу как идеал, которому оно должно бы следовать. Одновременное дружественное сожитие в наших сердцах Христа и Антихриста, как кажется, и есть та наша система личной и общественной морали, которой наше общество должно руководствоваться в своих взаимных отно-

шениях. Если «по-европейски» такое, положим, купонное дело, как ситцевая фабрика, проявляет себя не только «прыводством» ситца, а еще и так называемым «рабочим вопросом», «стачками», сопровождающимися столкновениями с войсками и т. д., и т. д.,—то то же дело «по-нашему» должно быть поставлено совершенно иначе: фабрика будет, ситец будет, этому никто не будет препятствовать, а всего прочего не должно быть ни в каком случае. Почему? Да просто потому... «чтобы не было!..» И так во всем: всякое европейское зло приемлем, но европейский против этого зла крик не приемлем и стараемся утвердить такое положение дел, чтобы каждый делал только свое дело¹) и в чужое не мешался, не осложнял бы его неподходящими к делу соображениями. Все это, как видим, и отражается на неподвижности нашей жизни, на тягостной суете сует выполнения несобобщенных и неосмысленных обязанностей, не подвигающих вперед ни личного, ни общественного благосостояния.

И хотя, повидимому, влечение жизни во имя таких идеалов и может быть иной раз принимаемо за тихое и благообразное житие, но иногда не мешает и «очувствоваться», осветив в себе представление о человеческом достоинстве, и вот почему заgrabное слово Маркса, прямо указывающее на ненормальное состояние нашей мысли и совести, освящая и оздоравливая то и другое, заслуживает нашей глубокой благодарности.

¹) В № 341 газеты «Новости» на-днях было напечатано такое сообщение: «Сегодня, 9 декабря, в стенах театра «Ренезанс», переименованный теперь в театр «Неметти», состоялось молебствие по случаю ремонтаровки. Ложи в настоящее время находятся на местах прежних «отдельных кабинетов». Особенным удобством отличается вестибюль, к которому теперь присоединился нижний буфет. Освящение театра было отпраздновано завтраком à la fourchette» Все, как должно, и никто в чужое дело не мешается, а в отдельных кабинетах есть для этого и задвижки

Литература и искусство

1. А. Белый. Культура краеведческого очерка.—2. Письма Бальзака.

1. КУЛЬТУРА КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОЧЕРКА¹⁾

А. Белый

1

Представления о культуре краеведческого очерка все еще туманны для многих; туманны для всех нас; и для меня в частности; я изложу лишь ход мыслей, возникших в связи с затруднениями, стоящими передо мною, когда я упирался в проблему очерка.

Неизбежно придется начать издалека мобилизацией нескольких отвлеченных понятий. Каковы задачи нашей культуры, нашего краеведения, нашего очерка? Они поданы революцией в таком новом свете, о котором подчас даже не подозреваем мы. Отсюда встает неизбежность хотя бы в двух словах отчитаться по вопросу о революции и ее культуре; ведь и самые представления о революции, взятые в абстрактных штампах философии эволюции, берут ее в терминах цивилизации, а не культуры. Культура краеведческого очерка в условиях революции культуры — задание, не покрываемое никакими штампами понятий, перенесенных произвольно из недалекого прошлого; они бременят нашу очередную работу.

Их необходимо стереть.

Отступая от темы, захваченной всякими штампами, я, в сущности, хочу к ней приблизиться с неожиданной стороны; я хочу показать, как из соединения содержания понятий р е в о л ю ц и я,

культура, краеведение, из отбора элементов этого содержания прямо вытекает комплекс понятия: краеведческий очерк.

Мне хотелось бы не доказывать, а показать: вот он, очерк; его можно ощупать, как новую форму, он при вышеописанном подходе самоочевиден.

Что есть революция?

Возьмем ее не в споре философов, не в абстрациях о ней, а в том конкретном обстании, которое есть содержание нашего перестраивающегося быта; в таком виде она—данность и факт; факт например, что в мозгах буржуазных политиков, философов, социологов она случилась внезапно; она—не предвидена; и как нечто случайное, алогичное, она должна была провалиться через несколько дней; и—новая случайность; она не провалилась. За пятнадцать лет результаты ее, выявив ряд новых качеств, являются несокрушимой угрозой для буржуазного мира.

И это—факт.

Чего испугались? В чем алогичность, ставшая непредвиденной логикой для буржуазных философов? В том, что их представления о революции были в скобках эволюционных теорий?

Революция—не эволюция.

Эволюция мыслилась в буржуазных теориях наступательным движением вперед всех составных частей культуры; она мыслилась перманентным, неускоряемым, ничем не задерживаемым прогрес-

¹⁾ Стенограмма доклада на собрании краеведов при Оргкомитете ВССП 23 ноября 1932 г.

сом; в этом всеблаженном и вседовольном прогрессе все методические антиномии объединялись абстрактным понятием интеграции, а все классовые противоречия объяснялись, как временные задержки цивилизации, коренящиеся в самом прогрессе. Прогресс же исчерпывался механикой соотношения между дифференциацией и интеграцией, разложением и сложением элементов, качественно все тех же; увеличилось лишь количество элементов, втянутых в круг прогресса; прогресс в этих теориях насковозь механистичен; убраны все пылинки случайности; в целом — никакого распада, гибели частей культуры, представляемой конгломератом знаний; сплошное нарастание благополучий, механически сваливающихся на головы пассажиров этого безопасного поезда, одинаково влекущего и купе буржуа, и скамью рабочего; капиталисту сулилось бессмертие его прав; на рабочем в итоге его пассивного сидения в четвертом классе нарастал фрак капиталиста. Разговор рабочего и капиталиста в этом поезде напоминал бы блаженное удивление двух пассажиров о том, что они, сидя в смежных вагонах и едучи в том же направлении, одновременно окажутся: рабочий — в Москве, капиталист — в Ленинграде.

Ход истории непредупредим; сиди и жди! Ситуация, удобная капиталисту и весьма неудобная пролетарию.

И это потому, что все теории и цивилизации поданы в социальных скобках одного класса; буржуазного класса; наиболее монументальные из этих теорий были написаны в эпоху наибольшего могущества своего класса, упивавшегося бессмертием; нерв теорий феодального строя — неизменность строя; нерв буржуазных теорий — умеренное благополучие исторического движения, предестинированного прогрессом, плоды которого созревают почти без участия рабочих рук.

Бессмертие прогресса в такой транскрипции есть бессмертие буржуазного класса; его скобки, или предпосылки прогресса, — свобода хищничества; теоретики прогресса танцуют от этих скобок, не имея сил их критически разобрать.

Бессмертие прогресса — гипертрофия весьма конечного отрезка времени, увиденного в пункте, падающем на середину прошедшего века: картина истории сжата в представлении буржуа от эпохи Великой французской революции до последних десятилетий истекшего века; последние десятилетия неблагополучие класса переориентирует теорию прогресса в теорию о непереступаемых границах познания буржуа; бесконечность, оказывается, имеет свое начало и свой печальный конец. Появляются глашатаи границы познания; лозунг Дюбуа-Раймона: «Ignoramus et semper ignorabimus», рассуждения о границе между сознанием и механикой, изживающие себя в пробабиллизме математика Анри Пуанкаре до иных истолкований теорий относительности Эйнштейна суть отражения заката буржуазных иллюзий о бессмертии класса; к началу революции, в эпоху войны, теории эволюции, пройдя стадию пробабиллизма, перелицовываются в теорию гибели Европы (Шпенглер), в теорию распада культуры; но это потому, что теории эволюции не имеют ключа к пониманию культуры, подменяя культуру цивилизацией.

Революционный марксизм, оперируя, с картиной поднимающихся и опускающихся классов, имеет ключ к многим классовым бесконечностям. Начало вскрытия постулата марксизма — жизнь социальной революции; лишь в ней он имманентизируется; в скобках буржуазной культуры он выглядит трансцензусом; и потому-то механические понятия теорий прогресса переориентируют необходимость революционных скачков, вскрываемых в другом, отрицаемом измерении социологической мысли, — в алогическую случайность, в философию перерывов.

И это потому, что механическое понятие рассудочного синтеза по Канту в понятии интеграции (Спенсер) не способно вскрыть качественности всякого синтеза; там соположение неизменяемых элементов или их аморфная смесь представлена вместо реального синтеза. Самая чеканка понятия «революция» до Маркса есть чеканка его буржуазным мозгом; и потому-то с течением време-

ни неопределенное понятие революции дробится поправками, суживаясь в понятие о политической революции, которому революционный марксизм противопоставляет понятие революции социальной; но буржуазная психология в усилиях по-своему сварить это понятие мыслит обобществление как количественное перераспределение качественно неизменяемых орудий труда. В таких усилиях и социальная революция выглядит социальной механикой; такова градация эволюционных марксизмов, сияющих свернуть революционный марксизм с своего пути: троцкизм, меньшевизм, ревизионизм (Бернштейн). На них печать мрачного механицизма, этого наследства теорий эволюции; это — тени прошлого, фактически не стертые почти в каждом из тех, кто получил свое воспитание во вчерашних университетах.

В противоположность этому пережитку самое углубление социальной революции, как меняющей качества трудов, углубляется в понимание ее как революции, культуры, меняющей сознание социальной ткани ее клеток, ее молекул (групп), ее атомов (людей).

И здесь мы в нерве нашей революции: в ней живой синтез действительности есть эмпирика, перестраивающая самую логику детерминизма в подставлении понятия о химическом синтезе вместо понятия о механическом его отражении в рассудке.

Возьмем пример: как должен бы был мыслить буржуазный мыслитель, не будь у него живого опыта химии, анализируя у себя в голове свойства хлора и натрия, данные ему в соли? Вот как: «Эта полезная белая масса кристаллов есть сумма свойств хлора и натрия; стало быть: натрий и хлор — песчинки белого цвета; в каждом — половина добрых свойств соли; сыпьте в суп натрий — иль хлор; этим вы не испортите супа». Таков анализ рассудка; анализ реторт и колб неожиданно обнаруживает два яда, съедающих без остатка благополучную мысль: натрий — шипящий в воде металл, разъедающий кожу; хлор — желто-зеленый удушливый газ. Соль — новое качество их; в будущем и хлор,

и натрий раскроются, как новые качества первоэлемента, как знать, не водорода ли?

Перенесите сюрприз, пережитой буржуазно-рассудочным мышлением перед действительным анализом и синтезом, в сферу социологии, и вы получите некоторое представление о том, как революция сознания, наша культурная революция, оконкречивает все социальные обезлички; она являет собою пред оком механициста ряд для него непонятных скачков: ему не понять химии того опыта, который проделываем мы и который научно формулирован Лениным; в условиях социальной революции, углубляемой как революция культуры мысли, кажущийся невозможным скачок в жизни народов с отсталыми хозяйственными формами осуществим; именно: скачок в высшую форму хозяйств, минуя стадию капитализма.

Мы этот опыт проводим; и он — результативен.

Никогда не понять механической транскрипции марксизма, что самый интернационал в революции культуры, оставаясь в содержании всечеловечным, в форме жизни глубоко национален в культуре культур, в революции качеств. Реальное понимание частицы «интер» есть «со-, а не между»: со-национал (ко-национал); в социальной механике, с которой не стерта печать механической эволюции, участь частицы «интер» (между) — препятствовать красочности жизни наций или слить нации от полюса до экватора в кепке да в брючках: ц и в и л и з и р о в а т ь их.

Самое понятие о таком интернационале построено по модели теорий прогресса; сводка которых — интернациональность вообще мешанских правил общежития; т.-е.: «Надевай крахмальный воротник и на полюсе, и на экваторе».

«Интернационал» в представлениях о нем буржуазной науки мертв, механистичен, как продукт эволюции; в наших представлениях о нем он жив, актуален, революционен, качественен, многокрасочен; он — не итог мертвого смешения красок, которое не дает луча жизни, а серую мазь; он — акт глаза над много-

цветной игрой росяных капель, восстаивающий живой луч; и обратно: луч дан в игре радуг, он—не табула раза белого пятна на плоскости.

Революция культуры есть революция самих культур; вне ее участь их рассыпаться в цивилизации Шпенглера.

Но революция не знает этих цивилизаций, как подлинная культура.

Я приперт к необходимости для понимания задач краеведения нарисовать все отличие меж культурой и цивилизацией; вне этого мы не приблизимся к пониманию культуры народов в свете революции культуры; мы не приблизимся к краеведению; и следовательно, не дадим очерка.

2

Цивилизация—сводка, итог; в науке она—сводка формул; процесс становления их опущен; но формула чаще всего пронизывает ставшее, в ставшем пульс жизни часто уже не бьется; ставшее часто—жизненный труп; гипсовая его маска—результат цивилизации, которая не отражает лица факта в движении; становление науки, например физики, складывается в процессе живых опытов, произведенных живыми людьми в условиях данного места и данного времени; социальные условия накладывают живой отпечаток на постановку опытов, от взглядов экспериментатора до формы приборов; сводка научных формул вне истории культуры, науки, и эта последняя вне истории культуры, обусловленной метаморфозой экономических отношений, не наука в целом, а четверть науки, вытяжка из нее: цивилизация.

Цивилизация—унитаризация многочастного целого; она часто приводит к пустым схоластическим обобщениям; формула закона Бойля и Мариотта $P^V = P_0 V_0$ взывает к ограничению ее в конкрете кинетической теории газов, где она существует с поправкой... $P^V = P_0 V_0 (1 + \alpha t)$; «альфа» — коэффициент расширения газа; цивилизаторская тенденция переводит формулу в язык просторечия пренебрегает поправками; и формула становится даже не трупом, а маской, снятой с него.

Культура—диалектична и динамична;

в ней элемент, слагающий комплекс, берется в коллективе всех частей во всех взаимоотношениях друг с другом: берется конфигурационно, структурно; есть в химии соединения одинакового состава, но разной структуры и разной качественности; структура определяет качественность; цивилизация бескачественна, абстрактна; культура—конкретна.

И это значит. она образна.

Формула вне процесса: итог отрезка культурного пути; она знаменует его остановку; эта остановка в огрублении правил цивилизации; огрубление—следствие непропорционального обобщения: «Носите чистые воротнички», «параллельные линии не пересекаются»; когда под чистыми воротничками разумеют крахмальные и напяливают их на себя под пламенем солнца Индии, то само правило гигиены становится антигигиеничным; когда правило о непересечении параллельных линий переносят в пространство Римана и на этом основании до Римана издеваются над Лобачевским—мудрая аксиома Евклида становится фактором самоседения.

Итоги научной цивилизации опустошают себя.

Цивилизация себя подпирает научным законом, упуская из виду, что само понятие закона в культуре наук революционизируется; он—не единство, не общность, а многочастное целое, которого общий вид есть статистическое, аллегорическое, а не реалистическое понятие; буржуазная антиномия между культурой и наукой снимается в культуре наук тем, что самый закон (общее) принимает форму комплекса так-то организованных частностей.

Так, недавно общая формула течения жидкости в струе в результате опытных исследований видоизменилась тем фактом, что в струе в секунду отметили 200 переменных биений; что значит: 900 законностей в конфигурации их образуют общее закона, которого в реальности нет; он—статистическое среднее. Или: принято думать, что клеточку надо рассматривать в микроскоп; а вот, водоросль «саулерга» состоит из одной клетки; клеточка арбузной мякоти видна простым глазом; это-де так, а вот моле-

кула—та уж невидима; и это не так; есть данные случаи, где молекула превышает все представления о размерах; открыли, что вода, в сущности, не H_2O , а HO , где вторая частица «Н» (водорода) с такой быстротой обменивается с близлежащими, проходя сквозь все HO , что установить границы молекул в резервуаре воды нет никакой возможности; так что молекула воды в океане—весь океан.

Все это—примеры, являющие очевидность: правило цивилизации (унитаризация вне образа комплекса) вырождается в плоский, мещанский гротеск, ибо корни цивилизации—в мещанстве; «Ташите бетон туда, где можно обойтись без него»; этот лозунг иных советских «цивилизаторов» при мне оспаривали выдающиеся строители Армений, где природный камень, более дешевый и прочный, отрицался цивилизаторами: ради моды.

Схема формулы вне становления превращается в догмат и подвергается всем судьбам схоластики: такова участь системы Птолемея, этого живого фактора культуры в известном периоде александрийской образованности; она же в эпоху борьбы с Коперником становится орудием отсталых попов; в свою очередь крайности схематического коперниканства отмечены теорией Эйнштейна, отводящей место и Птолемею, но с ограничением; и уже есть признаки преувеличения выводов Эйнштейна в отрицателях в физике самой физики; такова группа эйнштейнъянцев, подменяющая эксперимент новым исчислением: векториальным.

И это потому, что Птоломей, Коперник, Ньютон, Эйнштейн вне процессов, которые они результируют,—сводки, огрубляемые цивилизацией.

В преподавании правил евклидовой геометрии нет ничего от культуры науки, пока мы не составили себе живого представления о геометрах, воспитывавшихся в системе идей Платона, имевших тенденцию оторвать форму от содержания и повесить ее в неподвижном пространстве; если бы начальная геометрия развивалась в эпоху Лагранжа, она была бы не наукой о неподвижных формах, а

наукой о формах в движении; возьмем равноугольник и будем описывать над ним ряд таких же; известным образом проводя линию от центра по углам описанных треугольников, мы увидим, что эта линия—правильная математическая спираль, на которой мы можем найти бесконечность всяческих треугольников «минус» основной, прямоугольный. Из этого можно вывести заключение, что нет треугольников, а есть треугольник в движении, непрестанно растущий в пространстве спирали, которого вершины текут одна вокруг другой; не трудно видеть, что пара треугольников—вписанный и описанный—являют собой расшитый тетраэдр, распластанный на плоскости, и т. д.

Эти наблюдения научны, но не в смысле евклидовой геометрии, а той науки, которая геометрию соединяет с кинематикой.

С другой стороны, еще Шпенглер отмечает соответствие геометрической пластики с пластическим гением греческого изобразительного искусства; он берет Евклида в композиции с Фибием; между тем это и так, и не так; развитие геометрической композиции, связь которой с до нее бывшим расцветом физ-культуры имелась, несомненно; физ-культура—скульптура—геометрия суть этапы превращения той же энергии творчества на данные в трансформе эпох; пластическая изобразительность предшествует геометрической композиции; точка их встречи—конец пятого века (старой эры).

Через две тысячи лет повторяется эта же последовательность: расцвету всяческой композиции (математической, астрономической, физической) предшествует расцвет композиции итальянских художников; законы механики прорезываются в композиционных исканиях Леонардо и Микель-Анджело; наоборот, в Галилее еще жив темперамент художника. Место встречи двух композиций искусства и наук эффектно падает на 1584 год: год смерти Микель-Анджело, год рождения Галилея; где-то меж ними момент превращения одной формы энергии в другую: художественной в научную. Тот же культурный взгляд, обязательный

для художника и для ученого, и для философа, и для социолога, развиваем в показе любой науки, напр. алгебры. Не засилие ль платонизма в математике древних обусловило неправомерно позднее ее развитие в Диофанте; и тотчас же—угасание; но идеи Диофанта, попав в Индию, насквозь переваренную философией буддизма с ее небытием и отрицанием, вскрыли знак небытия в алгебре; именно «ноль», которого Греция не знала; здесь был вскрыт мир отрицательных и мнимых величин; переброшенные арабами в Европу достижения индусских алгебраистов заложили основу высшей алгебры.

Я привел эти примеры, чтобы стало ясно, в чем показ культуры науки в становлении отличается от показа мертвых сводок ее—цивилизации. Когда три предмета трех наук—ритм, движение, мускульное усилие—мы берем в соотношении, открываемом между ними, мы имеем дело с культурой; работа Бюхера—первая ласточка в разгляде данной триады наук.

Почему этих ласточек мало?

Культуры мало! Знаний — хоть отбавляй!

Ставить знак равенства между знанием цивилизации и меж соознанием знаний в культурном комплексе есть грубая ошибка цивилизации, становящаяся преступным вредительством там, где лозунг революции культуры есть лозунг дней; чтобы ее устранить, надо всем спецам выступить из своих берегов и изучать предметы их специальности в живом, культурном обстании: без этого и мировые ученые беспомощны в жизни; и гениально одаренные художники—дилетанты. Культура—комплекс, структура, образ; цивилизация—сумма пунктов, его образующих; надо понять, что живой корневой смысл образности—идеологичен; образ есть то, что образ о в а н о; о б р а з о в а н и е — о б р а з о в а н о. т. е. комплексно: культурно по-гречески «эйдос»—образ; «эйдения»—идея; образ насквозь идеен по Гете, и он же насквозь эмпиричен; образ в наши дни—

не там, где его видят; его видят за пределами мысли; между тем как должно в нем видеть опромный комплекс сжатых афористически мыслей; он—конденсатор тенденций; он — ток высокого напряжения; неумение им овладеть и прибегание к электроскопикам общих понятий представляет оттого, что образ нам представляется опасным; помилуйте: ведь надпись сопровождает его: «смертельно». Алогичность образа от неумения им владеть: поучитесь технике владения образами у Толстого, Гоголя, Гете, и вы удивитесь в себе возможность воспринять пленум тенденций их.

Цивилизация неспособна вскрыть образ; он объясняем в культуре.

Краеведение есть наука о культуре народов СССР в процессе переоборудования их бытов; само собой явствует, что она—культура, а не цивилизация; стало быть, все сказанное о культуре для нее—азбука; она, использовав культуру, как соознание опытов, предписывает культуре задания, никогда не ставившиеся в буржуазных странах; как культура самой революции, она, так сказать, культура культур.

Есть от чего потерять голову!

3

Содержание понятий «революция» и «культура» нам нужно, чтобы получить новый комплекс содержания, покрываемый образом мысли о нашей культурной революции, этом лозунге жизни; о революции культуры много написано вскользь, походя; к сожалению, многое из написанного скользит по поверхности лозунга, который остается у иных публицистов каким-то неотпертым шкафом, тающим опромные драгоценности; но ключ от них положен в карман публициста.

Что такое микроскоп? Умение видеть предмет в деталях; так себе,—маленькая чепуха; так мыслил человек XV столетия, разрешая у себя в голове вопросы принципиальной важности; лозунги опытной науки носились в воздухе; рушилась опека метафизики над физикой; а с опытом все еще не ладилось до конца; что препятствовало? Понимаете, что революция культуры не в общем лозунге

о ней, а в деталях; могло казаться, что пристальное разгляденье каких-то крупинок—праздное занятие; между тем это занятие взорвало биологию; были открыты: клетка и мир микроорганизмов.

Что такое «атом», «молекула»? Невидимости; падение тел—осязуемо; а то, что они состоят из молекул и атомов,—какая-то там схоластика о предметах невидимых; к чему она? Достаточно телà осязать. Действительность показала: только атомы—не схоластика; все прочее, и даже общие лозунги о падении тел—еще схоластика.

Велики лозунги о необходимости культурной революции; но они—лозунги к юму, чтобы провести их оквозь все детали мещанского сознания и бытия. Мещанин с удобством пристраивается к лозунгу о мещанстве «так вообще»; и даже становится в авангарде бичующих мещанство; но вы его оскорбите лично, если будете разглядывать детали мещанского бытия; он вам ответит: «Вы слышали общий лозунг о «так вообще» мещанстве? Чего же вам еще? Я же вам его растолковал!»

Мещанин становится в авангарде истолкования; он боится, что вы без него начнете продумывать детали лозунга, он хранит неприкосновенность деталей: не надо микроскопов, когда все «так вообще» ясно.

О чем заботится такой истолкователь? О проведении лозунга в жизнь? Нет,—о том, чтобы в свете разгляда деталей не открылась вся подоплека деталей мещанской психологии: неграмотность, непонимание смысла деталей, неумение обмозговать, что революция культуры есть социальная революция, проведенная сквозь детали; вскрытие атома, как сложной структуры, ввело ведь нас в понимание образования качеств материи; без вскрытия старых качеств не сумели мы добыть новых качеств.

Революция культуры есть между прочим и культура деталей; вот что напечатано в нашем правительственном органе¹⁾: «Речь идет о культуре деталей или, если угодно, о

деталях культуры. А «мелочь» эта в нашей стране выросла сейчас в самостоятельную проблему громадной политической важности». Понятно: борьба против деталей есть ведь самая утонченная форма вредительства; в ней укрывается вместе с головоотяпами конечно и политический враг. Когда вы подходите к деталям, тут, по словам А. Гарри, «В вас начнут метать многоэтажными пирамидами и цифр», чтоб утопить постановку вопроса о качествах количествами; и в корне подорвать вопрос, к которому вы продираетесь сквозь леса пустых фраз: «нужно понять, что задел деталей культуры также обязателен, как выполнение важнейших наших планов. Мы уже имеем... все объективные возможности для того, чтобы жизнь у нас в СССР стала гораздо красивей... чем жизнь в капиталистическом Западе».

Краеведение и есть новая наука о деталях переживаемой нами культурной революции на местах, о качественных нюансах этих деталей, пестроте их, о разности национальных бытов, вступающих в переварку и расщепляемых, как расщепляемы атомы,—радиактивностью нашей революции из расщепленного атома излетают новые качества; яд становится полезною солью; из никудышного камня извлекается золото, небывалость нашего краеведения в том, что бытовой материал, этот вот, подвергается действию лучей, нигде не действовавших доселе; отсюда—мало сказать удесятеренность—утысячеренность внимания к каждой, этой вот, мелочи, этого быта,—не как любованье мелочами, а как материал к плавке: материал к этому именно новому качеству, а не к новому качеству «так вообще»; ибо новое качество революции культуры в отличие от всего прочего в том, что она есть спев новых качеств.

Соединение содержания понятий о революции и культуре вне краеведения, нас вводящего в недра лабораторий, добывающих новые качества,—возникает

¹⁾ «Известия» от 22 ноября 1932 г. «Культура деталей», фельетон А. Гарри.

жизнь каких-то фигурных комплексов и их метаморфоз; но меж комплексами — прыжки, не раскрываемые в условиях старой механики мышления; вспомним: скачок электрона с орбиты на орбиту сигнализируется вспышкой того цвета, который соответствует порядковому числу орбиты; почему того, а не этого — это в условиях механики Лоренца-Маквелла остается непроницаемой тайной; междуатомная механика, обуславливающая механику междугазовых пустот, и не может иметь объяснения в отныне «пустой» механике; между тем: «пустой» механике подчинилась мысль механического материализма, против которого правильные возражения выдвинуты революционной диалектикой.

Неужели предписывая краеведению принципы механического, «пустого» подхода, желают его отвести из сферы СССР в некую коперниканскую пустоту? Краеведение не расключаемо с химией качеств культурной революции, и потому-то в ней должна быть до дна вскрыта жизнь перестраивающихся органов (народов), их тканей (классов), клеточек (бытовых коллективов), молекул (кружков), атомов (личностей).

Революция культуры чрез краеведение вводит и личность туркмена, грузина, армянина не так, как культ личности вводил личность в общество в буржуазной науке; перестраивающаяся личность получает небывалый размах, становясь «социальной» личностью и черпая свою силу в солиции коллективов; буржуазная наука о личности вдавливает личность в биологическую ее подоснову; и рост ее звериных инстинктов увенчивает, как размах.

Краеведение, оставаясь верным ритму культурной революции, касаясь производств, бытов, должно ввести в круг своего рассмотрения «социальную» природу личности перестраивающегося грузина, армянина, русского, узбека и самоеда; понятно поэтому, что задания «психологии народов», этой наибуржуазной науки с нелегкой руки Вундта, должны поступить в переварку легкой руке нашего юного краеведения, если не сейчас, то в одной из будущих ее пятилеток.

Соединим теперь содержание понятий «эволюция и цивилизация», и мы получим картину непрерывно ссыпавшихся и рассыпающихся куч, элементы которых остаются качественно те же, ибо каждый замкнут в себе, его действие на других проявимо лишь как механическое давление.

Краеведение, как наука о деталях культурной революции на местах, есть новый этап к социализму, или — ничто; небывалый у него размах; но суть и не в нем, хотя и он подавляет. Краеведение у нас ново в качественном подходе к народам в момент перестроения; оно вскрывает не только ставшие бытовые формы или технику переустройства хозяйств, а само становление новых качеств; быт оно берет, как текущую форму, а рост техники — в ее конкретной расцветке; характер расцветки определим движением народов в сторону интернационала, условием местности, меняющим технику всех конструкций; для краеведения существенно не одно количество электростанций, но и формы их; электростанция вблизи Камышина иная, чем Рионгэс, Дзорагэс, Загэс; все они — «гэсы»; на этом нельзя успокоиться, существенна и форма конструкции, и стиль, вытекающий из местных условий; не забуду образцов электростанций: Авчальской (около Мцхета) и Эриванской; Загэс развешивает дерзкий вызов обстанию гор и романтическому Мцыри; а Эриванская станция скромно растет из камней, ее окружающих; Загэс — странная смесь из ассирио-вавилонских контуров и контуров, выпрыгнувших из романов Уэльса; а композиция Таманяна, более экономная, являет собой переделку древнеармянского стиля; ее контуры вынуты из контуров VII века; эстетическое оформление в стиле местных условий есть важный вопрос, в котором скрещиваются: инженер, зодчий, эстетик, рабочий; место скрещивания — краеведение.

Для Армении вопросы стиля строительства выступают так, как нигде; это коренится и в особенностях армянской архитектуры, в своем роде единственной, бывшей в столетиях бродилом за-

падноевропейских форм; многие элементы готики, романского стиля и ренессанса — модификации армянской их протоформы; Стржиговский берет этот стиль так, как Гете им открытую межжелюстную кость, как для последнего эта кость является базой его теории строения черепа, так для Стржиговского армянская форма есть база теории восточного происхождения купола ренессанса; стиль электростанции Таманяна есть опыт применения стиля ранних конструкций Армении к техническим сооружениям наших дней; и он же разработал огромного размаха план новой Эривани, сметая безжалостно им признаки истории с лица близкого будущего в новом качестве своего стиля; эти опыты в Армении сплетены со спорами о строительном материале; Армения им богата, она, по мнению одних, не нуждается вовсе в бетоне, так как камень ее, будучи дешевле бетона, прочнее бетона, кроме того, отличается великолепием колоритов; спор о бетоне имеет здесь принципиальный характер; он — спор о качественной расцветке Советской Армении.

Может ли этот спор миновать краеведа? Он — законный третейский судья в вопросе, затрагивающем интересы эстетов и инженеров.

Советская Армения, по моим наблюдениям, есть страна, где в данное время особенно ярко перетиранье бытов, скачок ее из недавнего прошлого исключителен; имея древнюю культуру, скомпанованную с ландшафтом, являясь музеем старины, она вместе с тем и страна новых фундаментов, одна эксплуатация туфа способна заново перелицевать ее вид, ибо туф ее единственен в своем роде: он — великолепный по качеству и окраске строительный материал; в Армении и геология, и история стилей, и характер новых конструкций даны в одном нерасплетаемом узле; страна потухших вулканов (и геологических, и творческих, и этнографических) в вулкане культурной революции особенно ярко одеянием новых качеств; возьмем Эривань: кварталами сносятся старые, с виду стильные персидские домики — объект кисти Сарья-

на; в кабинете Таманяна вывешены планы нигде не бывшего великолепно-го города, подписывающего приговор эстетике персидского стиля; а в обреченных на гибель домиках слышишь яркие споры интеллигентных представителей разных культур, и эти вчера еще раз единенные бытами, традициями, языками люди — армяне, говорящие по-армянски, и по-армянски не говорящие; не понимающие русской речи, и владеющие ею, как своей; это — армяне из Москвы, Ленинграда, Ростова, вчера выдающиеся русские культурники (Таманян, Сарьян и т. д.); это — армяне Армении: турецкой и местной; это — армяне-немцы, армяне-американцы, армяне Египта; они с'ехались со всех концов мира в маленькую, распадающуюся персидскую Эривань, на развалины последнего ужасного погрома 20-го года, чтобы ввергнуть свой культуры, опыт, научную квалификацию в лабораторию перетираемых качеств. Армения — неисчерпаемая пища для краеведения, вопросы стиля, быта, промышленности, условий края, как нигде, сталкиваются с ожесточенною остротой и взывают к углублению в детали краеведческой культуры; та же картина — в Грузии, в Узбекистане, в Азербайджане и т. д.

Мало ощупать колонки цифр, мало ощупывать детали национальных культур в перчатках общего лозунга; надо воистину влюбиться в них, чтобы ввязаться в споры, «сонационалиться» и пережить в себе сущность советского армянина, грузина или узбека; не колонкою цифр пройти над его лицом, а жаркой рукой пожать жаркую руку.

Краеведение — не фольклор, не выставочный экспонат, не музей, не каталог к нему, не предмет лирических любований и не предмет статистики; оно — этнография, музееведение, история, лингвистика, статистика, социальная механика; оно — этнография, музееведение, статистика, взятые в отношении к перетиранью методов подхода этих наук и искусств в целях обретения метода и научно, и живо выявить в действии лабораторию новых качеств;

ось сдвига есть революция производства, последнее усвоено очеркистами; но не всеми усвоено, что ось сдвига без сдвигаемого есть торчок домны без образа комбината, ею обслуживаемого; она — не «домна в себе», а «домна для других»; «домна в себе» становится «Домной» (с большой буквы), — перенесением в условия современности средневекового культа; и сдвигаемое (краски, сложенные историей и природою края) вне оси сдвига — такая же «вещь в себе»; трансцендентная реальность; я не противник описания красоты мечетей и церквей, их орнаментов; но эта лирика здесь — лишь составная часть.

Теперь: в сторону абстрактных «плавителей», усвоивших в общем виде наш тезис о том, что задача пролетариата — во вдумчивом разгляде наследства прошлого, в отборе нужных ценностей для социалистического будущего; не следует применять к этому разгляду критерий чисто механического разбивания комплексов прошлого на нужные и ненужные элементы; можно киркой отсекал от посторонней породы руду, потребную для переплава; но нельзя врываться с киркою в руке в музей и, увидев античную статую с неподходящим носом, долбануть ее по носу; статуя с плохим носом лучше безносой статуи; надо заново статую пересоздать; статуя с дурным носом обезврежена уже самим музейным пленением; поправлять ее ударами по носу — значит не усвоить конкретно проблемы переплавки.

Отбор реликвий прошлого — задача музееведения, — не краеведения; еще менее задача краеведения — сечение носов; задача — переплавка прошлого на основании действительного усвоения: значения климата, ископаемых, истории, орнамента одежд, песен и языка; краевед должен уметь расширяться за пределы своего сектора для понимания его нового качества, вытекшего из сдвига культур; ось сдвига у него — силовая энергия, а не схема метрового костяка, этого продукта склероза; иначе он попадает в объятия механической цивилизации — этого плода мирового мещанства.

И здесь остановимся.

Экономическая революция — ось сдвига культур; Шпенглер не понимает, что последняя есть культура; она у него — в скобках цивилизации, рассыпающейся все культуры; его «культуры», вырастающие, как грибы, и разлагающиеся, как грибы, биологичны насковзь; если счистить с его мысли модернистическую раскраску; она — старая; философ культуры Риккерт¹⁾ его предупредил; и главное: Шпенглер повторил лишь Данилевского, взявшего проблему культуры в свете грубо им понятого дарвинизма. Понятие культуры в буржуазном строе им слито с понятием цивилизации, или грубо биологично, — не социологично; социологическое понятие культуры, как культуры самих культур, чуждо и буржуазному понятию культуры, и буржуазному понятию цивилизации; Шпенглер бьется, как мышь в мышеловке, в скобках двух одинаково узких понятий; они — скобки класса; его «гибель культуры» — проекция гибели мысли его породившего класса.

Краеведению чужды оба понятия Шпенглера: его культура и цивилизация, понятие о культуре культур, как результате взаимодействия меж соэволюцией и сдвигаемым ею бытовым материалом, за пределами ему; это понятие о качественной раскраске трудов, определяемых качеством техники и качеством всего обстания природы и быта, наросшего на истории; руки, проводящие электрификацию, электрифицированы историей: меж разнорядными элементами и происходит вспых искры; она-то и выявит новые качества озона, или — свежести атмосферы; но искра при участии рук, не управляемых нервами головы и становящихся лишь «рычагами второго рода»²⁾, принесит опасность для электрификатора и электрифицируемого.

Краеведение — наука о добывании освежающего озона; в голове у многих она — какая-то отсебятина. Краевед должен усвоить прочно: его сфера — про-

¹⁾ Разумею не философа Генриха Риккерта, писавшего в начале века, а Риккерта, писавшего в 60-х годах прошлого века.

²⁾ Механика плечевого сустава есть механика «рычага второго рода» (см. учебники физики).

изводство «плюс» все прочее, в него вводимое; оно-то и есть сырье к высеканию новых качеств; изучение производства «минус» все прочее сворачивает краеведение на путь механицизма; политически говоря, это — троцкизм, а все прочее «минус» производство — откровенно реакционная романтика.

Ленин дал формулу социализма (революция «плюс» электрификация), формула — принцип; как принцип, она — повод к варьяциям, вытекающим из нее; многочастность выявления социализма народами СССР дает и такого рода модификацию, конкретизацию принципа: путь к социализму в краеведении есть путь электрификации, проведенный так, как нервные окончания проведены к каждой поре кожной поверхности быта; они качественно меняют не только ткани, но клетки тканей, но — молекулы клеток, но — атомы молекул; понятие переплавки местного быта разъясняет детали электрификации, как явление электролиза.

Если культурная революция — следствие революции «плюс» электрификация, то краеведение — следствие культурной революции, как электролиза мельчайших комплексов края (групп и личностей) путем введения в электрическую сеть всего, что ни есть: от предприятий до ландшафта и личности.

Электролиз есть прием разложения электрическим током молекул, исчисляя следствия разложения, пришли к необходимости мыслить и атом дробимым комплексом; вскрытие атома, как микровселенной, раскрыло путь к пониманию материальных качеств и к творчеству их; краеведение должно осознать себя электролитическим сектором электрификации, ее деталями; это значит: она — сектор изучающих плавление качественно разных национальных групп — в их подгруппах и личностях; оно раскрывает нового человека в многообразии его рождения на местах, вводя детали быта, не как мертвый балласт, а как пищу, в круг своего рассмотрения.

Желудок — подобие электролизатора; вводимая в него пища щепится химически; часть ее в обезвреженном виде выбрасывается; другая же становится

кровью самого организма; организм социального армянина, грузина растет не в процессе отказа от достоинств национальных культур, а в процессе электролитического анализа всего прошлого для введения качественно измененных добротных частей в кровь и в плоть крепнущего и красочно яркого социалистического сознания.

Такому ли принципу всегда следует очеркист? Увы, часто — иному; у одних вместо очерка — музей старого быта, у других — голая лирика, у третьих — колонки не сумевших нам в ухо прокричать цифр; хуже еще обстоит дело с краеведческой деталью у тех, кто берется за очерк со старыми средствами буржуазного фельетона; они — источник нелепости оценок и алогических скачков и туда, и сюда, подобных скачкам в искании стиля советской архитектуры, часто диктуемых произволом или слепым подражанием буржуазному Западу.

Так шутить с новым бытом нельзя; краевед должен вмешаться в подобную отсебятину, корящуюся в неувидении задач краеведения; в мою бытность в Армении сколько слышал я споров за и против бетона, за оформление электростанций средствами старой армянской архитектуры и против него; в доводах были доводы от эстетики и от технической практики, понятной узко.

Не было одного: краеведения в мной развиваемом смысле.

Огромный политический смысл борьбы с паранджой; огромный смысл насаждения правил научной гигиены; но там, где условия местности не позволяют сразу же ввести гигиену научным порядком, там борьба с обрядами омовения — еще борьба с гигиеной, а не с предрассудком; лучше, чтобы омывались обрядовым способом, чем никаким способом не омывались. В бытность мою в Тунисе я восхищался стилем арабского домика и отворачивался от безобразия французских вилл, разваливающих самый ландшафт; эстетическое отвращение к бесцельной порче местной архитектуры себя наконец осознало и как протест против вреда, приносимого европейской постройкой обитателям сухого и жаркого климата;

белый цвет домиков, их толстые стены — гарантия против солнца; белый цвет — рассеивает лучи; а очень толстые стены — непрокалимые; системою трех железных решеток, надетых на окна, и ослабляет, и охлаждает ветер, проникающий в комнаты; а плоская крыша — предмет комфорта; целесообразность вылепила этот стиль; летом европейские виллочки — пытка; в арабском доме — воздушно, тенисто, прохладно. Так многие неизъяснимо чарующие детали в одежде тунисца-сельчанина, во всем его быте, выгодно их отличают от безвкусы и бессмыслия прививаемой им французской цивилизации (вместе с сифилисом и алкоголем); быт барской деревни при всем примитиве его — еще остаток культуры; а быт француз — издевательство над всякой культурой; там, где эстетика является выражением пользы, она — предмет бережного отношения, не как эстетика только; эстетика эстетике рознь; в одном случае она — сама жизнь; в другом — мумия жизни; должно же наконец понять, что осетинская шапка погону и украшает жителя Осетии, что она — лучшая защита от солнца, чем прокалимая кепка, уместная для Москвы; и — поэтому требовать для Осетии кепку под флагом борьбы с пережитками или с национальным чванством — не то же ли самое, что проповедывать: «Лопайте и под ударами 60-градусных лучей виски, ибо виски — эмблема «доброто англичанина»; не смейте обматывать себе голову кисеей; лопайте кровавый бифштекс и получайте солнечный удар!» Наблюдая розоватый оттенок трав около Эривани и в Азербайджане, я удивлялся обильному повторению этого оттенка на орнаменте; удивлялся и тому, что этому же оттенку следует и окраска бород; вспомнив прошлое края, отовсюду открытое врагу, я понял: вероятно цвет местного орнамента вынашивался как своего рода мимикрия; он — цвет защитный; Гете сказал: «Поэзия есть зрелая природа!» Можно сказать: и эстетика древних бытов тоже «зрелая природа»; она прорастает в быте, как культура мимикрии, слагаясь из анализа деталей ландшафта, сперва — как полезных; потом —

как прекрасных; ландшафт защищает и инспирирует примитивный быт; любовь к нему — отнюдь не снобизм, она есть сама акклиматизация. Ландшафт, как и быт, взятый в красочной яркости, есть проблема, в каждом данном случае разрешаемая краеведом всем знанием истории, этнографии, условий революции культуры в крае, историей местных стилей; мы должны же жить не только в комфорте, но и в красоте; жизнь в комфорте без красоты — порождение буржуазного строя: крушить красоту только потому, что она создана не нашей рукою, — значит вернуть задачи нашей революции к буржуазной цивилизации, введенной с черного хода туда, где им вовсе нег места; она-то и разлагает жизнь на местах на культ реликвий и на обязательное ношение такого-то головного убора.

Любуясь ярким блеском осетинской загороди, составленной из кое-как сложенных плит местного камня (черный фон с золотистым и оранжево-желтым орнаментом террита), сверкающих на солнце, я думал о том: вот явится «цивилизатор» и под флагом «псевдореволюции» заменит осколки серой бетонной оградой; это было бы варварством, в которое должен вмешаться краевед; ведь будущие культурной формы заборы и крыши новоотстроенных деревень около станции Казбек не должны бросить свой камень, а утилизировать роскошь его орнамента, валяющуюся под ногами, как наиболее дешевую и в тысячу раз превышающую красотой здесь и ненужный бетон; пусть же ныне убогие жизнью деревушки в своем завтрашнем дне разблещутся золотом природной парчи, везде щедро рассеянной, чтобы проезжий представитель умирающей западной цивилизации воскликнул в смятении:

«Социализм, — э, да это нечто сверкающее!»

Мест устранения внимания к красоте со страниц краеведческого очерка в условиях революции культуры недалеко отстоит от замашек втыкания в нос колец вчерашнего обитателя Полинезии; подарил ему, вчера «дикарю», замок от амбара — он им наверное прощемил бы

свой нос; технический переворот не должен висеть железным замком на лице яркого быта там, где яркость не нарушает его естественных темпов.

Великолепно обрамляет М. Шагинян очерк, посвященный Армении, образом карабахского жеребца в контексте с получением об-армянском сыре; сыроварение только выигрывает от этого; цифра тогда убедительней, когда она подана в контексте с краской; надо брату туркмену ведь и любить своего брата зырянину не актом подачи визитных карточек с цифрами; надо им друг другу поглядеть прямо в глаза; взгляд, непередаваемое выражение лица, — вот что сближает народы, давая новый импульс к изучению статистики.

Задача краеведения — не в том, чтоб замкнуть в музей всякую пестрь жизни (музееведы об этом уж позаботятся); его задача, наоборот, — выпустить на волю музейную пестрь, поскольку это возможно, чтоб в радиациях культурной революции бесследно истлели ее вредные стороны и чтобы часть музейных цветистостей облекла по-новому жизнерадостные тела участников строимой многочастной культуры.

Краевед, или художественно образующий свою работу ученый, или учено глядящий художник, или — никто и ничто.

Тогда он не нужен.

4

Краеведение предестинирует очерк, как новую, нигде не бывшую форму.

Полезны и нужны на своем месте отчет, доклад, фельетон, исследование в той или другой стороне краеведения, материалы отчетов, статистик, исследований — сырые очерка, но не очерк; отчетами и исследованиями о жизни народов богаты и буржуазные страны; по одному вопросу о негрской резной скульптуре выросла литература в Германии. Лирика — тоже не очерк, хотя лучшие очерки даны поэтом или художником слова: Шагинян, Никулиным, Маяковским, Санниковым, Пильняком, Тихоновым и Т. д.

В чем спецификум современного очерка? В том, что он — разведка в новую об-

ласть перерождения национальных культур, в культуру интернационала, их по-новому раскрывающую; кавалерия Буденного выдвинула по-новому похороненную тактиками роль кавалерии; легкий ход очерка в сфере опытов и разведок играет в данный момент главенствующую роль, оттесняя даже исследование; исследование еще в сфере ставших наук, а наука очерка — в становлении. Не вмещааясь в ряде наук, художественным тоном она не вмещается однако и ни в одно из официально данных искусств.

Сфера очерка — там, где наука, перетираясь в искусстве, дает и искусству устойчивость точности; она — в целевой установке системы образов; так: из распада молекул двух данных сфер образуется качество еще не ставшего очерка.

Ужас ответственности и головокружение от утопий тормозят работу над очерком, сворачивая его на все еще старые пути; утопизм сказывается там, где лирика преобладает над эпосом новой жизни; ответственность тормозит его развитие там, где предмет очерка — какое-нибудь узловое событие в культуре революции; дать очерк о Днепрострое, когда он — единственная конструкция, в дозволенном нами смысле труднее, чем написать книгу об... Испании; во-первых: описание буржуазных стран не дает таких поводов к исканию разрешить очерк в новых средствах; во-вторых: к услугам очеркистов богатая и хорошо проработанная литература (исследования, отчеты, опыт других очеркистов); такого подсобного материала для очерков например о Днепрострое и нет. Есть и другие причины, заставляющие художников-очеркистов колебаться и отступать от попыток работы над очерком в новом смысле, когда объектом очерка является не Запад, а СССР. Эти причины, увы, коренятся в слишком общих, ходячих и самоуверенных представлениях тех из критиков, которым ничего не стоит измерить и взвесить любую неоткрытую страну в пять минут; и в пять минут предписать очерку быть тем-то и тем-то.

Тип «генерализатора» деталей культуры уже сыграл свою роль в том отно-

шении, что подлинны́е очеркисты отступают от задания очерка: «Написать о Днепрострое и потом быть с'еденным критиками! Нет, уж лучше я напишу о бреде американской жизни!» Абстрактное правило «цивилизаторов» породило лишь плохое перепроизводство; роль очеркистов снижена до роли статистика или фельетониста.

Результат: редакции жалуются: «Куда деваться от плохих очерков!» А лучшие мастера очерков дали лучшие свои очерки не о СССР; Пильняк описал Японию и Америку с силой и яркостью, Никулин дал великолепную картину Испании, Маяковский — Мексики и равного по силе очерка, живописующего наши достижения, не дали эти писатели; вероятно оттого, что они боятся брать приступом «новый очерк» — у нас; кто изживается лирическим стихотворением, кто подменяет очерк колонками цифр; статистический Бедекер ползет на своем месте; когда же он заменяет спецификам нового очерка, он часто его и аннулирует вовсе; вместо культуры очерка продвигается тоже исконно знакомая «цивилизаторская тенденция», мрачная тень нестертого штампа.

Следует раз навсегда понять: в новом очерке сливаются вместе ученый с художником, или в одном лице, или в новом коллективе.

В настоящее время редко совмещение в одном лице художника и ученого; краеведческий сектор должен стать местом рождения нашего очеркиста; к работе его надо привлечь и тех из ученых, которые, войдя в задания очерка, выявят себя художниками в душе; таковыми ведь были открыватели путей, имевшие фантазию мысли; быть конкретным натуралистом и не видеть красот природы есть бессмыслица; Гете, Гумбольдт, Брем, Геккель — художники; с представителями точного знания художнику-очеркисту договориться легко. В краеведческом центре должна состояться новая встреча писателя, поэта, натуралиста, геолога, историка, социолога и этнографа; краеведам не мешало бы составить картушку трудов, посвященных научному художественному и экономическому состоянию республик СССР.

В таком центре органически бы слагались бригады не по принципу однородности, а по принципу разнородности; вошло в обычай, чтобы писатели составляли бригады, интересные сборники, материал которых — результат спешившейся бригады из писателя, поэта, художника, биолога, этнографа, геолога, лингвиста, историка; для согласованности бригады нужен особый отбор ученых и художников слова; ученые бригады должны быть художниками в душе, чуждыми педантизма и ненужного крохоборчества; таких, к счастью, много; но есть крохоборы, предпочитающие вывод, ясный при наличии пяти фактов, обставить 50 × 50 ненужными фактами, чтобы товарными вагонами преградить путь экспрессу; эти были бы для бригады бичом; художники и писатели бригады должны обладать по крайней мере пафосом к приобретению знаний; они должны быть исследователями в душе; среди поэтов, писателей, к счастью, таких очень много; часто они в обегах музеев и библиотек, в уяснении научных основ производства, в усилиях к культуре природоведения тратят массу энергии, обрзовываясь на ходу; присутствие сотоварищей-спецов разрешало бы их от бесплодных усилий, и часто ценнейший и показательнейший материал наук утопляет от неумения подать его в наглядной рельефности; важен обмен материалами и взаимная помощь при оформлении фактов: в процессе восстания очерков, то, что в художнике живет, как полет, в ученом — двигающая его гипотеза; что в ученом — монументальность, в писателе — умение отлить вывод из фактов в хорошо скомпанованном слове; Циолковский, отец звездоплавания, утверждает: фантазия — поджиг к выводу; фантазер хорош, когда он поставлен на место; хорош и фактолог, летающий на крыльях образа.

Секция литераторов-краеведов могла бы с тактом угадать возможную структуру данной разнородной бригады; тогда шесть бригад, составленных по принципам шести специальностей, в удачной композиции их имели бы силу 6 × 6 одноставных бригад. Они ответствовали бы вполне новому зада-

нию очерка: слагать образы из фактов науки и осаждать фантазию в легкий ход выводов.

Важно предвиденье Гете о пересечении образа и идей в чувственно-точной фантазии осуществить в очерке.

В прошлом имеем размах поэмы, кладезь сведений о бытах древних; в них уже — рудиментарно даны задания научного образа; точно доказано немецким исследователем: образные представления о ветрах, дующих в «Одиссее», ответственны климатическим условиям Средиземного моря и временам года; вспомним: ряд научно-алгебраических тезисов в Индии написан стихом; там алгебра вылезла из поэмы.

Буржуазная наука заменила поэмы научными словарями; энциклопедия — сморщенный склероз древних эпосов, служивших складами фактов; цивилизаторы, кичась словарями, усвоили себе развязность по отношению к художнику эпоса; что они скажут о Гете, поэте, обогатившем естествознание? Стиховедение, в котором точный эксперимент, статистику и вычисление ввели русские поэты XX века, сделалось вдруг страной, куда эмигрировали ученые; поэты переорудовали эту, вчера, схоластику в точную эмпирическую науку; цивилизаторы должны б осмеять и великого ученого Ломоносова за то, что он любил звучно бряцать словами.

В третьей фазе развития человечества, у подступов которой становится СССР, не должно ли, чтобы жизнь старых поэмы и стойкость костяка от энциклопедий соединились в одно; это значит: соединить формулы с ладами поэмы, мысль с поэзией. Об этом и мечтали Ломоносов и Гете; первый, — распевая о пользе стекла, второй, — формулируя принципы метаморфозы растений; не забудем: Гете писал и о розовых щечках любимой; а возбудивший в Сумарокове пошленький смешок Ломоносов предвосхитил закон постоянства материи; он предвидел и существование твердого азота в небесном куполе.

Лишь отрывок пошлятины скажется хихиканьем на мое разуменье: цель нашего очерка заключается между прочим и в том, чтобы научно воспеть

картину жизни народов СССР. В этом задании — качественно новый подход; воспеть, — а не отчитаться: статистикой, фельетоном, докладом, исследованием и другими подсобными материалами к очерку; воспеть — не ладами древних поэмы, а совсем другим голосом, с другими жестами, интонациями; не о сюсюканье идет речь; но и не о вороньем карканье крохобора.

Кто не имеет уха расслышать культурную революцию и как светлую песню, кто, выкапывая сырье из недр кражей, не видит рельефа, — тому не по дороге и с революцией, как культурой, меняющей слух и зрение; пусть работает он в подсобных очерках областях; не подпускайте его к прорезам нового человека, он нового человека заучит до смерти своими штампами.

Революция едина по существу, но тройственна в выражении (политическая, социальная, культурная); она — многослойчата: она изживаема в чистой политике, в социальной политике, в социальной культуре; но и в культуре политики — перерождение в культуру политики, по-моему, происходило в наиболее глубоких ее слоях; не в тех, с которых она начинается, а в тех, к которым подходит, здесь политика еще и умение обходиться народа с народом, здесь она еще и социальный такт, и культура теплого обхождения.

Гете соединил «Фауста» с потенцией к новому очерку, потенции он не мог развернуть в социальных условиях времени; и он воздержался от очерка, «Путешествие по Италии» — еще суррогат очерка. Другой гений очерка, очерка не раскрывший и даже сломавший в себе свое искусство, был... Гоголь; причина к тому ясна: плен у идеологии, шедшей наперерез таланту, не случайно мечтал он всю жизнь то о художественной географии, то об истории; в его летучих характеристиках искусств, культур и событий все краски лишь средства к очерку; недоставало подхода знания, точки зрения, но жила в нем заправская очеркистская хватка, его отличая от всех других, он умел, как никто, подать и костюм, как материал к изучению, он си-

лился изучать Украину, собирая данные о костюме, о ритме думок, записывая никем незаписанное; теперь опровергнуто мнение, будто бы он был невеждой в истории; он много читал, не как профессор, правда, но и не как дилетант: как спец им нераскрытого очерка, он умел подавать исторический материал в сжатых, слаженных образах, умение сжать научную сводку (независимо от качества научности) есть нечто, отличавшее его от Пушкина, более ученого, но менее всего очеркиста; свои потенции к научности он эксплуатировал в образе, а богатства кисти готов был превратить в средство передавать данные истории и этнографии.

Чего он понять не мог? Того, что революция в методе выраженья фольклора невозможна без понимания культуры, вытекшей из революции, политической революции он не видел, оттого смутный позыв к революции сознания в нем уродливо скривился. революция сознания — вывод из соцреволюции; Гоголь был условием времени вынесен за скобки ее; его усилия перерастали себя и время выразились в усилиях вылезти из первого тома «Мертвых душ» во второй; и тут он уперся в проблему... очерка о жизни бытов России, написанного на основании всесторонне собираемого материала, затея выродилась в убожество второго тома.

Но характерно: свой «Подвиг» он собирался свершить посредством сети рус-коров, собирателей материала, недостаточное владение научным методом, смутные представления о политической революции, невозможность осуществить замысел вне условий социального переворота его обрекали на срыв, то же, что нудило его переть на рожон, стало бы его преимуществом в условиях нашей жизни, стой он с нами, ибо он имел дар сочетать формулу с краской так, как никто; его глаз находил точку золотого деления меж воображением и научной фиксацией; в своем наблюдении и описании он был ученый художник.

Прогноз Гете о пересечении науки с искусством должны мы осуществить в очерке; провал Гоголя со вторым томом «МД» усилиями краеведов претворяем

в восстание ж и в ы х д у ш, высвобождающих свои бытовые краски в социалистическое грядущее; пусть же их вихрь, видоизменяясь в оттенках, осуществляет прыжок, предуказанный Энгельсом; в наши дни это не прыжок, а — темп; ритмами неподмазанное колесо стирается; а подмазанное удесятерит свои повороты; подмазка — в темпах, но понятых в точном смысле; смысл темпа — в ритме, побольше музыкального отношения к темпам трудовых культур! Они — не в молотобойном грохоте, не в скрежетопильном скрипе, а в симфонии гудков, аккомпанирующих песне народов.

Мы имеем условия к тому, чтобы краеведение стало практикой и в темпах культуры; горе, если мы их не осуществим! В данном секторе мы их не осуществим, коли не поймем, что краеведческий очерк увенчивает и поэму, и исследование одним куполом. Ученый отдает в нем науку художнику; художник отдает краски ученому, тогда образуются две крайние точки того диаметра, поворот которого способен очеркнуть очерк.

Многие «очерки» его снизили; есть ряд недолетов, приближающих к его сфере; есть и очерки, почти попавшие в цель. Из наиболее удачных очерков, уже попавших в линию сферы, я назову два (их больше); в одном — еще недолет; в другом — почти перелет, первый дан «очерком», второй — «поэма», первый вооружен знанием, умело сжатым в материал фактов, где факт типизирован образом; это очерк Шагинян, посвященный Армении; второй «очерк», — поэма Санникова, талантливого поэта, вооруженного силою красок и ритмов, отданный воспеvu хлопка на фоне сгранны, ее ландшафта, быта, песен, ремесл, в обстании людей, создающих историю хлопка в Стране Советов, сорта хлопка, качества его, вплоть до таблицы статистики, — содержание 6-й песни; это — яркий отчет, введенный в фабулу изложением труда героя поэмы; в нем — прошлое, настоящее и будущее производства поданы в интонационных стихах, способных зажечь научный интерес к хлопку в любом читателе; отчет, вос-

певая, зажигает, и рука тянется к колонкам шифр.

Поэма осуществляет новое качество очерка.

У меня нет времени коснуться своих очерковых проб; скажу лишь: они стали предметами самокритики. Мои «Путевые заметки» преследовали задание связать ландшафт, быт, историю в целое для возбуждения интереса к стране; их портит субъективизм, «Ветер с Кавказа» — дневник, писанный не для выхода в свет в начале очеркистской тенденции; очерк «Армения» — ближе к цели; его краткость не дала мне возможности к разветву нового очерка.

Позднее в Армении я собирал материал для очерка, задуманного серьезно, но он разорвал в сознании встававшую форму; я не знал, как увязать мне исто-

рию, стиль, быт, туф Армении, проблемы ее орошения и т. д.; сколько процентов статистики мне створить со сколькими процентами красок, — этого я тоже не знал, и очерк разваливался в многообразии собираемого материала; так я отступил от него, но в душе сохранилось желание: позднее вернуться к очерку.

Все вышеизложенное — только перечень дум, встававших над ненаписанным очерком.

Страна очерка поволена пересечением «Элиад» с энциклопедиями народов СССР; из статистики производств, музеев, быта, природы местности в нем родится новое качество научного образа и образной идеи; статья очеркистом — значит: перекинуть мост через грань, отделяющую отобразителя от деятеля культурной революции.

2. ПИСЬМА БАЛЬЗАКА

Перевод и примечания Павла Сухотина

(Продолжение¹)

VIII

Госпоже Зюльме Каро¹) в
Сен-Сир.

Париж, январь 1829.

Сударыня,

Надеюсь, что Вы не откажете в снисхождении несчастному, который обречен работать день и ночь, пока не придет за ним смерть. Если Вы приедете в Париж, Вы меня не забудете, правда? Вообразите, — я задумал писать два сочинения сразу², не считая множества статей³. Я обещал, что эти два сочинения появятся: одно в середине февраля, а другое — в апреле, и уже приступил к ним. Дни тают у меня в руках, как льдинки на солнце. Я не живу, — я жестоко изнуряю себя; но погибнуть ли от работы, или от другого чего, — не все ли равно? — Я двадцать раз брался за шляпу и за перчатки, собираясь отправиться в Сен-Сир, и столько же раз дела преграждали мне путь.

Но, даже рискуя упустить заработок, я все-таки приеду, — надеюсь, на этих днях, — отдохнуть подле Вас, вдали от трудов, от суеты. Вы уже достаточно наказали меня за мое собственное несчастье тем, что не написали мне на этот раз слов утешения, которые дают мне поддержку. Я узнал, что Вы были тяжело больны, и принял это близко к сердцу. Г-н Борже тоже говорил мне о Вашей болезни, и я просил Вам, что Вы оставили меня без писем, но не простил того, что Вы оставили меня в неведении касательно Вашего нездоровья.

Если Вы соберетесь в Париж, сообщите мне число, чтобы я мог заручиться на этот день свободой. Затем, если корректуры и рукописи, тяготеющие надо мной, дадут мне вздохнуть, я числа 3—6-го приеду в Сен-Сир, — нанести Вам запоздалый новогодний визит.

Передайте мой привет Вашим домашним и примите искренние уверения в живейшей дружбе и неизменной благодарности.

¹) См. «Новый мир», кн. 2

IX

Господину Альфонсу Левассеру, книгоиздателю в Париже

Париж, ноябрь 1829.

Мой бедный и несчастный издатель!

Самая прекрасная девушка в мире не может дать больше того, что она имеет. Я работаю целые дни над «Физиологией брака» и посвящаю только шесть часов ночью (с девяти до двух) «Сценам из частной жизни»¹, от которых мне остались одни корректуры, и совесть моя чиста.

Я готов прислать окончательно перебеленную рукопись к 15-му, если Вы хотите; но это будет самое гнусное убийство, которое мы — Вы, Канель² и я — совершим над книгой.

Что-то такое есть во мне, что мешает мне творить зло сознательно. Дело идет о том, чтобы обеспечить книге будущее, сделать из нее либо подтирку, либо труд, достойный занять место в библиотеке; дело идет о том; чтобы продать эту покрытую черной краской бумагу либо по семи, либо по пятидесяти франков за стопу.

Если бы я, подобно Нодье³, — я говорю во множественном числе, ибо Нодье есть вид в естественной истории литературы, — праздношатайствовал, объявлял о выходе еще не написанных книг, попусту снашивал башмаки, играл на биллиарде, если бы я пил, ел и т. д... Но я не позволяю себе ни одной мысли, ни одного шага, не относящихся к «Физиологии»; я брежу ей, я только ей и занят, я по-уши влюблен в нее! Я понимаю Ваше коммерческое нетерпение, потому что мое собственное в десять раз больше.

Рукопись лежит у меня на конторке; но меня останавливает событие, которое я должен рассказать, мысли, которые я должен найти, и... Мне до завтра хватило бы рассказывать, как и почему автор этого сочинения рискует очугиться между успехом и эшафотом, на каждой строчке. Я никогда так не сознавал всей его ответственности. Я хотел написать шутку, а Вы в одно пре-

красное утро явились ко мне и потребовали, чтобы я в три месяца сделал то, на что Брилья-Саварену⁴ понадобилось десять лет. Он говорил только о попойках, а я, — я говорю о том, что есть самого серьезного во Франции. У него был новый предмет, а у меня, — у меня предмет самый затаасканный.

Я буду гордиться тем, что совершил чудо: ведь первый том «Физиологии» приведен в теперешний свой вид за время с 1 сентября по 10 ноября 1829 года; ибо 10-го «Ite, missa est»⁵ будет уже сказано.

Не думайте, что это письмо — извинение; я работаю с таким жаром и с таким напряжением, на которые неспособно ни одно человеческое существо; но я только смиренный слуга Музы, а эта девка часто бывает в дурном настроении.

Не отчаивайтесь, потому что 15-го я откровенно скажу Вам, на что Вы можете рассчитывать. Только тогда я смогу измерить глубину раны, — во втором томе.

Весь Ваш.

X

Госпоже Зюльме Каро, в Сен-Сир

Париж, 14 апреля 1830

Сударыня,

Вы холодны со мной до отчаяния. Я ничего не знаю из того, что происходит в Сен-Сире, — ни хорошего, ни плохого, — до такой степени, что мог сочувствовать Вам только очень неопределенно и лишь настолько, насколько это возможно для человека, который работает день и ночь, чтобы поддержать свое брэнное существование. Чернила, перья и бумага внушают мне отвращение, и все, что хоть сколько-нибудь окрашено мыслью, приводит меня в содрогание, так что было бы лучше, если бы Вы написали мне первая.

Как бы то ни было, я приеду навестить Вас на этой неделе и привезу Вам «Сцены из частной жизни», которые вышли из печати вчера. Я должен поблагодарить Вас за то, что Вы подписались на «Фельетон»¹; но я со дня

на день собирався поехать к Вам и сказать, что эта подписка — подарок, то же самое, как если бы я поднес Вам книгу; но Вы знаете, что такое Париж: он подобен песчаным отмелям, образуемым течением Луары, — стоит Вам поставить туда ногу, как Вы там остаетесь. Вчера нужно было заключить договор; завтра будет очаровательный вечер, на котором будет петь Малибран²; сегодня утром — завтрак без дам; вечером — спешная работа. И эта пропасть засасывает жизнь, а между тем, если бы она протекала в уединении, она была бы плодотворна и увенчана славой.

Не думайте однако, что я живу так рассеянно. Я отчаянно работал, и мои бесчинства многотомны. В июне я надеюсь поднести Вам «Трех кардиналов»³, — сочинение, которое, быть может, не будет недостойно внимания.

Если у меня будет досуг, я приеду пораньше, и, если бы я был волен в своих поступках, я остался бы в этом Сен-Сире, который Вы находите таким скучным.

Примите, сударыня, уверения в искренней и почтительной дружбе.

Тысячу приветов г-ну Каро и капитану Периоласу.

XI

Господину Теодору Даблэну¹, в Париж

Париж, 1830.

Мой дорогой Даблэн,

Сестра сказала мне вчера, что Вы заходили к ней и вспоминали некоторые резкие выражения, вырвавшиеся у меня при моем последнем посещении Вас, в которых я просил Вас заpastись необходимым свидетельством на случай моей внезапной смерти. Если кто-нибудь имеет право обижаться на мой гнев, чисто-артистический, то это конечно старый друг, который знает меня с 1817 года и который приходил ко мне на улицу Ледигьер во времена первого моего подвижничества; но так как я в жизни своей никого не оскорбил, даже врага, то весьма сожалею, что разгорячился в этом споре, литературном или,

вернее, по поводу литературы, раз Вы так надолго сохранили воспоминание о моих грубых речах. Такое возбуждение не исходит ни из моей души, ни из моего сердца: причина его — нервное состояние, в которое приводит меня кофе, когда, вместо того, чтобы излиться на бумагу, это возбуждение проливается в пустоту, — т.-е. когда я, вместо того, чтобы работать, ухожу из дому. Одна моя давнишняя приятельница обратила на это внимание еще лет десять тому назад, и если я иногда подавляю свое возбуждение, то бывают минуты, когда дух противоречия мешает мне это делать. Вам наверное кажется, что дружба со мной для Вас вдвойне тягостна; ну, а я очень печалюсь, видя Вас обделенным дружбой и чувствуя себя в должниках у Вас.

Вы меня мало знаете, дорогой Даблэн, и если Вы меня любите, то доказываете на деле, что можно любить друга, как любят женщину, не зная ее; но Вы не раскаетесь, если будете со мной водиться. Человек, который вот уже 15 лет встает ежедневно среди ночи, которому никогда не хватает времени днем, который ведет постоянную борьбу, — имеет не больше возможности навестить друга, чем любовницу; поэтому я и потерял много любовниц и много друзей и не сожалею о них, ибо они не входили в мое положение.

Вот почему Вы видели меня только тогда, когда у меня бывало до Вас дело. Я огорчен, что Вы не дали мне ответа касательно страхования, потому что, чем дальше, тем работа моя увеличивается, и я не уверен, буду ли в состоянии выдержать такой труд без отдыха. Сейчас путешествие на два месяца в Бельгию, все равно куда, освежило бы мой разгоряченный, усталый мозг, вернуло бы мне силы, а у меня нет ни денег, ни времени, чтобы это осуществить. Вот уже пять лет, как я никуда не езжу, а путешествия — единственное мое развлечение. И я предвижу, что судьба моя будет очень мрачная: я умру накануне того дня, когда все мои желания должны будут исполниться. Вот почему я хотел бы застраховать свою жизнь в пользу Вас,

моей матери и госпожи Деланнуа, ибо я хочу поставить всех вас в особое положение; г-на Гаво² также: он оказывает мне услуги с такой преданностью, что я считаю его должником моего сердца, как Вас и г-жу Деланнуа.

Я совершенно твердо ожидаю лучших дней, которых может лишиться меня только смерть; моя усталость, при необходимости работать, сильно меня пугает, и я буду спокойнее, зная, что мои истинные друзья обеспечены на случай события, которое не опечалит никого, кроме них.

Тысяча приветов.

ХII

Господину Виктору Ратье¹, редактору «Силуэта», в Париж

Гренадьер, 21 июля 1830.

Дорогой Ратье!

Вообразите прежде всего, что при виде Вашего письма мне померещилось, будто Вы сами просовываете голову в дверь моего кабинета, — до такой степени напоминание о Вас вызывает во мне угрызения совести...

О, если бы Вы знали, что такое Турень! Там забываешь обо всем на свете. Я прощаю здешним обитателям их глупость: они так счастливы! Кроме того, Вы знаете, что люди, много наслаждающиеся жизнью, естественно тупы. Турень превосходно объясняет лаццароне. Я пришел к тому, что считаю славу, Палату, политику, будущее, литературу — всего-навсего пулями, которыми убивают бродячих и бездомных собак, и говорю: «Добродетель, счастье, жизнь — это рента в шестьсот франков на берегу Луары».

Ну! Приезжайте сюда дня на три; поезжайте на Каяре² на имперiale, это будет стоить Вам тридцать франков в оба конца (по десяти франков в день); и Вы в двадцать четыре часа одобрите мою редакцию, когда взойдете в мой домик Гренадьер, близ Сен-Сира-на-Луаре, — домик, стоящий на косогоре, у очаровательной реки, обвитый цветами, жимолостью, откуда открываются ви-

ды, в тысячу раз прекраснее тех, которыми негодяи-путешественники забивают головы наших читателей... Турень производит на меня впечатление жирного печеночного паштета, в котором вы завязли до подбородка, а чудесное вино Туреня, вместо того, чтобы опьянять, наполняет вас глупостью и блаженством. Я нанял домик до ноября месяца и работаю, закрыв окна, потому что хочу возвратиться в великолепный Париж только вооруженный литературными запасами.

Вообразите, затем, что я сделал самое поэтическое путешествие, какое только возможно во Франции: отсюда в глубь Бретани, к морю, по воде, недорого — по три-четыре су за милю, мимо самых радостных берегов на свете, — я чувствовал, как мысли мои растут вместе с этой рекой, которая, приближаясь к морю, становится необъятной. О, вести жизнь могикана, лазать по скалам, плавать в море, вдыхать полной грудью воздух, солнце! О, как я сочувствовал дикарю! О, как превосходно понял я корсаров, авантюристов, пиратов; и там я говорил себе: «Жизнь — это отвага, хорошие карабины, умение плавать в открытом море и ненависть к человеку (к англичанину например)!» О, тридцать молодцов, которые сговорились бы... и уничтожили бы предрассудки, как г-на Кернока...

Возвратившись сюда без денег, бывший корсар сделался торговцем идеями и засел с удочкой ловить своих пескарей на продажу. Вообразите теперь человека столь «бродяжного», который берется за статью, озаглавленную: «Трактат об изящной жизни», чтобы сделать том in octavo, который «Мода»³ напечатает, а какой-нибудь книгоиздатель перепечатает. Это смехотворное и убийственное предприятие держит меня в тисках с тех пор, как я написал г-ну Варену⁴. Моя приятельница, которая уезжает отсюда на 12—15 дней, везет с собою это письмо и около трети этого тома, и Вы, с Вашей редкой и ценной откровенностью, скажете мне, достойна ли меня эта книга. Что касается «Жизни в замке», то Эмиль⁵, поместив ее, совершил настоящее убий-

ство. Это была первая корректура статьи, сверстанной на краешке стола, а у меня была здесь статья, сделанная на совесть, когда я увидел предательство «Моды». Если бы Вы могли найти мне для «Силуэта» сюжет такой же плодотворный, как «Изысканная жизнь», и дали бы мне немного времени, чтобы обдумать его, Вы бы увидели... О! О! О!

В Вашем «Силуэте» превосходны карикатуры за неделю. Это счастливая мысль. Но Вы губите себя, давая плохие карикатуры. Это хорошее дело — составлять номер из объяснений к литографиям и статьи «Еженедельные карикатуры». Вам следовало бы заказывать какому-нибудь остроумному человеку отчет о последних событиях, как это делает «Журнал роз», беря только другие происшествия, и прибавлять к этому особый обзор искусств, критику на картину, книгу, гравюру и т. д. Ваш журнал принял бы великолепный вид, и Вам не нужно бы было отходить от него (дружеский совет). Вы знаете, что добрый совет стоит много и никогда не оплачивается. Добрый совет — идея, а идея — состояние.

Приезжайте сюда провести три-четыре дня; мы будем свободны, как два проказца, у которых общего — только хижина и дичь. У меня здесь есть рабыня, в роде моей парижской Флоры. Кстати, Ваши «Рабы сераля» крайне глупы. Скажите же тому, кто делал надпись к карикатуре, что никогда не говорят смешных острот, если они не соответствуют истине. Гораздо легче заставить смеяться над человеком, которого ведут на виселицу, чем над зародышем. Если Вольтер был так остроумен, то это потому, что он шутил над богом, над библией, над обществом.

Ах, как остроумны карикатуры Монье! «Воспоминание об Алжире» восхитительно! Дай бог, чтобы его предвиденье оказалось ложным, чтобы у нас была там колония и чтобы мы цивилизовали эту прекрасную страну.

Вы рассказали мне о своей особе, я Вам — о своей; вот как я понимаю письма и дружбу. Только Вы не рассказали мне, что подельваете.

Чорт побери! Мой добрый друг, мне

думается, что литература в настоящее время — ремесло уличной девки, продающей себя за сто су: это не ведет ни к чему, и у меня зуд пойти шляться по улицам, искать, делать из всего драму, рисковать жизнью; потому что не все ли равно — несколькими несчастными годами больше или меньше. О, когда видишь это прекрасное небо, чудесной ночью, хочется расстегнуть штаны и помочиться на головы всех королевских величеств! С тех пор, как я вижу здесь настоящее великолепие, — красивый и вкусный плод, золотое насекомое, — я настраиваюсь крайне философически и, ставя ногу на муравейник, говорю, как бессмертный Бонапарт: «Муравьи, или люди... что они перед Сатурном или Венерой, или перед Полярной звездой!» И мой философ идет оттачивать остроты для журнала. Pugh pudor! И мне кажется, что океан, английский бриг или судно, которые надо потопить, рискуя утонуть самому, — это гораздо лучше чернильницы, пера и улицы Сен-Дени.

Прощайте, дорогой Ратье; так как у нас у обоих сильно бьющиеся сердца, — или мы воображаем, что они у нас такие, — крепко пожмем друг другу руки. Мое почтение госпоже Ратье.

Ах, как мне жаль, что со мной нет товарища, который мог бы записывать все, что я думаю, — мыслью у меня такая туча, что я не успеваю их выражать!

XIII

Госпоже Зюльме Каро, в Сен-Сир

Париж, в пятницу утром, ноябрь 1830.

Сударыня,

Еще раз с прискорбием извещаю Вас, что не могу завтра ехать в Сен-Сир. Целую неделю лелеял я эту сладкую надежду, — и вот, вчера вечером получаю приглашительное письмо на собрание акционеров по делу, в котором я представляю интересы моей матери. Это одна из собственности, которые я переуступил ей, чтобы хоть чем-нибудь возместить суммы, пожертвованные ею для сохранения моего имени незапят-

нанным. Было бы дурно с моей стороны не отложить всех дел ради нее. Это была бы неблагодарность.

Кроме того, сейчас, будучи вынужден делать беспримерные усилия, чтобы жить самому и чтобы поддерживать еще несколько друзей, несчастных еще более меня, я работаю день и ночь и сплю едва ли два часа в сутки. В субботу мне нужно вытравить длинную статью для «Ревю де Пари»¹ и сделать «Моду», с которой я запоздал. Простите же мне, с Вашей обычной добротой, что я еще на некоторое время лишаю себя удовольствия Вас видеть. Если бы не такая крайность, я ни за что не остался бы, тем более, что мы, — г-н Борже и я, — собирались посоветоваться с Вами о нашем деле и постараться склонить Вас на свою сторону. Но, если это устроит Вас, мы непременно приедем на будущей неделе.

В нашей стране, сударыня, происходят события весьма важные. Меня страшит готовящаяся борьба. На этот раз (я говорю между нами) я вижу во всем одну страсть, и ни в чем не вижу здравого смысла. Если Франция вступит в бой, я не примкну к тем, которые откажутся отдать ей свои руки и свое дарованье, — что бы там ни говорили некоторые друзья. И тогда наука, которая получила благодаря нам такое развитие, и мужество помогут Франции выйти победительницей. Но каков будет исход, и властны ли мы над брожением сталкивающихся интересов внутри политического организма? Ах, сударыня! Среди патриотов много есть таких, для которых слово «отчизна» — пустой звук. Никто не хочет соединять его с примиряющими обе крайности воззрениями, о сущности которых я Вам в двух словах уже говорил. Мы находимся между крайними либералистами и людьми законности, которые соединятся, чтобы опрокинуть.

Не обвиняйте меня в отсутствии патриотизма только потому, что ум мой служит мне для правильной оценки людей и событий. Не нужно обижаться на разъяснение, показывающее Вам, что каждая революция ведет к крушению какой-нибудь надежды. Гений правите-

ля состоит в том, чтобы сплавлять воедино людей и события; вот что сделал Наполеона и Людовика XVIII великими людьми. Одного никто не понял, а другой понял только сам себя. Оба они держали в узде все партии Франции, одна — силой, а другая — хитростью, потому что один ездил верхом, а другой в коляске. Сейчас у нас правительство без плана, и в этом наше несчастье. Такое положение вещей разоряет меня и каждый день отнимает у меня какую-нибудь надежду. Итак, можете судить, стою ли я за упечение положения. О, если бы Вы были в Париже, в водовороте людей и дел, Ваша политика уединения быстро изменилась бы. Не проходило бы ни одной минуты, чтобы Вас что-нибудь не задевало.

До свиданья, сударыня; рассчитывайте всегда на мое искреннее расположение и на сердце, самая сладостная забота которого — понимать Вас.

Тысячу приветов капитану и г-ну Каро.

XIV

Е й ж е

Париж, в субботу утром (конец 1830 г)

Сударыня,

Я получил Ваше письмо, и, хотя Вы браните меня, оно меня порадовало, потому что в нем видно все Ваше участие ко мне. Не пытаюсь доказать Вам, сколь невеликодушно судить обо всем здании по одному камню, обвинять меня по поводу мнения, которое мне пришлось высказать так, как этого хотят подписчики журнала, и не отдавать во мне работника от человека, — признаюсь Вам, что мои «Письма о Париже» прежде всего говорят правду о людях и событиях и что они задуманы не столько как суждение, сколько как точная картина политических движений и борющихся между собою идей.

Помимо необходимости набросать этот портрет, там есть мысли, которыми я обязан министрам и людям, составляющим правительство. Если Вы подумали, что они мои, Вы ошиблись: это говорят люди, которых Вы хотите видеть

у власти. Некоторые фразы, некоторые мысли заимствованы у наиболее влиятельных лиц. Признаюсь откровенно, я не понимаю, как можно принимать представительный образ правления, не допуская борьбы мнений, которую он оправдывает. Буря, которая существует сейчас, будет существовать всегда. А Вы считаете недостатком правительства то, что составляет его движущую силу.

Ваше замечание об узурпации крайне оригинально. Наиболее влиятельные люди из «Насьоналя», из «Глоба», из «Тана» говорят, что, если бы герцога Брольи¹ не существовало, его нужно было выдумать. Но не буду защищать высказанных мною мыслей; позвольте мне описать в нескольких словах систему правления, к которой будет иметь отношение вся моя жизнь. Это мой символ веры, сколь возможно, неизменный; словом, мое политическое сознание, мой план и моя мысль; они дают мне право на все уважение, которое я оказываю другим мнениям; моя политическая жизнь будет целиком посвящена торжеству этой мысли, ее развитию, и когда я серьезно говорю о будущем моей страны, то нет ни одного написанного или сказанного слова, которое к этой мысли не относилось бы.

Франция должна быть конституционной монархией, иметь наследственную королевскую фамилию, исключительно мощную палату пэров, представляющую собственность и проч., со всеми возможными гарантиями наследования и привилегиями, природа которых подлежит обсуждению; затем, второе собрание, выборное, представляющее все интересы промежуточной массы, которая отделяет высшие социальные слои от того, что называют народом.

Большая часть законов и их дух должны стремиться к тому, чтобы возможно больше просвещать народ, людей, которые ничего не имеют, рабочих, пролетариев и т. д., с тем, чтобы довести возможно большее число людей до благосостояния, отличающего промежуточную массу; но в то же время надлежит держать народ под сильнейшим игом, чтобы люди из народа находили свет, помощь и защиту, но

чтобы никакая идея, никакой распорядок, никакое соглашение не вызывали в нем беспокойства.

Наибольшей свободой пользуется имущий класс, ибо у него есть нечто, что он должен сохранять, и, не желая потерять все, он никогда не возмущается.

Правительству — вся возможная власть. Таким образом, правительство, богатые и буржуа заинтересованы в том, чтобы сделать низший класс счастливым и укрепить средний класс, на котором зиждется истинная мощь всякого государства.

Если богатые люди, если владельцы наследственных состояний, сидящие в верхней палате, испорченные своими нравами, породят злоупотребления, их все равно нельзя отделить от существования всего общества; надобно принимать их ради тех преимуществ, которые они дают.

Вот мой план, моя мысль; она соединяет в себе хорошие и филантропические качества нескольких систем. Пусть надо мной смеются, пусть меня называют либералом или аристократом, — я никогда не откажусь от этой системы. Я долго и глубоко размышлял над устройством общества; это кажется мне если не лучшим, то, во всяком случае, наименее порочным.

У меня нет времени и места, чтобы шире развить мои идеи, которые здесь только намечены. Может быть, во вторник на будущей неделе приеду в Сен-Сир повидать Вас.

Простите мне, что я так краток, но я завален работой и провожу дни и ночи в трудах.

Преданность и дружба.

XV

Господину Шарлю Рабу¹, редактору «Ревю де Пари»

Немур, среда, 18 мая 1831.

Дорогой мэтр,

Вы до последней степени дурной человек! Я смиренно просил Вас сказать мне, будет ли «Красная гостини-

ца» напечатана к Троице, а Вы не изволили ответить Вашему покорнейшему слуге. Правда, это я адресовал Вам письмо в № 240. Почтительно лобызая Ваше чортово копыто, надеюсь получить хоть словечко в ответ.

Сейчас я оседлал преступление, ем и сплю в «Красной гостинице», с тем, чтобы во вторник утром, при приезде, вручить нашему другу Фуко² первую часть, — хорошенькую рукопись, написанную в деревне, перебеленную, без помарок, лизанную, перелизанную, кокетливо выправленную... О! Я не хотел бы обманывать моего друга Госселэна³ и уродовать перочинным ножом «Шагренову кожу» ради его величества Фридриха-Вильгельма.

Не откажите в любезности написать «г-ну Бальзаку, в Немур (Сена-и-Марна), до востребования» одно словечко, ласковое, как лапка любовницы, которое сказало бы мне — «да» или «нет».

Я отлично знаю, редактор-предатель, что Вы все равно скажете мне «да», чтобы снова отодвинуть меня с одного воскресенья на другое, как праздник, который папа стесняется поместить в календарь. Но я заклинаю вас, те impregnez⁴, духом не знаю кого, — не играйте на моем легковерии романиста, скажите мне правду, если режиссеры марionеток вообще говорят ее...

Если бы Вы были другом, Вы были бы так добры навести небольшую справку, которая нужна мне для «Красной гостиницы»: в каком месяце, в каком году и под командой какого республиканского генерала французы проникли в начале революции в Германию, в Дюссельдорф, или дальше, и с каким корпусом.

Я сижу здесь без единой книжонки, один, в павильоне в глубине имения, и живу с «Шагреновой кожей», которая, слава создателю, приходит к концу. Я работаю день и ночь и держусь одним кофе. Поэтому мне необходимо, чтобы расseyтсья от привычной работы, писать «Красную гостиницу», как ходят ласкать жену соседа.

Тысяча приветов; всем сердцем Ваш.

XVI

Господину Шарлю де-Бернар¹, в Безансон

Париж, 25 августа 1831.

Милостивый Государь,

Разрешите мне сердечно поблагодарить Вас за живость, с которой Вы откликнулись на появление моей книги². Вашу статью сообщил мне один критик «Журналь де Деба». Я был приятно поражен, что меня так хорошо поняли, — счастье, в Париже довольно редкое. Разбор моей книги сделан так поразительно скоро после ее выхода, без насмешек и без попыток позабавиться за счет автора, — критика хорошего тона, с которой Вас поздравляю. Никто так не жаждет, как я, чтобы в провинции утвердились авторитетные органы; в наши дни голоса департаментов многое значит для добросовестного писателя. Они руководят общественным мнением.

Я действую слишком откровенно, и Вы мне позволите представить на Ваш суд соображение, которое меня самого поразило. Вы, — несколько, может быть, необдуманно, — обвиняете юную нашу литературу в склонности к подражанию иноземным образцам. Не думаете ли Вы, что «фантастика» Гофмана уже заключена в «Микромегасе»³, который в свою очередь имелся у Сирано де-Бержерака⁴, откуда взял его Вольтер? Жанры принадлежат всем, и немцы имеют не больше прав на луну, чем мы на солнце, а Шотландия — на оссианические туманы. Кто может похвалиться, что он что-то изобрел? Я, право, не вдохновлялся Гофманом, которого узнал только после того, как обдумал свое сочинение; но тут есть кое-что и поважнее. Нам недостает патриотизма, и мы разрушаем нашу национальность и наше литературное первенство, уничтожая друг друга. А англичане, — разве они говорили, что «Паризина» — подражание «Федре» Расина⁵, и разве они превозносят иностранные литературы, заглушая свою собственную? Нет. — Давайте брать с них пример.

Это, сударь, вопрос отнюдь не личный, ибо я надеюсь, что при втором издании моей книги публика признает огромность и новизну начинания, на которое я отваживаюсь, хотя могу упасть под его бременем или выполнить его плохо. Сочинение будет увеличено вдвое, и план его будет значительно развить пером более искусным, чем мое. Весьма рад, сударь, что имею случай вступить с Вами в переписку; желаю успеха Вашему честному и благородному начинанию и прошу Вас принять уверения в моем совершенном почтении и сердечной преданности, с которыми имею честь пребыть Вашим покорнейшим слугой.

XVII

Герцогине д'Абрантес, в Версале

Париж, четверг, 1831.

Обратный путь мой был очень печален. Я полчаса прождал у ворот Версаля, пока наконец в конце аллеи не замаячила жалкая «кукушка»¹, которая довезла меня только до Севра. В Севре я надеялся встретить другую кукушку и побрел по направлению к Парижу при свете прекрасных, великолепных звезд, которыми Вы любовались, и, как Вы, наслаждался величественным безмолвием, наполняющим душу. Но я шел пешком. Наконец, минуя Отейль, — там я подумал о таинственной беседке, — я снова услышал спасительное и гнусавое дребезжание другой кукушки, которая выбросила меня в полночь на площади Людовика XV; оттуда, за отсутствием коляски, я добрался до дому на своих бедных лапах.

Легши в кровать, я признался себе, что лишние четверть часа, проведенные у Вас на окне, вознаградили бы меня за все эти напасти. Заснул я около половины третьего и радовался, что между нами есть что-то общее, думая, что Вы тоже, наверное, спите; а Вы пишете мне, что Вам было худо.

Сегодня утром мне подали Ваше последнее письмо. О нем я ничего не скажу Вам; то, которое я получил только что, перевернуло мне все сердце. Вы

говорите, что страдаете, и у Вас нет надежды ожить в одно прекрасное утро. Подумайте же, что для души всегда может настать весна и свежее утро; что Вашей прошлой жизни нет имени ни на одном языке; она только слабое воспоминание, и Вы не можете судить о Вашем будущем по прошлому. Сколько людей начинали прекрасную и приятную жизнь, будучи гораздо старше Вас²! Мы живы только душой; как можете Вы знать, что Ваша душа прошла все стадии развития, если Вы вдыхаете воздух всеми порами, если все Ваши глаза открыты и видят. У растения, у цветка есть постепенные переходы, и сколько в лесу стеблей, еще не видевших солнца.

В Вашем письме царит печаль, которая как будто исходит из души, не знавшей счастья; я думаю, что это не так. Мне кажется, что счастье, сверкающее счастье оставляет в нашей жизни длинный оветящийся след, млечный путь, и что отблески его озаряют все, что с нами случается потом, даже самое ужасное. Падший ангел говорит не так, как человек, — ведь он видел рай! В моих словах есть кажущееся противоречие, — не обвиняйте меня в нем; поразмыслив, Вы увидите, что никакого противоречия нет: можно быть счастливым в прошлом и не знать еще совершенного счастья.

Благодарю Вас за Ваше благородное и прекрасное доверие и прошу Вас, усерднейше прошу, всегда видеть в моих словах только то, что я пишу. Хотя я и запретил себе упоминать о том ужасном письме, но я ясно вижу, что в нем мало снисходительности; браните меня, сколько хотите, но не гневайтесь. Уехать в то имение! А где оно? Если Вы, правда, туда уедете, я должен буду последовать за Вами, чтобы солнце не зашло над Вашим гневом.

Буду к Вам в понедельник и приеду рано; нужно только, чтобы моя сестра не знала об этом; почему — могу сказать Вам только при свидании: объяснять так долго, что нехватило бы и двадцати страниц. Мы пойдем в Версале всюду, куда Вы только захотите;

признаюсь Вам, что ничего не видал ни в Версале, ни в Трианоне, ни в Марми...

Чтобы поблагодарить Вас за Ваше дружественное содействие, могу только достать со дна моего сердца одно из тех «спасибо», которые составляют лучшие сокровища моей нежности, и посылаю его Вам со священной благодарностью. Позвольте мне остаться в порыве этого чувства, вспоминая о вечере, который я храню в сердце, как дорогое воспоминание. Скажу, как Вы: прощайте и до свидания.

XVIII

Ей же

Париж, 1831.

Вы ошибаетесь: я приезжал к Вам; Вы были в деревне. Только одно довлеет над моим существованием — работа, непрерывная, без отдыха, работа по пятнадцати, по шестнадцати часов в сутки; с этой гидрой я ничего не могу сделать. Слабая дружба отходит от меня, — ей нужен «рацион» Бюжо¹; истинная же дружба остается, и я рассчитывал на Вашу.

Писать я больше не в состоянии. Слишком устал. Вы не знаете, сколько я был должен в 1828 году², сверх того, что имел; чтобы жить и выплачивать сто двадцать тысяч франков, у меня было только мое перо. Через несколько месяцев я выплачу все, кое-что получу, приведу в порядок свое убогое хозяйство; но еще шесть месяцев мне предстоит испытывать все огорчения бедности; наслаждаюсь тем, что они — последние. Я ни в ком не заискивал, не протягивал руки ни за страницей, ни за грошом: я скрывал свое горе и свои раны. А Вы, которая знаете, легко ли зарабатывать деньги пером, Вы должны измерить Вашим женским взглядом ту пропасть, которую я открываю Вам и по краю которой я шел, не падая. Да, передо мною еще шесть трудных месяцев, должен признаться, трудных, тем более потому, что меня уже начинает утомлять поединок с несчастием, — ведь и сам Наполеон уставал от войны.

Как видите, я — исключение, бедный труженик, к которому нужно при-

ходить или пользоваться случаем, когда он надевает праздничную одежду. Никто не знает, чего стоит мне каждый визит; я говорю это не из гордости, — искреннему другу я могу говорить такие вещи, будучи уверен, что он на них не рассердится. Затем — что может быть почетнее и выше, когда человек возвеличивает свое имя и состояние собственным умом? Это может возбудить только зависть, а завистников мне несколько не жаль.

Итак, не думайте обо мне дурно; говорите себе: «Он работает день и ночь», и удивляйтесь только одному: что Вам еще не сообщили о моей смерти. Я хожу переваривать пищу в Оперу или к Итальянцам³, — вот единственное мое развлечение, потому что там не нужно ни думать, ни говорить, достаточно смотреть и слушать. Да я и не так часто хожу туда.

Тысяча нежностей. И не браните меня: вы хорошо знаете, что я люблю Вас.

XIX

Герцогине де-Кастри¹, в Париж

Париж, 5 октября 1831

Сударыня,

Ваше письмо переслали мне в Турень, когда меня больше там не было; я развеялся со своей почтой и получил ее с большим запозданием, так что мог прочесть Ваше письмо только сегодня. Итак, не обвиняйте меня ни в небрежности, ни в фатовстве; Вы и так вменяете мне столько преступлений, что я не в силах оправдываться еще и в том, что мог неучтиво отнестись к даме, хотя бы и незнакомой.

Позвольте мне теперь ответить некоторой откровенностью на Ваши откровенные нападки и благоволите, прежде всего, принять от меня искреннюю благодарность за Ваши упреки, невольню мне польстившие, так как они говорят мне о живом впечатлении, сделанном на Вас моими сочинениями. Вы, к несчастью, ставите меня в печальную необходимость говорить о себе, а это досадно, когда обращаешься к женщине, ни воз-

раста, ни положения которой не знаешь.

Книга «Физиология брака», сударыня, была задумана с целью защитить женщин; я понял, что если бы я захотел распространить идеи в пользу Вашего освобождения и более широкого, более всестороннего образования и взялся бы за это дело прямо, заранее объявив о своих намерениях, то в лучшем случае прослыл бы остроумным автором более или менее почтенной теории; поэтому мне нужно было замаскировать мои идеи и, так сказать, перелить их в новую форму, терпкую и острую, которая пробудила бы умы и дала бы им пищу для размышления. Итак, для женщины, испытавшей жизненные грозы, смысл моей книги заключается в том, что я приписываю ошибки, совершаемые женщинами, исключительно их мужьям. Словом, это великое отпущение грехов. Затем я вступаюсь за природные и неотъемлемые права женщины. Не может быть счастливого брака, если союзу не предшествует полное знание друг друга: нрава, привычек, характера; от этого принципа я не отступил, не страшась никаких последствий. Тем, кто знает меня, известно, что я всегда был верен этой идее, и с моей точки зрения молодая девушка, совершившая ошибку, заслуживает большего внимания, чем та, которая остается неведающей и которая будет несчастна именно в силу своего неведения. Пока я холост, а если женюсь когда-нибудь, то только на вдове.

Как видите, сударыня, мое первое преступление оказывается смелым началом, за которое я заслужил бы некоторого одобрения; но, как передового бойца будущей системы, меня постигла участь всех часовых на опасном посту: меня плохо судили и плохо поняли; одни увидели только форму, другие вовсе ничего не увидели. Я умру в моей идее, как солдат в своей шинели.

После «Физиологии», желая развить мои мысли и забросить их в юные души в виде убедительных образов, я написал «Сцены из частной жизни». Все в этой книге — мораль и разумные советы, я ничего не разрушаю, ни на что не

нападаю; я уважаю верования, даже те, которых сам не разделяю. Я только историк, рассказчик, и нигде не была более уважаема и превозносима добродетель, чем в этих сценах. — Теперь, сударыня, если дело идет о «Шагреновой коже», то я защищусь от Ваших обвинений одним только словом: это сочинение не останется одиноким; оно заключается в себе, — простите мне это педантическое выражение, — предпосылки большого труда, и я горжусь тем, что отважился на него, пусть даже это начинание мне не удастся. Так как Вы относитесь ко мне с такой добротой, — я могу измерить это чувство по Вашей внимательности, которая глубоко меня тронула, — прочитайте второе издание под заглавием: «Философские романы и рассказы»²; я уже работаю над ним. Один из лучших писателей нашего времени³ любезно согласился написать к нему введение и приподнять завесу над моей сокровенной и недосказанной мыслью. Там Вы увидите, что, если я иногда и разрушаю, то иногда пытаюсь и созидать. «Иисус во Фландрии», «Проклятое дитя», «Этюд о женщине», «Изгнанник», «Два сна», быть может, докажут Вам, что у меня есть и вера, и убеждение, и мягкость; я иду своим путем сознательно. Я стараюсь быть таким, каким нахожу нужным, и выполнять свою работу с мужеством и постоянством, — вот и все. «Шагреновая кожа» должна отражать наш век, нашу жизнь; воспроизведение наших типов было понято неправильно; но я утешаюсь, сударыня, искренним одобрением, которое мне высказывали, и критикой — такой, как Ваша: дружеской и чистосердечной; не думайте поэтому, что Ваше письмо, исполненное трогательных упреков, столь естественных для женского сердца, было мне безразлично; такое сочувствие издалека — сокровище, все мое состояние; это — моя самая чистая радость, и, может быть, чувство, которое Вы мне внушили, было бы еще живее, если бы вы вместо того, чтобы видеть в моей книге обычный образ женщины, прославившейся тем, что она никого не любила, посочувствовали той, которая приносит в жертву

лучшие женские чувства — свою простодушную любовь и богатую поэзию своего сердца. Для меня Полина существует на самом деле, и даже еще более прекрасная. Я упомянул об этом не для того, чтобы кто-нибудь завладел моей тайной.

Простите мне, сударыня, что я стараюсь поднять себя в Вашем мнении, но Вы поставили меня в положение ложное и неподобающее; Вы составили себе представление обо мне по моим книгам. А от Вас что я имею? Письмо, обвинительный акт! — Вы пожелали быть моим судьей, и я мог ответить Вам только защитительной речью. Но, что бы Вы ни думали, позвольте мне надеяться, что впоследствии мы обменяемся письмами и о другом моем сочинении; в нем я сумею, к моей чести, сделать так, что в Вашей душе задрожат струны, которых я еще не касался; это будет для меня

самым большим, самым ценным торжеством, единственным торжеством, которого я домогаюсь; Вы ошибетесь, если подумаете обо мне, что я не одинок, не живу мыслью и не жажду быть понятым женщинами.

Примите, сударыня, уверения в моем совершенном почтении.

P. S. — Спешная работа не позволила мне ответить Вам пространно. Перечитав письмо, я увидел, что оно могло бы быть лучше, что я должен был бы сказать Вам совсем не то, поблагодарить Вас за участие, которым Вы меня отметили и которое будет одним из самых трогательных событий в моей литературной жизни; но, если я посылаю его, то только для того, чтобы показать Вам, как непринужденна и естественна моя душа, нимало не похожая на ту, какой считают ее по моим книгам очень и очень многие.

Примечания к письмам Бальзака

VIII

1. Подруга детства сестры Бальзака Лауры, женщина, всю жизнь глубоко преданная Бальзаку. Бальзак часто гостил в ее доме.

2. «Физиология брака» (вышла в декабре 1829 г.) и «Сцены из частной жизни» (вышла в апреле 1830 г.).

3. По поводу сотрудничества Бальзака в различных периодических изданиях исследователь его творчества Шпельберг де-Ловенжюль говорит: «Он давал свою прозу в издания самых различных и самых противоположных направлений».

4. Борже Огюст — художник, жанрист, много занимавшийся Китаем. В 1829 г. он жил на одной квартире в Бальзаком (ул. Кассини, 6).

IX

1. «Сцены из частной жизни» в их первоначальном виде состояли из следующих рассказов: «Вандетта», «Опасности безнравственного поведения», «Бал в Со или шар Франции», «Слава и несчастье», «Добродетельная женщина» и «Мир семейного очага».

2. Кавель Альфред (род 1803 — этнограф и археолог.

3. Нодье Шарль (1780 — 1844) — типичный беспринципный литератор-любитель, не придерживавшийся никакого направления ни в литературе, ни в политике.

4. Брилья-Саварен (1755 — 1826) — автор шумевшей книги «Физиология вкуса», с которой и пошла мода на всякого рода «физиологию» (ср. у нас некрасовскую «Физиологию Петербурга». В эпоху реставрации и

июльской монархии гастрономия играла очень большую роль в жизни господствующего класса.

5. «Идите, месса окончена» (слова, о которыми католический священник обращается к пастве после окончания богослужения).

X

1. «Фельетон политических журналов».
2. Малибран (1808 — 1836) — знаменитая певица, старшая сестра Полины Виардо.
3. Это сочинение Бальзаком написано не было.

XI

1. Старый друг семьи Бальзаков. Нередко оказывал Оноре денежную поддержку.
2. Парижский адвокат, ведший дела Бальзака.

XII

1. Ратье Виктор — журналист и драматург. «Силуэт» — юмористический журнал, основан в 1830 г.
2. Фирма омнибусов.
3. «Мода» — журнал, основанный в 1829 г. па средства герцогини Беррийской. Роскошное издание. После 1830 г. стала органом легитимистов. Характерно, что именно в «Моду» Бальзак впервые подписался, прибавив к своей фамилии частичку «де».
4. Варень Виктор — один из редакторов «Фельетона политических журналов».
5. Эмиль де-Жирарден (1806 — 1881), тогда редактировавший «Моду», известный публицист.
6. «О, повор!»

XIII

Это и следующее письма чрезвычайно интересны со стороны характеристики политических убеждений Бальзака. В излагаемых здесь воззрениях Бальзак отнюдь не оригинален. Он просто мечтает о восстановлении «картин 1814 г.», с ее верхней палатой наследственных пэров и с палатой депутатов, избираемых по высокому цензу, т.-е. остается сторонником режима реставрации. Однако он в своей схеме уже не отводит никакой реальной роли ни королю, ни духовенству, и в этом он примыкает к своей эпохе.

Волнения, о которых говорит здесь Бальзак, — волнения политические. В 1830 и 1831 гг. Францию охватил торгово-промышленный кризис, последствием которого была безработица и связанные с нею народные волнения. Это время было началом развития социалистических идей во Франции. Атмосфера была очень напряженная. Бальзак, как ясный буржуа, да еще питавший слабость ко всему аристократическому, не мог конечно усвоить себе революционных идей.

1. «Ревю де Пари» — литературный журнал, основанный в 1820 г. доктором Вероном. Целью его было дать ход молодым талантам.

XIV

1. Герцог Бреллы Шарль-Виктор (1785 — 1870) — государственный деятель. Стоял за свободу печати. При Людовике-Филиппе сделался министром.

XV

1. Рабу Шарль — литератор. Написал много неплохих романов под псевдонимом Эмиль де-Пальман. С Бальзаком был дружен всю жизнь. Умирая, Бальзак завещал ему докочить свои романы, что он и выполнил.

2. Сотрудник «Ревю де Пари».

3. Издатель, печатавший «Шагреновую кожу», которую Бальзак как-раз в то время писал одновременно с «Красной гостиницей». Действие «Красной гостиницы» происходит при Фридрихе-Вильгельме II.

4. «Умоляю тебя».

XVI

Критики редко хвалили Бальзака, поэтому он испытывал особую благодарность к людям,

отзывавшимся о нем доброжелательно. Сложившееся мнение о подражании в «Шагреновой коже» Гофману продолжало существовать и после смерти Бальзака, — оно докатилось до словаря Ларусса.

1. Основатель «Газеты Франш-Конте».

2. 13 августа 1831 г. в «Газете Франш-Конте» был напечатан фельетон о только-что вышедшей «Шагреновой коже».

3. «Микромегас» — философская сказка Вольтера.

4. Сирано де-Бержерак (1620 — 1655) писал фантастические утопии, являвшиеся в то же самое время сатирами на католицизм и мистицизм.

5. Между лирической поэмой Байрона «Паризина» и трагедией Расина «Федра» общего только то, что в обоих произведениях изображена любовь молодой мачехи к взрослому пасынку.

XVII

1. «Кукушками» называли примитивного устройства дилижансы, которые возили пассажиров из Парижа в его окрестности. Бальзак подробно описал их в своем романе «Первый шаг».

2. Герцогине д'Абрантео было тогда уже 47 лет.

XVIII

1. Маршал Бюжо (1784 — 1849) — хороший воjak, преданный монархии. Принимал деятельное участие в колонизации Африки.

2. Здесь Бальзак вспоминает о крахе типографии.

3. Театр в Париже, ставивший исключительно произведения итальянцев, оперу и драму. Считался в то время фешенебельным.

XIX

1. Великосветская дама, написавшая Бальзаку длинное, восторженное письмо без подписи, которое открыло собою серию дамских писем, засыпавших Бальзака. Вскоре Бальзак и его корреспондентка были знакомы.

2. В первое издание, кроме «Шагреновой кожи», вошел только «Луи Ламбер». Последний в то время еще не был написан.

3. Писатель Филарет Шазль (1799 — 1873) — литературовед и критик, человек широко образованный.

(Окончание следует)

Книжное обозрение

1. Б. ЛАПИН и З. ХАЦРЕВИН Сталинабадский архив. А. Селивановского.—2 АЛЕКСЕЙ ПЛАТОНОВ „Сплав“. Н. Матвеева.—3. АРХИТЕКТУРА СОВРЕМЕННОГО ЗАПАДА Сергея Ромова

Б. Лалин и З. Хацревин. — Сталинабадский архив. Рассказы и документы о советском Таджикистане. Изд. «Федерация» 1932. Стр. 147. Цена 2 руб

В послесловии авторы пишут работать над книгой «мы начали в Таджикистане, передвигаясь от одной почтовой станции к другой и занося все, казавшееся нам значительным и новым, в пропахшие пылью и лошадиным потом черновые тетради. Мы хотели показать Таджикистан в разрезе, дать читателям услышать голоса людей, участвующих в социалистическом переустройстве Таджикской горной страны, где за время от рассвета до сумерек изменяется социальный ландшафт и неделя перекраивает лицо селений. Книга эта — результат организованного отбора материала, отбывавшего нас со всех сторон, за какое бы мы ни принимались дело».

За последние годы на русском языке появилось немало художественных произведений о социалистическом строительстве в республиках Средней Азии. Так например в результате поездки писательской бригады «Известий» в Туркменистан в 1930 г. написаны «Саранчуки» Л. Леонова, «Кочевники» Н. Тихонова, «Повести бригадира Синицына» Вс. Иванова, «Пустыня» и «Путешествия в Туркменистан» П. Павленко, «Еольшевикам путь!» и «Весны» В. Луговского и пр. Не все названные произведения художественно равноценны. Но все они значительны прежде всего тем, что в отличие от немногих, преимущественно колониально-авантюрных произведений дореволюционных русских писателей об «экзотическом» Востоке они впервые открывают для русского читателя широкую Среднюю Азию и притом в период ее социалистического переустройства.

Книга Б. Лалина и З. Хацревина является одной из первых в ряду художественных произведений о «Седьмой советской» — о Таджикистане.

Как оговаривают сами авторы, к «Сталинабадскому архиву» нельзя подходить с требованиями абсолютной документальной точно-

сти, потому что в ряде случаев авторы произвели художественную обработку документов и записей, объединяя и сливая некоторые из них, разумеется, не в ущерб их духу и их существу. В той же мере нельзя требовать от книги и единства повествовательской линии и полного развертывания панорамы сегодняшнего социалистического Таджикистана. Книга — действительно архив переводов стихотворений и народных песен, рисунков с подписями к ним, газетных заметок, рассказов-записей. Но если спросить, передает ли книга общее впечатление о сегодняшнем дне Таджикистана, общую характеристику людей, строящих там социализм, общие очертания развивающейся там культуры, социалистической по содержанию и национальной по форме, то ответ может быть дан только такой да, передает. И тогда внешне рассыпанные главы «Архива» предстанут перед нами как детали одного, хотя и не завершенного, эскиза картины.

В особенности внимание авторов сосредоточено на области культурного строительства и значительно меньше — на области строительства хозяйственного. В серии переводов таких писателей, как Лахути, Садреддин Айни и др., в сущности, дана маленькая анатомия революционной литературы Таджикистана. Значительный интерес представляют материалы о таджикском плакате и лубке. Особо следует выделить переводы таджикских песен, представляющие самостоятельное художественное значение и показывающие, как ложается стиль традиционной феодальной поэзии и как складывается стиль новой революционной таджикской песни.

А. Селивановский.

Алексей Платонов. — «Сплав». Очерки и рассказы. Изд. ГИХЛ 1932 г. Стр. 139. Цена 2 р. Пер. 35 коп.

Слышавшее и вошедшее ныне в берега очеркового повествования обнажило довольно твердый прунт — к настоящему моменту определился целый ряд писателей, незаурядных ма-

стеров очерка К их числу, несомненно, принадлежит и Алексей Платонов, известный читателям, как автор хорошего рассказа «Макар — карающая рука». Внимание к очерку сейчас явно перемещается в сторону его улучшения, в сторону качества, и, как бы ни была спорна жанровая и социологическая природа очерка, он проявляет пока что все признаки здоровой живучести. Об этом говорит и усилившаяся сейчас деятельность молодых писателей-краеведов, и то внимание, которое оказывается очерку такими писателями, как М. Пришвин и Андрей Белый. М. Пришвин, между прочим предложил удачную, на наш взгляд, формулу преодоления в очерке очерклизма.

Именно с этой точки зрения и интересно появление книги «Сплав». Она вяжато и интригующе всем своим содержанием заявляет о тающихся в художественном очерке богатых возможностях. В ней бьется живой нерв стремительной, героической и богатой результатами социалистической действительности, того северного «уголка» ее, который простирается на две тысячи километров в длину и тысячу семьсот в ширину! Картины сплава, лесоразработок, быта и подвигов комсомольских бригад, совершенно лишенные обычных в этих случаях ложных подкрашиваний и ходячих фраз, довольно зоркое внимание к причудливым и неожиданно искусным вылазкам классового врага, эпизоды из жизни старины, продолжающей еще то здесь, то там сожительство с образцами и островками заново рожденного Севера, — все это в книге Алексея Платонова подается по горячим следам событий (1930 г.).

Очерклизм, понимаемый в смысле статических зарисовок увиденного совершенно отсутствует в этой небольшой, но темпераментной и живописной книге.

Достаточное художественное дарование автора, умеющего и незначительный факт ввести в социалистическую перспективу, а также способного, например в «Рассказе о последнем мастере», преодолеть соблазн ретроспекции и только частично поддавшегося туг лесовскому любованию «старинкой», выводит его очерки за пределы безжизненного «очерклизма». Похожие иногда на куски поэмы («Москвичи»), они не менее, чем «рассказы», обладают жизненностью.

Работая по выполнению пятилетки на Севере, А. Платонов увидел то новое, что отличает его, правда, несколько однообразных, героев-большевиков (Волков, Плешков, Мизинцев) от человеческой накипи, засевшей там (Надзынский), от комических канцелярских фигур (Неволин-второй) и пр. Стоит отметить такие драматические эскизы, как «Разрушение Овечкина», в котором простая колхозная тема дана в плане настоящего социального лиризма. Конечно есть и слабые места в книге, таково например растянутое описание прорыва на сплаве, к тому же переданное каким-то бряцающим стилем («электричеством воли калим эпоху», «огневое ды-

хание» и т. п.). Но эти пустые места только больше оттеняют основную настроенность книги — книги новых впечатлений и новых людских наметок. Даже эскизность и кусковатость идут ей на пользу, как бы говоря о бесконечной сложности совершающегося. Котлас, Устюг, Двина, Сухона, деревни на мху и блогах, фабрики, где искусное мастерство вовсе не убивается машиной («Щетина»), а только облегчается, и др. дают право говорить об этих очерках, как об одной из форм, преобразующих сырую фактичность материала. Цифры и колонки цифр, включенные в перспективу жизни, борьбы, намерений и выполнений, становятся в один ряд с прочими красочными и омысловыми знаками социалистической действительности.

Н. Матвеев.

АРХИТЕКТУРА СОВРЕМЕННОГО ЗАПАДА.

Сборник статей Л. Корбузе, Бруно Гаут, В. Гротус, И. П. Ауд, Франка Райт, П. Гильберсеймер, А. Люрса и др. под общей редакцией и с критическими статьями Д. Е. Аркина Москва, Изогиз, 1932 г.

В критическом усвоении культурного наследия опыт западной архитектуры приобретает для нас огромное значение, поскольку в него упирается целый ряд весьма серьезных проблем, связанных с практикой нашего жилищного строительства, с воздвигением новых социалистических городов и перепланировкой новых. Здесь чрезвычайно важно учесть все технические достижения и весь пройденный путь, привезенный к внедрению новых материалов, к механизации строительных процессов и к разрыву со многими устаревшими, примитивными формами строительства и проектирования. Каковы бы ни были предпосылки, которые породили то или иное достижение, мы их должны рассматривать в свете тех новых течений западной архитектуры, которые ими пользовались, и в связи с тем идеологическим содержанием, которое определяло творческую практику различных архитектурных группировок. Только детальное ознакомление с этим содержанием сможет нам дать представление о путях развития западной архитектуры и указать на те возможности использования ее опыта, которые мы должны найти для нашего строительства.

Наша переводная литература по вопросам искусства чрезвычайно скудна. Заслуга тов. Аркина не только в том, что он по первоисточникам знакомит нас с основными течениями современной западной архитектуры, но и в том еще, что он дал нам впервые в русском переводе целый ряд теоретических статей и манифестов, которые легли в основу того или иного течения и которые до сих пор были достоянием узкого круга людей, пользовавшихся ими для компилятивных статей или защиты своих эклектических теорий.

Со многими течениями западноевропейского искусства мы часто знакомимся из третьих рук, вследствие чего такие явления например, как немецкая школа производственных

искусств в Гессау «Бахауз» или теория французского архитектора Л. Корбюзье, получили у нас очень широкую известность и нашли себе своих подражателей и ярых защитников

А между тем практика «Бахауза» была по существу практикой социал-демократического хвостизма и рабского приспособления к капиталистическому строю. Лжереволюционные идеи и трескучая фразеология прикрывали убожество мыслей. В области технологии, быта и устройства рабочего жилища «Бахауз» буквально создавал разоружающие пролетариат теории. Его руководители стремились к тому, чтобы развить в пролетариях психику пашинков жизни и жителей задворков «Изобретения» новый тип мебели, бахаузовцы строили ее так, чтобы она складывалась и занимала возможно меньше места. Создавались какие-то убожочные формы столов, стульев, кроватей для «униженных и оскорбленных», которые как будто убедили, что неравенство классов есть нечто имманентное и что им остается только приспособиться к жизни в узких проходах на складной мебели, пока буржуазия будет роскошествовать и занимать дворцы и комфортабельные особняки. Канонизируя машинную технику, руководители «Бахауза» боролись с «изящной жизнью» на том якобы основании, что на ней покоится вся буржуазная бытовая эстетика. Как тишечные мелкобуржуазные идеологи они не смотрели в корень социальных противоречий буржуазного общества, а скользили только по поверхности явлений. Их идеалами стали стандарт и серийность, которые они стали применять ко всем видам производственных искусств.

Гов. Аркин останавливается довольно подробно на архитектурных позициях «Бахауза». Свообразное положение, занимаемое этим идеологическим, производственно-учебным центром в художественной культуре современного Запада, заставило Д. Е. Аркина не удовлетворяться одной только характеристикой этой школы, а привести целый ряд манифестов и статей главных ее руководителей, как

Гроппиус, Маголи-Наги, Гильберсеймер, Ганнес-Мейер и т. д.

Не менее подробно останавливается тов. Аркин и на теориях, и на практике Л. Корбюзье, одного из виднейших лидеров «нового движения» современной западной архитектуры. Одних его оригинальных статей по вопросам архитектуры и градостроительства тов. Аркин приводит шесть, не говоря уже о весьма обстоятельном очерке, который он ему посвящает.

Книга Аркина, если не исчерпывает всей истории «новой» западной архитектуры, то все же дает исчерпывающий материал об основных ее течениях.

Помимо указанной уже группы архитекторов-бахаузовцев, а также статей Л. Корбюзье и очерка о нем Аркина, мы имеем в этой книге также же очерки Бруно Таута об Ауде и всей голландской школе, о Райте, Нейтра и всей концепции американской архитектуры. В каждом отдельном случае очерк сопровождается соответствующим литературным материалом данного архитектора, а также и фотоснимками.

Кроме того, почти половина книги посвящена вопросам градостроительства в связи с современной архитектурой, в которой даны статьи лучших западных теоретиков, как Гильберсеймер, Эрнст Май, Л. Корбюзье и т. д., и со вступительной статьей опять-таки автора сборника о кризисе капиталистического города.

Одной из особенностей этой книги является анализ архитектурных течений в развернутом плане, в системе всей идеологии современного Запада. Расшифровывая явление, тов. Аркин старается найти его социальные корни, его классовую сущность, определяя его место во всем движении современного искусства, так равно и его взаимосвязь со смежными искусствами. В этом отношении вышедший под редакцией тов. Аркина сборник является большим вкладом в нашу искусствоведческую литературу.

Сергей Ромов.

Издатель «Известия ЦИК СССР и ВЦИК»

Редакция:

А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
В. В. Григоренко.
И. М. Гронский.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.
И. М. Гронский.

Отв. редактор